ЮЛИАН СЕМЕНОВ

10

ЮЛИАН СЕМЕНОВ

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

РОССИЯ - ФРАНЦИЯ
ДЭМ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
FRANCE - RUSSIE
DEM
SOCIETE MIXTE

«ЭКСМО»

Domon

Семеныч

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АГЕНТ

Москва
ДЭМ, ЭКСМО
1995

ББК 84.3Р7
С30

ISBN 5-85207-059-7

© СП «ДЭМ», 1995
© МП «ЭКСМО», 1995

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

ТЕМП-I

— Что это они так резво? — усмехнулся лейтенант Ельчук, наблюдая за тем, как от подъезда дома, где жил третий секретарь американского посольства, стремительно отъехали — одна за другой, по разным направлениям — четыре машины сотрудников ЦРУ, работавших в Москве, понятно, под дипломатическим прикрытием.

— Такой фокус они исполняют второй раз, — задумчиво заметил Гречаев, неторопливо пристегиваясь ремнями безопасности. Судя по всему, гонка предстояла отнюдь не простая, с трюками. — Первый раз это было в эпизоде, когда они прикрывали Трианона...

По рации Гречаеву пришел приказ наблюдать за машиной вице-консула Саймонза; рванули следом, затерявшись в тесном потоке машин.

Полковник Груздев, дежуривший в ту ночь по центру приказал также проверить, куда отправились все «дипломаты»: второй секретарь посольства Шернер, пресс-атташе Лайбл и представитель военной миссии Честер Воршоу.

Сотрудники ЦРУ гнали по московским улицам, крутили как хотели, город знали отменно, — профессионалы высокого класса, молодцы, ничего не скажешь, асы.

Возле станции «Университет» Честер Воршоу бросил машину под знаком, запрещавшим парковку, и стремительно побежал к входу в метро; в свою очередь, Шернер резко затормозил возле телефона-автомата на Трубной, неподалеку от ресторана «Узбекистан», снял трубку и быстро набрал номер; дождавшись, видимо, ответа, нервно нажал пальцем на рычаг и набрал номер еще раз, тщательно прикрывая спиною диск.

Лайбл нигде не останавливался, хотя крутил по городу больше остальных; вернулся в посольство, оттуда — через два часа — отправился домой. А Честер Воршоу на Старом

Арбате, возле того места, где ранее был антикварный магазин, позвонил из автомата ровно через две минуты после того, как кончил звонить Шернер.

...На этом операция ЦРУ закончилась.

НЕОБХОДИМЫЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В последние дни своего президентства генерал Дуайт Эйзенхауэр отчего-то чаще всего вспоминал тот час, когда войска союзников под его командованием высадились во Франции; он даже отчетливо ощущал йодистый запах водорослей, выброшенных тугим, медленным прибоем на серый песок побережья, слышал пронзительный крик чаек (вот уж воистину вопиют души утонувших моряков) и представил глаза раненого мальчика: в них были слезы боли и счастья. Подняв слабеющую руку, ребенок растопырил указательный и безымянный пальцы — «виктори», первая буква заветного слова, вобравшего в себя надежду человечества...

Чем больше проходило лет с того майского дня, когда он, Монтгомери и Жуков встретились как победители, тем порою — особенно когда оставался один (а это случалось редко) — горше ему становилось; утраченные иллюзии послевоенного взаимопонимания союзников, новое противостояние, которое каждую секунду может перерасти в вооруженное противоборство, а это ему, военному человеку, знавшему войну не понаслышке, казалось совершенно чудовищным.

Согласившись выдвинуть свою кандидатуру на выборах, он не мог представить, как трудно придется ему в Белом доме, сколь постоянным, изматывающим и тяжелым будет давление военных и тех групп промышленников, которые получали заказы Пентагона; люди не сумели (а может, не захотели) перестроиться после мая сорок пятого; средства, вложенные ими в заводы, ковавшие оружие для победы над нацизмом, и поныне алчуще требовали продолжения ежедневного дела, ставшего привычным для миллионов рабочих: выпуска самолетов, танков, электроники. Любой резкий поворот неминуемо грозил безработицей, ростом инфляции, новой черной пятницей на бирже.

Эйзенхауэр помнил, как летом сорок шестого года русские пригласили его в Москву, и он стоял на кремлевской трибуне, когда по Красной площади шел парад физкультурников, и переводчик, склонившись к его уху, негромко

заметил, что каждый второй участник шествия потерял на фронте отца или брата...

Не легко и далеко не сразу он решился на осторожный поворот курса: от открытой конфронтации с коммунизмом, которая началась сразу же после смерти Рузвельта, к встрече за столом переговоров; в конечном счете Хрущев тоже генерал, потерял на фронте сына, войну знал, как и он, Айк, не по книгам или кинофильмам.

После того как переговоры на уровне послов увенчались относительным успехом, состоялась встреча в Женеве и было решено организовать конференцию глав четырех держав-победительниц в Париже, Эйзенхауэр вызвал директора ЦРУ Даллеса и попросил его прекратить все полеты самолетов-разведчиков У-2 над Советским Союзом.

Вообще-то, он с самого начала довольно скептически относился к этой затее, которая стоила стране тридцать пять миллионов долларов; он никогда не мог забыть, как Даллес, холодно поблескивая узенькими стеклами очков, убеждал его, что в случае непредвиденных обстоятельств самолет рассыплется, исчезнет, превратится в пыль...

— А пилот? — спросил Эйзенхауэр.

— Погибнет, — ответил Даллес. — Все продумано, он тоже исчезнет.

— Но это невозможно! — с трудно скрываемой неприязнью посмотрел он на Даллеса. — Это безжалостно и лишено какой-либо нравственности.

— Мистер президент,— ответил Даллес тихим голосом, — молодые пилоты Центрального разведывательного управления идут на дело с открытыми глазами. С одной стороны, это высокий патриотизм, свойственный людям нашей страны, с другой — если смотреть правде в глаза — бравада отчаянных головорезов, готовых на все... И потом, мы им очень много платим... В случае трагического исхода их семьи не будут знать забот — полнейшая материальная обеспеченность... Но это — крайний случай, мистер президент. Русские не достанут наши У-2, у них нет таких ракет, уверяю вас, риск совершенно минимален...

...Вскоре после того, как газеты напечатали сообщение о точной дате встречи «большой четверки» в Париже, рано утром, что-то около шести (первое, что Эйзенхауэр заметил, когда его разбудили, был косой, какой-то осенний дождь за окном, хотя в эту пору здесь, в Вашингтоне, всегда давила влажная жара), помощник сообщил ему, что с военной базы Адана, в Турции, исчез самолет ЦРУ У-2.

— То есть как это так — «исчез»? — удивился Эйзенхауэр. — Его похитили?

— Нет. Он вылетел, но связь с ним вскоре прервалась...

— В каком направлении вылетел У-2? — спросил Эйзенхауэр, одеваясь. — Запросите маршрут. Полагаю, он не взял курс на Россию?

— Нет, — ответил помощник, — из Лэнгли сообщили, что самолет отправился в направлении Ирана и Афганистана...

— Слава богу, — заметил президент. — Хорошо, что вы меня разбудили, сейчас я приду в Овальный зал...

...Когда стало известно, что У-2 сбит над Свердловском, Эйзенхауэр горько усмехнулся:

— Что ж, можно считать, что встреча в верхах расстреляна... Кому это на пользу? Нам? Вряд ли...

Он помнил, как Даллес, вызванный им в Белый дом, предложил взять на себя всю ответственность и выйти в отставку...

Эйзенхауэр сухо заметил:

— Подписав вашу отставку, я таким образом публично признаю, что в этой стране правит не народ, избирающий своего президента, а Лэнгли, самовольно определяющая политику Соединенных Штатов... К сожалению, я не могу принять вашу жертву, Аллен... В данном случае вы принудили меня пожертвовать своим честным солдатским именем — во имя престижа этой страны...

Эйзенхауэр никогда не мог забыть долгое совещание в Белом доме накануне вылета в Париж, после того, как Кремль потребовал от президента — в качестве необходимого шага перед началом переговоров, — официального извинения за случившееся: самолеты-разведчики совершают такого рода маршруты над территорией другого государства лишь накануне запланированной агрессии; с такого рода утверждением было трудно спорить; как генерал, планировавший высадку союзников в Нормандии, Эйзенхауэр понимал справедливость русского требования, но, как президент великой державы, он прежде всего был обязан думать о протоколе, который вобрал в себя — в данном конкретном случае — вопрос престижа Америки...

Он помнил, как вошел в зал заседаний «большой четверки»; Эйзенхауэр полагал, что, обменявшись с русским лидером взглядами, первым подойдет к нему и протянет руку; это вполне можно толковать как некую форму извинения; он увидел лица русских министров Громыко и Малиновского, которые смотрели на него ожидающе, и в

их глазах угадывалось подталкивающее доброжелательство; Хрущев, однако, сидел насупившись, головы не поднял, на Эйзенхауэра даже не взглянул; все попытки де Голля найти компромисс к успеху не привели, встреча в верхах закончилась не начавшись...

Вернувшись в Вашингтон, Эйзенхауэр ощутил тяжелую усталость и впервые подумал о возрасте: болело под левой лопаткой и ломило колени.

Он попросил помощника выяснить, кто же по-настоящему стоял за расстрелом совещания «большой четверки»; да, понятно, Даллес; но ведь он лишь исполняет задуманное, получает рекомендации, не зафиксированные ни одним документом, и лишь затем проводит их в жизнь.

Конечно же, всю правду ему так и не дано было узнать, однако какую-то информацию он получил, и вот сейчас, накануне ухода из Белого дома, все чаще и чаще вспоминая тот день, когда его солдаты высадились в Европе, и пронзительно кричали чайки, и пахло йодистыми водорослями, что лежали на сером песчаном берегу, Эйзенхауэр, неторопливо расхаживая по кабинету, начал диктовать черновик речи — прощание с нацией, некое политическое завещание президента.

— Мы не можем не признаться самим себе в том, что в стране сложилась качественно новая сила, — глухо говорил Эйзенхауэр, то и дело поглядывая на красную лампочку индикатора в диктофоне, — которую я определяю как военно-промышленный комплекс. Эта незримая, нацеленная сила, которая лишена дара исторической перспективы, служит своим сиюминутным интересам и совершенно не думает о том, к чему она может привести не только Америку, но и все человечество, если ее концепция возобладает в этой стране..

ТЕМП-II

Генерал вернулся на площадь Дзержинского с совещания в Кремле достаточно поздно; полковник Груздев дожидался его в приемной, молча протянул красную папку с грифом «Сов. секретно».

Генерал внимательно просмотрел информацию; среди ста двадцати телефонов, по которым могли звонить разведчики ЦРУ (справку уже подготовили, все вероятности были просчитаны на компьютерах), подчеркнул две фамилии, одну из них дважды: профессор Иванов, ведущий специалист по ракетной технике. Основания для этого были в Кремле

только что сообщили, что американская сторона выразила согласие продолжить прерванные — отнюдь не по вине Советского Союза — переговоры об ограничении стратегических вооружений в Женеве.

...Ночью, через восемь часов после разъезда разведчиков ЦРУ по Москве, был зафиксирован выход в эфир передачи Мюнхенского разведцентра; расшифровке, ясное дело, не поддавался.

Утром генерал вызвал Груздева.

— Я вам нужен, товарищ генерал? — спросил тот, входя в кабинет.

Генерал, усмехнувшись, переспросил:

— «Я вам нужен»? — Вопрос таил в себе некую безысходность семейной трагедии. — Где Славин? Если вас не обременит моя просьба, поищите его, он мне очень нужен: вопрос с профессором Ивановым я намерен поручить ему. Сегодня же...

«НЕ НАДО ПЛАКАТЬ В МОРЕ»

Ирина Прохорова, подруга Славина, нежданно-негаданно получила отгул, полторы недели, и вылетела в Пицунду, к Алябрику, в пансионат «Апсны».

Каждое утро она спускалась на пляж, к самой кромке зеленого, прозрачного моря, и лежала не двигаясь, ощущая, как солнце стягивало кожу; она никогда не обгорала, могла жариться весь день, загар был шоколадный, ровный. «Ты мой гогеновский человечек, — шутил Славин, — нежность моя...»

Первые дни она сразу же засыпала под монотонный, убаюкивающий плеск моря, — работать приходилось с «захлестом», особенно в связи с диссертацией; потом стала брать с собою книгу: почему-то решила учить итальянский; очень понравилось, как там произносят «прего» — «пожалуйста». Славин заметил: «Ты живешь деталью; порою это опасно, рискуешь пропустить главное».

На четвертый день рядом с нею устроилась супружеская пара с маленькой девочкой: поджарый молчаливый мужчина и женщина с красивой седой головой; Ирина краешком глаза наблюдала, как та делала гимнастику, очень утомительную, не менее часа. «Вот молодец, наверняка не менее сорока, а как прекрасно сохранилась, великолепная фигура, а дочурке года два. Роды никак на нее не повлияли, умница, не позволила себе расплыться — трагедия многих женщин...»

После гимнастики женщина долго плавала вдоль берега, а потом начинала играть с девочкой, бросая ей большой гуттаперчевый мяч; та визжала от счастья, гонялась за мячом по пляжу; однажды споткнулась об Ирину, упала на нее; обняв мягкое, податливое тельце — лопаточки словно крылышки, — Ирина ощутила совершенно особый запах младенцев: молоко и цветочное мыло; сладость какая...

— Как зовут вашу доченьку? — спросила Ирина, подняв маленькую над собою.

— Это внучка, — улыбнулась моложавая седая женщина. — Машенька.

Ирина поцеловала девчушку, с трудом выпустила ее из рук — такая доверчивая нежность — и вдруг подумала: «А ведь я моложе этой бабушки всего на шесть лет. Ну, на семь, от силы.. А у меня нет такого маленького, нежного чуда... И, судя по всему, не предвидится...»

...Последние слова показались ей до того ужасными, что она резко поднялась с лежака и бросилась в море; плавала профессионально, когда-то выступала по первому разряду; отмахав кролем метров двести, перевернулась на спину: «Только еще не хватало в море реветь...»

«ВСЯКОЕ РАССТАВАНИЕ — ЭТО НЕМНОЖЕЧКО СМЕРТЬ...»

— Значит, теперь можете угощать только пивом? — усмехнулся Славин. — Дом литераторов тоже включился во всенародную борьбу за трезвость?

— Еще как, — ответил Степанов. — И литераторы тоже. Только по-разному. Плакальщики начали пуще прежнего стенать, что пианство на Руси пошло от Петра, отдал, мол, на поругание чужеземцам святыни, до него все, как один, были трезвенники. «Веселие на Руси есть пити» — от лукавого, фальсификаторов истории, чужеродный заговор против нации. Ну, а те, кого величают авторами «деловых идей», вновь бросились в атаку на нашу бюрократическую неподвижность: пьянство можно по-настоящему победить только в том случае, когда бутылке будет противуположена реальная альтернатива *дела*; не только сок вместо проклятой бормотухи, но возможность *легко* получить садовый участок, взять ссуду в банке под приобретение мебели, подписаться на собрание сочинений того писателя, который по душе тебе, а не директивно объявлен «выдающимся», купить в рассрочку машину, легче и проще собрать

кучу бумажек на поездку в Болгарию или в Берлин, — пропади все пропадом, когда подумаешь о той волоките, которая ждет, если решил оформиться для путешествия... «Величавость порядка»? Нет, Виталя, это гимн обломовщине! Она весьма и весьма маскируема, незаметно гребет под себя параграфы наших новых законоположений, превращая их не в рычаг, стимулирующий действие, а в традиционную волокиту... Думский дьяк не в Бруклине рожден, а, увы, у нас, в первопрестольной... «Думский», «дума», «подумаем»... Горазды мы на раздумья, когда-то делать начнем?! Смотрел прошлогодний чемпионат футбольных юниоров, когда мы продули?

— Нет.

— Жаль... У меня сердце болело за наших ребят... Но ведь им поставили задачу: все делать наверняка, вносить мяч в чужие ворота; вратарю удар не отбивать, но обязательно ловить мяч, — вот и не было игры; нечто вроде квартального аврала на заводе, когда надо отдать план. Плохо это... Убивает дух инициативы, соревнование, выявление самости игрока... Нельзя планировать футбольное состязание как работу на конвейере; определил стратегию, подготовил команду — и вперед! И в хозяйстве у нас так же: думаем, мудрим, планируем, как довести проект до абсолюта, а вот поступать — боимся, оглядываемся, ждем указания, чтоб потом было на кого свалить... Жизнь — процесс саморегулируемый, а мы хотим втиснуть ее в прокрустово ложе заданной заранее схемы — пусть даже очень точной... Не получится, утопия...

— Ты чего такой злой?

— Не видел ты меня злым. Я озабоченный, Виталя.

— Чем?

— Тем, что на словах все принимают то новое, что мы наметили, а на деле — сплошь и рядом — особой активности не очень-то проявляют, по старинке жить удобней, вечный кайф...

— Факты? — Славин пожал плечами, повторив: — Факты?

— Это я у тебя должен про факты спрашивать. Ты контрразведка, мыслишь определенными категориями, слухи отводишь, и правильно делаешь, до добра не доведут, а я литератор, я кожей чувствую... Между прочим, — он улыбнулся, — мне в Афганистане друзья объяснили, отчего самые вкусные вещи — плов, фрукты, мясо — надо есть руками... Оказывается, именно в кончиках пальцев у нас находятся точки наслаждения. Не смейся, это факт, а не

версия, спроси у докторов... Облизывание точек наслаждения угодно нервной системе, некий массаж тех центров, которые регулируют человечье настроение...

— Представляешь, — вздохнул Славин, — если бы мы в ресторанах укрепили таблички: «Товарищ, не забудь облизать кончики пальцев!» Американцы во всех офисах расставили таблички: «Улыбайся!» Ну что ж, улыбка — это хорошее настроение, а оно угодно обществу, сохраняет нервную систему сограждан...

— Бедный Петр, — вновь повторил Степанов. — Он был первым, кто издал на Руси «Правила хорошего тона», после него ни один государь не интересовался тем, как люди ведут себя в обществе, только чтоб молчали и не роптали; Лермонтов не зря выплакал: «Страна рабов, страна господ...» Только я в толк не могу взять, отчего наше могучее телевидение не пригласит Вячеслава Тихонова или Майю Плисецкую и не попросит их вести ежемесячную программу «Хороший тон»? Знаешь, как слушали бы люди?

— Это про то, в какой руке вилку держать, что ли? — деловито поинтересовался Славин.

— Не подкусывай, Виталя, не надо. Черт с ним, в какой руке вилка... А вот кто виноват в том, что у нас на шоссе разбитые бутылки валяются? После туристов в лесу остается грязь, словно какие оккупанты глумились над природой! А в учреждениях — особенно где справки дают — чиновники говорят с посетителями будто с врагами, а не с согражданами, — отчего так?! На идеологических противников из Би-би-си такое не повесишь, надобно себя винить, чужих всегда легче, — оправдание собственного безделья и лености.

— Так ты предложи ввести такую программу.

— Думаешь, не предлагал?

— Еще раз предложи. Под лежачий камень вода не течет.

— Помнишь завет Щедрина сыну?

Славин грустно улыбнулся:

— «Превыше всего цени звание литератора российского»?

— Именно. Литератор — субстанция обескоженная; настырность противна его существу, комплексы грохочут: «навязываюсь», «назойливо»...

— Пиши об этом в своих книгах.

— Писал. Ну и что?

— «Назойливо», Митя, это когда для себя. Если во имя общего дела, тогда надо искать иное слово.

Степанов постучал себя по лбу:

— Тут я это понимаю, Виталий, но здесь, — он положил руку на сердце, — иная субстанция; голова принадлежит обществу, сердце — это твое, и ничего с этим не поделаешь...

Славин вдруг усмехнулся:

— Ты когда-нибудь думал, отчего у Пушкина, да и у других поэтов, чаще всего напарницей героя в любовных утехах бывает пастушка?

— Нет.

— Мне невропатологи объяснили... Тоже от комплекса... С простой, очаровательной, не отягощенной правилами хорошего тона девушкой легче и проще открыть себя, не нужен обязательный политес, нет страха получить отказ, оказаться смешным в глазах света...

— Это ты мне таким образом даешь отлуп?

Славин покачал головой:

— Не-а, Митя, уж если я бью, то наотмашь... Слушай, у тебя нет знакомых на станции техобслуживания?

— Есть.

— Ирина в Пицунде отдыхает, а мне колодки надо поменять...

— Ты же начальник! Тебя шофер возит, — сказал Степанов.

— А в воскресенье? — Славин посмеялся. — Я без Арины как без рук.

— Почему до сих пор не женишься?

— Вопрос не комментируется, — ответил Славин, — тем более он бумеранговый: отчего не разводишься с Надеждой, хоть уж пятнадцать лет живешь раздельно?

— Ладно, поедем в наш гараж, — вздохнул Степанов, — там ребята все мигом сделают... У нас теперь лучшее техобслуживание, Виталя, в кооперативных гаражах: качество и время гарантированы.

— Не поеду, — ответил Славин. — Ты безответственный человек, тебе можно, а я должностное лицо, — была б Ирина, ее отправил.

— Тогда скажи мне, должностное лицо, где записано, что в кооперативном гараже нельзя сделать ремонт машины?

— А где сказано, что можно?

— Вот мы с тобой и пришли к главному: до тех пор пока мы не издадим свод законов, где будет черным по белому напечатано, что можно, а что нельзя, — только тогда по-настоящему раскрутится инициатива и предприимчивость. Мы, Виталя, традиционно горазды на запреты, вот в чем вся штука... А инициатива требует р а з р е ш и -

т е л ь н о с т и... Опять-таки, пусти на телевидение умного юриста, час в месяц, ответы на самые острые вопросы: что можно и что нельзя, со ссылкой на законы и кодексы, — как бы это помогло и рабочим, и бригадному подряду, и руководителям! Ты, кстати, знаешь, что такое «шабашник»?

— Известно — гад и стяжатель.

— Как бы мы без этого «стяжателя» коровники строили и клубы? — вздохнул Степанов. — Так вот, толковый словарь русского языка трактует это понятие совершенно противоположно тому, какой смысл вкладывает в него наша журналистика. Во-первых, «шабаш», столь нервирующий радетелей общинной равности, есть «день молитвы, суббота» — по-древнееврейски; по-нашему же «шабаш» означает «отдых, конец работе, пора роздыха». Истинный же, сегодняшний смысл этого слова я понял из такого объяснения великого филолога Владимира Даля: «По шабашкам на себя работаем», то есть заработок на семью в то время, когда другие гуляют субботу или иной какой праздник... Нет бы заглянуть в словарь, поискать корни, понять изначалие, суть слова, так нет ведь, повторяем, что на слуху, не удосужившись разобраться в истине.

— Любопытно, — заметил Славин. — Это факт, не поспоришь, очень любопытно.

— Мы заложили в это понятие прямо противоположный смысл, понимаешь? У Даля есть еще одно объяснение: «Как солнце в пятницу закатилось, так жид и среди дороги распрягает коней и шабашует»... А наш шабашник именно в пятницу и начинает свое дело — вплоть до понедельника; пока остальные гуляют, он на «Жигули» зарабатывает... А мы его за хорошую работу, которая предполагает высокую оплату, мордой об стол.

— Ты, кстати, не интересовался, что такое «облом»? — задумчиво спросил Славин. — Гончаров ведь не зря взял эту фамилию для своего героя...

— Посмотрю. Интересно.

— Можешь не смотреть. Я помню. «Облом» — это значит «неуч».

— Что ты говоришь?! И про шабашников — тоже знал?

— Как ответить? — вздохнул Славин. — «Впервые услышал»? Или «Конечно, знаю»?

— Правду ответь.

— Убежден, что всякая правда нужна человеку?

— Горький говорил, что не всякая. И я с ним согласен.

— Я тоже... Что у тебя с фильмом?

Степанов махнул рукой:

— Э,.. Года через два, глядишь, что-нибудь сварганим.

— Ты объясни мне толком, отчего вы снимаете картины годами?! Ведь на Западе такие темпы привели бы кинобизнес к краху, Митя!

— Милый мой, так там же есть продюсер, который может заработать! Там кино не галочка, — мол, сняли еще один фильм о рабочем! Когда я делал первую картину, мой директор, хитрец и умница, гонял меня в Госкино, чтобы я выбивал побольше денег на смету. Я доверчиво ходил. Мне, кстати, именно тогда впервые сказали, что я «слишком настырен»... А я ж не за себя хлопотал, за дело... Ну, выбил я деньги, а потом спросил директора: «Натан, скажи правду, а сколько тебе вообще нужно, чтобы снять фильм?» — «Половина того, что дали». — «Зачем же ты меня заставлял ходить и кланяться?» — «Если б мне верили, Митя, давали деньги в руки, мне бы хватило вам всем платить ежемесячную премию и фильм бы мы снимали за пять месяцев, а не за год. Я ведь живу в кандалах, Митя, я не могу яйца купить, которые должны стоять в кадре на столе, я их обязан заказать в студийной мастерской, чтобы занять рабочих! Чертовы яйца будут делать из дерева и красить нитролаками, каждое яичко стоит пять рублей, десяток — полсотни, а купить за рубль настоящие — не моги, казнят! Костюм артисту я должен шить, купить — опасно, ревизоры замучают, а в комиссионном подобрать — так прямо инструкцией запрещено, угодишь под суд. Каждый мой шаг расписан. Я, Митя, вроде кассира: говорят — плати, плачу, нельзя — молчу в тряпочку...»

— Погоди, но ведь студии выгодно, чтобы картина была скорее снята, Митя! — искренне удивился Славин. — Сейчас-то ведь можно всю эту дикость пересмотреть!

— Ну-ну, — вздохнул Степанов. — Попробуй. Аппарат студии хочет получить премию, Виталя. И это понятно. Все заранее спланировано: когда какую картину сдадут главку. Если я заканчиваю фильм раньше срока, все равно за перевыполнение плана администрации премии не будет, не положено. Какой же им смысл помогать мне? Они заинтересованы в том, чтобы я сдал фильм попозже, у них свой отсчет выгоды. Все приличненько, все спокойненько, исключительная благодать... Куда торопиться? Пусть режиссер еще раз проконсультирует сценарий, есть спорные реплики, кому-то может не понравиться, помозговать никогда не мешает, семь раз отмерь, и все такое прочее... Мое горение неугодно аппарату студии, Виталь, я им поперек горла с моими сроками стану, настырный...

— Вот ужас-то, а?! — Череп Славина, гладко бритый, яйцеобразный, свело морщинами. — Ну, хорошо, если вы все про это знаете, отчего продолжается эта дикость?

— Так ведь все это заинструктировано, десятилетиями расписано по тысячам документов, образовался панцирь, не шелохнешься...

— Предложение?

— Оно вопиет, Виталий. Оно просто, как дважды два: съемочная группа получает деньги на картину. В руки! Под ответственность директора, который живет не в безвоздушном пространстве! В каждой съемочной группе существует партийный коллектив, профсоюз, глаз хватает! Сняли быстрее, экономнее — оставшиеся деньги разделите на премию. Как между членами группы, так и среди аппарата студии. Это все очевидно, как мычание.

— Так отчего не мычим?

— Боязнь поступка... Откуда ж взяться инициативе?!

— Но сейчас-то мы постоянно подталкиваем к ней, Митя!

— А закон? — чуть не застонал Степанов. — Где закон, который бы отменил привычки?! Любой хозяйственник требует гарантий. «Правду» читаешь? То-то и оно. Кто более всего рискует? Тот, кто работает инициативно. Нашим бесчисленным «главначпупсам» инициатива стоит поперек горла. А пока мы их не порушим авторитетом разрешающего закона, обречены на то, чтобы топтаться на месте. Нужен закон, Виталя, — убежденно, с болью, повторил Степанов. — «Ты, директор завода, можешь то-то и то-то, но тебе запрещено то и то». Тогда дело покатится! Но если только графы запретов снова не окажутся трехзначными, — горазды мы на то, чтобы «тащить и не пущать»... На Западе именно этим корят социализм, хотя прекрасно знают, что выражение это пришло в нашу повседневность из русской литературы прошлого века... А нынешние литературные плакальщики ноздрями трепещут: «Раньше было все прекрасно, ура, наши традиции величавы!» Разные у нас были традиции! И глаза на это закрывать чревато бедами: врач, который не хочет видеть болезнь, — преступник.

— Пессимист ты, Митяй, — вздохнул Славин.

— Если бы... Пессимисту — хорошо, у него заранее на все ответ: «Э, что бы ни делали, ничего не выйдет...» А я верю, что выйдет, понимаешь? Верю... Но сердце рвет из-за тех глупостей, которые творят люди, рвущие на груди рубаху: «Я — патриот; поднатужимся, наляжем!» А может, и не глупость это, а саботаж? Не знаю... Ты когда-нибудь

ходил по районам наших новостроек после одиннадцати вечера?

— Нет.

— Походи. У Главмосстроя с филенкой туго, двери тоненькие, все слышно... Ты обрати внимание на то, какую музыку в квартирах играют... Джаз Виллиса Канновера... «Голос Америки» именно в одиннадцать начинает его крутить, как раз когда наше телевидение норовит всех без исключения трудящихся — как в детском саду — уложить в кроватки... Итак, ящик выключен!.. По радио передают классическую музыку; дансингов в городах нет; клубы уже закрыты; в ресторан — не водку жрать, а потанцевать под хороший оркестр и кофе попить — нельзя, в десять кончают пускать... А «Голос» именно в это время дает пять минут джаза и минуту информации, да еще какой... Есть людисовы, Виталя, а есть петухи. Одни поздно ложатся, другие рано, а мы всех под один гребень... Посчитали б, сколько в Москве рабочих со скользящим графиком, кто домой со смены приходит в восемь вечера, а завтра ему на завод только к часу... Ну не хочет он спать! Не хочет! Молодой он! Ему двигаться надо, веселиться, не все ж книге прилежны, увы... Нет, никто эту проблему — с точки зрения социологии — не изучает... Да разве одну эту? Возьми другое: ты занят, и я занят... А надо купить билет на самолет... Значит — с нашими-то очередями, — день потерян. А если организовать службу посредников? Как это сделано во всем мире?! Нет, трать государственное время, только б тот, кто облегчит тебе жизнь, а государству сэкономит миллионы рабочих часов, не заработал лишнюю десятку — «стяжатель»! Эхе-хе-хе! Читал, как обрушились на молодежь за то, что она иностранные майки носит с чужими флагами и мордашками французских кинозвезд? Нет, чтобы травить наших текстильщиков за то, что своих звезд экрана не пропагандируют, свой флаг на майках и своего Гагарина не рисуем, — так нет же, опять-таки воюют со следствием, а не с причиной... Только придурок не купит свое, если оно лучше иностранного...

Славин потянулся с хрустом:

— Что сейчас пишешь?

— Я — накануне, Виталя, только поэтому сейчас с тобой и сижу... Когда начну — уйду в подполье. Я и машинка, нет ничего прекраснее, ей-богу...

Славин посмотрел на часы:

— Не опоздаешь?

— Нет.

— Будешь писать только из Женевы?

— Хочу поездить.

— Но главная цель командировки — переговоры о вооружениях?

— Да, — ответил Степанов. — Так записано в решении...

— Я тебя отвезу в Шереметьево.

— Спасибо... Ирину поцелуй, когда прилетит... Кто-то из французов очень верно сказал: «Каждое расставание — это немножечко смерть...»

СЛАДОСТЬ СВОБОДНОГО СОЧИНИТЕЛЬСТВА-I

Закончив изучение архивов, документов Библиотеки конгресса и материалов, опубликованных в «Ньюсуик» и «Форин афферз» о скандальной схватке ракетостроительного концерна Сэма Пима с авиационной корпорацией Джозефа Летерса, режиссер и сценарист Юджин Кузанни работал теперь дома один. Сын переехал к подруге. По ночам, когда Голливуд засыпал и лишь стрельчатая листва громадных пальм, устремленных в провальную жуть черно-атласного неба, шелестела, словно тоненькие металлические стружки, которые сбрасывали с бомбардировщиков ВВС США во Вьетнаме, чтобы вызвать помехи на радарах противовоздушной обороны.

«Хороший образ, — подумал Кузанни, — можно использовать в монтаже; спокойствие ночного Голливуда, одиночество, становящееся привычным, металлический шелест пальмовых стрел в темноте; встык — такой же звук над Вьетнамом; пейзажи даются на такой же, как здесь, тишине, а потом экран должен взорваться от свистящего рева турбин сверхзвукового бомбардировщика, а после ландшафт исчезнет, поднятый в небо взрывом многотонной бомбы, черной, пахнущей шлаком, безжизненной пылью; на медленном оседании сожженной земли пойдут титры фильма; когда гарь и дым развеются, я покажу иной ландшафт, наш юг, Сан-Диего, безмолвную устремленность баллистических ракет; словно корабли инопланетян, стоят они в скальной пустыне — безнадежность лунной поверхности, тишина, абсолютная, шершавая тишина, и нет уже шелеста пальм, ощущение тотальной, безнадежной выжженности планеты...»

Кузанни взял свой маленький, карманный диктофон — работал только с ним, знай себе наговаривай то, что является перед глазами и явственно слышится в ушах, —

еще раз посмотрел на фото сына; какой прекрасный был парень еще год назад, единственный друг, господи, как сложна жизнь наша, и, поднявшись из-за стола, начал неторопливо ходить по кабинету, окна которого выходили в сад; сценарий своего фильма он диктовал так, словно бы видел на экране все, о чем говорил:

— Весна восемьдесят пятого, Нью-Йорк, биржа...

Тяжелый, постоянный, тревожный гул голосов; на огромном бело-красном электронном табло пульсирует экономическая жизнь страны, которая выражена в цифрах, означающих взлеты и падения акций ведущих корпораций. За этими точечными взлетами пунктов специалисты сразу же видят разорение одних, счастье других, надежду третьих.

На табло резко возникают цифры стоимости акций «Авиа корпорейшн»; зафиксировано падение еще на два пункта; взрыв оживления среди присутствующих пугает жесткой немедленностью реакции биржевых маклеров.

Дейвид Ли — президент «Мисайлс индастри»[1], — наблюдая за тщательно просчитанным сумасшествием биржи, обернулся к спутникам:

— По-моему, после этого сэру Питеру Джонсу не подняться.

И быстро двинулся к выходу. Он шел мимо кабин, где сидели маклеры, связанные прямыми телефонами со своими компаниями и клиентами, мимо тех закутков, где обосновались журналисты, и, улыбаясь, слушал их быстрые, кричащие сообщения: «Компания, созданная сэром Питером, зашаталась»; «Самолеты Питера Джонса не нужны больше нашим ВВС?»; «Сегодняшнее падение акций на бирже свидетельствует о кризисе политики сэра Питера!».

Этот же день, три часа спустя.

...Техас, маленькое ранчо миллиардера Питера Джонса — президента «Авиа корпорейшн». Около конюшни — телевизионные установки, где толпятся репортеры газет и фотокорреспонденты; идет съемка вывода коней, их объездки.

Когда увели танцующего каурого жеребца, из конюшни вразвалочку появился ковбой:

— А сейчас наш главный сюрприз: трехлеток Виктори, подарок сэру Питеру от принца Фарука.

На Виктори выехал сам сэр Питер, кряжистый седой старик, чем-то похожий на Жана Габена — в потрепанных джинсах, клетчатой, красно-белой рубахе и замасленной широкополой техасской шляпе.

---

[1] «Ракетная индустрия»

— Как конь, ребята? Хорош? — улыбнулся Питер Джонс журналистам.

Первый корреспондент:

— Почему принц Фарук подарил вам этого коня?

— Видимо, потому, что любит нашу страну.

Второй журналист:

— Тогда он должен был подарить этого жеребца президенту...

Питер Джонс усмехнулся:

— Он и подарил его президенту.

Второй журналист:

— Олицетворяете Штаты с вашей корпорацией?

— Не навязывайте мне модель ответа, дружище.

Третий журналист:

— Надеетесь быть переизбранным президентом «Авиа корпорейшн» на третий срок?

— Это не моя забота. Это решает собрание акционеров. Я из породы тех стариков, которые подчиняются воле большинства. Если акционеры пнут меня коленом под зад, я уйду. Если же попросят остаться, что ж, останусь.

Первый журналист:

— В истории нашей страны президентом — я имею в виду Штаты, а не корпорацию — на третий срок был избран только один человек, Франклин Делано Рузвельт.

— Мы бы его провели и на четвертый срок, а вот я на четвертый срок не рассчитываю.

Третий журналист:

— Сегодняшнее падение акций вашей корпорации на бирже грозит какими-то последствиями?

Питер Джонс похлопал коня по шее:

— Ответь этому парню, коняга. Ответь ему во весь голос. Мне нельзя — обвинят в неуважении к прессе.

Первый журналист:

— Правда ли, что вы ненавидите президента компании «Мисайлс индастри» Дейвида Ли?

Сэр Питер сокрушенно покачал головой:

— Дейвид Ли — мой друг, молодой, умный, верный друг! Я бы мечтал, чтобы именно он закрыл мне глаза, когда сдохну. Спасибо, ребята! Не пишите о моем коне плохо, других таких больше не будет.

Питер Джонс приветливо помахал журналистам рукой, улыбнулся, въехал в конюшню; ковбои быстро закрыли дверь; осторожно сняли с седла сэра Питера; лицо — пергаментное, желтое, веки судорожно сжаты.

...Тот же день, парк Токсидо, близ Нью-Йорка.

Огромный «кадиллак» Дейвида Ли въезжает в сад, окружающий его дом на берегу озера. Навстречу Дейвиду бегут его дети — семилетняя Джуди и пятилетний Дик. Поднимая детей на руки, он — счастливый, сильный — несет их к бассейну, быстро раздевается, толкает детей в воду, прыгает сам; барахтаются, веселятся, кричат.

К бассейну подошла Мэри, личный секретарь Дейвида Ли:

— Дэйв, на проводе Бонн, будете говорить?

— Кто звонит?

— Генерал Том Вайерс.

— Этот нужен. Переключите аппарат на бассейн и лезьте к нам, будем хулиганить вчетвером.

Дейвид Ли подплыл к телефону, снял трубку:

— Здравствуйте, Том, рад вас слышать. Как погода в Европе? Туман и дождь? Бедные, бедные... Значит, самолеты не летают? — Он рассмеялся. — Слушайте, Том, видимо, дня через два вам позвонит сэр Питер Джонс. Будьте с ним так же открыты, как со мной. Я загнал его в угол, он шатается, надо подтолкнуть... Мы встретимся с ним послезавтра в Сан-Диего, на испытаниях моих ракет, я пригласил и его, пусть злится...

Мэри, переодевшись, прыгнула в бассейн, подплыла к Дейвиду, поднырнула под него и начала целовать его ноги быстрыми пузырчатыми поцелуями.

...Сан-Диего, испытательныи полигон ВВС США.

Сэр Питер Джонс неотрывно наблюдает за торжественной, неземной уже, а причастной космосу церемонией запуска нового типа межконтинентальной ракеты. Вокруг Питера Джонса, припавшего к окуляру телескопа, замерли офицеры и генералы, наблюдающие рождение новой звезды. Чуть в стороне, окруженный толпой военных, стоит Дейвид Ли; объяснения, которые он дает, исчерпывающе кратки:

— Затраты на производство наших космических ракет лишь на первый взгляд кажутся астрономическими. Вложив семь миллиардов долларов в реализацию нового ракетного проекта, мы — в стратегическом плане — не только разденем Советы, но и не будем зависеть от нефти, которая, увы, есть кровь авиации, не правда ли, сэр Питер?

Питер Джонс медленно оторвался от телескопа, улыбнулся:

— Я приехал, чтобы аплодировать твоему успеху, Дейв. Я восхищен и разбит, старой перечнице пора на свалку.

Подойдя к Дейвиду Ли, старик крепко обнял его; потом, обернувшись к одному из офицеров, тихо спросил:

— У вас нет горячего чая?

— Мы пьем только холодную воду, сэр, здесь так жарко.

...Питер Джонс кивнул и направился к выходу из бункера. Рядом, впереди и сзади, тенями двинулись его телохранители.

Он вышел в ночную жару космодрома, прислушался к доверчивой песне цикад, сел в старомодный «роллс-ройс» и помахал рукой провожавшим его офицерам; красные фонари бронированного автомобиля сэра Питера стремительно растаяли в ночи, словно бы их и не было.

Открыв дверцу вмонтированного в спинку сиденья шофера шкафчика, сэр Питер выдвинул два телефона — белый и красный. Сняв трубку красного, он попросил телефонистку на далекой международной станции:

— Пожалуйста, накрутите мне Бонн, моя прелесть, штаб-квартиру генерала Тома Вайерса; затем государственный департамент, отдел Восточной Европы, мистер Харви Джекобс; после этого Пентагон, генерал Киркпатрик. Если его нет на месте, соедините с номером девятьсот семьдесят три сорок два восемьсот сорок семь; потом мне нужен помощник министра здравоохранения Лодж, Вашингтон, дистрикт Колумбия, домашний номер семьсот двадцать семь восемьсот сорок четыре пятьдесят пять, и, наконец, Нью-Йорк, двести двадцать восемь сорок три пятьдесят девять, профессор Томас Бинн.

Питер Джонс достал из кармана пиджака две капсулы с лекарством, бросил в рот; телохранитель протянул ему плоскую бутылку.

— А горячего чая у нас нет? — спросил Джонс. — Обыкновенного горячего чая?

— Мы загрузились холодными напитками, сэр.

Сэр Питер Джонс откинулся на спинку сиденья, смежил веки: лицо совершенно больное, не похоже на то, каким оно было десять минут назад, в бункере.

Зазвонил белый телефон. Телохранитель снял трубку, выслушал абонента, протянул сэру Питеру:

— Государственный департамент.

Питер Джонс кивнул, протянул слабую руку, взял трубку ледяными пальцами. Говорить начал, однако, бодро и весело:

— Здравствуйте, Харви, вас тревожит старая кляча Джонс. Не найдете для меня минут тридцать завтра утром, от десяти до одиннадцати? О'кэй. Спасибо.

Новый телефонный звонок; телохранитель, что сидел рядом, негромко пояснил:

— Профессор Бинн.

Сэр Питер кивнул:

— Доброе утро, дорогой Бинн. У вас уже утро, не так ли? Я славно поработал, но боюсь, что не успею вернуться к двум часам, как договорились, — все-таки шесть часов лёта. Не рассердитесь, если я заявлюсь под ваши рентгены к пяти? Спасибо. Нет, нет, не тревожьтесь, чувствую себя прекрасно.

Джонс снова откинулся на мягкую кожу сиденья, тихонько застонав; телохранители молча переглянулись.

— Здесь где-нибудь есть аптека?[1] — спросил сэр Питер.

— Все медикаменты в машине, сэр, — ответил телохранитель.

— Я спрашиваю, — тихо повторил Питер Джонс, — по дороге на аэродром есть какая-нибудь аптека? Маленькая провинциальная аптека, где дают чертовы бутерброды и торгуют горячим чаем?

...Маленькая придорожная аптека на бензозаправочной станции.

Сэр Питер вышел из туалета, прополоскал рот теплой водой из-под крана, вернулся в уютное, совершенно пустое помещение аптеки-бара, сел за цинковую стойку, улыбнулся фиолетовому негру в униформе «Тексако» и спросил:

— У вас есть горячий чай? Очень горячий чай?

— Кофе, сэр, — ответил негр. — У нас здесь мало кто пьет чай.

— А если я не люблю кофе?

— Очень сожалею, сэр, но здесь нет чая.

Джонс показал телохранителю глазами на музыкальный ящик. Тот опустил монету и нажал кнопку. Он знал, что любит хозяин. Зазвучала грустная песня Чарли Чаплина.

А в машине пронзительно зазвонил красный международный телефон; один из телохранителей подошел к Джонсу, который бессильно обвис на стойке:

— Бонн, сэр. Генерал Том Вайерс.

---

[1] В США аптека часто одновременно и бар, и маленький универсальный магазин

— Пусть переключат на этот аппарат, — шепнул сэр Питер.

— Какой здесь номер? — спросил телохранитель негра.

— 9742-582, сэр, — ответил тот.

Телохранитель неслышно сорвался с места.

— Как тебя зовут? — спросил Джонс негра.

— Меня зовут Джо Буэд, сэр.

— У тебя красивое имя.

— О да, сэр.

На стойке затрещал телефон; негр схватил трубку:

— Аптека-бар «Сладкая тишина» слушает.

Питер Джонс страдальчески хмыкнул, покачал головой; телохранитель вырвал у негра трубку и протянул хозяину.

— Здравствуй, Том, — прежним, бодрым голосом проговорил сэр Питер. — Я, видимо, разбудил тебя? Прости, но мне нужно, чтобы ты завтра же вылетел сюда со всеми материалами. Ты понимаешь меня? Не совсем? Так вот, наш молодой друг включил счетчик. Мы проигрываем темп. Я жду тебя, Том.

Питер Джонс протянул телохранителю трубку. Тот опустил ее на рычаг.

— Дай-ка мне стакан крутого кипятка, сынок, — попросил Джонс негра.

— У нас нет чистого кипятка, сэр. У нас только горячий кофе.

Джонс вздохнул; телохранитель помог ему подняться; шаркая ногами, старик пошел к своей огромной машине, провожаемый грустной песней Чарли Чаплина.

...Поддерживаемый под локоть телохранителем, Питер Джонс опустился на сиденье машины, и в это как раз время зазвонил белый телефон. Телохранитель снял трубку, выслушал говорящего, прикрыл мембрану ладонью:

— Помощник министра здравоохранения мистер Лодж, сэр.

Питер Джонс молча протянул руку к трубке:

— Дорогой Кони, здравствуйте! Нет, я звоню с юга. О-о, чувствую себя прекрасно! Слушайте, поскольку вы пропустили два заседания нашего совета акционеров, я начну против вас драку. Или же найдите для меня время утром, вместе позавтракаем. О'кэй? Спасибо. Встретимся в Бернс-Хаузе.

...В ресторане Бернс-Хауз было тихо и пусто, всего два гостя — помощник министра здравоохранения Кони Лодж и сэр Питер.

— Кого это должно убедить, сэр Питер? — задумчиво спросил Лодж, выслушав старика.

— Это должно испугать, Кони.

— Опять-таки — кого?

— Общественное мнение.

— Общественное мнение делают, сэр Питер. И на удар, который мы обрушим на Дейвида Ли, его «Мисайлс индастри» ответит встречным ударом.

— Бесспорно. Только когда? Фактор времени за нами, да и потом им труднее пугать людей, чем нам. Я и наша корпорация — это самолеты. К нам уже привыкли, самолеты сделались бытом. А ракеты, которые заражают окружающую среду особенно в южных штатах, я подчеркиваю — в южных штатах особенно, — такое не может не содействовать рождению страха.

— Думаете, это помешает «Мисайлс индастри» получить семь миллиардов долларов в конгрессе?

— Вряд ли. Однако это поможет нам получить не меньше. Мы обязаны думать о будущем: тень в пустыне создают саженцы, которым год от роду. Создать тень, — сэр Питер усмехнулся, — аналогично понятию бросить тень, в нашем жестоком деле, во всяком случае. Если вы сможете сориентировать серьезных ученых на такого рода кампанию страха, мои газеты выпустят залп против Дейвида Ли. Немедленно.

— Необходимо выступление двух-трех сильных научных обозревателей, сэр Питер, — задумчиво откликнулся Лодж. — Нужны звезды. И эти звезды должны так и т а к о е рассказать Америке — и не одним лишь южным штатам, на которые вы всегда ставите, но и северным тоже, — что новая ракетная индустрия Дейвида Ли может принести нашей стране, чтобы люди содрогнулись от ужаса. Лишь получив повод такого рода, я смогу начать официальное расследование.

Во весь экран — огромное сердце Питера Джонса.

Профессор Бинн оторвался от рентгеноскопа, взглянул на коллег:

— Он обречен. Он может умереть сейчас, здесь, на столе.

— Странно, что он еще ходит. У него лоскуты, а не сердце. Сколько ему? — спросил один из собравшихся на консилиум.

— Восемьдесят. Как вы относитесь к операции на митральном клапане? — ответил профессор Бинн.

— Сколько он стоит?

— Не менее трехсот миллионов. Впрочем, никто этого не знает точно. Но если его выберут на третий срок, он будет стоить миллиард, в этом я не сомневаюсь.

— Выберут его или не выберут — какая разница: он проскрипит полгода. Это максимум.

Бинн отошел от рентгеноскопа к селектору, стоявшему на белом столе, выключил страшную пульсирующую фотографию старческого сердца, нажал кнопку селектора — прямая связь с другим кабинетом, где на хирургическом столе под рентгеном лежал Джонс, — и сказал:

— Одевайтесь, Питер, мы идем к вам.

— Могу я попросить горячего чаю, Бинн?

— Можете. По-прежнему ничего не болит?

— Нет. Ну а если честно: как мои дела?

— Все нормально, Питер. Но бой против Мухаммеда Али вы не выдержите.

Питер Джонс усмехнулся:

— Это меня не волнует. Я его куплю. Он упадет от моего удара в первом раунде. Я ведь стою триста миллионов или вроде этого, не так ли?

Стремительно-испуганные взгляды профессоров; глаза всех устремлены на кнопки микрофонов селекторной связи с соседним кабинетом.

Бинн усмехнулся:

— Я не вру моим пациентам, коллеги. Я их злю. Именно это придает им импульс силы... Да, я позволил ему услышать ваши слова... Для других это может быть шоком, а для сэра Питера всего лишь хорошая психотерапия... Пошли, он ждет...

«ВЕРЬТЕ ПЕРВОМУ ВПЕЧАТЛЕНИЮ, НО ПРИ ЭТОМ ВЧИТЫВАЙТЕСЬ В КАЖДОЕ СЛОВО ДОКУМЕНТА»

Славин изредка бросал на профессора Иванова быстрые взгляды, особенно в те моменты, когда тот неторопливо просматривал свои записи, сделанные на маленьких листочках плотной, чуть желтоватой бумаги. Крупная голова несколько асимметричной формы казалась вбитой в крепкие плечи — так коротка была его мясистая шея, покрытая бисеринками пота; в зале, где шла защита диссертации соискателем Макагоновым, было душно, но не настолько, чтобы так уж потеть (видимо, крепко пьет, подумал Славин). Говорил профессор к о м а н д н о, порою раздражался

чему-то, одному ему понятному, и тогда его голос, и без того тонкий, срывался на фальцет.

— Все мои критические замечания, — продолжал Иванов, — которые я не мог не высказать, ни в коем разе не меняют позитивного отношения к работе соискателя. Мы наработали порочный стиль: если уж хвалить, то, что называется, взахлеб, чтоб ни одного слова поперек шерстки: ура, гений, люди — ниц! Не верю я такой похвале! За ней угадывается неискренность, а в конечном счете полнейшее равнодушие к делу... Жаль, что в нашем ученом совете такого рода настроения по-прежнему бытуют... Как и все мы, я глубоко уважителен по отношению к Валерию Акимовичу Крыловскому: патриарх, всем известно... Но зачем же, — Иванов обернулся к председательствующему, — объявлять выступление Валерия Акимовича с перечислением всех его званий, лауреатств и титулов? Зачем это трясение золотом прилюдно?! Что это за византийщина такая?! А между тем работу соискателя, столь нужную оборонной технике, мурыжили два года! Пока собрали все мнения, утрясли планы, разослали рецензентам... Два года вон! Я извиняюсь перед соискателем за эту замшелую дремучесть процедуры вхождения в науку и прошу его, как человека молодого, не битого еще, не впадать в равнодушный пессимизм. Жизнь — это драка. Увы. Особенно в науке. Пора научиться угадывать таланты, а не строить для них специальную полосу бега с преодолением препятствий. Что создает спортсмена, то губит ученого. Я поздравляю соискателя: он сказал свое слово в науке. Это не перепев знакомых истин, не собрание чужих цитат и схем, это — новая идея, браво!

...Инспектор управления кадров долго листал личное дело Иванова, потом закурил «Приму» и задумчиво заметил:

— Знаете, товарищ Славин, честно говоря, этого человека я не понимаю... Да, все говорят, талантлив, да, пашет за двоих, но моральный облик...

— То есть?

— С женою не живет, снимает где-то квартиру, женщины вокруг него вьются, как мошкара; застолья, тяга к светской жизни, понимаете ли: зимой горные лыжи, летом водные, заигрывание с молодыми, кто только-только начал делать первые шаги в науке... А выступления на собраниях? Крушит всё и всех, как слон в лавке, никаких авторитетов... А ведь ему не сорок, а пятьдесят семь, пора б остепениться...

Славин осмотрел кадровика: в черном костюме, галстук тоже черный, повязан неуклюжим треугольником; рубашка туго накрахмалена, поэтому — из-за августовской жары — воротничок подмок, казался неопрятным, каким-то двуцветным, бело-серым. Смешно, подумал Славин, отец рассказывал, как в конце двадцатых за галстук чуть ли не исключали из партии как буржуазных перерожденцев, а сейчас на тех, кто без галстука и жилета, смотрят как на хиппи. Времена изменились!

— Почему Иванову не подписали характеристику на выезд в Венгрию, на конгресс по радиоэлектронике? — спросил Славин.

— Потому что выговор с него еще не снят.

— За что?

— За грубость и бестактность по отношению к коллеге по работе.

— А в чем выразилась эта грубость?

— Он сказал своему начальнику, что видит в нем фанфарона и беспринципного приспособленца... Заявил об этом публично...

— В связи с чем?

— Я там не был, товарищ Славин... Рассказывают, что профессор Яхминцев, да, да, начальник отдела, выступил против того, чтобы в нашем центре защищал свою диссертацию Голташвили, молодой сотрудник, Автандил Голташвили...

— Тема интересная?

— Говорят, интересная, но сам этот Голташвили фрукт, я вам доложу... Костюмы носит только американские, разъезжает на «фольксвагене», изволите ли видеть, курит только эти, как их, зеленые такие, воняют мятой...

— «Салем», — вздохнул Славин. — Сигареты с ментолом?

— Верно, — ответил кадровик и тоже как бы заново присмотрелся к Славину, сделал это нескрываемо, как-то по-торговому оценивающе...

— По одежке встречаем, — заметил Славин. — Если он ворует этот самый «Салем» или у фарцовщиков покупает — накажут, а коли по закону — какое наше дело? Каждый сходит с ума по-своему... Да и потом «Салем» вкуснее наших сигарет, у нас не табак, а средство для мора паразитов.

— Вы знакомы с ним, что ль? — настороженно спросил кадровик.

— Пока нет. Почему, кстати, вас это интересует?

— Потому что он ваши слова повторяет...

— Значит, думает, — сказал Славин. — Вернемся к бестактности Иванова по отношению к профессору Яхминцеву...

— Мне кажется, Голташвили — повод, товарищ Славин...

— Меня зовут Виталий Всеволодович. Но это — для вашего сведения...

— Сюда уже сообщили... Так вот, Виталий Всеволодович, мне кажется, что свара между Ивановым и Яхминцевым имеет дальние корни... Помните, у нас кибернетику называли буржуазной лженаукой?

— Еще бы.

— А Яхминцев в начале пятидесятых был среди тех, кто громил кибернетику, со всего маху рубил, хоть молод был, только-только в науку входил, на том антикибернетическом гребне его и вынесло наверх, но потом он вовремя сделал шаг в сторону...

— В молодости играли в баскетбол? — поинтересовался Славин.

— Было, — удивленно ответил кадровик. — Как определили?

— «Шаг в сторону» — спортивный термин... Ну, и как Иванов отнесся к тому, что его не пустили на конгресс в Будапешт?

— Сначала ярился, а потом махнул рукой: «Это не мне надо, а науке, хотите плесневеть — плесневейте!» Отпуск взял и на Чегет уехал, кататься с гор. Вернулся оттуда с какой-то латышкой, та пожила у него неделю, и снова — один.

— Иванов не разведен?

— Нет.

— Почему?

— Мать у него... Старушка старорежимная... Категорически против разводов, каждый день в церковь к заутрене ходит...

— Сколько ей?

— Семьдесят восемь... А отец у него был статским советником, командовал железной дорогой в Сызрани... Тридцать седьмой год...

— Реабилитировали?

— Да. Подчистую.

— Вы позволите мне поработать с личным делом товарища Иванова?

— У меня посидите?

— Пожалуй.

— Что-нибудь случилось? — поинтересовался кадровик. — Чепе?

— Чепе, хотя ничего не случилось, — ответил Славин. — Просто обидно, если стоящего человека не пустили на конгресс, ущерб для науки, в этом он прав.

Генерал слушал молча, играя разноцветными карандашами, зажатыми в левой руке; не перебил ни разу, даже когда Славин прибегал к эпитетам, рассказывая о талантливости Иванова, стремительности мышления, неожиданности оценок (эпитетов не любил,предпочитал оперировать фактами), не сделал ни одной пометки, хотя обычно что-то записывал в блокнот; когда Славин замолчал, несколько рассеянно поинтересовался:

— И это все?

— Да.

— Как я могу заключить из вашего доклада, Иванов вам нравится?

— Вполне приличный человек.

— И вы бы рекомендовали его к поездке в Венгрию на конгресс?

— Бесспорно.

Генерал надел очки (на этот раз узенькие щелочки, чтобы удобнее смотреть на собеседника), пробежал страницу машинописного текста, что лежала перед ним, и, не поднимая глаз, спросил:

— Вы бы рекомендовали его для поездки даже в том случае, если бы я сказал вам, что Иванова на работу в Центр исследований двадцать семь лет назад рекомендовал Олег Владимирович Пеньковский? А в Будапешт, на конгресс, прилетал Роберт Баум, связник ЦРУ, встречавшийся в свое время с Пеньковским в Лондоне? Вот, — генерал подтолкнул красную папку, — это кое-какая информация, полученная после очередной передачи неустановленному агенту...

Когда Славин ушел, генерал позвонил Васильеву, который в свое время вел дело Пеньковского: «Александр Васильевич, седая голова, выручай, подошли свои материалы»; тот, понятно, прислал; генерал начал неторопливо пролистывать тома, делая для себя короткие выписки на маленьких листочках толстой, мелованной бумаги...

Вопрос: Как английская и американская разведки обусловили дальнейшую связь с вами после вашего отъезда из Англии?

Пеньковский: Дальнейшая связь рисовалась по нескольким вариантам. Первый: передача указаний по радио. Предусматривался повторный приезд Гревилла Винна, так как в это время готовилась английская промышленная выставка в Сокольниках; я, соответственно, поддерживая с ним связь, мог бы получить указания через него.

Вопрос: Через кого вы должны были передавать собранные шпионские сведения и экспонированные фотопленки?

Пеньковский: На первом этапе работы я должен был это делать через Винна, как в Москве, так и в случае моего выезда за границу.

Вопрос: Какой вывод вы сделали о роли Винна в этом деле?

Пеньковский: Поскольку я удостоверился, что Винн посещает Москву неоднократно в течение года по делам фирмы, то я понял, что на том отрезке времени, пока я работаю в Госкомитете Совета Министров по координации научно-исследовательских работ, — это удобный вид связи с разведками, ибо деловая сторона его приездов была камуфляжем шпионской связи.

Вопрос: Что вы сделали по выполнению задания иностранных разведок после возвращения в Москву?

Пеньковский: Вернувшись из Лондона, я подобрал и сфотографировал ряд научно-технических материалов на двадцати фотопленках.

Вопрос: Кому вы передали эти данные?

Пеньковский: В мае я положил двадцать экспонированных пленок в коробку от папирос и заклеил ее клейкой лентой. Когда прилетел Винн, я его встретил в Шереметьевском аэропорту и в машине по дороге в Москву передал ему коробку с пленками.

Вопрос: Вы передавали через Винна письмо для разведчиков?

Пеньковский: Да.

Вопрос: О чем шла речь в письме?

Пеньковский: Я сообщил им, что приступил к работе: подобрал материал из различных областей промышленности и техники и сфотографировал его на двадцати пленках (это были отчеты о посещениях советскими делегациями различных промышленных предприятий Англии, Америки, Японии), и просил дать оценку этим данным. Я также указал, что пока не имею возможности давать информацию политического и военного характера.

Вопрос: Иностранные разведчики имели с вами связь по радио?

Пеньковский: Да. После отъезда Гревилла Винна из Москвы я получил по радио шифром ответ на свой запрос о том, правильно ли я использовал лист копировальной бумаги для письма к разведчикам. Мне сообщили, что я из блокнота ошибочно вырвал лист, который считал

копиркой, а в действительности это была прокладка, то есть обычная бумага, и поэтому из моей попытки ничего не получилось. Разведчики сами расшифровали причину моей неудачи. Это было первое радиосообщение, которое я принял.

Вопрос: Вы были в Англии еще раз?

Пеньковский: Да. Я вылетал в Лондон в служебную командировку.

Вопрос: Состоялись ли у вас встречи с иностранными разведчиками в этот приезд?

Пеньковский: Да.

Вопрос: С кем из разведчиков вы встречались?

Пеньковский: В этот раз я встретился с четырьмя разведчиками: Александром, Майлом, Ослафом и Грилье. Кроме того, меня познакомили с разведчиком по имени Радж.

Вопрос: О чем шла речь?

Пеньковский: На этих пяти встречах был разбор материалов, полученных от меня, и дана им оценка. Мне разведчики сказали, что из этих технических материалов можно сделать очень интересные выводы. Меня обучали пользоваться радиопередатчиком дальнего действия, инструктировали по фотосъемке, спрашивали о моих знакомых, кого я знаю из числа сотрудников нашего посольства...

Вопрос: Вы были руководителем делегации. Что же в это время без вас делали члены делегации?

Пеньковский: Члены делегации занимались своим делом по плану. Каждая группа имела своего руководителя по профилю работы. Я же возглавлял делегацию в общем.

Вопрос: Значит, вы много времени уделяли «работе» с иностранными разведчиками?

Пеньковский: Да. Днем я работал в посольстве или ездил по делам делегации, а вечерами встречался с иностранцами.

Вопрос: Кроме сведений, которые вы передали в пакетах через Винна, на встречах с разведчиками вы сообщали им ряд сведений устно?

Пеньковский: Да.

Вопрос: Какое имели значение для разведок сведения, которые вы сообщали им устно?

Пеньковский: Поскольку разведчики задавали вопросы о моих знакомых — где они работают, что они мне рассказывают, — я считал, что к этим лицам проявляется определенный интерес, и я рассказывал то, что я слышал от этих лиц о германской проблеме и по другим полити-

ческим вопросам. Я должен сказать, что вопросы задавались целеустремленно и я старался давать такие же ответы.

Вопрос: Как оценивали те материалы, которые вы передавали?

Пеньковский: По-разному. Некоторые сведения носили общий характер, а они больше интересовались конкретными материалами и не от руки написанными. К тем материалам, которые я написал на шестнадцати листах, они отнеслись критически, как к неподтвержденным источникам, в их числе была записка по ракетам на трех страницах. Они не сказали, что не верят всему этому, но ждали от меня конкретных данных, заснятых на пленку.

Вопрос: Разведчики не говорили, почему они вам не верят? Может быть, вы их очень обильно снабжали материалами и это вызывало сомнения?

Пеньковский: Вы, очевидно, не так меня поняли. Первый раз в Лондоне я передал информацию для того, чтобы заинтересовать разведчиков и показать, что я располагаю определенными возможностями. Это были материалы общего характера. Позже, когда я стал обильно снабжать разведку материалами, имевшимися у меня по линии Госкомитета, разведчики говорили, что я провожу большую работу, и высоко оценивали ее как с точки зрения объема, так и с точки зрения важности полученных материалов...

Вопрос: Вы проходили во время встреч с разведчиками инструктаж по шпионской деятельности?

Пеньковский: Да, они меня наставляли, учили формам и методам работы.

Вопрос: Чему, в частности?

Пеньковский: Обучали использованию оперативной техники. Контролировали, как я понимаю устройство техники, радиопередатчика, приставок к нему и к приемнику, как я пользуюсь инструкцией.

Вопрос: Вам предлагали способы безличной связи?

Пеньковский: Об этом меня подробно инструктировали в Париже. На встречах в Лондоне мне говорили, что это наиболее безопасный вид связи, объясняли преимущества этого способа и примерные места, где бы желательно иметь эти тайники. О тайнике «номер один» в этот раз разговора не было.

Вопрос: Что это за тайник?

Пеньковский: Он находился на Пушкинской улице,в подъезде дома № 5/6, между магазинами «Мясо» и

«Обувь», это почти напротив театра оперетты; с правой стороны при входе в подъезд была батарея отопления, окрашенная в темно-зеленый цвет. Эта батарея укреплена на специальных крюках. Между батареей и стенкой имелся просвет шириной примерно пять-шесть сантиметров. Мне показали месторасположение этого дома на плане Москвы. Нужно было сообщение для закладки в тайник поместить в спичечную коробочку, обернуть голубой бумагой, заклеить целлофановой лентой и обмотать проволокой, при помощи которой подвесить коробочку на крючок сзади батареи отопления. После чего следовало дать соответствующие сигналы, о которых подробно сказано в обвинительном заключении.

Вопрос: Кто подобрал этот тайник?

Пеньковский: Иностранные разведки.

Вопрос: А конкретно?

Пеньковский: По инструктажу я понял — особенно по фамилиям людей, которым я должен был звонить, — что к этому тяготеет американское посольство и что этот тайник должен обеспечиваться представителями американского посольства в Москве.

Вопрос: О каких еще возможностях связи шла речь в Лондоне?

Пеньковский: В Лондоне шла речь о поддержании связи через женщину по имени Анна. Ее фамилию я узнал уже после ареста: Анна Чизхолм, жена второго секретаря английского посольства в Москве.

Вопрос: Какие условия связи с Анной были предложены вам?

Пеньковский: Мне было предложено встречаться с нею в обусловленный день. Такими днями были каждая пятница определенных месяцев в тринадцать часов на Арбате, район антикварного магазина, и каждая суббота других условленных месяцев в шестнадцать часов на Цветном бульваре, где Анна обычно гуляла с детьми. При необходимости я должен был посетить в это время указанные районы, не подходя к Анне. Анна, увидев меня, должна следовать за мной на расстоянии, а я по своей инициативе обязан выбрать место для передачи ей материалов. Для этой цели я выбирал в основном подъезды домов в переулках, прилегающих к Арбату или Цветному бульвару. Я шел на расстоянии тридцати примерно метров впереди Анны, то есть на расстоянии, позволяющем меня видеть, заходил в тот или иной подъезд и передавал материалы Анне Чизхолм, заходившей туда вслед за мной, или получал от нее.

Генерал откинулся на спинку кресла; его острый, аналитический ум реагировал на слово, будто эхолот, фиксирующий океанские глубины.

У Пеньковского была радиосвязь, подумал он, постоянные контакты с Гревиллом Винном по работе в Госкомитете координации научных работ, выезды за границу, возможность встреч с разведчиками на приемах в посольствах... Зачем его нужно было светить встречами с Анной Чизхолм на бульваре?

Видимо, наши контрагенты никогда не разыгрывают только одну карту. Они держат запасной вариант; наверное, у них тогда появился запасной вариант, которым они, видимо, дорожили больше Пеньковского... Хорошо, возразил он себе, а если руководство торопило их? Подгоняло? Требовало ежедневной информации? Ведь Пеньковский имел выходы на святая святых, на высшие государственные секреты... Но тогда выходит, что каждый завербованный ими человек заранее обрекается на провал? Значит, они совершенно не ценят свою агентуру? Тоже не вяжется, возразил он себе. Люди они прагматичные, считают каждый цент. Пеньковский — не цент. Это был большой капитал, очень большой. Почему они так к нему отнеслись? Хотя прагматизм в первую очередь предполагает рассуждение о собственной выгоде: если я, «икс», держащий на связи чиновника такого уровня, как Пеньковский, снабжаю Лэнгли, а значит, и Белый дом, практически ежедневной информацией из Москвы, обо мне говорят как о выдающемся специалисте разведки. Отсюда — рост в карьере, авторитет в сообществе, возможность выхода на новые рубежи в иерархическом аппарате ЦРУ. Значит, агент — некая ступенька в служебной карьере?

Генерал сунул в рот сигару, усмехнулся. «Тебе жаль бедных агентов, — сказал он себе, — существуют вне радостей жизни, в постоянном, изматывающем душу ужасе предстоящего провала; актер, отработавший на сцене два акта — не ахти уж какое время, — потом долго сидит у себя в гримуборной без сил, весь в поту, а тут приходится без отдыха играть двадцать четыре часа в сутки... Во всем и везде тотальная, изматывающая душу подконтрольность; это делает агента развалиной, неврастеником, тяжелобольным человеком...

Нет, — ответил себе генерал, — мне не жаль агента, хотя я и считаю его самым несчастным человеком на земле: каждый выбирает в жизни свой путь; человек, посмевший обидеться на Родину за то, что ему не дали новый

чин или обошли наградой, и ставший из-за этого изменником, — какая уж тут жалость? Неужели, получив от Пеньковского имена, данные, характеристики, которые интересовали Лондон и Лэнгли, они перестали его щадить? Или замыслили новую операцию, расплатившись им, Алексом[1]?»

Генерал отложил сигару и снова углубился в чтение...

Вопрос: Кто из представителей иностранных разведок кроме названных вами пяти человек встречался с вами во время вашего второго приезда в Лондон?

Пеньковский: Во время второго приезда в Лондон на второй или третьей встрече я встретился с англичанином, неизвестным мне до этого, который знал немножко русский язык и был, как мне кажется, по характеру обращения к нему разведчиков руководителем какой-то секции английской разведки. Содержание его разговора было более конкретное, он интересовался моей жизнью, работой, бытовыми условиями, моим настроением, состоянием здоровья, членами моей семьи, возможностями дальнейшей работы в Советском Союзе. В заключение он пожелал мне успехов в работе.

Вопрос: Какое задание вы получили от иностранных разведчиков во время этих бесед?

Пеньковский: Несмотря на то что мною уже было передано много материалов и фотоотчетов к ним, я получил задание продолжать фотографировать, поскольку это представляет интерес. Кроме того, я получил задание чаще встречаться со своими товарищами — военнослужащими, интересоваться вопросами военного характера...

Вопрос: Как была обусловлена дальнейшая связь с разведчиками после вашего отъезда из Лондона?

Пеньковский: Во-первых, была предложена односторонняя радиосвязь. Во-вторых, было сказано, что г-н Винн поедет на французскую промышленную выставку, которая состоится в Москве в августе 1961 года, не помню точно, кажется, в конце. Вот эти два канала, и третий канал — Анна Чизхолм.

Вопрос: Передавали ли вы что-либо через Винна иностранным разведчикам в этот раз?

Пеньковский: Я дважды передавал пакеты через Винна. В них были: письмо, экспонированные фотопленки,

[1] Основной шпионский псевдоним Пеньковского.

поломанный фотоаппарат «Минокс». От Винна я дважды получал фотопленку к фотоаппарату «Минокс», мне также был передан новый фотоаппарат взамен поломанного, коробка из-под конфет «Драже», которая должна была использоваться для передачи в ней материалов шпионского характера.

Вопрос: Уточните, какие указания содержались об условиях связи при помощи коробки конфет?

Пеньковский: В эту коробку конфет я должен был заложить соответствующие материалы или пленку и в шестнадцать часов посетить Цветной бульвар в любой день, исключая дождливую погоду. Подойдя к детям Анны, обратить внимание на ребенка (а их у Анны было трое), сделать такой жест любви к детям — дать ребенку коробку конфет. Шоколадные передавать не рекомендовалось, так как они дорогие и на это могли обратить внимание прохожие.

Вопрос: Вы выполнили указание иностранных разведок о передаче сведений через Анну Чизхолм?

Пеньковский: Да, это указание я выполнил, я передал ей коробку конфет с четырьмя фотопленками, на которые сфотографировал четыре отчета Госкомитета по КНИР.

Вопрос: Расскажите об обстоятельствах передачи коробки.

Пеньковский: В какой-то день, не помню, в воскресный или рабочий, в первых числах сентября, в обусловленное время — шестнадцать часов — я прибыл в этот район, без всякого труда нашел указанное место и увидел там Анну, гуляющую с детьми. Подойдя, я сел на скамейку, где сидели дети, один ребенок или двое, сейчас не помню, а один играл в песке. Я потрепал ребенка по щеке, погладил по голове и сказал: «Вот тебе конфеты, кушай». Анна все это видела.

Вопрос: Сколько на вид было лет ребенку?

Пеньковский: Дети были маленькие, так, примерно от четырех до восьми лет. Старший ребенок был школьного возраста, а остальные — дошкольного.

Вопрос: Анна сидела на той же скамейке, что и дети?

Пеньковский: Да, но я сел не рядом с Анной, а на противоположный конец скамейки, ближе к детям. Все произошло буквально в течение нескольких минут; затем я встал и ушел. С Анной никакого разговора у меня не было.

Вопрос: Таким образом, для маскировки шпионских связей использовались даже дети Анны?

Пеньковский: Да, выходит, так.

Вопрос: Когда и для какой цели вы прибыли во Францию?

Пеньковский: Во Францию я вылетел руководителем делегации советских специалистов, которые должны были побывать на советской промышленной выставке и посетить ряд фирм по профилям своей специальности.

Вопрос: Вы использовали эту командировку для продолжения своей преступной шпионской деятельности?

Пеньковский: Да, я использовал ее для этого.

Вопрос: Когда вы прибыли в Париж?

Пеньковский: Я прибыл в аэропорт «Ле Бурже» 20 сентября 1961 года, где меня встречал г-н Винн. Я с собой привез пятнадцать экспонированных фотопленок и передал их в машине Винну. С аэропорта «Ле Бурже» мы поехали в гостиницу, которая находилась в районе нашего посольства в Париже. Там был для меня забронирован номер. В машине Винн сказал, что моя встреча с иностранными разведчиками будет дня через два-три и он покажет мне место, где будут меня встречать. В этот раз Винн в район конспиративной квартиры меня не возил. Он только подвез меня к мосту через Сену, который находился недалеко от гостиницы, и сказал, что на другом конце моста меня встретит кто-то из моих знакомых. Так оно и было.

Вопрос: Какой характер носили материалы, заснятые на пятнадцати фотопленках, переданных вами Винну?

Пеньковский: Эти материалы носили экономический и политический характер.

Вопрос: А сведения военного характера содержались в них?

Пеньковский: Военного характера они не носили. Военную информацию я давал устно.

Вопрос: Кто из разведчиков присутствовал на этих встречах?

Пеньковский: На этих встречах присутствовали пять разведчиков, которых я называл: три английских и два американских, и со всеми ними я встречался пять раз.

Вопрос: Назовите этих лиц.

Пеньковский: Ослаф, Радж, Грилье, Александр, Майл.

Вопрос: Какой характер носили эти встречи?

Пеньковский: Эти встречи носили конспиративный характер, и на этих встречах опять был сделан упор на

изучение шпионской техники. Я изучал два радиопередатчика, контейнеры для закладки шпионских сведений в тайники, различные по своему устройству. Вот какие основные задачи решались на этих встречах.

Вопрос: Были ли разговоры о ранее переданных вами материалах?

Пеньковский: Да, был разговор по анализу переданных мною материалов. Кроме того, разведчики интересовались моими знакомыми из числа работников советского посольства в Париже, составом нашей советской делегации.

Вопрос: Опознавали ли вы знакомых по фотокарточкам?

Пеньковский: Да, мне был предъявлен фотоальбом для опознания лиц из посольства.

Вопрос: А кроме сотрудников посольства вы кого-либо еще из знакомых опознавали?

Пеньковский: Для опознания мне были показаны фотокарточки сотрудников торгпредства, советских представителей — экономистов, техников-специалистов, которые бывают во Франции.

Вопрос: А о военнослужащих шла речь?

Пеньковский: Да, они спрашивали, кого я знаю из военнослужащих. Я встретил одного знакомого, которого немножко знал и который там работал военно-морским атташе. Вот о нем была речь.

Вопрос: Вы встречались в Париже с Анной Чизхолм?

Пеньковский: На предпоследней встрече с разведчиками на конспиративной квартире я увидел Анну; я был удивлен тем, что она в Париже. Мне сказали, что она в Париже проводит свой отпуск. Тогда же у нас с Анной были вновь уточнены места и время встреч.

Вопрос: Были ли выработаны другие виды связи с иностранными разведками кроме связи через Винна и Анну?

Пеньковский: Да, тогда же подробно обсуждался вопрос использования предложенного мне тайника «номер один» и были разговоры о выборе мест для устройства мною других тайников.

Вопрос: Какие еще кроме тайников виды связи были предложены вам разведчиками?

Пеньковский: Мне был предложен еще один способ связи, которым можно было пользоваться при необходимости и при невозможности использовать уже прежние варианты связи. Для этого я должен был двадцать первого числа каждого месяца в двадцать один час прибыть в район гостиницы «Балчуг» и по заранее обусловленному паролю

войти в связь со связником для получения через него указаний или для передачи ему шпионских материалов.

Вопрос: Какой был обусловлен пароль?

Пеньковский: Я должен был прогуливаться по набережной с папиросой во рту, а в руке держать книгу или пакет, завернутые в белую бумагу. Очевидно, описание моего внешнего вида должно было быть известно тому, кто придет на связь. Ко мне должен подойти человек в расстегнутом пальто, также с папиросой во рту, который скажет: «Мистер Алекс, я от ваших двух друзей, которые шлют вам свой большой, большой привет». Подчеркивание дважды «большой, большой» и «от ваших двух друзей» было условленностью.

Вопрос: На каком языке должен происходить разговор?

Пеньковский: На английском.

Вопрос: Была ли договоренность в Париже об установлении связи в Москве с кем-либо из американских дипломатов?

Пеньковский: Нет, в Париже мне об этом ничего не говорилось. Я узнал об этом из инструктивного письма, полученного от Гревилла Винна в июле 1962 года, и по тем фотокарточкам, которые мне тогда же были показаны Гревиллом Винном.

Вопрос: А когда вы узнали имя Джонсон?

Пеньковский: Имя Джонсон я узнал из того самого письма, которое получил 2 июля 1962 года через Гревилла Винна, в день его приезда в Москву.

Вопрос: Как обусловливалась возможность вашей встречи и опознания Джонсона?

Пеньковский: Мне было сообщено, что Джонсон прибыл в Москву недавно, как будто, если память не изменяет, на должность второго секретаря американского посольства по вопросам или культуры, или сельского хозяйства (я сейчас точно не помню). В письме было сказано, что я должен ознакомиться с личностью Джонсона по его фотокарточкам, которые мне покажет Гревилл Винн, и что впоследствии я смогу с ним встречаться на официальных дипломатических приемах, куда меня будут приглашать.

Вопрос: Кроме фотокарточек какие были установлены условности опознания вами Джонсона?

Пеньковский: Я прошу прощения. В Париже был разговор, что в последующем, если будет выходить на меня новое лицо для поддержания связи, то у него должна быть защепка на галстуке, инкрустированная красными камешками.

Вопрос: Следовательно, в Париже об этом был разговор?

Пеньковский: Да. Я прошу прощения, я забыл о содержании этого разговора, но он был общего характера, без связи с Джонсоном или кем-либо другим.

Вопрос: Джонсон — это настоящая фамилия?

Пеньковский: Нет, его настоящая фамилия Карлсон.

Вопрос: А когда вы об этом узнали?

Пеньковский: Я об этом узнал в последующем, когда с ним познакомился.

Вопрос: Какие задания вы получили от разведчиков в Париже?

Пеньковский: В Париже я получил задание продолжать фотографирование технических материалов в Комитете, причем стараться фотографировать материалы послевоенного периода, последних лет.

Вопрос: Какое еще задание у вас было в Париже?

Пеньковский: Я получил задание быть готовым к принятию инструкций по радиопередаче, внимательно их изучить на базе той практической подготовки, какую я получил во время пребывания в Париже, и быть готовым к принятию самой техники.

Вопрос: Получили ли вы задание на расширение своих знакомств с военнослужащими Советской Армии и Военно-Морского Флота?

Пеньковский: Да, мне было предложено расширить круг таких знакомств.

Вопрос: Для какой цели?

Пеньковский: Для получения от них различной военной информации, которую мне нужно было запоминать и передавать разведчикам.

Вопрос: Еще какое задание вы получили?

Пеньковский: Получил подтверждение поддерживать связь с Анной. Это было связано с тем, что г-н Гревилл Винн длительный период не приедет в Москву. Так оно и вышло.

Вопрос: Интересовались ли иностранные разведчики какими-либо документами военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского Флота?

Пеньковский: Иностранные разведчики спрашивали, какие у меня возможности доступа к документам военнослужащих. Я сказал, что могу попросить у товарищей под каким-либо предлогом удостоверение личности, просто в порядке любознательности. Ужиная с одним офицером (фамилию его я не помню), я попросил у него удостоверение личности и затем описал его в донесении...

...Над замечанием Пеньковского о том, что фамилию офицера он не помнит, генерал сидел особенно долго, а потом снял трубку телефона и снова набрал номер генерала Васильева:

— Александр Васильевич, к вам на этих днях Славин подъедет, можно?

«НИГДЕ ТАК ГРУСТНО НЕ ДУМАЕТСЯ, КАК В САМОЛЕТЕ»

После того как в Вене вышли дипы[1], в первом классе стало совершенно пусто; вылет отчего-то задержали на три часа. Когда взлетели, Степанов пересел к иллюминатору, вмонтированному в запасную дверь, и отчего-то неотвязно вспоминал своего давешнего приятеля Мирина, его патологический страх перед самолетом. Тридцать лет назад, кончив МГИМО, он был распределен на работу в ВЦСПС, приходилось летать с делегациями чуть ли не ежемесячно; забивался в хвост, убедив себя, что в случае аварии именно там есть шанс остаться в живых: наивная вера в сопротивление массы металла неуправляемой и стремительной силе удара об землю; Степанов приводил ему статистические данные: больше всего погибают на дорогах, казалось бы, самый привычный и безопасный вид транспорта — автомобиль; потом — море, кораблекрушения; железнодорожные катастрофы, а уж затем авиация — самый безопасный способ передвижения второй половины двадцатого века.

Мирин слушал его не перебивая, кивал вроде бы соглашаясь, а потом заметил: «Я прочитал в «Фигаро» отчет о трагедии на Тенерифе; мне врезалась в память лишь одна фраза: на летном поле собирали «фрагменты трупов». Представляешь? Или ты лишен фантазии такого рода?»

Свой самый лучший рассказ, посвященный авиакатастрофе, Мирин назвал «Спешу и падаю». И после этого вообще перестал летать — только поезд.

«А наши дети, — подумал Степанов, — не очень-то ездят в поезде; самолет для них сделался бытом, словно метро или автобус; новая концепция, созданная техническим гением времени, но не понятая и поэтому не объясненная еще человечеству философами (производство всегда опережает сознание), втянула поколение, родившееся в шестидесятых, в новое ощущение времени, словно в воронку;

[1] Дипы — так кратко именуют дипломатических курьеров.

что-то выйдет из этой гонки от самого себя?! А может, за собою самим! Правы ли дочери мои, Бемби и Лыс, когда говорят о необходимости самим пройти то, что прошел я и что для меня есть аксиома, данность, «дважды два». Лишь тогда они примут мои советы осознанно, а не приказно. Видимо, все же они в этом не правы; если что и надо скупердяйски экономить, так это время. В нем выражается личность, именно оно составляет субстанцию памяти, хранит в себе слово, пейзаж, формулу, то есть создавшего это моральное богатство человека. Зачем же тогда транжирить время попусту?! Я советую лишь то, что лежит на поверхности: прежде всего нужно быть физически крепкими; академик Микулин, заземляясь на ночь, создав свою теорию здоровья, думал не только о долголетии, но и о том, как творить лучше и больше; нельзя обращать внимания на мелочи, как бы они ни были обидны; художник Кончаловский во времена оно отказывался смотреть книги отзывов на его выставках, загодя организованное мнение, стоит ли попусту раздражаться?! Организованность во всем и всегда, сколь бы эта истязающая самодисциплина ни казалась изматывающей; если эти основоположения творчества не по силам — валяй замуж, тоже прекрасно; я еще не считаю себя старым, но уже мечтаю о внуках. Или внучках, какая разница, малыши одинаково прекрасны...»

Степанов вдруг близко увидел чуть выпуклые, беззащитные от близорукости глаза Игнасио Лопеса; в его мадридской квартире на калле доктора Акунья, 19, он жил в семидесятом, когда в Испании только-только открылось представительство советского Черноморского пароходства и Сережа Богомолов был не чрезвычайным и полномочным послом, а заместителем морского агента. Жизнь есть жизнь — камуфлируются не только африканские бабочки, легко меняя окраску крыльев, но и дипломаты: фашистская диктатура шла к концу, надо было держать руку на пульсе больного общества. Лопес тогда представлял «Совэкспортфильм»; цензура Франко, однако, запрещала ему показ практически всех лент, кроме развлекательных программ о цирке и старой оперетты «Сильва».

Игнасио тогда писал большой пейзаж — в Москве кончил Суриковский институт, — говорил, что это любимая его сердцу Галисия, испанский север, а Степанов явственно видел Россию, где Лопес провел двадцать три года. Он мечтал отправить в Москву сына, Андреаса: «Только там можно научиться р е м е с л у»; жена его, русская, несостоявшаяся актриса, ушла от него, выступала в газетах с

интервью о «коммунистической тирании», а он не мог жить без второй родины, рвался туда постоянно, и Андреаса наконец привез с собою, сломив с помощью Степанова все ленивые, убивающие душу бюрократические преграды; с утра и до ночи заботливо поучал парня, как себя надо вести, что говорить, какие музеи посещать, а тот старался поскорее уйти в свой закуток, брал флейту и часами играл тягучие мелодии Индии.

Лопес ждал, что сын будет спорить, возражать, приоткроется хоть в малости, но тот молчал, гладя длинными пальцами флейту, дожидаясь того момента, когда отец, махнув рукой, замолчит; поднимался, уходил к себе, закрывал глаза, лицо становилось отрешенным, маска какая-то, и прикасался губами к дудке: мелодии не было, лишь невысказанная тоска, безысходность, отчаяние...

Лопес, однако, не знал, да и не мог знать, что в те годы, когда сын, мальчиком еще, жил в семье матери, чего только бедняге не приходилось слышать об отце; он защищал его, особенно в детстве; бедный цыпленок, что он мог сделать?! Самое страшное случалось, когда мама начинала плакать: сыновья больше жалеют матерей, чем дочери, те уже с раннего юношества готовятся к с в о е м у; тяга к своей семье у них неизбывна и затаенна — естество, ничего не попишешь.

Андреас не мог слышать, когда про его отца говорилось то, что вообще не вправе было быть произнесенным вслух: высшая тайна взаимоотношений между женщиной и мужчиной, которые дали жизнь ребенку, изначально предполагает некие «темные ямы». Существует всеобщий, непознанный микрокосмос...

Однажды, после очередного разговора про то, каким чудовищем был его отец, у Андреаса началась истерика. На другой день рано утром мать отвела его к женщине, которая (так она писала о себе в газетном объявлении) «изгоняла дьявола и возвращала душевное спокойствие». Колдовские обряды, страшное бормотание старухи с огненными глазами, увеличенными толстыми стеклами очков, ее сухие руки, сжимавшие виски Андреаса, испугали его; ночью он проснулся в слезах, закричал что-то; тело его при этом изогнулось, став каменным.

Наутро он не мог подняться, голова раскалывалась, глаза постоянно слезились; мать испугалась, целовала его лицо сухими губами, шептала что-то нежное и тихое; отчим поехал в универмаг; привез мальчику американские электронные игрушки, набор красок, альбом для рисования,

флейту; Андреас смотрел на все это сказочное богатство без интереса, погасшими глазами; поздно ночью, когда все уснули, он взял флейту, прикоснулся к ней губами, закрыл глаза и начал играть какую-то странную мелодию. Проснувшись, мать не сразу поняла, что мальчик подбирает мелодию «Подмосковные вечера». В России, когда Андреас был совсем еще маленький, они с Лопесом жили у бабушки Прасковьи Лукиничны, в Удельном, там эту песню часто пели, да и по радио передавали чуть не ежедневно.

Через два дня мать позвонила Лопесу (она жила с новым мужем в Севилье) и попросила забрать Андреаса к себе: «Пусть он поживет у тебя, надеюсь, это не очень тебе помешает. У тебя достаточно друзей-художников, в случае нужды предоставят ателье на пару часов».

Лопес забрал сына, проводил с ним все время, но совершил такое же преступление, как и его бывшая жена: он начал рассказывать мальчику, отчего он расстался с мамой; именно после этого Андреас и попросил, чтобы отец определил его в колледж, где дети живут круглый год, уезжая к родителям лишь на летние каникулы. Там он еще больше изменился, стал молчаливым, слова не вытянешь; из класса — к флейте, а оттуда — в спальню. Когда Андреас колледж закончил, научившись играть на рояле, скрипке и саксофоне, Лопес решил пристроить его в Московскую консерваторию. Он провел с ним месяц в Союзе, повсюду таскал за собою, а потом, оставив немного денег, улетел на кинофестиваль в Сан-Себастьян.

Андреас остался у Степанова, за городом, в доме, что он снимал для семьи на лето; однажды утром Надя молча протянула ему две странички, исписанные странными, налезающими друг на друга строками; Андреас исповедовался своему другу о том, что в Москве скучно и пусто, бабы, как одна, жирные, «смотрят на меня сальными глазами; как и во всем мире, взрослые здесь живут собою, плевать им на детей; на земле царствует безнравственность; дети — заложники, скорее бы назад, сил нет».

...Степанову бы поговорить с парнем: как-никак испанец, Дон Кихот, герой Пио Баррохи, живет в мире представлений, реальность кажется вымыслом, верит только себе, лишь своя мысль является истиной в последней инстанции, а Степанов позвонил в Мадрид, Лопесу, и сказал — в ярости, — что парня у себя держать не станет. «Почему?» — спросил тот. Степанов прочел ему письмо Андреаса; Лопес долго молчал, потом ответил потухшим, чужим голосом: «Хорошо, пусть улетает... Только...» — «Что?» — «Да нет,

ничего... Это действительно он написал?» — «А кто же еще в моем доме станет писать на испанском?»

И Андреаса отправили в Мадрид. В международном зале Внукова (Шереметьева тогда еще не было) он достал из рюкзака свою флейту, устроился на полу, возле стойки, и заиграл одну из своих тягучих, безнадежных мелодий — крик какой-то бессловесный, отчаянный, словно вопль раненого оленя...

А в Мадриде выяснилось, что парень болен — тяжелая форма шизофрении. «Но я же хотел ему добра, — говорил спустя несколько лет Степанову Лопес; они тогда пришли в «Хихон», бар артистов и художников на авениде Хенералиссимо, сели к окну и заказали «хинебру», — я ведь отдавал ему себя, свой опыт! А может быть, надо было молчать?! Пусть бы все шло, как шло? Может, он бы тогда не сдвинул?!»

...Франко умер, картины Хуанма, лежавшие на складе, вышли на экраны, весь Мадрид повалил на «Броненосца Потемкина» и «Чапаева», прокат дал Лопесу миллион, он положил Андреаса в лучшую клинику, но медицина была бессильна; Лопес стал каким-то потерянным, много пил, умер от рака легких — за два месяца, не успев переписать завещание на сына; все досталось бывшей жене, которая его ненавидела.

«Если бы не Лопес, — подумал вдруг Степанов, — никогда бы Юджин Кузанни не получил свою премию на кинофестивале в Сан-Себастьяне; все те, с кем я говорил о нем, были добрыми знакомцами несчастного Лопеса, он делал добро всем, кому мог, а сам... Господи, сколько же имен надо вычеркивать в телефонных книжках... Отсчет начался в шестьдесят восьмом с Левона Кочаряна; лучше Мандельштама не скажешь: «У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса...» Как же бился за публикацию его подборки в журнале «Москва» Поповкин! И его телефон давным-давно вычеркнут; а ведь жена осталась. Не оправдывай себя тем, что дружба определяется двумя единицами — ни больше ни меньше; просто-напросто воронка нового времени поглощает не только молодых, она вбирает всех, без разбора, ритм человечеству задан костоломный, день сплющен просыпанием и обрушиванием в сон. Суета, суета, суета...»

...В Женеве Степанов сразу же поехал в отель «Эпсом», неподалеку от озера, и Дом прессы рядом; хозяин сбросил цену для журналистов со ста пяти до восьмидесяти франков, а номер оборудован кухонькой с электроплитой и холодиль-

ником; можно пойти в соседскую «мигрошку»[1] и купить бумажную сумку с едой — яйца, плавленые сырки, нечерствеющие булочки. Кто-то из друзей горестно пошутил: «Когда я обедаю, меня не оставляет мысль, что я жую зимнюю обувь для жены; любой ужин в ресторане — это съеденная рубашка для брата или какой другой подарок; сколько их надо купить, бог ты мой?!» Только за границей начинаешь понимать бедных работников Госплана — пойди спланируй на всех...

...Дрю Зэлл из «Чикаго сан» остановился в том же отеле; до этого они со Степановым встречались неоднократно; устроились в лобби, попросили кофе, горестно заметили, что еще пять лет назад вместо кофе взяли бы виски; возраст подкрадывается незаметно; голова работает лучше, чем раньше (многолетний опыт не только рождает холодный стереотип тупого и неразумного отталкивания — сие от характера, а не от количества прожитых лет, — но и заряжает огромной информацией, которая обычно альтернативна, то есть лишена догматической зашоренности), но печень сдает, и почки ни к черту, и постоянный страх по поводу того, что утром будет раскалываться затылок, не натянешь кеды из-за того, что опухнут ноги, и боль в пояснице станет горячей, пронзительной, тут уж не до пробежек, глотай аспирин с баралгином и успокаивай себя тем, что через пару часов отпустит, можно наконец сесть к машинке: чем меньше отпущено времени, тем страшнее понимаешь, как много не сделано. Воистину пассивность творчества преступна — нельзя уносить с собою то, что нужно отдать твоим читателям...

За окнами шел мелкий дождь; пузырились лужи; мертвый свет неоновых реклам тускло отражался в мокром асфальте.

— Ваша пресса не понимает Америку, — грустно заметил Зэлл. — Вы лишены сострадания, обычного человеческого сострадания. Не хотите понять, что люди, которые готовили предвыборную программу Рейгана, заранее з а л о ж и л и деньги в ракетный космический комплекс, он ничего не может с этим поделать. Вопрос в том, чтобы авторитет президента Соединенных Штатов хоть как-то сдержал бешеных, а их в моей стране очень много, вы даже не представляете, сколько их, мистер Степанов. Рейган в нынешней взрывоопасной ситуации, особенно после первого

[1] «Мигро» — сеть магазинов в Швейцарии.

раунда переговоров, не самый худший вариант; в его штабе есть здравомыслящие политики.

— Ну-ну, — усмехнулся Степанов. — Полагаете, он изменил свое мнение по поводу «исчадий ада»?

— Делайте скидку на то, что он актер... Эмоции и все такое прочее... Но заметьте: после того как пришел Горбачев, он ни разу более не позволял себе таких высказываний... В конечном счете во время ноябрьской встречи он старался сделать все, что мог... Нынешние переговоры — это следствие, в какой-то, конечно, мере, того впечатления, которое произвел на него ваш лидер...

...Позвонили из миссии США, пригласили Зэлла посмотреть материал, полученный по спутнику: выступление государственного секретаря Шульца о начале прерванного раунда переговоров; тот сказал, что он не один, а с русским коллегой; продиктовал имя и фамилию, вернулся к столику:

— Сейчас ответят, компьютерная справка у них работает отменно.

Ответили быстро: «Будем очень рады русскому гостю».

...Охранники миссии — все как один филиппинцы или таиландцы, толком не поймешь, — показали, куда надо запарковать машину; в приемной Зэлла и Степанова встретил заместитель постоянного представителя, провел в кинозал.

— Видимо, речь может пойти о новой встрече двух лидеров, теперь уже в Штатах, — заметил он, дружески присматриваясь к Степанову. — Мы с большим оптимизмом выслушали Шульца, он был весьма сдержан.

«А как относится к такого рода возможности военно-промышленный комплекс? — подумал Степанов. — Или ЦРУ? Для них встреча в Женеве не была подарком... А теперь эти переговоры... Каково-то им?»

После просмотра поднялись на третий этаж, в столовую. Пришел шеф миссии, засвидетельствовал свое почтение — в рубашке, рукава завернуты, словно у техника по ремонту автомобилей, весел и доброжелателен: «Хорошо бы как-нибудь позавтракать, буду рад вашему звонку...»

Зэлл продиктовал телефон «Эпсома», заметив при этом:

— Надеюсь, завтракать будем не в этой казарме?

Американский представитель снова улыбнулся:

— Здесь делают прекрасный омлет, не гневите бога, Дрю! А выезжать в город я сейчас не могу: мы очень и очень ждем новостей из Белого дома; от того, как сейчас здесь пойдут переговоры о ракетном потенциале, зависит будущее. Как думаете, мистер Степанов, Кремль готов к серьезному диалогу, когда ваш лидер прилетит в Штаты?

— Полагаете, я отвечу «нет»? — вздохнул Степанов. — Здесь, в Женеве, во Дворце наций, после того, как уехал Геббельс, наш Литвинов провозгласил концепцию диалога... Со всеми... Кроме нацистов, понятно... Пятьдесят один год тому назад... Вы считаете политику, как экономисты, тогда как мы склонны обращаться и к тем позициям, которые создала история. Мне кажется, что экономизм вашей политики более грешит пропагандистским ажиотажем, порою чрезмерно эмоциональным, чем наша склонность к историческим ретроспективам; ее конечно же можно бездоказательно ошельмовать, но исключить из серьезного исследования предмета политики невозможно.

— Вы оптимист? — спросил американский представитель; лицо его было усталым, особенно глаза.

— Да, — ответил Степанов. — А в Штатах много оптимистов?

— Это уже эмоции, — ответил Зэлл. — Все то, что не поддается подсчету, эмоционально. Во всяком случае, я не удивлюсь, если у нас дома будет предпринято нечто такое, что помешает оптимизму. — Он обернулся к представителю: — Разве нет?

Тот вздохнул, похлопал его по плечу и поднялся:

— Но коммент, Дрю, но коммент[1]. Извините, я должен вернуться к себе.

СЛАДОСТЬ СВОБОДНОГО СОЧИНИТЕЛЬСТВА-II

Со Стивом Гринбергом, голливудским продюсером, Юджина Кузанни связывали годы дружбы; он был благодарен ему за то, что тот — еще семнадцать лет назад — финансировал его полет во Вьетнам, хотя сам был убежден в необходимости помощи Сайгону, борющемуся против ханойского тоталитаризма. Он же — спустя три года — запустил картину Юджина Кузанни о палестинцах на территории, оккупированной Израилем.

Кузанни тогда грустно пошутил:

— Стив, а я не пущу вас по миру? Израильтяне не простят вам отступничества: я ведь намерен поддерживать палестинцев...

Стив Гринберг пожал плечами:

— Я не знал, что вы расист...

Кузанни удивился:

---

[1] Не комментируется (*франц.*).

— Можете обвинять меня в чем угодно, только не в расизме...

— Я американец, Юджин, я не отделяю свою судьбу от судьбы Америки. В отличие от моих предков я протестант. И не считаю Израиль своей второй родиной. Как консерватор, патриот этой страны, я считаю доктрину Вашингтона на Ближнем Востоке весьма рискованной. Так что не вяжите меня с израильским лобби, обижусь.

— Смотрите, я предупредил... На вас могут потом крепко нажать весьма влиятельные люди.

— Ну и прекрасно. Плохо, когда не замечают. Если жмут, значит, ты состоялся, возможен диалог, а это уже бизнес, что и требовалось доказать. Знаете, есть смешной анекдот, когда два инвалида войны, повесив на грудь плакатики, вроде как у наших безумных пикетчиков, пошли по благотворительным обществам с просьбой о денежной помощи. На груди одного было написано: «Я — американец, сын фермера, потерял на войне слух», а другой тряс плакатиком: «Я — иудей, сын раввина, потерял на войне дар речи». Помогали, понятно, сыну фермера, истинному американцу; кто-то из сердобольных заметил еврею: «Зачем вы пишите о вероисповедании? Смените плакатик». Тогда сын фермера, потерявший на войне слух, заметил иудею, лишившемуся дара речи: «Они нас учат коммерции, Симон, как тебе это понравится?!»

— Смешно, — заметил Кузанни, — только я не понял, к чему вы мне все это рассказали?

— К тому, что я посылаю в Иерусалим вторую съемочную группу, которая будет делать фильм, прямо противоположный вашему...

...Когда Юджин Кузанни пришел к Гринбергу с идеей сделать ленту о схватке между двумя китами военного бизнеса — ракетчиками, связавшими себя с доктриной молниеносного удара по России, и владельцами авиакорпорации, поставившими на иную военно-политическую концепцию, — продюсер не сразу дал ответ, посоветовался с юристами, пригласил на ленч отставного генерала, который поселился в Сан-Диего, но связей с Пентагоном не прерывал, встретился с ведущими обозревателями газет и лишь после этого сказал Кузанни, что готов финансировать сценарий:

— Поглядим, что из этого получится, Юджин. Если я почувствую в сценарной записи вашего будущего фильма хорошую кассу — рискну; в стране есть силы, которые выступают против космического бизнеса... Появится жела-

ние — читайте мне сценарий по эпизодам, обещаю слушать, вы мастерски проигрываете будущую ленту, я словно бы растворяюсь в зрительном зале...

— Купите мне время на радио, буду читать радиосценарии, куда как дешевле, чем вколачивать баки в рисковый кинобизнес.

Гринберг покачал головой:

— Я же просил вас не учить меня коммерции, Юджин. Выгода от радиосценария мизерна. А работать на рекламу вашего имени я не намерен — без соответствующей компенсации. И получить эту компенсацию я должен в моих кинозалах, где станут крутить вашу ленту... Если конечно же я окончательно решу вложить в нее деньги...

Первые эпизоды Гринбергу понравились; поинтересовался; кто прототипы Питера Джонса и Дейвида Ли; выслушал ответ, заметив:

— Как я понимаю, хотите сделать некий сплав игрового и документального кино?

— Именно.

— Рискованно.

— Любой эксперимент несет в себе элемент риска.

— Верно. Видимо, многое будет зависеть от актеров, которых вы пригласите... Кто из звезд согласится войти в ваше предприятие?

— Я хочу поставить на совершенно неизвестных людей, Стив.

Гринберг покачал головой:

— Не годится. Вы пока что не Феллини, на вас не пойдут. Пойдут на звезд мирового класса.

— Поскольку я намерен делать сплав игрового кино с хроникой, звезды разрушат ощущение правды, — возразил Кузанни.

— Наоборот. Люди верят звездам, это пророки, каждое слово которых — истина в последней инстанции... Если Марлон Брандо сыграет сэра Питера Джонса, а Пол Ньюмен — Дейвида Ли, касса обеспечена.

— Ньюмен участвует в движении против космических войн, он не станет работать роль автора космического проекта.

— Почему? — Гринберг искренне удивился. — Не надо путать профессию с позицией. Пол Ньюмен вправе сыграть Дейвида Ли так, как он его видит; хорош мистер Ли или плох — другое дело, главное в том, что только личность

может сыграть личность. Плохо, если страной правят медузы; личностям прощают ошибки; личность, Юджин, прежде всего личность, остальное рассудит время... Давайте-ка почитайте мне новые эпизоды, я переключу телефоны на секретаря...

Кузанни достал из кармана хрустящие листки бумаги, похожие на пергамент, и разгладил их своей тонкой, словно у девушки, ладонью:

— Нью-Йорк, штаб-квартира «Авиа корпорейшн».

...Питер Джонс сидел на председательском месте, закрыв глаза; казалось, он дремлет, тогда как все члены совета директоров концерна с напряженным вниманием прислушивались к тому, что говорил генерал Том Вайерс, только что прилетевший из Бонна:

— Созданный в Европе ракетный щит против русской военной угрозы конечно же внес свою коррективу в стратегию обозримого будущего. Авиация теряет ключевую роль в той концепции противостояния коммунизму, которая отводилась ей какие-то два десятилетия назад. Если корпорация Дейвида Ли получит ассигнования в том размере, в каком планируется, я не вижу другого выхода, кроме как созыв дружеской конференции за этим столом, во главе которого сядут сэр Питер и Дейвид Ли. Если мы сможем выработать новую доктрину защиты демократии, соединив воедино достижения авиации и ракетостроения, тогда, полагаю, начнется новая эра развития... Если десять лет назад шести тысяч самолетов ВВС США, из которых две тысячи триста были произведены на заводах вашей корпорации, хватало для защиты рубежей свободного мира, то ныне...

— Перестаньте, Том, — не открывая глаз, раздраженно заметил Питер Джонс. — Мы же серьезные люди... Свободный мир, не свободный мир — все это словоизвержения. Смотреть надо в корень вопроса: Дейв Ли, начиная с конца семидесятых годов, пошел на нас в атаку. Сначала он выпустил залп против родственного нам «Локхида», да, да, именно он, пора называть вещи своими именами, надоело танцевать на паркетном полу, покрытом скользящим лаком... А потом его люди раздули скандал в прессе и на телевидении по поводу катастроф наших самолетов в Германии... Бонн отказался от приобретения моих «зет-два», чистый убыток двести миллионов долларов. И вы предлагаете мне сесть за один стол с этим сукиным сыном?! Если мы не сможем переломать ноги Дейвиду Ли, мне придется

свертывать производство, лишить работы четверть миллиона американцев и в конечном счете на предстоящем собрании акционеров открыто признаться в грозящем нам банкротстве... Чтобы этого не произошло, нужна новая доктрина, философское обоснование необходимости боевой авиации, которая не уничтожает все окрест, как ракеты мистера Ли, но в случае нужды поражает пересечение улицы Горького, — он усмехнулся, — и Тверского бульвара. Давайте будем щадить людей, как своих, так и противника. Там обитают вполне живые существа, они тоже хотят иметь надежду на выживание после предстоящей схватки. Дейв Ли такого рода надежду им не дает. Я даю. Это тот козырь, который вполне можно бросить на стол. Учесть надо и то, что лишь с самолетов в тыл противника забрасывают десант. С ракеты не бросишь. Итак, дело за доктриной. Кто это будет делать, какой университет, не знаю. Убежден лишь в том, что мой друг Том Вайерс сможет подсказать ученым такие детали новой модели возможной битвы с коммунизмом, которые докажут примат стратегической авиации, а не бессмысленность ракетной катастрофы... Видите, врачи дают мне полгода жизни, а я думаю о будущем... Мистеру Ли сорок два года, а он не отягощает себя кошмарными представлениями о том, что грядет, возобладай его точка зрения. Вы привезли с собою материалы, Том, которые можно сразу же запустить в дело? Вам отпущены часы, не дни — слушание в конгрессе начнется через две недели. Можете сесть в библиотеку с нашими профессорами?

— Я готов, — ответил Том Вайерс и устало улыбнулся. — .Только сначала бы мне хотелось съездить домой и принять душ. Сюда я приехал прямо из аэропорта, проболтавшись одиннадцать часов в самолете.

...Нью-Йорк, сорок вторая улица; возле светофора в автомобиль генерала Тома Вайерса села Мэри, личный секретарь Дейвида Ли.

— Вы славно выглядите, Мэри, — заметил генерал, — очень рад вас видеть... Поскольку со временем у нас жестко, пожалуйста, передайте Дейву: старик поставил на блок науки и Пентагона, — он усмехнулся, — который представляю я... Разработка доктрины м и л о с е р д и я: авиация может выиграть войну, не разорвав шарик в клочья, тогда как ракеты несут тотальное уничтожение человечества. Видимо, у Питера есть сторонники в сенате и конгрессе. Допускаю, что он поддерживает контакты с вице-президентом Бушем — все-таки профессионал, отсутствие избыточных эмоций, как у Рональда, способность трезво оценивать ситуацию...

— Какие университеты он подключает? — спросила Мэри.

— Об этом я узнаю через час, когда начну работать.

— Вечером я получу имена?

— Полагаю, что да. — Он протянул ей микродиктофон. — Здесь запись совещания в совете директоров.

— Спасибо, Том. Остановите, пожалуйста, возле такси...

...Нью-Йорк, штаб-квартира Дейвида Ли.

— Ну что ж! — Дейвид Ли потянулся с хрустом; улыбка шальная, неожиданная, как у десятилетнего шалуна, только глаза не смеются. — Наука так наука. Тем более вкупе с Пентагоном. Пусть себе. А мы пообедаем с друзьями из Лэнгли, правда, Мэри? Как перспектива? Пусть накроют здесь, в гостевом зале. Все должно быть предельно скромным, никаких роскошеств, невидимки этого не любят... Во всяком случае, в рабочее время.

...Гостевой зал корпорации; за огромным овальным столом сидели Дейвид Ли и директор управления разведывательной информации (ЗДИ) Джим Патрик, работающий в Нью-Йорке под крышей вице-президента «Уорлд иншурэнс компани».

Стол был накрыт, как и просил Ли, скромно: салат, фрукты, никакого алкоголя, только вода «эвиан», два стэйка, три сорта сыра к кофе. И все.

— Из того, что говорил старец, — заметил Патрик, кивнув на маленький диктофон, лежащий возле Дейва, — две позиции весьма сильны, не стоит закрывать на это глаза. Первая — милосердие... Мир действительно устал от жестокости, люди мечтают о том, чтобы предстоящая ночь была спокойной, сколько можно играть на нервах человечества?! Вторая: его концепция десанта в России... Это будет многим по душе и у нас, Дейв, хорошо, что вы меня вовремя проинформировали... Люди, отвечающие за «Свободу», тоже хотят дополнительных ассигнований, работа по разложению тыла противника требует щедрых капиталовложений... Таким образом, идея сэра Питера и мечты моих коллег, занятых идеологическим противоборством Кремлю, смыкаются... И я не убежден, что старец поставил только на науку и военных, он достаточно мудр, чтобы игнорировать мое ведомство. Убежден, что ищет подходы. Он их найдет. И наши идеологи бросятся к нему, как к отцу родному, потому что времени им практически не осталось...

— То есть? — удивился Ли.

— Объясняю. Если русские преуспеют в реформе, тогда «Свободе» будет практически не к кому апеллировать. Сей-

час Россию губит, как они говорят, уравниловка... Понимаете смысл этого слова?

— Вполне.

— Видите, как хорошо... А ныне русские начинают реформу, которая базируется не на голых отчетных цифрах, а на реальном деле, результат которого обязан быть подтвержден не словесами, но товарами на прилавках магазинов, новыми марками автомобилей и видеоприемников, свободным правом строительства коттеджей и кардинальной перестройкой системы сервиса, который в России чудовищен. То есть все люди получат возможность включиться в орбиту общегосударственного дела, которое сулит получение реальных денег.

— Хорошо, что вы меня просветили, Джим. Предложения?

— Я бы предпочел послушать ваши.

— Они достаточно просты. Мне нужно получить — естественно, от вашей самой доверенной агентуры в Москве — последние данные о русской ракетной системе, о финансировании разработки их новых систем ПВО... Собственно, это нужно в первую очередь вам, — уточнил Ли, — чтобы было с чем идти и к вашему директору, и — в случае нужды — к президенту. Я помогу вам в выходе на Белый дом...

— Что вы подразумеваете под словами «самая доверенная агентура»?

— Уровень. Что здесь, что там, Джим, прежде всего ценится уровень. У вас есть такой человек?

Джим Патрик, могучий ЗДИ, улыбнулся:

— Неужели вы думаете, что я отвечу, если даже такой агент у меня есть?

— Я попробую вас убедить в том, что ответ угоден не столько мне, Джим, сколько этой стране и делу демократии.

— Валяйте, — сказал ЗДИ, — я весь внимание...

— Ну а дальше? — спросил продюсер Гринберг.

— Не знаю, — ответил Кузанни. — Об этом знают только два человека: Дейв Ли и сэр Питер Джонс... Дьявольщина какая-то, я уже не могу говорить просто «Питер Джонс», только «сэр»...

— Магия слова, нашедшего свой образ... Конечно, Марлон Брандо был бы на месте, но он берет за роль два миллиона, вряд ли я на это пойду, хотя окончательное решение примем, когда вы закончите запись сценария... Мне интересно, Юджин, мне весьма любопытно узнать, что будет дальше, значит, вы на пути к успеху...

— В таком случае, — усмехнулся Кузанни, — у вас есть реальная возможность помочь мне пройти этот путь за максимально короткое время.

— Вы хотите куда-то поехать? — полуутверждающе спросил Гринберг.

— Точно.

— Куда?

— На переговоры в Женеву.

— Хорошо, я закажу вам билет и отель на берегу озера. Неделя? Десять дней?

— Две недели, Стив, не будьте скупердяем.

— Не видели вы настоящих скупердяев, Юджин. Хорошо, две так две; если что-нибудь придумаете — звоните, я пока буду здесь...

...Художник, видимо, тем и отличается от всех иных смертных, что правда жизни, складывающаяся из эпизодов, запавших в его память мимолетных встреч (в свое время Кузанни снимал для телевидения выездку коней на ранчо директора «Локхида» во время раскрутки дела об орехах[1]), обрывков фраз, анализа литературы, поездок по миру, бесед с учеными, бормотанья шлюхи с Клиши про то, что грядет конец мира (шальная мулатка, у которой он провел ту ночь, почувствовала в нем не скотское желание, а мужскую одинокую нежность, поэтому открылась ему, читая «Апокалипсис»: «Ведь это уже было, а как похоже на то, что нас ждет, правда?»), передач теленовостей, воспоминаний об ушедших друзьях и ночных — тревожных и не подвластных фантазии — видений, рождается под его пером (кистью, камерой) совершенно заново, в наиболее концентрированном, что ли, виде. Уровень таланта, таким образом, определяется не только мерой приближения к правде, но и даром предвидения, вне и без которого истинное искусство невозможно; холодное бытописательство не волнует более человечество; люди жаждут «откровения от завтра», даже если речь идет о событиях столетней давности.

...Так и Кузанни силою своего дара угадал тенденцию, не зная, понятно, всех тех подспудных, глубоко упрятанных перипетий предприятия, начавшегося на Нью-Йоркской бирже месяц тому назад.

Продолжением акции, действительно начатой в Нью-Йорке не вымышленным фантазией сценариста Дейвидом

---

[1] Орехи — взятки *(америк. жаргон.)*.

Ли, а одним из вполне реальных боссов ВПК США Сэмом Пимом, сделавшим ставку на космическое вооружение, был повторный выброс американских разведчиков, работавших в Москве по документам, выданным государственным департаментом Соединенных Штатов, которые, однако, подчинялись не придуманному заместителю директора ЦРУ Джиму Патрику, а вполне реальному ЗДРО — заместителю директора разведывательных операций ЦРУ США, получившему указание в связи с началом женевских переговоров об ограничении ракетных вооружений срочно организовать информацию, дающую возможность торпедировать возможное соглашение.

Именно так — он получил указание; Сэм Пим был человек крутого норова, хотя справедливый, в бирюльки не играл, задачу определял бескомпромиссно. «Я должен получить ассигнования, — сказал он ЗДРО, встретившись с ним на нейтральной почве. — Успех в Женеве этому, ясное дело, помешает. Там сидит ваш человек, Чарльз Макгони, его брат член нашего совета... Вооружите Макгони такой информацией, которая заставит наших «голубей» повременить с каким бы то ни было соглашением... Мы должны провести через конгресс все дела до новой встречи на высшем уровне... А там видно будет... Как вы это сделаете, я не знаю, но то, что вы это должны сделать, — убежден».

Говорить столь резко у Сэма Пима были весомые основания: двадцать семь лет назад именно его адвокатские фирмы вытащили ЗДРО (тогда еще начинающего дипломата) из скверно пахнувшей истории — приходилось отслуживать; закон сцепленностей, от этого не убежишь, как ни старайся.

Единственным, кто мог «организовать» нужную информацию, был агент Н-52, законсервированный ЗДРО последние шесть лет, невероятно ценный источник информации; что ж, жизнь есть жизнь, она диктует нам поступки, а не мы ей, увы... Жаль агента, но ведь себя-то жаль еще больше, разве не так?

...«Генерал-лейтенанту...

Вчера в 21 час 33 минуты четыре машины, принадлежащие работникам ЦРУ, служащим в посольстве США в Москве, на большой скорости выехали из ворот и направились по разным маршрутам.

Автомобиль марки «мерседес», принадлежащий Честеру Воршоу, с тремя пассажирами свернул на набережную;

возле магазина «Ганга» из машины выскочил работник консульского управления Питер Юрс и направился к будке телефона-автомата; Воршоу продолжил движение по набережной, на большой скорости доехал до Лужников; там из машины вылез Ирвинг Кранс и также побежал к будке телефона-автомата; Честер Воршоу, не дожидаясь его, выехал к Новодевичьему монастырю и вернулся в посольство, нигде более не останавливаясь; Юрс и Кранс, сделав два телефонных звонка каждый, вернулись в посольство городским транспортом.

Водители второй и третьей машин («паккард» и «форд-гренада») проехали соответственно по Садовому кольцу до разворота за Смоленской площадью, затем по Кропоткинской, мимо бассейна «Москва» и через центр вернулись в посольство; вторая машина потом отправилась на ВДНХ; возле метро «Проспект Мира» из «форда-гренады» вышел пассажир (сотрудник ЦРУ Роберт Майер), сел в последний момент в вагон поезда, следовавшего от «Проспекта Мира» к «Комсомольской».

В посольство Роберт Майер вернулся на такси через сорок девять минут после того, как ушел из-под наблюдения».

Генерал снял очки и поднял глаза на Славина:

— Ну и что вы на все это скажете? Майер ведь в это время не в пинг-понг играл, а получал информацию. Или закладывал тайник. Ваши предложения, Виталий Всеволодович...

РАБОТА-I

— Ну, хорошо, хорошо, — вздохнул Славин, не отводя глаз от капелек пота на мясистой короткой шее Иванова, — согласен, вы правы, но я все-таки считаю одной из наших главных болезней прожектерство, Георгий Яковлевич. «То плохо», «это не годится», «здесь глупим», «тут ерунду порем» — все верно, я могу еще с дюжину наших неполадок перечислить. Предложения? Меня интересуют предложения. Впрочем, почему именно меня? Нас с вами, общество в целом.

— Знаете ли, я расчетчик, а не философ. Не замахиваюсь на модель общества... — Улыбка на асимметричном лице Иванова была какой-то неестественной, вымученной. — Я словно акын: что вижу, то и пою. Я вижу, например, как мы сплошь и рядом из-за кумовства, блата, некомпетентности прицельно расстреливаем науку, вот и говорю об этом на каждом углу, наживая себе врагов... Могучих, надо сказать, врагов...

— Это опять-таки констатация факта, — досадливо заметил Славин. — А я жду предложений.

— Так ведь предложение Маркс сформулировал, Виталий Всеволодович! Лучше не скажешь: «От каждого по способностям — каждому по труду». А мы вместо этого постулата, несущего в себе высшую интеллектуальную ценность, ибо он благодаря своей универсальности приложим к каждому трудящемуся человеку, обрушились в общинную концепцию: «Все равны; если у меня нет дачи, то пусть и у соседа не будет». А ведь сосед, у которого и дача и машина, вместо того чтобы водку лакать дал пять рационализаторских предложений, которые сэкономили заводу миллион рублей. Конечно, вымпел ударника коммунистического труда получить приятно. Однако на сатиновый вымпел передовика производства туфли жене не купишь, а на советские дензнаки — вполне... Если, конечно, есть связи в сфере торговли, с тем особенно, кто распределяет фонды итальянской обуви... Допустим, я директор института, — улыбнулся Иванов. — Хотя такое вряд ли допустимо... Тем не менее... Я знаю, чего ждет промышленность. Я просчитал, какую прибыль получит институт, если заказ промышленности будет реализован в максимально короткий срок. Что я должен сделать?

— Работать, — усмехнулся Славин.

— Что значит «работать»?! Я должен согласовать идею в главке, Госплане, Главснабе, Минфине, Госстандарте, Госкомцене, академии! На это уйдет по крайней мере полгода... Так?

— Год.

— Я взял оптимальный вариант, — вздохнул Иванов, — со ссылкой на то, что моя отрасль особая, передовой рубеж науки, нам все же легче. А я сейчас про директора института одежды фантазирую.

— Тому надо полтора года.

— Хорошо мыслите, — кивнул Иванов. — Я отчего-то полагал, что представитель центральной прессы должен защищать существующее, ограничиваясь замечаниями косметического свойства.

— Газеты редко читаете.

— Что верно, то верно.

— Зря. Ну, поехали дальше...

— Поехали. Утвердил я тему, поставили ее мне в план. И все! Сиди, мозгуй, кропай, — зарплата идет, чего волноваться?! А ну, позволь мне пойти в вашу газету и напечатать объявление: «Научно-исследовательский институт

приглашает на замещение вакантных должностей старшего научного сотрудника, младшего научного сотрудника и лаборанта сроком на два года по теме: «Создание покупаемых фасонов отечественной обуви». Оплата труда — по способностям, от трехсот до тысячи рублей в месяц. Деньги, отпущенные государством на разработки фасонов сроком на год, если успели сделать качественные предложения и они внедрены в производство через восемь месяцев, распределяются между научными сотрудниками и рабочими в зависимости от их вклада в общее дело». Представляете, сколько бы мне пришло заявлений?! Но ведь у меня, у директора, даже статьи такой нет — на оплату услуг прессы! Я жульничать должен, чтобы такое объявление напечатать! Я обязан вовлекать в преступный сговор бухгалтера, кассира, профком — вот вам и нарушение закона. Допустим, сошло с рук. Предположим, три человека, отобранных по конкурсу, разработали новый фасон и прекрасную технологию... За полгода... Осталось десять тысяч рублей. Я обещал распределить их между теми, кто внес серьезный вклад в дело, которое сэкономит стране сотни миллионов. Думаете, мне позволят распределить эти деньги между десятью светлыми головами? Ха-ха-ха! Давно я так не смеялся! Общинной модели мышления угодно выдать премию тысяче сотрудников — по пятнадцать рублей, зато все равны, никаких обид! Бюрократ построил себе роскошный храм из инструкций: любое дело можно погубить, никто работы не спросит, только была бы соблюдена инструкция! А их у нас миллион! Пример номер два. В моем отделе работают двенадцать человек. Из них пять — настоящие инженеры, остальные — люди в науке случайные. Как я, начальник отдела, могу от них избавиться? Никак! Гарантированное право на труд!

— Вы против этого права?

— За! Двумя руками за! Но позвольте мне, начальнику отдела, платить пятерым светлым головам за их труд, за реальный взнос в д е л о, а не за тот стул, на котором они сидят! Конечно, при нынешней системе хозяйствования статистике куда как просто сводки составлять — никаких забот, знай крути арифмометр!

— Предложение? — снова повторил Славин.

— О главном я уже сказал. В начале нашего разговора. Нас душит скафандр бюрократического аппарата. Дайте руководителю задание и деньги. И, понятно, срок. Жесткий срок. Но позвольте мне, руководителю, стимулировать рост светлых умов для страны! Светлые умы и золотые руки —

в результате ненормированной заинтересованности — давали бы народному хозяйству миллионную экономию. Тем, кто мыслит, тем, кто горит делом, позвольте мне платить так, как они того заслуживают!

— Вы, руководитель отдела, точно знаете, чего они заслуживают?

— Бесспорно!

— Ну а если руководитель — дурак? Такое возможно? Или человек со скверным характером? Или пристрастный? Или самовлюбленный? Или хам? От такого рода ситуации вы гарантированы?

— Ну вот, — вздохнул Иванов, — все возвращается на круги своя. Конечно, не гарантирован! Конечно, есть риск. Конечно, проще оставить все как есть. Знаете, какая у нас у всех болезнь?

— Не знаю.

— Мы хотим все заранее п р о д у м а т ь. А такое невозможно.

«Он говорит, как Степанов, — подумал Славин, — его словами; у всех наболело, все об одном и том же...»

— Когда Циолковский начинал свое дело, — продолжил Иванов, — его объявили психопатом: чугунка еле-еле ходит, а он на небеса замахивается! Руководитель, к вашему сведению, это тоже талант! А мы ищем таланты не в живом деле, а в анкетах. Папа с мамой в порядке? В порядке! Выговоров не имел? Нет! Иван Иванович к нему благоволит? Вроде бы да. Пойдет! Через полгода видим: дурак дураком, тьма и чванство! Но снять не моги! Неудобно, только назначили, нас не поймут, надо с человеком поработать, не боги горшки обжигали... Во всяком деле важно н а ч а т ь, Виталий Всеволодович. Определить границы риска, точно знать конечную цель — и всё! Ура, вперед! Эксперимент — явление саморегулирующееся! Он отсекает дурь, если у тех, кто его проводит, есть права! На пустом месте инициативу не создашь. Либо бытие определяет сознание, либо — в пику этому положению, по догме Ватикана, — сознание определяет бытие. Я, знаете ли, противник расхожего: «Надо повышать сознательность!» Ну-ка, повысьте сознательность у рабочего на конвейере, если он не убежден, что в зависимости от того, сколь тщательно он заворачивает свою гайку, в конце года получит премию — и не двенадцать рублей, а пятьсот! «Человек есть то, что он ест!» — тоже, кстати, не Ватикан придумал, а наши великие предки! Мы все больше считаем, как, не уплатив, сэкономить, а надобно исходить из другого: как бы поскорее да получше

получить, уплатив за отличную работу процент с прибыли. Все остальное -- болтовня и химера.

— Скажите, Георгий Яковлевич, а вот можно просчитать, хотя бы приблизительно, какой урон был нанесен делу из-за того, что вы не поехали на конгресс в Будапешт?

— Можно, — машинально ответил Иванов, продолжая, видимо, думать о своем. — Тысяч на сто, считаю.

— Слишком уж круглая цифра, — заметил Славин. — Почему именно сто тысяч?

Иванов неожиданно поднялся со стула (как легко движется, что значит спортсмен):

— Погодите, погодите, а откуда вам известно, что меня не пустили?

— Так я в институте не только с вами говорил. . Мир слухами полнится.

— А чего ж вы тогда со мной беседуете? Я же хам и разложенец! Клинья под меня бьете?

— Это не по моей части. Я, наоборот, и в падшем ангеле стараюсь найти черты непорочной девы. Нет, меня действительно интересуют реальные потери, если они были..

— Извольте... Наука ныне вне обмена идеями невозможна... Согласны?

— Вполне.

— Трата денег на повторение того, что уже где-то изобретено, — государственное преступление. Так? — атакующе спросил Иванов.

— Государственное преступление предполагает следствие и суд.

— Именно.

— Кровожадный вы.

— Нет. Я справедливый. И если моей стране наносят урон, это, полагаю, вполне подсудное дело. Доброта, знаете ли, бывает порою хуже воровства... Продолжаю... На конгрессах такого рода, какой был в Будапеште, собираются не болтуны, а люди компетентные. На Западе деньги на турне просто так не выпросишь, там все контролируется конечным результатом дела... У нас эта поездка была запланирована за два года еще... Кого тревожит, что лишь я, простите, не хвалюсь, стал определенного рода монополистом в моей проблематике? Никого «Пошлем другого, из того же отдела, какая разница?!» Ну и послали профессора Яхминцева, который был и остается идейным противником моей концепции, в науке он случаен, не горит ею, а работает по теме, утвержденной в плане То, о чем я мог говорить с испанскими, канадскими, чешскими

и японскими коллегами, он не может Идеи, рождающиеся в моей отрасли науки, патентуются на Западе не менее чем на сто тысяч долларов. Пару-тройку идей я бы наверняка привез, тем более меня там ждал Роберт Баум, владелец патентной фирмы, держит руку на пульсе передовой науки...

— Сам-то он исследователь?

— Нет. Бизнесмен. Но за одного такого неисследователя я бы трех наших кандидатов наук отдал..

— Откуда вы его знаете?

— Он к нам трижды приезжал в Дубну и Новосибирск на конгрессы... Серьезно говорю, тройку б любопытных идей я оттуда привез...

— Значит, если следовать вашей логике, убыток составил триста тысяч, а не сто, — заметил Славин. — Мне ваш директор сказал, что на ваше имя поступило новое приглашение, в Софию. Поедете?

— Пошел за билетом, — жестко усмехнулся Иванов. — Где продают?

— Почему не ставите вопрос о снятии взыскания?

— Потому что не считаю себя виновным.

— Почему же тогда не апеллировали?

— Потому что сначала надо провести закон о словесной градации между грубостью и констатацией факта. Яхминцева я считаю паразитом на теле науки, отказываться от моих слов не буду. За границу не рвусь, мне и тут хорошо.

— А ущерб? — тихо спросил Славин. — Вы спокойно относитесь к тому, что страна терпит ущерб из-за того, что вы не встречаетесь со своими коллегами? Как-то эта позиция не очень вяжется с тем, что вы говорили в начале нашей беседы, Георгий Яковлевич.

— Резерв прочности... Слыхали такую формулировку? Каждому металлу, сплаву, станку, ракете, человеку отпущен резерв прочности... Начну метаться — сосудик лопнет, и вся недолга... А так я в прекрасной форме, работаю с удовольствием, не стыдно смотреть на свое отражение в зеркале. Захотят разобраться — разберутся. Унижаться не намерен.

— Поиск правды не есть синоним унижения.

— Вы меня извините, Виталий Всеволодович, но, думаю, такого рода вопрос особого интереса не представляет. Вы не компетентны его решить, потому что мои разногласия с Яхминцевым выражаются языком математических уравнений. Нас могут рассудить специалисты, да и то далеко не все... Вы по профессии кто?

— Аналитик, — усмехнулся Славин. — И поэтому было бы славно, попробуй вы все-таки пробить себе поездку в Софию.

...Домой Славин вернулся в два часа ночи; за город, в свой маленький домик, не ездил теперь, темп работы не позволял, ночевал в Москве. В вестибюле, открыв почтовый ящик, сразу же увидел бумажку с почты; он ненавидел эти бумажки трясучей, плохо сдерживаемой ненавистью; словно бы нарочно всё придумывают так, чтобы доставить клиенту неудобство, да и самим работникам почты (зарплата маленькая, одни старушки дело тянут, бедолаги) тоже: «Получите заказное письмо в... с... и до...»

«Хорошие вы мои, нет у меня времени приходить на почту за заказным письмом, это ведь Ариша пишет, она человек обстоятельный, сколько раз ее просил посылать обыкновенные конверты; я завтра в восемь уеду, обедать буду в ЧК или вовсе не буду, если Константинов отправит на выезд. Обидно же, любимая пишет, каждая ее весточка как солнечный лучик... Отправь шофера отдела — потребуют доверенность, а ее надо оформлять два дня! Господи, до чего же мы нерасторопны в своем желании во всем и везде добиться абсолютного, то есть отчетного порядка: письмо вручено, час, дата, подпись...

Лежит бедное Аришкино письмо — умное и нежное, она их прекрасно сочиняет — вместе с какими-нибудь повестками, кляузами, пустыми поздравлениями; чувства, отданные бумаге, хранят человеческое тепло; как же сейчас холодно Аришиным словам в темной комнате почты, где свалены кипы конвертов; бедненькая моя подружка, нежность ты моя с головой мыслителя...»

«ЖУРНАЛИСТИКИ ВНЕ КИНОМОНТАЖА ОТНЫНЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!»

«Как и всякий профессиональный литератор, я жаден не от скупости, но от вполне естественного любопытства, стремления увидеть как можно больше своими глазами...

Прилетел я в Женеву именно в тот день, когда открылась выставка импрессионистов из частных коллекций; в полупустых залах — тихих, освещенных нежностью весеннего солнца — можно было всласть подумать о том, отчего этих жизнелюбов поначалу подвергли такой массированной трав-

ле, кто водил рукою наемных писак, утверждавших, что живопись Ренуара и Матисса — мазня и дань дурному вкусу нуворишей, им, видите ли, нравится держать в своих гостиных картины тех, кто восстал против академической, раз и навсегда утвержденной официальной живописи. Со всеми ее атрибутами: эполеты, развевающиеся знамена, приукрашенные до приторности лица императоров с маршалами и заданно-счастливые улыбки подданных, приветствующих очередную победу на поле битвы...

Но потом я спросил себя: стоит ли тратить время на исследование извивов этой критической мысли, старательно отслуживающей щедрому заказчику подбором цитат и компоновкой доказательств, радующих каменные сердца унылых традиционалистов, когда перед тобою красота, вечная, как дружба и любовь, когда ты ощущаешь дуновение ветра с реки, восторгаясь раскованными позами людей, приехавших на загородный пикник, и когда ты не в силах оторвать взгляд от прелестных глаз ренуаровской красавицы?!

Растворение в человеческой красоте и неизбывности мира особенно важно, если незадолго перед вылетом в Женеву, на переговоры о том, можно ли предотвратить уничтожение цивилизации, мне разрешили посмотреть на тех, кто определяет будущее земли как реальность нашей звездной системы...

Мне стало особенно тревожно за беззащитное человечество, когда я, замерев перед Гогеном, вспомнил тот час, когда подъехал к подножию горы Шайенн, штат Колорадо; оттуда, из штолен, пробитых в скальных массивах, Вашингтон получит первый сигнал о ядерном ударе; здесь находится Объединенное командование аэрокосмической обороны Америки; тут круглосуточно собирается информация с датчиков на борту спутников и радиолокационных станций во всем мире, чтобы на ее основе произвести немедленную оценку любой возможной угрозы.

Через несколько минут результаты этого анализа будут переданы президенту для принятия решений о том, когда и как отдать приказ об ответных ударах.

Однако, чем дальше, тем больше работа в штабе аэрокосмической обороны становится предметом растущей тревоги. Все чаще говорят о возможности запуска ядерных ракет на основании сигналов, которые могут быть неправильно истолкованы.

Те, кто скептически относится к ядерной политике страны, опасаются, что ошибки, допущенные людьми или машинами, могут привести к тому, что ложная тревога не-

исправных датчиков будет похожа на сигнал о нападении. Это, как они считают, может вызвать ошибочную оценку, которая будет передана в Вашингтон и побудит президента принять решение запустить американские ракеты для ответного удара. Вот так и начнется ядерная война.

Командующий сигнальным комплексом утверждает, что подобные ошибки исключены и ложная тревога не может привести к катастрофе. Решения, принимаемые в недрах этой горы в непосредственной близости от Колорадо-Спрингса, должны измеряться минутами и секундами. При появлении вражеских ракет наземного базирования траектория полета до США займет от тридцати до тридцати пяти минут; в случае если ракеты будут запущены с подводных лодок, это время сокращается до восьми минут. В таких условиях, сказал генерал ВВС Джеймс Хартингер, «не может быть сомнений в правильности оценки командующего».

Генерал заметил, что его главная задача — обеспечить Вашингтон «своевременным, недвусмысленным, надежным предупреждением» о том, что налет русских на Северную Америку начался. Он должен лично оценивать каждый из пятисот запусков ракет и спутников, производимых странами мира за год. «Я верю в непогрешимость нашей системы датчиков, компьютеров, наших людей, оперативных методов, и следовательно, я на сто процентов уверен в правильности своих оценок», — утверждал он.

Относительно ложных тревог в прошлом Джеймс Хартингер заявил, что ошибки были быстро установлены. Он уверен, что нет даже «одного шанса на миллион», будто ложная тревога может привести к выводу о начале вражеского нападения.

Со времени ложных тревог в 1979 и в 1980 годах, продолжал он, сто сорок миллионов обработанных компьютерами сообщений — в среднем шесть тысяч семьсот в час — переданы без единой ошибки. «Именно такого качества работы мир вправе требовать от нас», — заключил генерал Хартингер.

Критики, однако, давно уже опасаются, что именно ошибки могут привести к непреднамеренной ядерной войне, особенно в связи с усилением современного оружия. Герберт Сковилл, бывший помощник директора агентства по контролю над вооружениями и разоружению, неоднократно подвергал сомнению решение президента Рейгана о развертывании ядерных ракет МХ на том основании, что страх по поводу упредительного удара противника именно по этим ракетам может способствовать ложному толкованию данных

систем предупреждения и в результате просчета привести к ядерной войне.

Артур Мейси Кокс, специалист по контролю над вооружениями, недавно заявил, что эта система достаточно часто генерирует ложные сигналы тревоги, а в напряженной обстановке международного кризиса возможности просчета неминуемо возрастут.

Однако в докладе, опубликованном сенатором Барри Голдуотером (республиканец, от штата Аризона) и сенатором Харри Хартом (демократ, от штата Колорадо) после ложных тревог в 1980 году, говорилось: «Никоим образом не приходится утверждать, что США были близки к развязыванию ядерной войны в результате инцидентов, имевших место 3 и 6 июня. Система, по сути дела, сработала верно, и, хотя механическая электронная часть давала ошибочную информацию, человеческий элемент правильно оценил ее и предотвратил какие бы то ни было непоправимые действия».

Скептики в основном находятся среди противников рейгановских планов увеличения военных расходов, его предложений по возобновлению ядерного сдерживания, спорной программы «МХ» и тем более развертывания вооружений в космосе. Они не обладают особым влиянием в правительстве, имея лишь незначительную поддержку в конгрессе, который санкционировал решение начать программу (на двадцать миллиардов долларов) по усовершенствованию системы предупреждения и связи.

...Объясняя, как работает система предупреждения, офицеры заявили, что через несколько секунд после того, как вражеские ракеты поднимутся из своих шахт и включатся их двигатели, заработают консольные дисплеи с зелеными экранами, затрещат высокоскоростные телетайпы и в центре предупреждения о ракетном налете, в космическом вычислительном центре, на командном посту закипит работа. В то же самое время дежурные офицеры в Вашингтоне, командование стратегической авиации в Омахе и другие командные посты во всем мире придут в состояние готовности. Со своего места на втором ярусе трехэтажного командного поста командующий увидит на одном из двух экранов во всю стену след полета ракет. За ракетами будут смотреть секунда за секундой по мере того, как они станут проходить по своей тридцатиминутной траектории до США.

На другом экране данные восьмидесяти семи компьютеров в штабе могут обозначить позиции вражеских под-

водных лодок в Атлантике или на Тихом океане, орбиты разведывательных спутников русских.

Когда вся картина предстанет перед командующим и его штабом (сбоку и за спиной у которых похожие на телевизоры консоли), он возьмет трубку бежевого телефона для сверки с дежурными офицерами в центрах, подающих информацию на командный пост или на позиции датчиков во всем мире.

Генерал проведет с другими старшими командующими так называемое совещание по оценке угрозы и передаст свое мнение национальному командному центру в Пентагоне для передачи президенту, где бы тот ни находился. Если офицеры в центре сочтут это необходимым, они созовут совещание о ракетном ударе с участием президента. Такое, правда, пока еще ни разу не проводилось.

...Матисс умер уже после войны, а состоялся как гений в конце девятнадцатого века; непрерывность процесса преемственности благотворна — без старого мэтра не было бы Пикассо, Ларионова, Шагала; разрыв возможен, когда доктор перерезает пуповину новорожденного, провозглашая появление нового чуда — человека; разрыв объясним, когда доверчивый лик любви исказила гадкая маска измены; все другое от лукавого, наваждение.

Думает ли кто-то в недрах горы Шайенн о Матиссе как о символе, объединяющем в себе два века? Не знаю, не убежден.

...А ведь здесь круглосуточно работают три смены, по двести пятьдесят человек каждая, плюс еще шестьсот пятьдесят человек вспомогательного персонала.

Чтобы оградить комплекс от диверсантов, повсюду стоят контрольные посты. Каждый, кто входит вовнутрь, подвергается проверке вооруженным постом за пределами тоннеля, ведущего в комплекс, и потом снова при входе в помещения. Особо секретные зоны обозначены специальными знаками. Как рассказывают офицеры, все работающие здесь подвергаются регулярной проверке психологами.

Диверсия извне затруднена, так как комплекс в горе в основном сам обеспечивает себя всем необходимым. Собственным энергопитанием, обеспечиваемым шестью дизельными генераторами, и собственным запасом воды, продовольствия и других припасов на тридцать дней. Венти-

ляция устроена таким образом, чтобы защитить от радиоактивности.

Важнейшая информация попадает на командный пост с центра предупреждения о ракетных налетах и с космического вычислительного центра. Оба они расположены поблизости от командного поста, в зданиях, построенных на мощных источниках, чтобы абсорбировать ударную волну от ядерного взрыва снаружи.

«Сырые» данные, поступающие в центр предупреждения о ракетных налетах слабо освещенное помещение размером в обычную жилую комнату, до отказа набитое аппаратурой, — попадают сюда с двадцати четырех датчиков во всем мире, включая три спутника, способных вести наблюдение за любой точкой в Северном полушарии.

Один из здешних офицеров сказал, что система дает примерно пять ложных тревог в год. Ложная тревога может быть вызвана лесным пожаром где-нибудь в Сибири, обнаруженным инфракрасными спутниками...

Офицеры заявили, что приняты меры во избежание ложных тревог, вроде тех, которые имели место в 1979 и 1980 годах. В ноябре 1979 года один техник заложил в какой-то сектор системы в целях проверки учебную ленту, имитирующую массированный налет. По ошибке данные попали в эфир и послужили основанием для сигнала тревоги.

Сейчас подобного рода проверки производятся за пределами горы Шайенн.

В июне 1980 года компьютерный микроэлемент дважды сбился и стал передавать ложные сигналы о ракетных налетах.

В октябре 1981 года президент Рейган огласил план на сто восемьдесят миллиардов долларов, призванный вдохнуть новую жизнь в американские ядерные средства сдерживания. Из этой суммы двадцать миллиардов долларов предполагалось израсходовать на средства связи и управления, а остальное должно было идти на оплату оружия.

Комплекс в горе Шайенн первоначально был задуман для управления действиями по защите от вражеских бомбардировщиков, в расчете на то, чтобы выдержать ядерную бомбежку.

Но точность и взрывная мощь ракет делают его уязвимым. Генерал Хартингер сказал: «Гора Шайенн не может считаться неприступной в силу точности и мощности МБР Но наша система обнаружит их, и мы сумеем выполнить нашу главную миссию».

Какую?

Сообщить президенту о том, что через тридцать минут наша планета погибнет?

...Закон киномонтажа будет определять журналистику и литературу — чем дальше, тем больше. Я не отношу себя к тем, кто считает фильм или голубой экран злейшим врагом прозы, наоборот, самые талантливые ленты и передачи ТВ несут на себе печать высокой литературы; «Войну и мир» или Хемингуэя не отбрасывают в сторону, когда Си-Би-Эс начинает показ вестерна, а если и отбрасывают, то такого рода люди не должны особенно тревожить тех, кто ответственен за гуманность планеты. Думать надо о тех, кто читает Стендаля и Сервантеса, а не впивается взором в скачущих ковбоев. Они, читающие, определяют мир и его сущность.

Однако же литература (а журналистика есть ее важнейшее подразделение, «морской десант», сказал бы я) не может не думать о том, что принес в мир кинематограф. Ограниченность времени для реализации замысла и количество мест в кинотеатре понудили режиссеров и писателей создать качественно новую школу монтажа, когда одна короткая деталь заменяет многие страницы текста и сотни метров пленки, вызывая при этом адекватное чувство читающего зрителя.

Поэтому я и закончу свой репортаж тем, с чего начал: тихое солнце Женевы, выставка импрессионистов на берегу озера, глаза ренуаровской женщины, не отпускающие тебя — столько в них невысказанной доброты, преданности и нежности, — и одновременно с этим совсем неподалеку переговоры, которые могут открыть путь к диалогу лидеров или же забаррикадировать его.

Признаюсь, мне стало страшно и пусто, когда я посетил здание, где идут эти переговоры, в особняке заседают люди, которые — по своей дипломатической обязанности — могут содействовать тому, чтобы Ренуар, Матисс и Гоген сгорели, как и вся эта тихая Женева, Париж, Нью-Йорк, Москва, или же остались жить; такие же, как и мы с вами, только в накрахмаленных рубашках и галстуках; человечество доверило им себя; справятся ли эти люди с такой поразительной по своей ответственности задачей?

Юджин Кузанни —
специально для «Нью-Йорк трибюн».

РАБОТА-II

О непознанное таинство пересекаемости характеров, ситуаций, случайностей! Однако же сплошь и рядом в результате этой кажущейся неуправляемости жизненного потока складывается некая жесткая схема, обретающая смысл и форму логической необходимости.

...Повторный запрос, отправленный Лэнгли в Москву по поводу информации агента Н-52 (руководство ЦРУ требует ускорения работы; готовится доклад Белому дому, необходимы самые последние данные о ракетном потенциале Советов; наши аналитики допускают, что агент имеет доступ к устаревшим материалам; сведения об ударных силах русских, отправленные им, расходятся с теми, которые ЗДРО передал Чарльзу Макгони, представляющему нашу службу на женевских переговорах; срочно затребуйте у Н-52 самые последние, наиболее секретные документы), был сразу же доложен резиденту; тот вызвал заместителя, молча показал ему расшифрованный текст; увидев, что заместитель дважды прочитал текст, произнес лишь одно слово:

— Поторопитесь.

Тот пожал плечами:

— Мы работаем на пределе сил.

— И тем не менее поторопитесь, пожалуйста.

...Операция по закладке тайника (закамуфлированного под булыжник) прошла успешно, от наблюдения удалось оторваться, однако агент Н-52 в условленное время на связь не вышел, сообщив по запасному каналу, что не мог вернуться из-за города, и просил заложить этот же контейнер послезавтра, в месте, обусловленном «вариантом Д».

Попытка забрать тайник с места закладки (аллея в Сокольниках) не увенчалась успехом: в непосредственной близости от условленного места проводила оздоровительные занятия физкультурой группа пенсионеров.

Было принято решение выбрать тайник сегодня; для этого подготовили операцию с одновременным выездом четырех машин, как и в тот день, когда Н-52 был «расконсервирован».

Однако же контейнер и на этот раз не удалось изъять: как раз у места закладки сидели два молодых человека; рядом валялись яичная скорлупа, обертки от плавленых сырков и бутылка из-под лимонада.

...Дело в том, что за три часа перед тем, как разведчики ЦРУ в Москве начали операцию по изъятию «булыжника», именно в это место Сокольнического парка пришли студенты института иностранных языков Алексей Покодаев и Виктор Челищев, отправленные перебирать помидоры на овощную базу.

Покодаев заметил в деканате, что лучше б объявили в газете, что каждый двадцатый помидор будет отдан перебирающим овощи, — от бабок и дедов не было бы отбоя; ему ответили, что он, видимо, подвержен влиянию чуждой идеологии накопительства, а наш вуз, многозначительно добавили в комитете комсомола, отнюдь не технический, сознательность прежде всего, твое будущее решит характеристика.

Отработав на базе, ребята купили сырков и лимонада, сварили четыре яйца и, получив от бригадира кулек с помидорами и огурцами, отправились поужинать на пленэре; Покодаев, склонный к гиперболам и обобщениям, начал развивать мысль о том, что овощные базы созданы подпольной организацией типа мафии специально для того, чтобы грабить страну, ибо логика подсказывает, что куда выгоднее иметь хорошие склады гастроному или совхозу, чем плодить ненужные административные единицы. Продукты гниют на миллионы рублей — хозяина нет, категория интереса отсутствует, заработать честно нельзя — только жульничая, списывая гниль тоннами. Челищев, будучи человеком разумным, выдвигал ленивые контрдоводы про необходимость контроля и дружной борьбы с хищениями путем поднятия уровня просветительной работы; поинтересовался, был ли Покодаев в новом дансинге, райком комсомола распределяет билеты, говорят, хорошая музыка.

Покодаев растянулся на траве, махнул рукой: «Они в этом дансинге попляшут пять минут, а потом заводила в жилете и галстуке выходит на круг и говорит: «Ну а теперь поспорим, ребята! Тема злободневная: «Какие нам нужны ВИА?»

Любившему во всем обстоятельность и комфорт Покодаеву было неудобно лежать. Оглянувшись, он увидел камень; положить на него куртку — вполне удобная подушка, лежи — не хочу.

Он потянулся за камнем, подтолкнул его к себе и сразу же поразился бумажной легкости булыжника...

...Через тридцать минут шпионский контейнер был в КГБ: четыре тысячи рублей сотенными ассигнациями, три золотых кольца, инструкции, написанные шифром, и зажигалка с вмонтированной фотокамерой.

Через тридцать две минуты на место закладки контейнера в Сокольники была направлена оперативная группа. Через пятьдесят семь минут в КГБ приехал заместитель начальника отдела МУРа. Молодой капитан с застенчивым девичьим лицом, румянец во всю щеку; резкий шрам на шее никак не вязался с его обликом — мягким, каким-то по-детски наивным; Славину даже показалось, что парень вот-вот запоет, причем обязательно по-украински, самый мелодичный язык из всех народов в стране — утверждают не кто-нибудь, филологи.

— Иван Михайлович, у нас к вам срочное дело, — сказал Славин. Подумав опять же, что это имя и отчество совершенно не подходят капитану — ему бы каким-нибудь Олесем или Антошею быть, а не Иваном Михайловичем. — Скажем, вам попало кольцо преступника. Его должны передать другому преступнику, от него вполне может потянуться цепь к главарю банды, которого вы давно ищете. Что можно сделать, чтобы это кольцо каким-то образом звенело, светилось?

— Сначала я посмотрел бы на это кольцо, — ответил капитан, — а уж потом давал ответ на вопрос.

Славин подвинул ему три кольца, не прикасаясь к ним, поинтересовался:

— Брать в руки обязательно?

Капитан ответил вопросом:

— Предполагаете, что камни или металл меченый?

— Это как — «меченый»?

— Очень просто. В ювелирном предприятии можно пометить камень лазерной точкой, ни один комиссионный не возьмет в продажу — краденое... Возьмет, конечно, — поправился капитан, — но я об этом буду знать загодя, когда начнут выписывать квитанции тому, кто принес кольцо на комиссию.

— Как долго надо метить камень?

Капитан посмотрел на часы:

— Завтра это сделают за пять минут, сейчас фабрика кончила работать.

— А если она начнет работать?

— Пять минут, — повторил капитан, — дело пустяковое.

— Адрес фабрики какой?

— Так там же никого уж нет...

— Дежурный есть? — заметил Славин. — У нас все, всегда и везде начинается с дежурного. Мои коллеги поедут с вами, не откажетесь помочь?

— О чем речь, конечно...

— Последнее: что можно сделать с золотом, чтобы и оно оказалось меченым?

— Не знаю. Как латунь закамуфлировать под золото, могу рассказать, а вот что сделать с золотом — затрудняюсь.

— Хм, а от латуни на пальце остаются следы?

— Конечно... Кожа потеет, будет синий след.

— А что? — задумчиво, словно бы самого себя, спросил Славин. — Тоже дело. Женщина, которой подарили такое кольцо, обидится на мужчину, если он ей вместо золота всучил латунь, правда?

— Я бы обиделся.

— Вот видите, — улыбнулся Славин. — А сколько времени уйдет на то, чтобы покрыть золото слоем латуни?

— Пустяки, минутное дело...

...Капитан уехал с оперативной группой на аффинажную фабрику; подразделение Славина связалось с Гознаком и отправило туда с нарочным сорок купюр достоинством сто рублей каждая; деньги вернули через пятьдесят девять минут, бригаду, обслуживающую лазерное устройство на фабрике, удалось собрать за полтора часа; еще двадцать минут ушло на оформление закладки меченых денег и колец в контейнер. Славин, как всегда внешне ироничный и невозмутимый, мучительно, до боли в сердце, ощущал, как медленно тянется время; он был убежден, что его люди повеселятся в Сокольниках всласть, но всегда помнил телеграмму, отправленную Лэнгли Леснику во время операции по Нагонии: «Нам показалось, что в Парке Победы находились чужие, поэтому мы не вышли на связь; следующий обмен информацией состоится так, как обусловлено в инструкции».

...Через два часа десять минут, когда сумерки сделались прозрачными, резко высветились грозовые закраины на раскалившемся за день небе, контейнер был возвращен на место; «гуляки» с аккордеоном и гитарой, шумя и балагуря, двинулись по аллее к выходу из парка.

...Когда на небе трескуче разорвали ситец и хлынул дождь, из ворот американского посольства выехали три машины; возле остановки «Комсомольская» один из разведчиков стремительно вбежал в станцию метро; соблюдая все

меры проверки, трижды поменял линию, входил и выходил из вагона в самый последний момент, перед тем как двери начинали по-змеиному шипуче закрываться, доехал до «Сокольников», отправился в парк, там поднял «булыжник» и выбежал на шоссе, где именно в эту минуту притормозил свой «плимут» Питер Юрс.

Включив на полную мощность радио, Юрс положил ладонь на ледяную руку своего молодого сотрудника:

— Молодец, старина. Поздравляю. Хорошая работа.

Экспертиза, проведенная специальной группой ЦРУ в посольстве, дала заключение, что к «булыжнику» из посторонних никто не прикасался, контейнер вскрыт не был, инструкции, драгоценности и деньги лежали именно так, как и были упакованы.

Через шесть дней сторублевая купюра была получена молоденькой кассиршей в универмаге на «Комсомольской»; девушка бюллетенила, поэтому на инструктаже, который проводила заведующая секцией по поводу возможного пуска в обращение фальшивой ассигнации, не присутствовала; вечером, после того, как она передала выручку и новенькая купюра з а з в е н е л а, в универмаг сразу же выехал Славин.

— Погодите, солнышко мое, — повторил он девушке, — вам нечего волноваться, вы ни в чем не виноваты... Я о помощи вас прошу, больше ни о чем... Давайте с вами вместе начнем вспоминать, ладно?

— Ну не помню я, не помню, понимаете?! — Кассирша чуть не плакала — лицо испуганное, глаза мечутся. — Их же сотни проходят, и все бегом, бегом! А сколько десантников?!

— Кого?! — удивился Славин.

— Десантников, — повторила она. — Это кто за колбасой из Рязани приезжает, мы их «плюшевым десантом» называем...

— Занятное название, — усмехнулся Славин, — в точку... Они тоже сотенными расплачиваются?

— Нет, эти все больше засаленными, мятыми десятками.

— Ну, а часто у вас платят сотенными?

— Бывает.

— Значит, редко?

— Бывает, — повторила девушка. — Не часто, но бывает..

— Вас как зовут?

— А что?

— Ничего. Меня зовут Виталий Всеволодович. А вас?

— Люба.

— Красивое имя.

Девушка вздохнула, потом неожиданно усмехнулась:

— Все равно никто замуж не берет.

— Очень надо?

— Конечно... Двадцать лет...

— Если вспомните, кто вам платил сто рублей и за что, — возьмут. У меня глаз хороший и рука легкая...

— Может, чеки посмотреть? — предложила Люба. — Там же должно быть указано, сколько я сдачи с сотни дала...

— Умница, — сказал Славин. — Мужа какого хотите? Блондина? Или брюнета?

— Непьющего хочу, — вздохнула Люба. — Чтоб зарплату приносил и не хулиганил.

...Груздев, приехавший со Славиным, кончил отматывать стометровую ленту кассы; нашел копию чека; сторублевых купюр в обращении было две; одну уплатили за спортивный костюм, на другую дали девяносто пять рублей сдачи.

— Вспомнила, — сказала Люба. — Мужчина шерстяные носки покупал, ровно пять рублей, белые с красной каемочкой.

— А спортивный костюм кто брал? — спросил Груздев.

— Женщина с сыном.

— Сын взрослый?

— Не-а, лет пятнадцати, на Андрея Миронова похож.

— Да?! — радостно удивился Славин. — Значит, это его сын, Вадик...

— Так у него ж дочь! — Впервые за весь разговор глаза у Любы стали живыми. — От этой самой радистки, Кэт..

— Нет, у него и сын есть, — убежденно повторил Славин. — Хороший парень, такой черненький, курчавый...

— Значит, не его. Тот был рыжеватый какой-то...

— А мужчина, что носки покупал? Он какой был? — пробасил Славин. — Тоже рыжий?

Люба покачала головой:

— По-моему, нет... Бугай какой-то... Головища здоровая.

— Пот все время утирал, да? — тихо спросил Славин, ощутив холод под ложечкой.

— Ой, верно, — Люба обрадовалась, — мокрый был, как из бани.

Из десяти фотографий, предъявленных Любови Архиповне Воздуховой, незамужней, 1965 года рождения, рус-

ской, комсомолке, она сразу же ткнула пальцем в фотографию Иванова:

— Вот он. Я ж говорила, бугай...

«ПРЕКРАСНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ ВСТРЕЧ»

За границей у людей прессы, как правило, три стиля работы.

Первый характерен тем, что журналист с раннего утра обкладывается свежими выпусками ведущих газет и журналов страны пребывания, желательно и соседних стран. Тщательно анализирует их, соотносит важнейшие политические комментарии с теми новостями, которыми закончился ночной выпуск здешнего телевидения, затем берет ножницы, делает вырезки, расфасовывает статьи, заметки, интервью и курьезы по темам, садится к машинке (или берет в руки перо), чтобы сконструировать заметку в свой орган печати, сделав предварительно два-три звонка к тем парламентариям (или их помощникам), предпринимателям, руководителям банков, у которых он несколько раз до того брал интервью: на Западе знакомым людям отвечают охотнее.

Второй стиль отличим от первого тем, что газетчик начинает утро с беглого просмотра газет — за кофе с рогаликом и джемом. Потом он отправляется в город, чтобы встретиться с самыми разными людьми, собирает диаметрально противоположные мнения, не гнушается беседами с открытыми противниками, давая им вволю высказаться: не поняв логику того, кто не приемлет твою позицию, трудно оперировать своими доводами, — новая форма борьбы с ветряными мельницами, эффектно, но неубедительно, читатель ныне ушлый, век информационного взрыва, у каждого третьего свой план спасения мира.

Третий стиль журналистики определяется нацеливанием на того или иного лидера; пулевое интервью такого рода выносят на первые полосы газеты, дают в лучшее время на телевидении; престижно и запоминается надолго.

Юджин Кузанни, в отличие от этих наиболее распространенных стилей, следовал завету Хемингуэя: толкался в Доме прессы, болтал с соседями по столику в пиццерии, что расположена на противоположном берегу озера, в коммерческой части Женевы, навещал старых друзей, особенно любил подниматься в маленькие ателье художников — их

аполитичность на самом-то деле была высшей формой пристрастной политики; лишь после дня, проведенного вне жесткого плана, он начинал монтировать свои знания с теми эмоциями, которые получил за двенадцать часов: сплав факта и чувства, столкновение разностей, слова и дела, — такое пока еще читают...

На третий день своего пребывания в Женеве он отправился к Анри Равайолю; в прошлом канадский журналист, получил шальное наследство, купил маленький деревянный домик над озером, писал для себя натюрморты и пейзажи, сдавал две нижние комнаты близким знакомым и преподавал английский язык тем, кто намеревался работать в серьезном бизнесе; летом прилетала жена, Мари-Роз; это были месяцы счастья; перебираться сюда из Канады навсегда она не могла, потому что в тридцать семь лет стала профессором, одним из лучших хирургов-гинекологов Оттавы; здесь бы все пришлось начать сначала: конкуренция.

— Она рассказала мне в марте — вырвалась покататься на горных лыжах, — заметил Равайоль, заваривая Юджину кофе, — совершенно страшную историю. Кстати, это сюжет для фильма, только снимать его надо в трех странах: Канаде, Западной Германии и России; думаю, с первыми двумя у тебя трудностей не возникнет...

— С Россией тоже. Там у меня хороший друг — нигде так не считаются с авторитетом писателя — если, конечно, он писатель, — как в России. Это не пропаганда, Анри, не смейся.

— Ну их к черту, закрытая страна, скованные люди, бессловесная нация.

— А Толстой? Чехов? Или — во время войны — Эренборо...

Равайоль пожал плечами:

— Откуда в тебе шотландская кровь? Мальборо, Кингсборо... Не Эренборо, а Эренбург... Сколько класть сахара?

— Я худею, ни грамма.

— Имей в виду, сахарин убивает почки.

— Их убивает возраст, — вздохнул Кузанни. — Я пью кофе без сахара, очень бодрит, лучше джина... Ну так что за история, рассказывай.

— Очень грустная... Если возьмешься писать, уплатишь мне десять процентов. Это серьезно.

— Хорошо, согласен.

— Так вот, в России жил великолепный врач, один из лучших проктологов мира профессор Файн. Жил он там, как говорят, хорошо, просто очень хорошо, — причем по нашим меркам, заметь себе. Но его не назначили директором

института после смерти шефа, и профессор, обидевшись, уехал. В Оттаве о нем знали, он там бывал на конгрессах. Получил этаж в клинике, совершенно неслыханное дело: всех иммигрантов заставляют сдавать экзамены и требуют абсолютного знания языка! Вскоре о нем заговорили не только в Оттаве, но и в Штатах. И вот однажды из Нью-Йорка к нему прилетел какой-то финансовый воротила. Файн сделал ему блестящую операцию. Прощаясь с могучим пациентом, он поинтересовался: «Кто вас до меня оперировал?» Тот ответил: «Профессор Ливенброк». Файн засмеялся: «Я бы этому самому Ливенброку руки отшиб! Он же мог сделать вас полным инвалидом, опоздай вы ко мне на неделю». Пациент не сказал ни слова, вручил ему чек, еще раз поинтересовался, когда сможет начать нормальную половую жизнь, и вернулся в Штаты. А там, опробовав себя с любовницей, позвонил своему адвокату и предложил начать процесс против этого самого Ливенброка: «Пусть возместит нанесенный моему здоровью ущерб! Не менее ста тысяч баков! Ему бы руки сломать за то, что он со мною сделал, и сказал это не кто-нибудь, а мой спаситель Файн!»

Как только адвокат зашевелился, профессор Ливенброк, он не иммигрант — местный, обратился за помощью в раввинат; там нажали кнопки. В Оттаве появились статьи о том, что Файн занимается клеветой на своих коллег, ему неведомо понятие врачебной этики и элементарного чувства корпоративности. Беднягу лишили его этажа в клинике — давление было весьма серьезным, всполошились все проктологи. Если к этому самому Файну начнут летать воротилы из Штатов, с кого брать баки?!

Файн попытался открыть свой госпиталь — куда там! Это же миллионное дело! Улетел в Европу, однако его и там д о с т а л и: когда устроился в боннскую клинику, появились статьи, инспирированные из Нью-Йорка, о неэтичном поведении профессора, его бестактности и клевете на коллег; погнали взашей и в Германии... Говорят, он несколько дней ходил вокруг русского посольства, а потом вернулся в свой пансионат и повесился в туалете... Как сюжетец?

— Страшноватый, — ответил Кузанни задумчиво. — Если разделаюсь с тем, что пытаюсь писать сейчас, — уплачу десять процентов, вполне приличные деньги... Я, между прочим, как-то встречался с одним русским скульптором, в России его считали гением, по-моему, правильно считали... А у нас он делает надгробия, этим и живет... Тоже, кстати, тема... Кто-то звонит, Анри.

— Никто не звонит, — ответил тот, — у меня слух как у кота...

— А я глохну.

— Ходил к врачам?

— Да. Необратимо. Представляешь, каково-то мне вскорости будет с женщинами?! Перед тем как подвести к кровати, извиниться и начать вытаскивать из уха слуховой аппаратик...

— А вот теперь действительно звонят, — сказал Анри, поднимаясь во весь свой громадный рост. — Я намеренно держу телефон внизу, чтобы бороться с отложением солей: вверх-вниз, очень разгоняет суставы... Читай газеты, я сейчас...

Кузанни допил кофе, подошел к большому — чуть не во всю стену — окну, прижался лбом к стеклу; в детстве мы всегда норовим прижаться носом, в старости — лбом, отчего? Наверное, дети представляют себя, как это смешно — расплющенный красный нос, — а нам не до смеха, доживаем, лоб не плющится, только особенно страшно, п р е д с т а в л я ю щ е ощущает холод стекла, неживой, мертвый холод. Кстати, отчего покойников всегда целуют в лоб, становящийся после смерти выпуклым, сократовским?..

Вид на озеро был прекрасным; фонтан, чудо Женевы, выбрасывал из своей таинственной глубины гигантские струи; ночью этот водяной фейерверк подсвечивали. В Нью-Йорке статуя Свободы, в Париже — башня Эйфеля, а здесь диковинный гигантский фонтан... Как это прекрасно, если город определяет свою сущность единственной деталью, врезывающейся в память на всю жизнь...

Кузанни пролистал газеты, материалы смотрел рассеянно, повторение одного и того же, только шапки разные — в них-то и видна тенденция. Случайно наткнулся на имя «Дмитрий Степанов»; прочитал абзац заново: «Русский писатель и журналист, аккредитованный в здешнем Дворце прессы, заявил вчера во время телевизионной передачи Эн-Би-Си «С добрым утром, Америка!», что политика, проводимая Белым домом в отношении Союза, очевидна: сдержать экономический рост конкурента навязыванием ему гонки вооружений; ставка на экономическое разорение России. «Что ж, — заключил Степанов, — пусть так, только американским историкам стоило бы напомнить своим согражданам, что Соединенные Штаты ни разу не были военным лагерем, нам же это навязывали дважды за последние семьдесят лет. Кто от этого выиграет? Америка? Вряд ли: сеющий ветер пожинает бурю. Россия? Для нас такого рода перспектива тоже не подарок, несмотря на то что рост

военной техники привносит в торговлю ряд предметов вполне мирного характера. Если нет выгоды ни той, ни другой стороне, какой резон нагнетать напряженность? Помните древних? Их вопрос: «Кому на пользу?» — таит отнюдь не риторический, но вполне предметный резон».

— Эй! — крикнул Кузанни. — Анри, где ты? Я хочу позвонить!

— Не вопи, — усмехнулся тот. — Я уже давно поднялся, варю тебе новую чашку кофе.

Кузанни обернулся:

— Слушай, а что если мы пригласим сюда моего русского приятеля, он, оказывается, здесь, в Женеве?

— Уволь, — ответил Анри. — Я не люблю русских и не верю ни одному их слову.

— Почему?

— Не верю, и все тут.

— Но это неразумно! Степанов — славный парень, поверь!

— Все они славные парни, — усмехнулся Равайоль. — Пусть живут у себя так, как им хочется, я не против... Только, пожалуйста, не надо приводить их ко мне в дом. Не надо, и все тут. Не сердись, ладно?

Юджин нашел Степанова в «Президенте», на берегу озера. Самый фешенебельный отель Женевы, скромный номер стоит больше двух пар роскошных дамских туфель — за престиж надо платить, непреложный закон бизнеса. Телекомпания Эн-Би-Си арендовала целый этаж, миллион долларов, известия должны быть действительно последними, а не огрызочными. Степанова пригласили на передачу «Встреча с прессой». Он сидел загримированный, смолил сигарету, запивая ее шипучей минеральной водой.

— Дим! — крикнул Кузанни с порога. — Чертяга, как я рад тебя видеть!

Степанов бросился к нему, они обнялись. Тут же подошла девушка-гример, поправила тон на левой щеке приглашенного, заметив, что вот-вот надо идти в студию, пожалуйста, больше не обнимайтесь.

— А вы его напрасно гримируете, — заметил Кузанни. — Говорю вам это как режиссер: грим больше выпирает на экране, чем естество, тем более Степанов — наш противник, пусть будет таким, каков есть на самом деле, стоит ли его делать симпатичным для наших телезрителей?!

Прибежал помощник продюсера, махнул Степанову рукой — пошли, время, — кивнул Кузанни, хотел что-то сказать ему, но не успел: эфир...

Когда перекличка Гамбурга (выступал бывший канцлер Шмидт), Женевы (Степанов и ведущий передачи Кэлб), Вашингтона (Киссинджер) закончилась, Юджин, смотревший прямой репортаж, поднял большой палец:

— Неплохо смотришься, правда, с грамматикой не ахти как, но зато хорошо шутишь. А вообще, у нас в Штатах любят иностранцев, тех, кто говорит с акцентом и не тушуется, когда ставят вопросы с подковыркой. Когда ты попросил ведущего не трещать как пулемет, здесь все хохотали, значит, смеялась Америка. Кремль должен выдать тебе премию, пойдем побродим, чертовски рад тебе, прямо даже и не знаю, отчего я так рад именно тебе...

«Мне-то ясно, отчего он рад именно мне», — подумал Степанов, когда они заказали по третьей уже чашке кофе, устроившись в маленьком ресторанчике на берегу озера. По набережной хлещет дождь, кричат чайки, ни одного человека, и только тихая, грустная музыка, симфоджаз начала пятидесятых, оркестр Гленна Миллера.

— Знаешь, Дим, говорят, что в его самолет, который летел на гастроли, мафиози подложили бомбу — по поручению одного из конкурентов. Воистину Моцарт и Сальери двадцатого века; спасся только один музыкант, брат Гленна, его звали Тэд Беники, помнишь, с переломанным носом, саксофонист, который пел басом в «Серенаде солнечной долины»?

«Как же мне не помнить, — подумал Степанов. — Это мои студенческие годы. Левушка Кочарян, худенький, тогда еще безусый Андрей, Олежка Евпланов, Лева Котов, Володя Навасардов. Иных уж нет, а те далече, Витя Борисенко был тогда худеньким и зажатым, потому что всегда помнил прошлое и очень четко видел будущее. Только к концу четвертого курса раскрылся, когда случилась трагедия с отцом и Степанов сказал ему об этом первому — как комсоргу. Он долго молчал, а потом ответил: «Ты поставил меня в известность, и ладно. Теперь это моя забота, живи так, будто ничего не произошло, пусть разбираются, тебе диплом надо получить». Спасибо тебе, Витя, и тебе спасибо, Зия, и тебе, Леня Харюков, и тебе, Костя Гейвандов, Женя Примаков... Женя тогда не снимал «сталинку», говорил, подражая вождю, очень медленно, с тяжелым грузинским

акцентом, хотя русский; впрочем, тбилисские русские, они особые. Если Пушкин, Грибоедов, Маяковский и Пастернак ощутили на себе влияние этого народа, то мог ли его избежать Женя, да и надобно ли? Странное слово — в л и я н и е... Чего в нем больше, хорошего или дурного? Про детей говорят: «Он испытывает дурное влияние улицы». А может, и через это надо пройти? Как жить, не ощущая на себе влияния Шекспира и Рахманинова? Или фадеевского «Разгрома»? Последняя фраза его повести подобна строке из «Экклезиаста» от революции: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности». Вот она, магия слова: каждое в отдельности несет в себе весьма относительную информацию, даже какая-то казенщина ощущается, а поставленные в надлежащий, прочувствованный Фадеевым порядок, они слились в бессмертную фразу надежды, которая так нужна человеку. Разгром — понятие не только военное, оно в первую очередь человеческое, очень личное, затаенное, как та хемингуэевская кошка под дождем...

...Юджин рад мне потому, что наши судьбы схожи; оба одиноки, отдали себя работе и детям; я — Лысу и Бемби, он — Стивену; только я с Надей расстался, а жена, которую он любил безмерно, умерла, когда мальчику было три года. Юджин старается выражать себя в кино по-своему, и я пытаюсь делать это же; ему за это поддают, да и меня не слишком-то жалуют. Только спринтер на гаревой дорожке не успевает возненавидеть тех, кто бежит рядом: одиннадцать секунд, полная самоотдача, а потом — в случае неудачи — разбор с тренером на мониторе, вину сваливать не на кого, выигравший — он и есть выигравший; а пойди разберись в киночестолюбиях, каждый тянет одеяло на себя, критериев нет, сплошная вкусовщина, что здесь, что там...»

— Выпить хочешь? — спросил Юджин.

— Боюсь.

— Здесь об этом никто не узнает, — заметил Кузанни, — загнивающий Запад, все сидят со стаканом, только пьяных нет, пьяных здесь с работы гонят.

Степанов улыбнулся:

— У нас нет сухого закона... Не верь болтовне... Просто я очень боюсь, что завтра будет раскалываться затылок...

Кузанни вздохнул, покачав кудлатой седеющей головой — ни дать ни взять итальянский актер Раф Валлоне; что значит кровь — американец в четвертом колене, а все равно угадывается породистый римлянин.

— Я боюсь того же самого. Только еще вдобавок я начал глохнуть. И это очень плохо, Дим.

— А я слепну. Можно поспорить, что хуже.

— Спорить не надо: глухота хуже. Когда тебе пятьдесят три, и ты ни черта не слышишь, и это раздражает твоего сына, который привык говорить очень тихо, а ты сердишься на себя, что не можешь понять, о чем он, и тогда парень начинает зло орать, делается так стращно и пусто, старик, так одиноко, что отчаянно хочется отчубучить что-то невероятное, такое, что сделает тебя новым Гете, и в тебя влюбится прекрасная молодая девушка: любят ведь не только молодых — влюбляются и в мысль?!

Степанов возражать не стал, кивнул согласно; Кузанни все понял, досадливо махнул рукой, попросил официанта принести хайбол:

— Ты как хочешь, а я все-таки жахну... Знаешь почему? Объясню тебе... Старея, я теряю сына... А это равносильно потере самого себя. Пытаюсь заново обрести силу в работе, но, когда прерываюсь хоть на неделю, думы рвут голову, а это погано, навязчивость какая-то, постоянность дури и вздора...

Степанов закурил, тяжело затянулся, пожал плечами:

— В тебе говорит родительская ревность, Юджин. Стыдно. Сколько сейчас Стивену? Двадцать шесть?

— Через полгода будет двадцать четыре.

— Вот видишь. А он до сих пор с тобой. Пойми же парня... Вспомни себя в его годы...

Кузанни снова покачал головой:

— Знаешь, конечно, доктора Спока? Его первые лекции: доброта, с ребенком возможна только доброта, лишь избыточная доброта способствует рождению мужественного и честного человека. А чем Спок кончил? Не знаешь? Строгость. Необходима строгость. Авторитет родителей подобен авторитету тренера по горным лыжам. Тот кричит и бьет палкой по заднице, если ученик не делает так, как надо. И тренера уважают. Родители должны стать такими тренерами: никакой растворенности в детях, требовательность, постоянная демонстрация собственного ума, опыта и силы. Только тогда родится авторитет. И лишь после того, как он родился, калькулированная доля доброты... Стивен выполняет все поручения своего профессора, потому что знает: не сделай, как надо, вылетит к чертовой матери из докторантуры. Я никогда ничего ему не запрещал, не требовал, а просил, не наказывал... Я его только гладил... Вот он и приходит ко мне лишь в те дни, когда у его подруги трудные дни: она в это время бесенеет, он и бежит ко мне... А пройдет четыре дня — и снова к ней... А я один... В обнимку с диктофоном. И пишущей машинкой. При этом глухой.

— Нет ничего недостойнее ревности, — повторил Степанов. — Ты его ревнуешь. Считаешь собственностью, а он личность, он отпочковался. То, что детям нельзя показывать возрастные недуги, в этом ты прав. Раздражительность — опасная штука в отношениях между поколениями.

— Я не ревную его, — сердясь, повторил Кузанни и залпом выпил хайбол. — Просто чертовски жаль, что так быстро пронеслась жизнь и никогда уже, никогда не стать мне Гете. Я Кузанни, этим и надобно довольствоваться... Так что нечего себя тешить иллюзиями: осталось одиночество. Что ты делаешь сегодня вечером?

— Диктую. Будет звонить Москва.

— А потом?

— Они выходят на связь в час ночи.

— Ну и что? Давай после побродим вместе?

«Я его никогда не видел таким, — подумал Степанов, — сдал за эти три года; много набрал в искусстве, вырвался вперед, порвал ленточку финиша изодранной в кровь грудью и сдал. Наверное, и меня ждет такой финал, обидно».

— Приходи в «Эпсом», знаешь этот отель?

— Найду. Я расскажу тебе про то, что сейчас пытаюсь делать, ты расскажешь мне о своем, а потом пойдем гулять на озеро... Там рассветы такие, что перестаешь страшиться последнего дня... Всякий рассвет на озере как молитва надежды... Я приду часов в одиннадцать, можно? Я не буду тебе мешать, обещаю...

— Мешай на здоровье, — улыбнулся Степанов. — Мне лучше работается, если мешают...

— Знаешь, я напридумывал всякую ерунду для нового фильма, а здесь вдруг понял, что я записывал никакую не ерунду, а правду, неведомую мне ранее... И сделалось еще страшнее — ну ее к черту, эту правду! Хочу снимать развлекательное кино, с Аленом Делоном и Бельмондо! Пусть палят из двустволок! Спасают проституток, открывая в каждой из них новую богоматерь!..

— Ты когда отдыхал последний раз?

— А ты?

— Если мы взяли на себя тяжкое бремя быть психами и работать без отдыха, — заметил Степанов, — то и за это приходится расплачиваться... Работа — добро, а разве добро бывает безнаказанным? — Он усмехнулся. — Ничто так не подвержено опале, как желание сделать благо ближним... Тебя не посещало желание лечь в психушку, чтобы в череп вмонтировали спасительный датчик спокойствия?

Кузанни долго молчал, потом, приблизившись к Степанову, тихо сказал:

— У меня такое ощущение, что сейчас в Штатах задействованы какие-то мощные таинственные силы, они предпринимают все возможное, чтобы сорвать не столько нынешние переговоры, сколько те, главные, которые должны состояться.

— Задавать вопрос «почему», видимо, наивно?

— Безжалостно. Потому что я на него не могу ответить. Идет схватка гигантов. И в этой чудовищной схватке магнатов тот, кто строит страшные бомбардировщики, ныне подобен агнцу божьему в сравнении с молодыми интеллектуалами, которые вложили свои миллиарды в ракетные комплексы... «Как авиация в свое время пришла на смену пассажирским лайнерам — в смысле массовости и скорости перевозок, — так и авиация ныне обязана уступить место ракетам». Все остальное, говорят они, все эти разговоры об агрессии, сдерживании, гонке вооружений, космических зонтах, от лукавого. «Старцы, отойдите с дороги прогресса!» А дело упирается в то, кому конгресс отпустит миллиарды: им или их авиаконкурентам. «Локхид», который и мы и вы столь зловеще расписывали в газетах, сегодня более приемлем мирному выходу из конфронтации, чем устремления ракетных интеллектуалов...

Это та правда, которую я угадал... Но я не гений, чтобы придумать финал — сценарий без финала не существует. Я беспомощен... А взятые у продюсера деньги нужно отработать. Как?

— Интересно, — ответил Степанов. — Только знаешь что? Пожалуйста, не сердись на Стивена, у нас с тобой нет никого ближе детей... И мирись, иначе не сможешь работать...

РАБОТА-III

Профессор Яхминцев, начальник отдела, в котором работал Иванов, был высок и статен; седая шевелюра тщательно уложена; волосы, несмотря на то, что профессору давно исполнилось шестьдесят с лишком, казались густыми, словно бы проволочными. «Неужели лаком пользуется, — подумал Славин, — вообще-то ерунда, пусть себе, но в каждом из нас с юности заложено нечто такое, через что невозможно переступить. На Западе многие мужчины делают маникюр, и это в порядке вещей, хотя дьявольски

дорого, а для меня такой человек отвратителен, я им брезгую, прекрасно при этом понимая, что не прав».

— Нет, нет, Иванов — весьма недюжинное явление в науке, — убежденно повторил профессор. — Кладезь идей, содержательный человек...

— А почему же тогда его держат в черном теле? — спросил Славин.

— То есть? — Яхминцев удивился.

— Если он «кладезь идей», то отчего бы ему не возглавить лабораторию?

— Ах, Виталий Всеволодович, сколько раз ему это предлагалось!

— На каком уровне?

— На соответствующем... У нас с ним отношения весьма сложные... Вам, видимо, об этом уже говорили, я же знаю, вы готовите публикацию... Наш институт подобен бабьему царству, хотя работают в основном мужчины: никаких тайн, всё всем обо всех известно. Так вот, несмотря на сложность, существующую в наших отношениях, я трижды называл его кандидатуру на должность заведующего лабораторией...

— И что же?

— Как всякое новое дело, сначала надобно конституировать задумку, согласовать вопрос, выбить штаты, помещение, персональные оклады, внести в план... Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, все новое рождается в муках, увы... Георгий Яковлевич съездил в главк, там ему предложили написать проект письма, он подготовил, но ведь ум хорошо, а два лучше, посмотрели мудрые люди, внесли замечания, попросили подработать текст, а как же иначе, не всем дано понимать хитрости управленческого аппарата, для них каждая запятая таит в себе особый смысл...

Славин почему-то вспомнил, как на читательской встрече Михалков рассказал любопытный эпизод. В сорок третьем году его искали по всему фронту, нашли на аэродроме (он тогда работал корреспондентом газеты «Сталинский сокол»), потащили к маленькому По-2: «Скорей, Сергей Владимирович, в штабе фронта на ВЧ вас ждет Ворошилов, велено срочно доставить для разговора!» Ворошилов действительно ждал на проводе; поздоровавшись, сказал: «Товарищ Сталин просмотрел верстку гимна... Во второй строфе в первой строке у вас запятая и тире... Товарищ Сталин интересуется, нельзя ли убрать тире. С точки зрения, как он заметил, геометрии текста государственного гимна это тире чрезмерно фокусирует внимание читателя на такого рода знаке, един-

ственном во всем тексте. Он просил посоветоваться с вами и Эль-Регистаном: не будете ли вы возражать, если он снимет тире? Или вы настаиваете на том, чтобы сохранить этот знак препинания? Может быть, он для вас крайне важен в силу каких-то чисто профессиональных причин?»

Профессор между тем продолжал:

— Конечно, это отнюдь не просто — начать новое дело: открыть лабораторию, подобрать штат единомышленников; все надо заранее утрясти, согласовать, осметить... Георгий Яковлевич помотался по коридорам главка, попыхтел на заседаниях да и махнул рукой: «Я уже потерял месяц, а конца-краю согласованиям не видно, пропади все пропадом, буду лучше заниматься своим делом!»

— А кто заинтересован в этой лаборатории?

— Наука, естественно. Да и промышленность спит и видит такого рода центр новых идей.

— Так отчего же Иванову никто не помог?

— Мои советы он отвергает с ходу. — Яхминцев вздохнул. — Хотя, поверьте, кроме добра, я ему ничего не желаю... А министерский чиновник мало в чем заинтересован. Категория конечного результата труда отрасли никак на него не проецируется — зачем ему лишние хлопоты. День прошел, и ладно! Я уж и на хитрость пошел, — усмехнулся Яхминцев, — через тех, кто дружен с Ивановым, посоветовал: «Заинтересуй тех, от кого зависит решение вопроса в главке, пригласи в будущую лабораторию хоть на полставки, предложи защититься... Кто не хочет получить научное звание? Лучшая гарантия от возможных неурядиц или реорганизаций в аппарате...» Так он сразу же медведем поднялся: я вам не торгаш, и все такое прочее...

— Вообще-то он верно поднялся, не находите?

Яхминцев покачал головой:

— Нет, Виталий Всеволодович, не верно. Я, знаете ли, поклонник системы Станиславского: жить следует в предлагаемых обстоятельствах. Всякие там штучки Мейерхольда — буффонада, авангардизм, сиюминутность, беспочвенность — не по мне. Если ты по-настоящему предан идее отечественной науки, иди на все! Ползи ужом, смеши, как скоморох, плачь скупою слезой, это особенно ценится, можешь приболеть — убогих любят, они не страшны. Главное — получить базу, потом пойдет дело!

— Ой ли? А не может ли во время такой скоморошьей игры произойти некий слом личности? Я не очень-то знаю людей, которые бы тайно к р а л и с ь к открытию... К новому идут с открытым забралом...

— Ну да, конечно, — Яхминцев посмотрел на Славина своими холодными, несмеющимися глазами, — все верно, только, изволите ли видеть, я прагматик, из комсомольского возраста, к сожалению, вырос, живу и работаю в предлагаемых обстоятельствах и, повторяя слова Пастернака, которые тот написал в одной из своих телеграмм, «положа руку на сердце», тоже кое-что сделал для отечественной науки. Я был готов взять на себя организационные хлопоты, потерять и полгода в походах по заседаниям и комиссиям, но разве Иванов согласится работать вместе со мной?! При том, что он весьма и весьма талантлив, гордыня в нем воистину феноменальная, не зря он Вагнера более всех других композиторов любит, особенно «Полет валькирий».

— Это всегда в нем было?

— Знаете, я не люблю говорить о ком бы то ни было за глаза. Конечно, ему не просто смириться с тем, что он — в некотором роде уникум, человек с мировым именем — работает под моим началом...

— Простите, профессор, мой вопрос: если вы считаете его истинным талантом, то отчего бы вам не уступить ему свое место? Вы, как я понял, радеете не о своей роли, но прежде всего о судьбе отечественной науки...

— Именно потому, что я радею о судьбе русской науки, мне и приходится — несмотря ни на что — сидеть в этом кресле. Приди Иванов, он бы разогнал отдел, привел бы ватагу молодых авантюристов без роду и племени, для которых нет ничего святого, и начал бы, что называется, с чистого листа. Я против кардинальных ломок, Виталий Всеволодович, стою за эволюционный путь развития — опять-таки в предложенных обстоятельствах... Я, кстати, не очень понимаю: какого рода статью вы готовите?

— Статью-раздумье, — ответил Славин.

— Это как?

— Очень просто: берется факт, жизненная коллизия, и журналист высказывает свое отношение к происходящему...

— Очень важное дело, — согласился Яхминцев. — В «Литературной газете» самые читаемые материалы именно такого рода... Вы посоветовались с Иннокентием Владимировичем?

— А кто это?

— Валерьянов, наш куратор в министерстве...

— Нет.

— Но вы намерены встретиться с ним?

— Считаете, что нужно?

— Полагаю, необходимо.

— Почему?

— Вы по образованию не математик?

— Увы, нет.

— Вы хорошо ответили... «Увы, нет»... Обратили внимание: сейчас тяга к технике уступила место гуманитарному направлению? Снова лирики начали одолевать...

— Не в лириках дело, — возразил Славин. — Просто инженер зарабатывал у нас меньше рабочего средней квалификации... Сейчас, думаю, положение изменится.

— Вашими бы устами да мед пить, — вздохнул Яхминцев. — А по поводу визита к товарищу Валерьянову я не случайно сказал... Поймите, я в довольно трудном положении: Иванов говорит обо мне все, что ему вздумается, у него какой-то маниакальный пункт ваш покорный слуга... Я не смею уравниваться с ним: во-первых, потому, что считаю это недостойной склокой, а во-вторых, я руководитель. То, что позволено быку, не позволено Юпитеру. Я отвечаю за коллектив, а это достаточно большая честь, чтобы поддаваться эмоциям.

— У вас с ним давно такие отношения?

— Честно говоря, не помню...

«Помнишь, — подумал Славин. — С пятьдесят второго года, когда ты нес по кочкам «лженауку», именуемую кибернетикой, «зловредный бред псевдоученого Винера», а Иванов стоял за нее горой и был с твоей помощью отчислен из аспирантуры за «проповедь чуждых советскому ученому влияний буржуазного Запада».

— Я ничего не стану писать, не показав заготовку статьи вам, — пообещал Славин. — И товарищу Валерьянову, как вы посоветовали. Поэтому ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов личного, что ли, плана. Можно?

— Извольте... Если это не будет входить в противоречие с моим понятием мужского благородства...

— Что делал Иванов после того, как его отчислили из аспирантуры?

Яхминцев долго, не мигая, смотрел в глаза Славина. Взгляд его словно бы старался оттолкнуть собеседника; лицо было неподвижным, замершим.

— Если мне не изменяет память, из аспирантуры его отчисляли дважды...

— Мне известен один эпизод такого рода... С чем он был связан?

— С кибернетикой, — после некоторой паузы ответил Яхминцев. — А про историю с Милой Ковальчук не слыхали?

— Нет. — Славин покачал головой. — Не слыхал.

— Вполне романтическая история... Была у нас такая студентка... Дивная красавица... С длинной косой, знаете ли, статная, приветливая... Словом, Иванов жил с ней больше года, а когда Мила забеременела, отказался оформить их отношения, бросил девушку на произвол судьбы...

— Плохо.

— Да уж, хорошего мало...

— Это случилось еще до передряги с «низкопоклонством» перед кибернетикой?

— Да, примерно за год. Или полтора, разве упомнишь...

— Было общественное разбирательство?

— Да, поначалу исключили из комсомола, но горком оставил его в рядах... Со строгим выговором... А из аспирантуры отчислили... И если бы не постоянное покровительство академика Крыловского, не было бы сегодня профессора Иванова...

— А кто поднял вопрос о его вторичном отчислении?

— Ах, Виталий Всеволодович, кто старое помянет, тому глаз вон... Стоит ли сейчас касаться этой темы? Время было сложное, крутое, мало ли кто мог подбросить идею? Мир науки — сложный мир. У нас тоже есть свои Моцарты и Сальери... Мне сдается, что инициатором дела был профессор Ткачук, покойный ныне...

— Инициатором был Леонид Романович, — сразу же ответила Людмила Павловна Ковальчук — та самая Милочка...

— Яхминцев? — уточнил Славин.

Женщина кивнула; несмотря на то, что ей было уже под пятьдесят, черты лица сохранили красоту, седина еще больше подчеркивала молодость, сокрытую в ее огромных, зеленоватых, с коричневыми крапинками глазах; морщин почти нет; фигура ладная, спортивная, только косы, о которой говорил Яхминцев, не было — вполне современная, короткая стрижка.

— А первый раз? Вы извините мне этот вопрос, Людмила Павловна... Я имею в виду первое отчисление из аспирантуры...

— Мне бы не хотелось об этом говорить...

— Я понимаю. Но мне очень нужно, чтобы вы ответили...

— Жора... Георгий Яковлевич особый человек... Вроде танка, — грустно улыбнулась Ковальчук. — Когда он идет к чему-то, ничего вокруг не видит, только цель... Мне до сих пор стыдно за то заявление, что я написала... Ведь его исключили из-за моего письма... Персональное дело о моральном разложении со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями... Жо... Иванов говорил: «Погоди, дай мне защититься, я не могу делить себя между детищем и дитем, такое уж я дерево...» Бабы дуры, если б нас матери пороли за истеризм, а то ведь, наоборот, поощряют: «Борись за свое счастье». Кстати, текст мне Яхминцев продиктовал, уверял, что после того, как он покажет мое письмо Жоре, тот сразу же пойдет в загс, ему, говорит, толчок нужен, он неподвижный. Есть люди с врожденным ускорением, а есть заторможенные, живущие только своей мечтою, им на все наплевать, только бы получилось задуманное. Нет, не хочу я об этом, я себя чувствую такой дрянью, такой мещанкой... До сих пор не могу понять, когда любовь стала приобретать форму собственности...

— Вы не виделись с Ивановым после того, как его отчислили?

— Ну отчего же... Виделись... Он еще поцеловал меня и сказал: «Какая же ты дура! Слава богу, что все получилось так, пока ты молода и красива...»

— А ребенок? У вас есть ребенок?

Женщина покачала головой:

— Я только могла об этом мечтать... Не было никакой беременности... Я дважды приходила к нему, пыталась объяснить... Да разве объяснишь?

— Как он жил, когда его отчислили из аспирантуры?

— Продолжал работать. Дописал диссертацию... За полгода закончил...

— А чем он жил? — повторил Славин. — Деньги откуда?

Женщина вдруг улыбнулась; в ее улыбке были грусть, любовь, нежность, память.

— Он в преферанс обыгрывал торговцев из овощного магазина... Математик, поразительно чувствует комбинации в картах...

«Полковнику Славину.

За три дня до появления в обращении сторублевой купюры, заложенной в контейнер ЦРУ, на квартире Иванова собрались, как и обычно по пятницам, народный артист РСФСР Василий Аркадьевич Тубин, генерал-лейтенант Алексей Карпович Шумяков и кандидат физических наук, помощник академика Крыловского по связям с промышленностью Геннадий Александрович Кульков.

Полковник *Груздев*».

РАБОТА-IV

Василий Аркадьевич Тубин бросил на пол шинель и, поискав глазами костюмера Галю, закричал:

— Надо же следить за реквизитом, голубушка!

— Чем и занимаюсь, — спокойно ответила та, продолжая вязать шарфик.

— Но по роли я батальонный комиссар! — продолжал неистовствовать Тубин. — А вы мне приляпали кубари — политрук! Это же совершенно разные характеры!

Славин, стоявший в павильоне возле камеры, недоуменно посмотрел на режиссера фильма Сазонова:

— При чем здесь петлицы и характер?

Тот пожал плечами:

— Это необъяснимо. Артист. Совершенно особая психология. А может, роль не выучил. Артистам платят мало, вот и вертится: на радио почитает, на телевидении снимется, в Бюро пропаганды киноискусства подрядится на выступления, — времени-то на искусство и не остается... — вздохнул Сазонов. — Пока будут менять кубари на шпалы, поучит.

— Это удобно, если я с ним поговорю перед съемкой?

— Да, бога ради... Мы начнем работать не раньше чем через час.

— Так долго готовитесь?

— Свет надо ставить, а у нас аппаратура тридцатых годов, рухлядь. Обязательно что-нибудь в декорации отвалится, пойдут искать постановщика, чтоб он гвоздь прибил. Найдут, уговорят, прибьет, а тут перерыв... Осветители его неукоснительно соблюдают. Они никак не заинтересованы в результатах работы съемочной группы, живут на зарплату, наш успех или провал их мало волнует. Попьют осветители чайку, а Тубин скажет, что ему пора на спектакль, — вся съемка сорвана. Так и живем...

— «Земля у нас обильна, порядка ж нет как нет», — усмехнулся Славин.

— Графом Алексеем Константиновичем Толстым пробавляетесь? — поинтересовался Сазонов. — Рискованно, весьма рискованно.

— Почему? — задумчиво рассматривая из темноты павильона лицо Тубина, спросил Славин.

— Сейчас появился целый сонм защитников дореволюционной истории России, стоят на страже величия державы, ее традиций.

— Правильно делают, по-моему.

— Ой ли? Гипертрофированная любовь ко всему своему — даже к тому, что кроваво и темно, — к добру не приводит. Я понимаю, Донской, Радищев, Чайковский, но когда иные радетели квасного патриотизма начинают меня убеждать, что Николай Первый был вполне интеллигентным человеком, чугунку в России построил, мне делается стыдно перед Пушкиным и Лермонтовым.

— Ну, такого рода монархические настроения просто неинтеллигентны, — заметил Славин, — и свидетельствуют о малой научной подготовленности собеседника. Не обращайте внимания, нервы сбережете...

— Нервов вообще не осталось, ошметки...

— Скажите, а Тубин в экспедиции всех в преферанс обыгрывает?

— Ах, вам и это известно? Ну и пресса... Да, он играет жестко, красиво играет, школа Иванова, ничего не скажешь.

— Школа Иванова? А кто это?

— Его приятель, математик... Поразительный мужик! Мозг как компьютер... Но он не только математик, он великий артист и психолог. Играет каждого участника пульки, рисует себе его психологический портрет, только поэтому и обставляет всех нас.

— Всегда?

— По-моему, всегда.

— Помногу?

— Да уж не на рубль.

— А куда деньги девает?

— Гуляка... Осталась пара-тройка мужских лет, потом старость, вот и торопится...

— Хорошо его знаете?

— Он к Тубину прилетал в Ялту, когда мы там работали. Я еще снял его в эпизоде, где гоняют на водных лыжах, он утер нос профессионалам.

— У нас нет профессионалов, — улыбнулся Славин. — Наш спорт любительский... Днем слесарь на заводе, а вечером едет в «Лужники» играть против сборной ФРГ, разве нет?

...Славин пошел на съемочную площадку, под свет юпитеров, к Тубину; тот сразу же сказал, что Митя Степанов его старый друг.

— Хочу сняться в его сценарии, но он мне одних злодеев предлагает, а на злодеях звание народного артиста Союза не получишь, нужна галерея положительных образов, да и премию дают только тем актерам, которые играют передовиков; удивляюсь, как Броневому дали орден за Мюллера...

Славин поинтересовался:

— А какое значение для роли имеет то, что вместо шпал вам повесили кубари на петлицы, Василий Аркадьевич?

— Не понятно? — удивился тот искренне.

— Совершенно не понятно.

— Никто не понимает трепетную душу артиста, — вздохнул Тубин. — А жаль. Если я батальонный комиссар, то и ощущаю себя по-комиссарски... Политрук — низшее звено политработников, надо искать свою краску, манеру поведения, а в режиссерском сценарии было: батальонный комиссар. К этому я и готовился, Симонова перечитал, Гроссмана, Бондарева с Быковым, Бориса Васильева... Нафантазировал характер, в сценарии-то один контур, не слова — жестянки, сплошная функциональность... И — на тебе, политрук!

— А какая награда на гимнастерке... Это тоже важно для артиста?

— Невероятно! Однажды я играл в довольно большом эпизоде — роль маршала Мерецкова. Вы себе не представляете, какую летящую радость я испытывал все то время, пока носил маршальскую форму со Звездой Героя...

— А в преферанс это играть не мешало? — усмехнулся Славин.

— Что вы! Какой там, к черту, преферанс! Я не мог взять в руки карты! Я был в образе полководца! У меня сон пропал, врачи седуксен прописали!

— А вы бы Иванова сыграть смогли?

— Егора?

— Да.

— Если б написали, смог. Характер. Камень. Махина. И при этом нежный ребенок. В нем мало кто видит мальчика, решившего доказать миру свое право на мечту. Он же прячется от людей, придумал себе имэдж[1], под ним и живет...

— Но у него ни Звезд нет, ни лауреатств... Лацканы пустые, один характер, — поддел Славин.

— Звезды будут, — убежденно ответил Тубин. — И лауреатство тоже. Обидно, конечно, если посмертно...

— Кто у вас в пятницу проиграл? — лениво поинтересовался Славин. — Говорят, рубка была любопытнейшая...

— Гена пролетел как голубь.

— Кульков?

---

[1] Выдуманный образ.

— Да. — Актер расхохотался. — Слыхали историю про то, как хоронили преферансиста, который умер от разрыва сердца, взяв две взятки на мизере?

— Не слыхал.

— Но в преф играете?

— Если только в поезде.

— Тогда поймете... Хоронят покойника коллеги по зеленому столу, скорбно идут за гробом, а один участник пульки шепчет другому: «Если бы я зашел к нему восьмеркой треф, — и кивает на гроб, — он бы потащил не две, а шесть взяток...»

— Странно, я встречался сегодня с Ивановым, — посмеявшись над анекдотом, заметил Славин, — и он не произвел на меня впечатление человека, живущего под имэджем...

— Это, знаете ли, вопрос талантливости... Если вы сразу же замечаете, что человек играет, — тогда, конечно, неинтересно; провинция н а и г р ы в а е т так, что швы видны. Только личность вживается в образ, который ею задуман и выбран... Помните, у Пастернака: «Пройду, как образ входит в образ и как предмет сечет предмет».

— А как бы вы играли Иванова?

— Не понял. Что значит — как бы играл? Так, как его образ написал бы сценарист...

— Допустим, сценарист его не знает. Но вам предлагают материал, где есть ученый, похожий на Иванова... Вы вправе предложить свое прочтение образа?

— Зависит от режиссера. Знаете, анекдот есть. Пришел человек в исполком и спрашивает: «Скажите, у меня право на отдых есть?» — «Есть». — «А право на использование свободного времени по своему усмотрению?» — «Есть». — «А я могу...» — «Не можете!» Право есть, а мочь — не моги! Эпохальный анекдот, а? Вот и режиссеры. Один принимает задумку актера: все можно, ищи! А другой снимает тебя, как мартышку, да еще заставляет считать про себя, пока руку ко лбу поднимаешь, и чтоб непременно досчитал до пяти, ни больше ни меньше; таким он видит жест, понимаете?

— Ну а если режиссер ваш союзник?

— Черт его знает... Тогда, конечно, я бы предложил ему свое видение... Вы с мамашей Жоры не знакомы?

— Шапочно...

— Посмотрели бы вы, как он выводит ее гулять по воскресеньям в парк... Она из дворян, аристократка... Почти ничего не слышит и все отчитывает Жору, отчитывает —

и то он делает не так, и это... Надо иметь его выдержку, чтобы улыбаться, шутить, обещать исправиться... Каждый год половину своего отпуска тратит на старуху — вывозит под Зарайск, там у ее отца имение было... А послушайте, как он грохочет на ученых советах?! Никаких авторитетов...

— Нечто подобное уже было в кино, — заметил Славин. — Нежность к матери, грубость на работе... Не помню только в каком... И мне это показалось несколько искусственным, чересчур прямолинейным...

— Мир устал от простоты, ищут искусственность, только бы поразить... Жаль... «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в эту удивительную простоту...»

— Любите Пастернака?

— Вот кого бы сыграть...

— Это действительно интересно, — согласился Славин. — Хотя далеко не просто...

С колосников, окружавших съемочную площадку, оператор крикнул:

— Мы готовы, мастер!

— За работу! — Режиссер хлопнул в ладоши. — Начнем снимать!

Тубин обернулся к костюмерше — на шинели были две шпалы. Он поправил пояс, и Славин поразился той перемене, которая в считанные доли секунды произошла с актером: лицо его сразу же отвердело, лоб стал выпуклым, нависли надбровья, а нижняя челюсть чуть выступила вперед, придав его облику выражение суровой решительности...

— Спасибо вам, — сказал Славин актеру. — Счастливой съемки.

— К черту, — ответил Тубин иным, начальственным голосом. — Если с мамашей уже было в кино — добрый сын и так далее, — тогда можно поискать ключ в отношениях Егора с женщинами: хряк ведь, ни фигуры, ни лица, а как они льнут к нему! Будто мотыльки летят на огонь...

— Почему? Как вы думаете?

— Потому что добрый. А никто в мире так не нуждается в доброте, как женщина...

...Генерал-лейтенант Шумяков посмотрел на Славина с нескрываемым удивлением:

— ЧК интересуется преферансом?

— Нет. Этим ЧК не интересуется. Меня занимает только один вопрос: кто у вас крупно проиграл в прошлую пятницу?

— Кульков.

— А чем он расплачивался?

Шумяков недоуменно пожал плечами:

— Понятно, деньгами. Он крупно подсел на мизере, ловля была интереснейшей... А в чем дело?

— Я объясню. Но сначала мне надо выяснить, какими купюрами расплачивался Кульков. Это крайне важно, Алексей Карпович.

— По-моему, он положил на стол сотенную. Но я как-то не очень обратил на это внимание. Для меня игра, как понимаете, не есть средство заработать четвертной билет, а способ снять стресс; работа, сами понимаете, какая...

— Понимаю, но мне хочется, чтобы вы все вспомнили, по возможности, точно...

— Я могу позвонить Иванову. Он снял весь выигрыш, надо полагать, помнит подробности. Но вы все же объясните существо дела, я не очень-то умею думать, когда не понимаю, о чем идет речь...

— Алексей Карпович, я вынужден посвятить вас в государственную тайну...

Генерал заколыхался в кресле:

— Полковник, я в нее посвящен уже тридцать пять лет...

— Дело в том, что сторублевая ассигнация, появившаяся на столе профессора Иванова, попала туда прямиком из шпионского контейнера ЦРУ.

— Да перестаньте вы! — Генерал даже всплеснул руками; они у него были тонкие, выхоленные, как у пианиста, а ведь крестьянский сын, в детстве подпаском был под Вязьмой, пока мальчишкой не ушел в партизаны. — Это бред какой-то! Не мог же Геннадий расплачиваться американскими деньгами! Нет, положительно, это абсурд! Надо спросить у него, как к нему попали эти деньги, вполне мог получить в сберкассе, в магазине...

— Не мог, — отрезал Славин. — И спрашивать его ни о чем нельзя.

— Погодите, вы что, подозреваете его?

— Мы разбираемся, Алексей Карпович... Возбуждено уголовное дело...

— Против Кулькова?! — Генерал потер виски своими тонкими, длинными пальцами. — Это полнейшая абракадабра, полковник!

— Дело возбуждено по фактам передач разведцентра ЦРУ неустановленному агенту и закладки шпионского контейнера, в котором находились зашифрованные инструкции, деньги — именно сторублевые купюры — и золото. Перед тем как ассигнации попали по назначению, они были у нас пронумерованы и п о м е ч е н ы, так что ошибка исключе-

на... Впрочем, если вы сможете доказать, что Кульков получил сотенную купюру в магазине или сберкассе, я буду вам только признателен... Но вот в чем беда: в магазине он ее получить не мог, сдачу такой купюрой не дают, согласитесь. В сберкассах номера интересующих нас сторублевых ассигнаций находятся под контролем... Сигналов оттуда не поступало... Выдвигайте версию, Алексей Карпович, я готов анализировать вместе с вами любой допуск.

— Хм... Хорошо, а если он одолжил у кого-то эту треклятую сотню? Вообще, у меня голова кругом пошла... Геннадий должен ко мне завтра приехать на дачу...

— Мы бы просили вас не встречаться с ним... И не разговаривать. Даже по телефону... Желателен ваш срочный отъезд в служебную командировку, командование в курсе дела, Алексей Карпович. Что касается того, мог ли Кульков одолжить у кого-то сто рублей перед тем, как идти на преферанс, то это вполне рабочая версия, я поручу моим товарищам подумать над ней...

— Он, кстати, одалживал у какого-то своего приятеля большую сумму, когда покупал машину... Запамятовал, как его звали...

— А профессия?

— Врач-гомеопат.

— Играет в преферанс?

— Нет. Мне кажется, нет. Во всяком случае, с нами не играл... Я, знаете ли, не люблю новых людей, предпочитаю бывать с теми, с кем связан по работе или старым дружеством...

— С Кульковым вы связаны по работе?

— Конечно... Хотя последние годы отношения у нас, я бы сказал, переросли в приятельские... Да нет, не может быть того, о чем вы думаете! — Генерал снова всплеснул руками. — Он же имеет выходы на ракетные дела, на оборону, что вы, товарищ дорогой!

Славин кашлянул и, ощущая какую-то сковывающую неловкость от того, что не мог отвести взгляда от Звезды Героя на кителе генерала, спросил:

— Кульков... или Иванов... они вели с вами разговоры по тем узлам вопросов, которые относятся к категории особой секретности?

— Кульков знает не меньше меня, полковник. Если не больше. Он повсюду сопровождает академика Крыловского, помощник по связям с оборонной промышленностью, что вы хотите... Это страшно, если он... Нет, я отказываюсь верить, положительно отказываюсь...

— Когда вы познакомились с Кульковым?

— Во время испытания ракет... Лет пятнадцать назад...

— Помните, при каких обстоятельствах?

— Мы, сдается, возвращались в Москву в одном купе...

— А потом?

— Что-то через год встретились на совещании... Я его подвез к дому, он пригласил выпить чаю. Мы перекурили во время этого совещания, сидели с утра и до позднего вечера...

— Он тогда жил один?

— Нет, отчего же? С Лидочкой... С Лидией Афанасьевной... Это его жена, очень гостеприимная женщина...

— А потом? — повторил Славин.

— Потом... Погодите, потом он отдыхал со мною в одном санатории, там-то мы и сели за пульку на пляже...

— Азартный игрок?

— Ну что вы! Я же говорю: мы снимаем преферансом стресс... Гена... Кульков, между прочим, был каким-то странным во время последней пульки... В ту пятницу он играл крайне нервно, такого с ним никогда не было...

— До этого он проигрывал спокойно?

— Плюс-минус десять рублей, какой это проигрыш?! При его-то окладе... А в пятницу он без удержу темнил, попусту торговался, будто дразнил самого себя... Но вы расспрашиваете о нем как о преступнике, полковник!

— О преступнике допрашивают, Алексей Карпович. Я пока что спрашиваю о нем как о свидетеле, который расплатился купюрой сотенного достоинства, присланной ЦРУ.

— Нет, но я же чувствую, вы его подозреваете...

— Плохо, если я дал вам основание составить такое мнение... Я не имею права на подозрение, это противозаконно... Скажите, у вас никогда не возникало какого-то неприязненного чувства ни к одному из тех, с кем вы играли у Иванова в преферанс?

— Нет, — сразу же ответил Шумяков. — Это было бы нечестно: приходить в дом, где тебе кто-то или что-то не нравится...

— Поведение ваших партнеров все эти годы было безукоризненным?

— Да... Пожалуй... Впрочем, однажды меня несколько резанула безапелляционность Егора...

— Иванова?

— Да.

— В чем она выразилась?

— Он слишком уж яростно говорил о своем коллеге...

— Яхминцеве?

Генерал взглянул на Славина по-новому, оценивающе:

— Вам и это известно?

— Да.

— Я тогда заметил ему, что не резон так зло говорить о том, с кем работаешь... А Егор ответил, что о гробовщиках мысли он иначе говорить не умеет...

— А Кульков?

— По-моему, Кульков поддержал меня... Правда, он попросил Егора рассказать, какую новую идею Яхминцев закапывает...

— Иванов объяснил?

— Помнится, да... Но он объяснял языком уравнений и формул, это не по моей части. — Генерал вымученно улыбнулся.

— Кульков хорошо ориентируется в том, чем занят Иванов?

— Конечно... Коллеги...

— Но Кульков, как я слыхал, не очень-то котируется как ученый... На докторскую диссертацию так и не потянул.

— Это как раз объяснимо: все время со своим шефом на испытаниях и строящихся объектах, на себя у него просто-напросто нет времени.

— У вас не осталось в памяти чего-либо такого, что удивило, обрадовало или, наоборот, расстроило в характерах ваших партнеров? В их манере себя вести... В поступках, словах, наконец...

— Нет. Я же ответил: если бы меня что-то отвратило от человека, я бы не смог с ним более общаться, такой уж у меня норов... Если рву, то навсегда.

— Вы когда-нибудь фотографировались вместе с партнерами?

— Никог... Погодите, погодите, как раз в пятницу Генн... Кульков принес зеркалку и сделал несколько снимков. С блицем...

— Впервые за все время знакомства?

— Впервые. Полагаю, что впервые... В силу моей профессии я не очень-то разрешаю себя фотографировать...

— Алексей Карпович, пожалуйста, попробуйте восстановить по дням историю вашего знакомства с Кульковым и профессором Ивановым. Это бы очень и очень помогло мне в деле... Что касается вероятия обмена Кульковым мелочи на купюру сторублевого достоинства, я не премину

заняться этим сегодня же... И последнее: если он вдруг позвонит вам в течение тех двух часов, пока вы еще не уехали из Москвы, пожалуйста, разговаривайте с ним так, как разговаривали всегда...

— Не обещаю.

— Это необходимо.

— Не обещаю, — повторил генерал. — Сделайте так, чтобы мои телефоны не работали. Я знаю, чего могу обещать, а чего нет.

Полковник Груздев докладывал тихим голосом, глухо покашливая, был, как всегда, несмотря на неудержимо-веселый нрав, нетороплив и обстоятелен:

— Собственно, ничего особенно интересного наблюдение за Кульковым не дало, Виталий Всеволодович. Учреждения, которые он посетил за эти три дня, следующие: Министерство авиационной промышленности, Академия наук, Министерство обороны, Госплан Союза. Фамилии людей, тех, с кем он встречался, приложены, сорок пять человек, в высшей мере уважаемые товарищи. Если он действительно получил сторублевую ассигнацию из ЦРУ и она не попала к нему каким-то шальным образом, чего я отнюдь не исключаю, тогда основные узлы ракетной проблематики Советского Союза будут известны Лэнгли.

— Будут? — переспросил Славин. — Или известны?

— Любой ответ на этот вопрос в настоящее время носит предположительный характер, Виталий Всеволодович.

— Ну и предполагайте. Мне особенно хорошо думается, когда собеседник выдвигает соображения, противные моим.

Груздев с тоской посмотрел на сигарету, которую крутил в пальцах (Славин не курил), и сказал:

— Если считать, что передачи разведцентра ЦРУ неустановленному агенту начались неделю назад, если их интенсивность нарастает день ото дня, значит, в Лэнгли очень торопятся. Это первая позиция. Всю эту неделю совещания в тех министерствах, которые посещал Кульков, заканчивались поздним вечером, к одиннадцати. Во вторник и четверг Кульков вернулся домой около двенадцати, сопровождал академика Крыловского на объекты... Можно предположить, что обмен информацией был назначен на один из этих дней, но Кульков не смог взять в Сокольниках контейнер. Отсюда некоторая паника в стане наших подопечных. Выемка в Сокольниках контейнера людьми Юрса, сопровождавшаяся одновременным выбросом трех машин разведки из здания посольства. Такова вторая позиция.

Однако третья позиция оказалась для нас проигрышной: коллеги из ЦРУ все же смогли заложить контейнер, а их агент этот контейнер получил...

— Я бы не назвал эту позицию проигрышной, — возразил Славин. — Даже совсем наоборот: благодаря тому что мы поработали с содержимым контейнера, в обращение вышла меченая купюра. Мы получили след: от Иванова — к Кулькову. Если мы соберем неопровержимые доказательства того, что Кульков не сдавал в банк рубли или мелочь, — Славин усмехнулся, — меняя их на престижный с т о л ь н и к — я и такое не имею права исключить, — если ему не одолжил кто-то эту ассигнацию накануне партии в преферанс у профессора Иванова, тогда мы взяли бога за бороду.

— У бога не было бороды, — улыбнувшись, сказал Груздев, — только чуть намеченные усы. Вглядевшись в настоящую иконопись, вы убедитесь, что эта пословица носит несколько богохульный характер...

— Поправка принята, — согласился Славин. — Богохульствовать не есть хорошо. Вношу предложение: ваши люди устанавливают всех тех, с кем жизнь сводила Кулькова за последние двадцать, а то и двадцать пять лет. Я обозначил этот временной отрезок не случайно; как сказал мне Константинов, во время допроса следователем Васильевым инженера Ножкова, проходившего в качестве свидетеля по делу Пеньковского, тот упомянул некоего Гену, который дважды играл в преферанс вместе с полковником, когда тот отдыхал в Сочи: «Молодой парень, кажется, москвич, очень предупредителен, фамилия мне не известна». И — все. Пеньковский на допросах про этого самого Гену ничего не показал: «Меня окружала тьма людей во время отпуска». Так что Гена тогда завис. Гена — это Геннадий, не правда ли? Если ваше подразделение соотнесет даты отпусков Пеньковского с отпусками Кулькова, просмотрит в Сочи фамилии всех тех, кто отдыхал в ту пору вместе с г о л у б е м, мы, полагаю, сможем внести несколько дополнительных штрихов в портрет Геннадия Александровича. Не находите?

— Дело-то горячее, Виталий Всеволодович, а задача, которую вы ставите, займет уйму времени.

— А я вам уйму времени не даю. Я вам даю два дня. И не более того.

В дверь постучали.

— Занят, — раздраженно бросил Славин. — Чуть позже, пожалуйста!

— Виталий Всеволодович, — голос секретаря Людочки был извиняющимся, — генерал Шумяков звонит по ВЧ, крайне срочное дело.

Славин сорвался с кресла, словно мальчик, выбежал в приемную — когда проводил оперативные совещания, все телефоны замыкал на секретариат, — схватил трубку:

— Слушаю, Алексей Карпович!

— Я уже на месте, так что все в порядке, — сказал Шумяков, чуть покашливая. — Звонков от интересующего нас лица не было, а фамилию врача, гомеопата этого самого, у которого одалживал деньги тот, о ком шла речь, я вспомнил: Бензелев Николай Васильевич...

«ИЗ ЖЕНЕВЫ ОТ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА»

«Переговоры идут за закрытыми дверями; брифинги, которые проводят представители делегаций, отличаются корректной сдержанностью; информация весьма относительна, хотя интерес прессы к результатам встречи крайне высок: в случае если удастся подписать соглашение — помимо того, что мирные отрасли промышленности получат многомиллиардные дотации, ибо космические и ракетные программы, по самым приблизительным подсчетам, стоят ныне не миллиарды, а триллионы долларов, — это будет серьезно способствовать летней встрече лидеров Советского Союза и Соединенных Штатов.

Поскольку члены делегаций отделываются улыбчивыми ответами, смысл которых носит обтекаемый характер, журналисты устраивают свои брифинги в баре Дворца наций, который помнит Литвинова и Чемберлена, Даладье и Геббельса, прибывшего сюда, чтобы объявить о выходе рейха из Лиги Наций; тревожная память середины двадцатого века постоянно с л ы ш и м а здесь — в деревенской тиши уютного города, разбросавшегося на берегу сказочной красоты озера.

Мнения прессы порою кардинально разностны, однако же их отличает нескрываемая п о з и ц и о н н о с т ь.

...Моего собеседника зовут Юджин Кузанни; десять лет назад в пресс-клубе Вашингтона я беседовал с одним из ведущих репортеров столичной газеты. Он рассказывал о том, как ему пришлось воочию узнать нацистский плен; лицо американского коллеги было скорбным, глаза порою застывали, словно бы не могли оторваться от чего-то такого,

что невозможно забыть. «Только не пишите мое имя, не надо», — сказал он мне тогда. Это был урок. С тех пор я всегда спрашиваю собеседника, могу ли назвать его; Кузанни ответил: «Должен».

Мы знакомы не первый год. Кузанни прежде всего кинематографист. Его документальные ленты хорошо известны на Западе. Резкость монтажа, сплав игрового кино с хроникой, литой дикторский текст, сенсационность темы снискали его фильмам широкую известность. Одни возносят его стиль, другие подвергают остракизму. Что ж, это лучше, чем замалчивание.

Сейчас Юджин Кузанни заканчивает подготовку к съемкам новой картины, посвященной столкновению двух концепций, персонифицированных в вымышленных образах руководителей ракетной и самолетостроительной корпораций — Дейвида Ли и Питера Джонса.

— Я довольно долго изучал нашу прессу, — рассказывает он. — Особенно меня заинтересовали взаимоотношения между вполне реальными концернами старого босса авиационной индустрии Джозефа Летерса и ракетостроителя Сэма Пима. И тот и другой, бесспорно, личности недюжинные, крепкого кроя и большого организаторского таланта... Рассматривать явления изолированно друг от друга — значит заведомо служить идее дезинформации общественного мнения, поэтому следует отметить, что Летерс — это махина, роль которого в создании современной авиации может быть сравнима с выдающимся рывком автомобилестроения, оплодотворенного подвижничеством Генри Форда... Любите вы его или нет, считаете крайне правым мастодонтом или даже симпатизантом Гитлера — это ваше дело, однако на правду не следует закрывать глаза: будущие поколения еще поставят памятник человеку, сделавшему автомобиль бытом двадцатого века, подарившему людям миллиарды часов, сэкономленных новыми скоростями. А что, как не время, есть концентрат прогресса?

Сэм Пим тоже колоритная фигура: работал по пятнадцать часов в сутки, начав с рядового инженера, обаятельный парень, совершенно не похожий на тех империалистов в звездно-полосатых цилиндрах и с козлиными бородами, которых вы рисуете в своих карикатурах. Он сделал самого себя за двадцать лет — сейчас ему сорок три, и он возглавляет империю, владеющую сотнями баллистических ракет и космических аппаратов.

Пим в отличие от Летерса имеет техническое и гуманитарное образование, его поддерживают могущественные

группы на Уолл-Стрите, не впрямую, правда; впрямую никто никого не поддерживает. Сейчас очень остро стоит вопрос об ассигнованиях: если конгресс и Белый дом пойдут на поддержку Пима, тогда патриарху авиации Летерсу будет нанесен серьезнейший удар; возобладай концепция «деда» — Пиму будет плохо. Очень плохо. Так плохо, что дело может кончиться банкротством, потому что под свой ракетный проект он уже занял в банках более полумиллиарда долларов — чем возвращать?! Значит, нужны связи. Надо пускать в дело рычаги политики, то есть создавать серьезные блоки и аккуратно подвигать политиков на содействие проекту. Каким образом? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Связи надежно скрыты. В газетах можно писать о том, что Рейган неуравновешен, слабый актер, да и вообще начинает терять память, — это твое личное дело, свобода слова, пожалуйста, но попробуй нащупать коррумпированные связи военно-промышленного бизнеса с теми, кто конструирует политику Рейгана и пишет ему речи! Именно это и составляет предмет государственной тайны. Мы можем писать о тенденции, но факты такого рода получить трудно, практически невозможно... Судя по тому, что происходит в Женеве, Пим сейчас ведет в счете. Какие-то пунктиры, отдаленно приближающиеся к возможной правде, я могу обозначить: заместитель главы нашей делегации воспитывался в Джорджтауне, команда из этого университета входит в окружение президента и много лет финансируется теми, кто так или иначе включен в орбиту корпорации «Континентал кэн компани». Когда совершился ее взлет? В тот год, когда генерал Клей, бывший заместитель Дуайта Эйзенхауэра на посту главнокомандующего вооруженными силами Штатов в Западной Германии, сделался председателем правления концерна; именно его связи позволили еще двадцать пять лет назад получить полтора миллиарда прибыли на ракетном производстве. А генерал Макартур, герой сражения против Японии? После отставки он сделался президентом концерна «Сперри рэнд корпорейшн» — ракеты, радарное оборудование. А мой старый добрый друг адмирал Алан Кирк, руководивший военно-морской разведкой? Тоже сотрудничал с мудрецами из Джорджтауна, президент электронной корпорации «Меркаст» — оборудование для ракет... Летерс всегда ставил на Пентагон — в правлении его дочернего «Локхида» было двадцать семь генералов. А ведь у этих генералов есть дети и внуки, они все переженились, внутривидовое опыление, нерасторжимость коррупции, ни мое ФБР, ни ваш КГБ не в силах проникнуть

в их святая святых... А вот Пим больше ставит на связи с ЦРУ, он работал, совсем еще молодым конструктором, в «АМФ атомикс», а президентом корпорации был генерал Бэдэл Смит, являвшийся и шефом ЦРУ, и американским послом в Москве... Связи тем и сильны, что, раз начавшись, они практически не прерываемы... У администрации сложное положение: Рейган должен увидеться с Горбачевым; мир ждет от этой встречи очень многого... Президент должен — самим фактом этого диалога — укрепить позиции своей партии: выборы на носу... А как ВПК? За ним далеко не последнее слово... И оно еще не сказано... Переговоры в Женеве для них крайне нежелательны, удар по их интересам, особенно если допустить возможность хоть частичной договоренности... Мне почему-то кажется, что переговоры чем дальше, тем будут труднее, потому что — в этом ваш Маркс прав — экономика диктует принятие политических решений. Я противник коммунизма, убежден в целесообразности принципа свободы предпринимательства и необходимости частной собственности, я очень люблю мою страну, именно поэтому я и должен понять: выгоден нам срыв переговоров или нет? Обязан отдать себе отчет: действительно ли непреклонность нашей позиции продиктована серьезностью русской угрозы? Или же речь идет о б и з н е с е, в котором заинтересован человек, дающий работу четверти миллиона американцев. Четверти, повторяю. Но нас почти двести сорок миллионов. Если я пойму, что наша позиция продиктована своекорыстными интересами одного человека, завязавшего себя на выгодный бизнес, я ударю тем оружием, которое господь вложил мне в руки — пером и кинокамерой. И если меня начнут клеймить «красным» и «продавшимся Кремлю», я не буду в обиде на тех, кто станет это печатать, — ощущение правильности гражданской позиции дает силу вынести неправду. Ты помнишь, — усмехнулся Кузанни, — что писали про мой фильм о Вьетнаме?.. Наши солдаты, а они хорошие солдаты и добрые люди, умирали не за то дело и не в той части мира. Время подтвердило мою правоту, я жив, как видишь, пытаюсь закончить мой сценарий. Если возникнут трудности с финансированием, приеду работать на вашу киностудию, правда, говорят, в вашей стране вопросы согласования требуют не дней или месяцев — лет, что для меня, исповедующего фактор времени как альфу и омегу жизни, смерти подобно.

...Мы вышли из Дворца наций и спустились к озеру; громадный фонтан у моста подсвечивался ярким светом

холодных прожекторов; где-то в парке слышалась музыка — аккордеон и гитара, грустная песенка парижских шансонье; в темном небе свистяще проносились стаи уток, спокойствие и безмятежность...

Видимо, мало кто может себе представить, что взрывы ракет за Рейном, который протекает в двухстах километрах отсюда, превратят в пепел и этот прекрасный город; человечество до сих пор еще не осознало своей трагически малой, неразрывной общности — не отсюда ли проистекают все беды нашего прекрасного крошечного шарика?

Дмитрий Степанов,
передано по телефону».

РАБОТА-V

— Ну отчего же, — доктор Бензелев огладил свои усы, я готов объяснить вам мой метод, Виталий...

— Всеволодович.

— Да, да, простите, Виталий Всеволодович, у меня всегда были затруднения с отчествами, а с тех пор, как я увлекся таджикской медициной, и вовсе беда. На Востоке, как и на Западе, нет для нас привычных отчеств, просто и коротко: Ибн-Сина. «Ибн» значит «сын»; «сын Сина», очень удобно. Виталий ибн Всеволод... Так вот, кардинальная разница между нашей, европейской медициной, с одной стороны, и тибетской, китайской, таджикско-персидской — с другой, заключена в методологии. Мы, европейцы, вприпрыжку бежим за новейшими открытиями науки, фармакологии в первую очередь... Я, понятно, говорю о терапевтах; успех хирургов вне подозрения, они дети эвклидовой геометрии, подданные гетевского «Штурма и натиска». Из чего исходит китайская медицина? Из признания в каждом организме двух основополагающих начал: мужского, то есть деятельного, и женского — тормозящего, успокаивающего. В приложении именно к этим началам рассматриваются пять элементов природы: вода, земля, огонь, металл и дерево. В отличие от индусов, тибетцев и таджиков врачеватели Китая соотносят элементы природы не с абстрактной материей, но с конкретными элементами организма: земля — это селезенка, вода — почки, огонь — сердце, дерево — печень, металл — легкие. Я остановился после многих лет практики на таджикско-персидской концепции, взявшей, кстати говоря, мето́ду, рожденную в Афинах...

— Почему? — Славин не торопился начинать разговор: доктор был ему интересен; мать жаловалась на врачей из районной поликлиники: «Визит длится пять минут, а я хочу рассказать обо всех своих недугах». Славин объяснял ей, что на каждом докторе висит тридцать больных, успей всех обойти. Да и больничных коек не хватает. Кооперативные дома, гаражи и поселки строим, а медицинские учреждения с трудом. Почему? Застарелая приверженность догмам? Леность мысли? Или обычное дурство?

— Видите ли, греко-персо-таджикская медицина, — с готовностью ответил Бензелев, — считает, что в природе существуют лишь четыре основополагающие стихии: воздух, вода, огонь и земля. По своей природе наша кровь сродни воздуху, имеет такую же природу; лимфа вроде воды; сафра...

— Что такое сафра? — сразу же спросил Славин.

— Это жидкое вещество, образуемое в результате второго этапа переваривания пищи, легкая часть крови, осадок, что ли. Природа сафры горячая и сухая, цвет — желто-красный, вкус — горький...

— Ясно. Дальше, пожалуйста...

— Интересно?

— Еще как...

— И последний, четвертый элемент — савда, то есть тяжелая часть крови... Холодная и сухая, цвет темный, вкус кислый... Исходя из этого, люди, в натуре которых преобладает воздух, то есть кровь — по-латыни «сангвис», — относятся к сангвиникам: подвижные, увлекающиеся, жизнерадостные. Те, в ком можно определить преобладание сафры — по-гречески этот элемент называется «холе», — быстро возбудимы, чрезмерно энергичны, весьма горячи и несдержанны, — холерики. «Флегма» по-гречески означает «слизь» — явное преобладание лимфы. Отсюда термин «флегматики» — медлительные, малоподвижные люди, внешнее выражение чувств практически отсутствует. Ну а те, кто несет в себе избыток савды, пополняют ряды меланхоликов, ибо «мела» по-гречески значит «черный», а «холе», как вы помните, это «желчь». Исходя из того, к какому типу людей вы относитесь, я и назначу лечение.

— А как вы узнаете, к какому типу людей я отношусь?

— Очень просто. — Бензелев подошел к Славину, оттянул его веко, оглядел внимательно и спросил: — Что вам во сне чаще всего показывают?

Славин улыбнулся:

— Я как-то не запоминаю... Последние дни вижу часы...

— Какого цвета? Красные?

Славин удивился: действительно, вчера ему приснились часы с красным циферблатом.

— Бывает.

— Бывает часто, — утверждающе сказал Бензелев. — И огонь вы часто видите, пожары, костры, иллюминации. Веко у вас полно кровеносных сосудов, это первый признак сангвиника, лицо румяное, вы довольно тяжело садитесь, я сразу заметил, в вас много силы, поэтому устраиваетесь аккуратно, обсматриваясь... И во рту у вас горечи нет, согласитесь?

Славин сглотнул, попробовал языком нёбо:

— Даже сладость ощущаю.

— Вот видите, — удовлетворенно кивнул Бензелев. — А тот, у кого преобладает лимфа, бледен, постоянное слюноотделение, поразительное отсутствие жажды, не человек, а верблюд. Ярко выраженный плохой аппетит, постоянная сонливость; причем во сне таким людям показывают реки, озера, море — явные флегмы... Именно исходя из постулатов, которые я вам открыл, древние персы и таджики вывели свою методу лечения. Во-первых, диеты, приложимые к каждому типу характера: то, что угодно сангвинику, губит меланхолика, и наоборот. Раз ты родился флегматиком, тебя не сделаешь холериком. Надобно поддерживать здоровье в конкретной человеческой данности. Следовательно, питание, которое есть кроветворный процесс, суть альфа и омега здоровья. Как и питье, что есть второй контрапункт метода. Кровопускание — увы, забытая панацея от недугов. Пиявки стали дефицитом, я за ними охочусь, как за леопардами. Массажи, лечение определенными запахами, смазывание маслами, ванны для рук и ног... Я собрал массу поразительных примеров из древней медицины, которые следовало бы рассчитывать на компьютере, а где его взять?! Мы же дикари, надеемся на собственную голову... Древние таджики, например, утверждали, что хроническая болезнь глаз излечивается поносом... Да, да, из организма выходит избыток сафры, печень работает ритмичнее, очищается кровь, улучшается кровоснабжение головы, организм — существо саморегулирующее, распределение ресурсов осуществляется весьма рационально... До сих пор не просчитана на ЭВМ поразительная по своей эффективности рецептура употребления инжира. А ведь его на Востоке считают чуть ли не волшебным средством: гонит пот, слегка слабит, успокаивает сердцебиение, незаменим при

бронхиальной астме... Ладно, — Бензелев прервал себя, — я вас заговорю, давайте перейдем к делу: на что жалуетесь?

— Геннадий сказал, что вы сами по зрачку определяете, на что жалуется пациент.

Бензелев улыбнулся:

— Кульков? Ну, этот знает про свое здоровье больше, чем любой врач... Совершенно поразительно следит за собой... Давно знакомы?

— Давно... Только встречаемся редко... То он в командировке, то я... Последний раз я его видел, когда он в сберкассе десятки на сотенные купюры менял: шел отдавать вам долг за машину...

— Это он для кого-то другого менял, — ответил Бензелев. — Мне он деньги перевел на книжку, я ему продиктовал счет...

— Скажите, доктор, а ваш метод...

Бензелев перебил:

— Это не мой метод, а персо-таджикский... Я лишь адепт метода...

— Поправка принята. — Славин улыбнулся. — Вы сказали, что я сангвиник. Прекрасно. Какой я должен из этого сделать для себя вывод? Если болит голова, затылок раскалывается, что предпринимать? Пить спазмовералгин?

— А где вы его достанете? А если и достанете, то зачем его пить, когда следует есть цикорий и салат, особенно его семена? Это ведь совершенно прекрасно уменьшает «кипение крови»... А лимон? А лепестки красной розы? Кинза? Вот ваши лекарства! Сейчас стал модным яблочный уксус... Я не против, отнюдь, но ведь многие тысячелетия тому назад таджики варили у к с у с о - м е д. Для лечения почечных недугов они предписывали петрушку, ромашку, анис и тысячелистник — именно то, что сейчас начали рекомендовать некоторые урологи.

— Я забыл, какую траву вы давали Геннадию чаще всего. Он говорил, что...

— Укрепляющую потенцию, Виталий Всеволодович. Смесь лаванды, граната, корицы. Делает мужчину Голиафом... А если еще при этом в течение месяца попить парное молоко с грецкими орехами — считайте, что можете свернуть горы... Таджики называют такого рода составы «муфаррихот» — «веселящие»... Это действительно так. Попробуйте, хотя, судя по вашему естеству, вы не подвержены хандре и слабости...

— Так ведь и Кульков здоров, как спортсмен. — Славин пожал плечами: — Зачем ему думать о потенции?

Бензелев зашелся колышущимся смехом:

— Мой дорогой, мужчина только тогда по-настоящему здоров, когда постоянно испытывает влечение. Стимулятор творчества — влечение, страсть, мечта! Вы давно женаты?

— Я холост.

— Странно. Производите впечатление счастливого семьянина. Разведены?

— Убежденный холостяк...

Бензелев повторил:

— Странно... Впрочем, никто не гарантирован от ошибочного мнения. Конечно, Виталий...

— Всеволодович, — подсказал Славин.

— Ах, простите, бога ради! Как было бы просто, называй я вас «ибн Всеволод», никаких проблем, согласитесь?! Так вот, я продиктую вам наставление Тибби Юсуфа... За поэзию не отвечаю — он писал рецепты и наставления больным стихами, — но что касается профилактики всякого рода недугов, то здесь он абсолютен... «О, вставший поутру, ответь, какого рода вкус во рту ты ощущаешь? Сладость? Скажи, чтобы пустили кровь! Переизбыток сил обязан быть отмерен мудрой мерой. А если горечь мучает тебя, не думай о плохом, но все же помни: слишком много сафры! Забудь горячий плов и сладкое вино; лишь остуженное, проваренное мясо и кислое от горных коз биро дадут тебе немедленное облегченье...»

— Что такое «биро»?

— Некое подобие кефира... Айран, говоря иначе, — ответил Бензелев и увлеченно продолжил: — «А если кислый вкус, то савда здесь причина, но это пустяки, коль скоро ты мужчина: ешь сладкое с жирным, вновь будешь ты сильным... Если во рту ощутишь вкус соленый, значит, скопились дурные материи, вызови рвоту, облегчи желудок, соли уйдут,возвратится рассудок!» Вот так-то... И золото, обязательно носите на теле золото; если каждый день будете пить один кирот золота — это таджикская мера веса, девятнадцать сотых грамма, — укрепите мышцу сердца на многие годы... Заметьте себе,что и в средневековой Европе те, кто был в состоянии, ели золотыми вилками с золотых блюд; неспроста инфаркты я лечу золотом. Это — панацея... Вы, кстати, пьющий?

— Нет.

— И не пили?

— Я был профессиональным гребцом...

— Тогда я за вас спокоен... Приступам меланхолии не подвержены?

— Никогда.

— Между прочим, по-персидски «меланхолия» звучит «молихулиё», что значит «страхи», «расстройство мысли» и «подозрительность»... Попробуйте попить чебрец с уксусо-медом и шафраном, пропорцию я вам сейчас напишу...

— А как делать этот самый уксусо-мед?

— Очень просто. Добавьте в мед треть воды. Кипятите смесь. Появится пена. Снимайте ее до тех пор, пока она не исчезнет. Затем медленно заливайте в эту жидкость разведенный уксус — полбутылки эссенции, полбутылки воды, — пока смесь не приобретет кисло-сладкий вкус. Вот и все. По две ложки перед едой. Всю жизнь. До восьмидесяти будете испытывать желание любить женщину, а это первый признак здоровья.

Славин неловко достал из кармана конверт с деньгами; Бензелев махнул рукой:

— Меня просил вас принять академик Вогулев, с друзей наших друзей я не беру гонорары, и потом вы очень хорошо слушаете — качество, теряемое человечеством...

Вернувшись в КГБ, Славин позвонил Груздеву:

— Поглядите-ка повнимательнее, нет ли пассии у нашего образцового семьянина. Он, видите ли, весьма радеет по этому поводу.

— Ее зовут Анастасией, — ответил Груздев скучным голосом. — Анастасия Викентьевна Морозова... Но и это не все.. Тут у меня кое-что подошло, пока вы занимались проблемами укрепления здоровья... Можно к вам зайти?

Груздев никогда не появлялся с пустыми руками; сведения, которые называл «тещиными языками» — сплетни, слухи, анонимки, — отводил сразу же: «Грязное белье не по моей части», оперировал фактами, этому учил молодежь.

— Любопытная деталь, Виталий Всеволодович, — сказал он, присаживаясь на краешек стула (в этом весь характер, кстати). — Геннадий Александрович когда-то был весьма и весьма пьющим человеком... Гуляка, каких свет не видывал... И вдруг — после поездки на конференцию в Вену — вернулся трезвенником. Не вшивался, упаси бог, к психиатрам не ходил, но завязал, как отрезал. Причем в тот день, когда крепко поднабрался на приеме в Вене, обзванивал членов делегации, был в панике, искал академика Крыловского, а тот беседовал с президентом, вернулся поздно, что-то около часа. Его потом посол пригласил к себе в резиденцию. Когда вернулся, сразу же позвонил Кулькову, в чем, мол, дело, а тот ответил, что наглотался снотворного,

все в порядке, просто хотел посоветоваться о расписании дня на завтра, никаких проблем...

— Документы по конференции у кого были? — спросил Славин, нахмурившись. — Хранились в посольстве?

— Документы в тот день находились у Геннадия Александровича. А сопровождающий был, понятно, с академиком... Полагаете, что с пьяненьким Кульковым могли сыграть партию в трик-трак?

— А почему бы и нет? Опросили членов делегации?

— Думаем, как это половчее сделать. Все они добрые знакомцы Кулькова, дело деликатное, да и было их там девятнадцать человек, слишком с многими придется говорить, не спугнуть бы...

И в это время позвонил генерал:

— В четверг, накануне партии в преферанс, ваш подопечный попросил академика Крыловского остановить машину возле Сокольников, голова, сказал, раскалывается, хочу прогуляться перед сном... Это было в двадцать три тридцать... А в двадцать два часа по Сокольникам гулял мистер Юрс. Видимо, тогда и состоялся обмен информацией, Кульков вполне мог взять контейнер... Он всегда ходит с вместительным «дипломатом», там пень уместится, не то что «булыжник»... С мистера Юрса и его команды наблюдение снимайте, смотрите в оба за Кульковым, он будет забирать контейнер не сегодня, так завтра.

...Анастасия Викентьевна Морозова, Настена, Настенька оказалась очаровательным двадцатисемилетним созданием, с пронзительно-черными глазами, стриженная под мальчика. Волосы ее такие густые, что было непонятно как она их расчесывает.

К Славину она выбежала прямо с репетиции, танцевала в ансамбле: фигурка точеная, улыбка ослепительная и до того добрая, что у Славина даже сердце защемило от жалости к ней, особенно когда он заметил синеватый кружок на безымянном пальце, образовавшийся вокруг того самого колечка с камушком, который всего пять дней назад он рассматривал в кабинете генерала...

— Я из Госконцерта, Анастасия Викентьевна, — представился Славин. — Мы давно присматриваемся к вашему ансамблю и к вам, любопытно работаете... Почему бы вам не сделать сольный номер? Заглянули бы в Госконцерт сегодня, я вам телефон оставлю, ладно? Там комплектуют группу для поездки в Финляндию, вы прекрасно работаете финскую летку-енку, номер пройдет, по моему мнению, на ура.

Через полчаса Анастасия Викентьевна позвонила Кулькову на работу, голос ликующий, поделилась новостью. Тот сухо ответил: «Я заеду к вам завтра, спасибо, что позвонили, Глеб Нилыч, поздравляю, сегодня, увы, занят, собрание...»

...Собрание было посвящено персональному делу; на конструктора Якулова жена написала заявление: разрушает семью, завел любовницу, страдают дети.

Славин с интересом слушал, как выступал Кульков.

— Что может быть для советского человека святее, чем простое и емкое слово «семья»? — начал он свое выступление, не глядя в зал, сосредоточившись в себе. Горестные морщины изрезали лоб, уголки рта скорбно опущены. — Семья — это, если хотите, родина. Измена жене, матери твоих детей, — шаг на пути к предательству... Я не могу иначе квалифицировать поступок такого рода... Сколько лет вы прожили с женой, товарищ Якулов?

Тот медленно поднялся, усмехнулся и ответил вопросом:

— Вы бы Анне Карениной такой вопрос задали, Геннадий Александрович?

— Но это же демагогия, — устало возразил Кульков. — Демагогия чистейшей воды... Если полюбили другую, придите к женщине, с которой растили детей, и скажите ей правду. Нет ничего прекраснее правды, как бы тяжела она порой ни была, товарищ Якулов. Я не ханжа, в жизни всякое может случиться, но найдите же в себе мужество! Откройтесь той, которую вы любили!

— Так я и открылся, — усмехнулся Якулов. — И вот чем кончилось...

— Нет, товарищ Якулов, как мне сообщили, вы признались лишь после того, как жена застигла вас, что называется, на месте... Уверяю вас, найди вы в себе мужество открыться, честно поговорить с матерью ваших детей — исход был бы совершенно иным...

Славин встал и вышел из зала — не мог слушать, гнусь...

...В двадцать два часа тридцать минут Кульков взял в Сокольниках «ветку» — контейнер ЦРУ, спрятал его в портфель и отправился домой.

Через десять минут генерал срочно собрал у себя в кабинете контрразведчиков, проводивших операцию.

Закончив совещание, вернулся к изучению материалов по делу Пеньковского.

Вопрос: Вы сказали, что в Париже у вас была встреча с представителем разведки США?

Пеньковский: Да.

Вопрос: Чем интересовался этот человек?

Пеньковский: Он беседовал со мной минут тридцать. Фамилии его я не помню, так как в момент знакомства и во время представления разведчики быстро произносили фамилии и я их не улавливал. Беседа носила общий характер.

Вопрос: О возможности вашей поездки в Америку спрашивали или нет?

Пеньковский: В данном случае был разговор о предстоящей советской выставке в США, которая намечалась на апрель 1962 года. Они спрашивали, приеду ли я туда. Я сказал, что твердо еще не знаю, поеду я или нет, но не исключено, что такая возможность будет.

Вопрос: Вы все время говорите о ваших совместных встречах с представителями американской и английской разведок, а раздельные встречи с представителями одной из этих разведок были?

Пеньковский: Да, была одна такая встреча.

Вопрос: Расскажите о ней.

Пеньковский: Эта встреча была в гостинице, где жили американские разведчики. Предложение о встрече было высказано в то время, когда я ехал с конспиративной квартиры к себе в гостиницу. Ослаф и Александр пригласили меня на следующий день после этой встречи к себе вечером в номер гостиницы. Я это приглашение принял. Была создана свободная, непринужденная обстановка. Из беседы я понял, что американская сторона сожалеет о том, что ей приходится работать со мною вместе с английской.

Вопрос: Вы обещали что-либо американской разведке? Высказали какие-либо пожелания по этому вопросу?

Пеньковский: В отношении раздельной работы с английской и американской разведками мною пожеланий не было высказано.

Вопрос: Было ли сказано, что если бы сложилась такая необходимость, то американская разведка могла доставить вас в Америку?

Пеньковский: Разговор об этом был в связи с обсуждением вопроса о представлении меня президенту Кеннеди. Они говорили, что за короткое время самолетом меня можно доставить в Америку и вернуть обратно. Это они сделали бы, если бы была острая необходимость.

Вопрос: Кроме поездок на встречи с разведчиками в Париже, куда вы еще ездили с Гревиллом Винном?

Пеньковский: С Гревиллом Винном мы ездили в Версаль, Фонтенбло, были в ресторанах, ночных клубах «Мулен Руж» и «Лидо», посещали кафе, гуляли в свободное время по улицам.

Вопрос: Кто оплачивал расходы, связанные с посещением кафе, ресторанов и других увеселительных мест?

Пеньковский: За все платил Гревилл Винн, я ему отвечал тем же в Москве.

Вопрос: По возвращении в Москву из Парижа вы приступили к выполнению заданий иностранных разведок?

Пеньковский: Да. По возвращении из Парижа в октябре шестьдесят первого года я продолжал выполнять задания иностранных разведчиков.

Вопрос: Кому вы сообщили о своем прибытии в Москву?

Пеньковский: Я позвонил на следующий день по телефону, номер которого мне был дан, и трехкратным сигналом дал знать, что прибыл благополучно в Москву.

Вопрос: Назовите телефон, по которому вы звонили.

Пеньковский: Г 3-13-58.

Вопрос: Вам известно, кому принадлежит этот телефон?

Пеньковский: Теперь известно. Телефон Г 3-13-58 установлен в квартире тринадцать дома номер восемнадцать по Кутузовскому проспекту, где проживал бывший атташе посольства Великобритании в Москве Филисита Стюарт.

Вопрос: Вы имели конспиративные встречи с представителем иностранной разведки в районе гостиницы «Балчуг»?

Пеньковский: После возвращения из Парижа в октябре шестьдесят первого года я имел с неизвестным мне лицом одну встречу конспиративного порядка в районе гостиницы «Балчуг» в двадцать один час.

...Генерал подчеркнул слова «с неизвестным мне лицом» и продолжил изучение материала.

Вопрос: Что вы передали этому лицу на встрече?

Пеньковский: Пакет, в котором находились два военных журнала.

Вопрос: Расскажите подробно, каковы были условия вызова иностранных разведчиков к тайнику «номер один»?

Пеньковский: Я мог вызвать иностранных разведчиков следующим образом: имелись два номера телефонов, по которым я должен был звонить дважды по каждому, не разговаривать, а лишь ждать ответа абонента. Услышав фамилии «Монтгомери» и «Дэвисон», повесить трубку. Это означало, что я вызываю связника к тайнику. Кроме того, я должен был поставить черную контрольную метку на столбе номер тридцать пять по Кутузовскому проспекту.

Вопрос: Ваше письмо дошло по назначению?

Пеньковский: Да.

Вопрос: По каким каналам вы получили подтверждение?

Пеньковский: По радио.

Вопрос: Когда последний раз вы имели шпионский контакт с Гревиллом Винном?

Пеньковский: В июле 1962 года, когда г-н Гревилл Винн прибыл в Москву.

Вопрос: Передали вы ему что-либо в этот раз?

Пеньковский: Да, я встретил его в аэропорту Шереметьево на автомашине Русакова и по дороге из аэропорта, в машине, передал экспонированную пленку и письмо.

Вопрос: Что вам сказал Винн, взяв от вас передачу?

Пеньковский: Винн взял от меня материал и сказал, что в этот же день он доставит его по назначению; кроме того, мы с ним договорились о повторной встрече тогда же, второго июля, у него в номере гостиницы «Украина» в девять или десять часов вечера.

Вопрос: Эта встреча состоялась?

Пеньковский: Да.

Вопрос: Что вы получили от Винна?

Пеньковский: От Винна я получил коробку, завернутую в бумагу и перевязанную шпагатом. Коробка была из-под набора спичек.

Вопрос: Что находилось в этой коробке?

Пеньковский: Инструктивное письмо, сигнальные открытки для сообщения разведчикам о моем положении и планах. В коробке также находилось три тысячи рублей. Я две тысячи после отправил через Винна назад.

Вопрос: Письменных материалов там никаких не было?

Пеньковский: Были. Проект моей статьи. Я просил разведчиков написать аннотацию на книгу, сейчас точно ее назвать не могу, не помню... Они мне написали аннотацию с использованием ряда своих источников. Я хотел эти тезисы здесь, в Москве, дополнить и сделать из них статью.

Вопрос: Какие указания содержались в инструктивном письме?

Пеньковский: Там были высказаны различные рекомендации в отношении конспирации и осторожности в работе.

Вопрос: Не содержались ли в этом письме указания о порядке перехода на нелегальное положение?

Пеньковский: В указанном письме не было. Это было предметом обсуждения в последующем.

Вопрос: Когда вы получили инструкцию по установлению связи с Карлсоном и Кауэлл?

Пеньковский: В этом же письме было сказано, что в Москву должен прибыть второй секретарь американского посольства Карлсон, с которым я смогу поддерживать контакты во время официальных приемов. Сообщалось о том, что в ближайшее время должна приехать Памела Кауэлл с мужем — вторым секретарем английского посольства, — и был указан порядок связи с Кауэлл через тайник, устроенный в банке из-под порошка «Харпик». Фотографии Карлсона и супругов Кауэлл для ознакомления мне должен передать Винн.

Вопрос: Какие инструкции вы получили об использовании для связи банки из-под порошка «Харпик»?

Пеньковский: В письме было сказано, что на одном из приемов в доме английского дипломата в туалетной комнате будет стоять банка из-под порошка «Харпик». Со стороны днища банки вынимается полая часть, куда можно заложить материалы или же забрать материалы, если они там находятся, после чего следовало банку опять поставить на место, а в последующем она будет заменена настоящим «Харпиком».

Вопрос: Вы видели эту банку?

Пеньковский: Да.

Вопрос: Кто вам ее показывал?

Пеньковский: Винн. В номере гостиницы «Украина».

Вопрос: У вас был с Винном разговор о порядке использования этой банки?

Пеньковский: Да, мы вместе с ним открывали банку, вынимали днище и смотрели. Затем я сам несколько раз вынимал днище банки, после чего эту банку оставил у Винна.

Вопрос: Когда и где вы установили связь с американским разведчиком Карлсоном?

Пеньковский: Четвертого июля шестьдесят второго года на приеме в американском посольстве.

Вопрос: Сколько встреч вы имели с Карлсоном и где они происходили?

Пеньковский: С Карлсоном я имел две встречи.

Вопрос: Какие указания иностранных разведок вы получили через Карлсона?

Пеньковский: Через Карлсона в августе я получил письмо в конверте и гражданский фальшивый паспорт. В этом письме давалась инструкция о порядке пользования этим паспортом; говорилось, что необходимо его подписать, что паспорт внутренний.

Вопрос: Кому подписать?

Пеньковский: Мне подписать... В паспорте не было подписи владельца.

Вопрос: Паспорт был изготовлен на имя другого человека?

Пеньковский: Да.

Вопрос: Но фотография в паспорте была ваша?

Пеньковский: Да.

Вопрос: Как вы передали разведке свою фотографию?

Пеньковский: Свою фотографию я не передавал, она, очевидно, попала через дипломатические каналы. Должен сказать: при оформлении выезда за границу фотокарточки посылались дюжинами и, очевидно, это фотокопия одной из них.

Вопрос: Что обещали вам иностранные разведки в качестве вознаграждения за вашу шпионскую деятельность?

Пеньковский: Мне предлагались деньги в рублях. Я говорил, что мне сейчас деньги не нужны, у меня есть достаточно своих накоплений в семье и я никакой нужды в деньгах, а также в валюте в настоящее время не испытываю. Деньги мне предлагались несколько раз, но я не брал ни копейки. И для меня явилось неожиданностью, когда мне прислали три тысячи рублей в коробке от набора спичек. Из них я купил рублей на пятьсот — шестьсот различные подарки — серебряные чернильницы и так далее — каждому из разведчиков... Часть из этой суммы я потратил на пребывание Гревилла Винна, а две тысячи рублей завернул и возвратил Винну для передачи разведчикам.

Вопрос: Какие еще блага вам обещали иностранные разведки кроме двух тысяч долларов в месяц?

Пеньковский: Из материальных ценностей больше никакие вопросы не обсуждались. Говорилось о характере и профиле моей работы на Западе.

Вопрос: Какой характер работы вам предлагали, вернее, обещали предложить?

Пеньковский: Работу, связанную с выполнением различных заданий разведывательного порядка. Конкретная должность и работа не назывались.

Вопрос: Ведомство называлось?

Пеньковский: Да, говорилось. Центральное ведомство, или в Пентагоне, или в имперском генеральном штабе, в зависимости от выбора, который я мог бы в будущем сделать, подданства Англии или гражданства США, если бы к этому подошел.

Вопрос: И даже воинское звание обещали?

Пеньковский: Поскольку они знали, что я полковник запаса, то было сказано, что мне будет сохранено звание полковника английской или американской армии.

Вопрос: Велись ли вами переговоры с иностранными разведками по поводу возможного бегства на Запад?

Пеньковский: Это было немножко не так. Американские и английские разведчики в Париже говорили, что в случае если мое положение будет очень опасное или тяжелое, то существует много вариантов для того, чтобы перейти на Запад. В качестве вариантов назывались и подводная лодка, и самолет, и переход сухопутной границы с помощью различных документов. На эту же тему у меня был разговор в июле, когда г-н Гревилл Винн приехал в Москву. Винн говорил, что мои друзья обо мне беспокоятся, что мне не надо волноваться, что, когда будет нужно, мне всегда помогут. Этот разговор был у него в номере. Конкретно варианты перехода на Запад не обсуждались.

Вопрос: Пеньковский, когда вы планировали свой побег на Запад?

Пеньковский: Я не планировал побега. Я никогда не думал бросать своих детей и семью. Этот разговор был только в том плане, что обо мне беспокоятся, думают. И хотя Винн сказал, что этот разговор был по моей инициативе, но я со всей ответственностью заявляю, что этот разговор был не по моей инициативе. Гревилл Винн имел задание меня успокоить. Как раз это и была одна из его задач — подбодрить меня, показать, что обо мне заботятся и что в случае необходимости любой вариант побега будет претворен в жизнь.

Вопрос: Чем объяснить, что вы, не собираясь бежать, уже на первой встрече с иностранными разведчиками в Лондоне, в апреле — мае 1961 года, обратились с письменной просьбой к английскому и американскому правительствам о предоставлении вам гражданства этих стран?

Пеньковский: Я об этом писал и обращался с данной просьбой не по своей инициативе. Когда я написал бумажку о своем согласии работать с английской и американской разведками, мне разведчики посоветовали сделать такую приписку, заявив, что через несколько лет это пригодится, и я послушал их совета. Машинально написал.

Вопрос: Машинально?

Пеньковский: Они мне подсказали, и я сделал несознательно приписку о том, что прошу предоставить мне гражданство США или подданство Великобритании.

Вопрос: Какими конкретными мотивами вы объяснили свою просьбу?

Пеньковский: Ничего я не объяснял по этому вопросу. Это было сделано несознательно.

И генерал, не удержавшись, заключил чтение одним лишь словом, каллиграфически выведенным на маленьком листке: «враг».

«Мой любимый!

Вообще-то слово «мой» к понятию «любимый», наверное, неприложимо, поскольку любовь добра и принадлежит всему человечеству, а «моей» может быть кукла, авторучка, шапочка. «Мой кот, шарф, шкаф, вклад в сберкассу». Умом я это понимаю, но дрянное чувство собственности, подчеркивание своего права владения, ничего не могу поделать с собой, все мы, бабы, одинаковые.

Ты себе не представляешь, как я обрадовалась твоей длиннющей телеграмме о проблемах восточной медицины, я отвечу, только чуть позже, ладно?

О чем тебе рассказать? Про то, о чем я мечтаю? Во-первых, ты и сам об этом знаешь, а потом, верных слов не подберешь; хотя я к словам отношусь сдержанно — к этому приучила профессия; разговариваешь с пациентом, вертишь его перед рентгеном, видишь в легких сетчатые дыры, то есть рак в последней стадии, понимаешь, что бедняге осталось жить считанные недели, и ведь ничего — рождаются какие-то слова, складываются во фразы, ничего не попишешь: врачебная этика, обязана хранить спокойствие, шутить и улыбаться, причем не натянутой, заданной улыбкой, какой обмениваются воспитанные супруги после очередной ссоры, чтобы дети, упаси бог, ничего не заметили, а настоящей, искренней даже. Знаешь, раковые больные обостренно чувствительны, постоянно ощущаешь внутреннюю напряженность, общаясь с ними: только б не открыть себя, только б оставить человеку два гроша надежды...

Здесь, кстати, в открытом кинотеатре показывали этот старый итальянский фильм; когда я была маленькой, училась, кажется, в пятом классе, эта картина казалась поразительной, выворачивающей душу, а сейчас совсем другое ощущение; жаль, ничто так быстро не стареет, как женщина и кино. Я даже выдвинула рабочую версию: и фильм, и я, женщина, все-таки поначалу живем чувством. Логика куда более долговечна, согласись. Она сильна до той поры, пока на смену существующей доктрине не приходит качественно

новая; естественная замена старого новым; а с чувством все сложнее и непонятнее, потому что оно неподвластно логике и подчиняется своим законам, увы, часто физиологическим.

...Море шумит за окном, шуршит галька, луна как пятак, повсюду в барах слышна музыка, а я сижу в номере и сочиняю послание — только для того, чтобы родилось ощущение твоего соприсутствия. Мы ведь с тобою ни разу вместе не отдыхали, Виталик, ни разу за восемь лет. Я заранее соглашаюсь с твоим доводом, что и это очень хорошо: во время разлук аккумулируется нежность. Но ведь я понуждаю себя соглашаться с этим, причем не без труда, потому что чем дальше, тем отчетливее ощущаю в себе такую женщину, которая очень хочет иметь детей, похожих на тебя, ездить с тобою на море, видеть тебя чаще, и ничего я с этим не могу поделать, хотя знаю, что у тебя совсем особый взгляд на все эти дела, да и на наши отношения тоже.

По утрам я стала долго рассматривать свое лицо в зеркале: тридцать шесть лет, для женщины это немало. Помнишь, Пушкин писал о какой-то из своих подруг: она старуха, ей уже двадцать шесть лет. Брррр, страшно!

Три дня назад на катере примчался Вова Гумба с друзьями и утащил меня на Золотой Берег; конечно же, в доме пахнет дымом, суетятся женщины в черном, жарится козлятина, на столе рыба пяти сортов, сыр с гор, тосты за тебя и Степанова особенно красивые, прекрасные грузинские песни, а после Вова читал на абхазском монолог короля Лира — озноб пробирает, как здорово.

Был еще какой-то гость из Москвы; он подсел ко мне и начал говорить о сюрреализме, обсуждал вопрос, будут ли читать Шекспира в будущем веке, потом перешел на обсуждение новинок американского кино, пригласил на просмотры: оставьте телефон, я за вами заеду; Алябрик тут как тут, обнял его, сказал, что звонят из Сухуми; вернулись они через десять минут, гость больше ко мне не подсаживался и избегал смотреть в мою сторону — горцы умеют постоять за подругу того, кого они чтут.

Да, Виталик, пожалуйста, позвони санитарке Марии Ивановне, пусть она зайдет ко мне в квартиру и польет цветы, я совсем забыла ей написать в памятке. Пожалуйста, извини эту мою просьбу, но по телевидению говорят — в Москве стало жарко, больно представлять, как мои цветы медленно умирают на подоконниках и балконе от пыльного, бензинового солнцепека...

Скажи, когда я уезжаю на море, ты меня хоть немножко ревнуешь?

...Вчера приехали Коноваловы, всем семейством ходят на корты, играют замечательно, тебе с ними не равняться, ты стал играть без азарта. Почему?

В своей телеграмме ты спрашивал меня о докторше, которая делает чудеса с помощью таджикских трав. Видимо, она говорила тебе о персо-таджикско-индийской медицине? Пожалуйста, подожди у нее лечиться, пока я не вернусь в Москву. Дело в том, что медицина всего Востока основывалась на тайне тибетского врачевания, поскольку оно является началом всех начал восточной диагностики, терапии и фармакологии. Еще в одиннадцатом веке в Тибете была завершена «Большая энциклопедия» под названием «Данджур». Состояла она из двухсот двадцати пяти томов (мы тогда уже не были язычниками, кстати). Из всего этого многотомья шесть книг целиком посвящено медицине. И там — пожалуйста, не верь своей врачихе — никакого древнеафинского влияния не было. А главным сочинением по тибетской медицине является «Чжуд-ши», которое написал врач Цо-чжэд-Шонну, или иначе Кумараджива. И основан этот трактат на древней индийской книге медицины, а на тибетский язык переведен в конце семисотых годов прошлого тысячелетия. Наиболее известные медицинские школы в Тибете существовали при тамошних монастырях — дацанах. Ламы занимались тем, что, путешествуя в одиночестве, отыскивали самые пахучие, благословенные луга, которые становились их тайной, растворялись в блаженстве общения с природой, и только после того, как к ним приходило вдохновение от общения с прекрасным, они начинали сбор цветов, трав, кореньев, почек и побегов деревьев... Первая книга медицины, обосновавшая тибетскую терапию, диагностику, профилактику и фармакологию, называлась «Вайдурья-онбо» и описывала фармакологическое действие не только трав, но и драгоценных металлов, камней, земли, а также лекарств, приготовленных из животных или образованных соками (мумиё). В ней, между прочим, говорилось, что растение бар-ба-да, которое можно найти на горных лугах Тибета и в Гималаях, лечит воспалительные процессы, интоксикацию и инфекции, сопровождающиеся жаром. Спустя три столетия в тибетской книге «Чжуд-ши» это же растение рекомендовалось в том случае, если у человека повысилась температура от яда (то есть та же интоксикация). Наконец, через тысячу двести лет, наши врачи, после тридцати лет сражений, рекомен-

дуют употреблять бар-ба-да при инфекционных заболеваниях с повышенной температурой (то есть воспалительные процессы), желудочно-кишечных расстройствах (интоксикация) и хронических суставных ревматизмах... Вот так-то! Кто был умнее: древние или мы? Кстати, «Вайдурья-онбо» (перепроверь, может быть, мне изменяет память) состоит из четырех томов и ста пятидесяти шести глав. В первом томе всего шесть глав — это вроде аннотации всей доктрины тибетского врачевания, второй том — он очень красиво называется: «Вайдурья-шачжуд», какая-то магия тайны, вера в бессмертие, — включает в себя тридцать шесть глав. Том посвящен объяснению того, что есть нормальный образ жизни (семейной в том числе; не удержалась, прости). И что значит регулярное питание (пожалуйста, вспоминай почаще немцев, которые в двенадцать часов бросают лопату, циркуль или начальственное перо и начинают жевать, неважно что: яблоко, хлеб, мясо! Но обязательно вовремя! Пожалуйста, вози с собой яблоко. Съешь его ровно в двенадцать. О большем не прошу. Но не только это было во втором томе: там были прекрасно описаны основы анатомии и физиологии человека, своя концепция эмбриологии и версии причин заболеваний. Более того, тибетская медицина еще тогда, в глубокой древности, дала характеристику хирургического инструментария, аппаратов для процедур: не только изумительные глазные капельницы, но и особые грелки, ингаляторы, приспособления для осмотра полости рта и горла. Вот так-то! Не сразу верь этой, как ты написал, милой докторше. Сначала посоветуйся с женщиной, которая написала тебе это нудное и длиннющее письмо, потому что никак не решалась сказать главное: любимый, наверное, пришло время нам с тобою расстаться. Не сердись. Я ломаю в себе обыкновенную бабу, которая всегда хочет с в о е, мечтает о детях от тебя и, несмотря на постоянную психотерапию, не может толком объяснить окружающим, отчего мы вместе уже восемь лет, а я по-прежнему только п о д р у г а... Неужели жена не может быть п о д р у г о й? Только, пожалуйста, не думай, что я написала это из-за того, что порою думаю: «Пройдет еще пять лет — если пройдет, конечно, — кому я тогда вообще буду нужна?» Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне годы, которые я провела подле тебя, но...

Только не сердись, любовь моя.

Наверное, так будет лучше. Тебе, во всяком случае. Ты же мудрый и нежный... Ты понимаешь, что мне не очень-то просто жить.

Я буду по-прежнему считать часы, когда вернусь в Москву, но лучше будет, если мы с тобою больше не увидимся.

Целую тебя.

Ирина».

Славин посмотрел на часы — половина третьего утра; угадывался осторожный рассвет; вспомнил Валеру Куплевахского, познакомился с ним у Степанова, они вместе были во Вьетнаме во время войны. Молоденький инженер-капитан, склонив голову к деке гитары, пел свои песни: «Над Москвой-рекой тополиный пух, тополиный пух над Семеновской, ты одна идешь, по Москве плывешь, по рассветной, пустынной Москве...» А еще он посвятил песню Степанову, когда тот летал на Северный полюс: «Последний самолет уходит завтра в рейс...» Хорошая песня, только грустная уж очень: «Уходит навсегда, совсем, совсем, совсем, последний раз пилот махнет тебе крылом, ах, красный самолет, унес последний сон...»

Славин подошел к окну: рассвет был темно-синим, тополиного пуха не было. «А может, — подумал он, — я его просто-напросто не вижу в этой густой синеве, в которой угадывается утро; бедный Блюм, какие прекрасные у него были стихи: «Друг протянул мосты, уснули берега». Скоро развиднеется и станет близким белый, тополиный, майский снегопад, мягкий и доверчивый, как котенок...

«Ну и что ты ей ответишь? — спросил себя Славин. — Что тебя каждую минуту могут «изолировать», «нейтрализовать», устроить автокатастрофу? Для женщины такое не довод: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Повторить — в который уже раз, — что я много старше ее, физиология, она и есть физиология, чем я стану через пару-тройку лет при моих-то перегрузках, как тогда будут строиться наши отношения?»

Славин снял трубку, набрал две цифры — междугородный телеграф; ждать придется минут пять, а потом еще девицы швырнут трубку. Наш сервис...

Удивительно, но ответили очень быстро, всего после семи гудков:

— Двенадцать сорок два, чего вы хотите?

— Счастья, — усмехнулся Славин и сразу же испугался, что телефонистка бросит трубку. Та, однако, не поняла его, переспросила:

— Что?!

— Мне бы телеграмму отправить. В Пицунду.

— Оставьте ваш номер телефона, перезвоним.

«Утром перезвонят, — с тоской подумал он, — когда я буду в ЧК; ах, Митя, Митя, как же он прав: отсутствие сервиса — невосполнимая трата времени, а нет ничего ценнее этого внематериального продукта, принадлежащего тем не менее вполне материальному обществу...»

Позвонили, однако, всего через полчаса.

Славин продиктовал адрес в Пицунде, фамилию Ирины, потом вздохнул, словно набирал воздуха, чтобы нырнуть за мидиями — в Ялте они особенно хороши и совсем недалеко от берега. Откашлялся зачем-то и сказал:

— Текст будет очень кратким... Всего одно слово... «Дура». И восклицательный знак.

— Я такую телеграмму не приму, — сухо ответила телефонистка. — Это хулиганство — такое отправлять женщине.

— Даже если ее очень любишь? — спросил Славин.

— Ну так и скажите по-человечески: мол, люблю тебя, родная дура. Это еще куда ни шло...

— Тогда, может, напишем: «Как знаешь»?

— Тоже плохо. Что это такое: «Как знаешь»? Загадка какая-то... Вы конкретнее пишите, и поскорее, пожалуйста, у меня работы много...

— Ладно, валяйте...

Телефонистка обиделась:

— Я не валяю, а работаю!

— Простите, солнышко...

— Никакое я вам не солнышко.

— А кто же вы?

— Я семнадцать — двадцать один, — ответила телефонистка.— Диктуйте.

— Хорошо... Текст такой: «Тем не менее я тебя очень и очень люблю, золотая ты моя дура».

— Подпись какая?

— Обычная... «Старик».

...В семь утра Славин проснулся от резкого звонка; набросил халат, побежал в прихожую. Молодой парень принес срочную телеграмму с уведомлением о вручении; по этому уведомлению Славин сразу понял, что от Ирины. Так и было: «Любимый, если ты еще не получил мое письмо, сожги, когда придет. Пусть меня встретит Миша Аверин или Кирсанов, если ты будешь занят. Я очень счастлива, что ты живешь на земле. Береги себя. Целую. Догадайся кто...»

РАБОТА-VI

Генерал поиграл карандашами, зажатыми в крепкой ладони, сунул в рот сигару, раскуривать не стал, пыхнул воображаемым дымом, посмотрел сначала на Груздева и на только что приехавшего Коновалова, потом на Гречаева (позавчера вручил ему майорские погоны) и уже потом остановился взглядом на Славине.

— Нуте-с, Виталий Всеволодович, ваши соображения?

— Поскольку голубь под тотальным наблюдением, поскольку мы теперь знаем, кто агент, я бы не торопился с арестом, — ответил Славин. — Проведенные мероприятия позволяют нам заново присмотреться к Лэнгли, — естественно после того, как прочтем все, что они ему пишут, и ознакомимся с тем, что он им отвечает... В этой связи позволю себе пофантазировать, если разрешите.

— Даже если я не разрешу, — генерал улыбнулся, — вы, полагаю, не откажетесь от своего намерения... Кто-то неплохо заметил: «Характер — это такая данность, которую можно сломать, но изменить нельзя».

— Именно, — кивнул Славин. — Тем более, мне сдается, написал это Степанов, а в связи с потоком корреспонденций из Женевы, мне и хочется высказать одну идею... Я обратил внимание на строку в какой-то датской газете, что, мол, американская делегация ждет какое-то важное сообщение из Вашингтона, которое может во многом определить результаты переговоров... Поскольку Кульков работает в сфере ракетостроения, поскольку разведцентр ЦРУ начал особую радиоактивность за несколько дней до начала переговоров в Женеве и за месяц до предстоящего слушания в конгрессе вопроса об ассигнованиях на космическую программу и на традиционное стратегическое самолетостроение, я и подумал, не завязано ли все это в один узел.

— Возможно, завязано, — согласился генерал.

— А если так, то не есть ли нынешняя словесная эквилибристика в женевском Дворце наций некоей данью какой-то операции Центрального разведывательного управления? То есть не работает ли Кульков непосредственно на проходящие сейчас переговоры? Точнее говоря, на их срыв? А это не может не сказаться и на продолжении начавшегося в ноябре диалога двух лидеров.

Генерал не удержался, раскурил сигару:

— Говорят, что супруги, прожившие в браке многие годы, понимают друг друга без слов. По-моему, это рас-

пространяется и на сослуживцев. Дело в том, Виталий Всеволодович, что, проглядев все корреспонденции из Швейцарии, в том числе и вашего друга Степанова, я попросил подобрать досье на Сэма Пима, возглавляющего космический проект... Мистер Кузанни прав: в наблюдательном совете его корпорации состоит мистер Макгони, брат которого, Чарльз, — сотрудник ЦРУ и ныне советник американской делегации в Женеве. Не случаен там и мистер Дауэлл, работавший под началом ЗДРО. Следовательно, связи Пима с Лэнгли весьма надежны... Вы хорошо фантазируете, Виталий Всеволодович. Мы работаем на женевских переговорах с открытыми картами. Практически положили на стол все данные о наших ракетах...

— Все это так, — согласился Коновалов, — но я не могу через себя переступить, — он вздохнул, — старая школа... Кулькова рискованно оставлять на свободе.

Генерал недавно еще раз перечитал стенограмму переговоров, которые вел нарком обороны Ворошилов с англичанами и французами в августе тридцать девятого. По указанию Политбюро маршал должен был открыть Лондону и Парижу стратегический план Генштаба о развертывании всех армий, стоявших на западных границах. Решалось будущее мира; последняя попытка Москвы создать единый антигитлеровский блок. Англичане и французы, ознакомившись с совершенно секретными документами, уехали, так и не приняв решения; предложение Кремля п о в и с л о. Оборона страны перестала быть высшей тайной; Берлин предложил пакт о ненападении; кого же винить в том, что пакт был заключен? Москву? Или Лондон с Парижем?

Генерал посмотрел на Гречаева:

— Убеждены, что Кульков не оторвется от ваших людей?

— Убежден, товарищ генерал.

— Своих сил хватит? Говорите сразу, потом может быть поздно.

— Нет, товарищ генерал, мы справимся.

— Товарищ Груздев? — Генерал посмотрел на поджарого улыбчивого полковника; под рубашкой угадывалась тельняшка; юнга Северного флота, войну окончил совсем еще мальчишкой, с тех пор тельняшку не снимал никогда; в кабинете на столе держал макет того торпедного катера, на котором ходил в последнюю атаку, двадцать седьмого апреля сорок пятого, на Балтике, в районе, где держали курляндскую группировку нацистов.

— Если Гречаев гарантирует нас от каких-либо слу-

чайностей, — ответил он, — я бы поддержал Виталия Всеволодовича. Я не убежден, что Кульков сразу же после ареста начнет говорить... Мы поработали с теми, кто хорошо знает его, со школьной еще скамьи, — он довольно жесткий человек, крайне затаенный и в высшей мере изворотливый...

Коновалов пожал плечами:

— Улики-то у нас неопровержимые... Вертись — не вертись, дело ясное...

Генерал тяжело затянулся (кто-то писал, что сигарным дымом не затягиваются, а только пыхают, чтобы во рту была сладкая горечь, зачем тогда вообще курить?), поиграл карандашами и, не обращаясь ни к кому конкретно, заметил:

— А вам не кажется, товарищи, что у нас выпало одно звено? Я имею в виду Иванова, рекомендованного в Центр не кем-нибудь, а именно Пеньковским... А с ним, Ивановым, наш подопечный Гена поддерживает весьма добрые отношения еще с институтской поры...

Славин сразу насторожился.

— Профессор Иванов — чистый человек. Я допускаю, что его намеренно светят. Утечку мозгов можно организовать и здесь, в стране, не переманивая человека в Штаты... Создай ученому непереносимые условия для работы — вот и потеряны идеи. Нам бы, кстати, об этом думать и думать...

— Не нам, — возразил генерал. — Созданием наибольшего благоприятствования для выявления новых научных идей должны заниматься те, кому это вменено в обязанность. Мы шпионов должны ловить. Тоже, между прочим, работа. — Пыхнув тугим серо-синим дымом, генерал тем не менее спросил: — Думаете, возможно повторение луисбургского варианта в деле с Трианоном? Ложный след? Страховка агента компрометацией другого человека?

— Думаю, именно так, — ответил Славин. — Иванов честный ученый. Я полистал справки: ни один из серьезных агентов, завербованных Лэнгли, не занимал открытой общественной позиции, таился, страшился критических выступлений... Они все как один отличались неуемным славословием, говорили не словами, а лозунгами... А Иванов болеет за дело, называет кошку кошкой, ярится... Понятно, далеко не всем это нравится, у нас ведь любят, чтобы была тишь, гладь и божья благодать...

— Видимо, за Кульковым внимательно следят люди ЦРУ в Москве, — задумчиво продолжал генерал. — Надо иметь

это в виду. Уровень Кулькова весьма высок... Не берусь судить, что Кульков передал Лэнгли; вполне возможно, что там интересовались не только тем, о чем мы сейчас гадаем, и если это так, то урон, нанесенный им, подсчитать трудно... Конечно, мы получим многое: поймем, что Лэнгли требует от него, соотнесем это с ситуацией в мире, сможем просчитать какие-то тайные аспекты внешнеполитической доктрины Белого дома, изучим метод такого рода давления, сможем обозначить для себя новые персоналии, присмотревшись к тому, как будут себя вести наши контрагенты на женевских переговорах... Но мы ведь не знаем, когда Кульков станет закладывать тайник? Да и будет ли он вообще его закладывать? Кульков бывает на приемах в посольствах... Если допустить обмен информацией именно там, его не задержишь, территория иностранного государства, суверенитет...

— Гречаев, вы спросите-ка своих, свет у Кулькова сейчас в окнах квартиры есть? Или отправился почивать?

— Перед началом совещания, — Гречаев посмотрел на часы, — в двадцать три тридцать, свет был в окнах его кабинета... Окна зашторены, не просматриваются...

— Я спрашиваю о том, что у него происходит сейчас, — раздраженно заметил генерал. — А не перед началом совещания.

Гречаев поднялся; генерал остановил его, сказал, чтобы звонил по его аппарату, подвинул городской; снова пыхнул серо-голубым дымом, присматриваясь к тому, не образуется ли колечко. В детстве просил отца пускать из «Беломора» колечки, нанизывал их на палец; в день, когда отец уходил на фронт, чтобы никогда более не вернуться, нанизал целых три, радовался...

— Третий, я Потапов, как обстановка? — негромко спросил Гречаев.

Генерал включил усилитель; голос Третьего стал слышен всем собравшимся в кабинете:

— Из квартиры никто не выходил. Свет в кабинете по-прежнему включен. Шторы плотные, тщательно занавешены, что происходит в помещении, просмотреть невозможно, наблюдение продолжаю.

— Избыточная информация, — усмехнулся генерал. — Спасибо, майор. Продолжим собеседование... Груздев, а команда Юрса бывала на всех приемах, которые посещал Кульков?

— Мы работаем в этом направлении, — ответил полковник. — Времени было мало на просмотр документов... Во

всяком случае, у бельгийцев от Юрса никого не было, у датчан тоже... К англичанам он сам ездит практически на каждое мероприятие. Обобщить данные наблюдения я смогу завтра, к пятнадцати ноль-ноль.

— Прекрасно, благодарю... Ну так какое же примем решение? Я должен сообщить руководству наши предложения... Наше предложение, — поправил себя генерал, — так будет точнее...

— Наше предложение, — сказал Славин, — возможно лишь тогда, когда мы прочтем то, что Кулькову написали из ЦРУ.

— Расшифровав текст, он сожжет его, — ответил генерал. — И мы останемся с носом...

Славин усмехнулся:

— Мы обязаны остаться не с носом, а с текстом, который он составит. А он его именно сейчас составляет. Если он не выйдет из дома, значит, утром текст будет либо дома, либо при нем.

— И вы подойдете к нему, когда он будет садиться в служебную машину, и попросите: «Геннадий Александрович, будьте любезны, мне бы хотелось почитать, что вы написали в Лэнгли?» Брать его надо. Прямо сейчас. С поличным.

— Я не согласен, — упрямо возразил Славин. — У нас достаточно материала, чтобы взять объект под стражу: сотенная ассигнация, меченое колечко у Насти, сфотографированный на пленку факт закладки контейнера в тайник Юрсом и факт выемки контейнера Кульковым. Груздев прав, я не знаю, сколько потребуется времени на то, чтобы после ареста голубь начал говорить.

— Член американской делегации Чарльз Макгони ожидает каких-то крайне важных новостей из Вашингтона, — задумчиво повторил генерал, — которые во многом определят исход переговоров... Товарищ Груздев, каково расписание дня у Кулькова на завтра?

Тот ответил так, словно бы заранее ждал этого вопроса.

— В восемь бассейн «Москва», седьмой павильон, парится и плавает вместе с артистами московских театров, у них абонемент на это же время, — четко отрапортовал Груздев. — В девять тридцать едет с Крыловским на заседание коллегии по электронной промышленности. В час тридцать обед с индийской делегацией в «Метрополе». В три тридцать заседание координационной комиссии по новой технике, затем прием у англичан, оттуда, в двадцать тридцать, поедет к Насте, жене сказал, что задер-

жится на заседании профкома, а потом, мол, предстоит деловой ужин с иностранцами, обещал вернуться к половине двенадцатого...

— А послезавтра?

— В девять совещание в главном штабе противовоздушной обороны, затем...

— Вот нам и надо, — жестко сказал генерал, — чтобы после этого совещания его зажигалка, с вмонтированной в нее фотокамерой, каким-то образом попала к нам, хотя бы на час... При этом подразделение Коновалова должно постоянно анализировать маршруты поездок разведки ЦРУ по Москве — нет ли каких-то пересечений с Кульковым... А группа Гречаева делает все, чтобы обнаружить тайник, где Кульков хранит шифротаблицу...

— Когда он хватится зажигалки, он все поймет, — заметил Славин. — И ляжет на грунт... Или запаникует...

— А разве это плохо, если противник паникует? — Генерал пожал плечами. — Впрочем, вы правы, до поры до времени Кульков должен быть совершенно спокоен... Вот, — он достал из кармана точную копию той зажигалки, которую ЦРУ заложило в контейнер, — эта подделка должна побыть у него то время, пока мы не просмотрим, что он наснимал настоящей.

Груздев покачал головой:

— Если мы связываем Кулькова с тем, что сейчас происходит в Женеве, я бы прежде всего заинтересовался вопросами, которые они ему задают...

— Не о комбинатах же бытового обслуживания, — вздохнул Славин. — И не о нашем ненавязчивом сервисе. О ракетах спрашивают, ясное дело...

— Каждый вопрос таит в себе тенденцию, — заметил генерал. — Груздев прав... Что ж, брать его сейчас?

— Нет, — убежденно ответил Славин. — Только после того, как мы прочитаем его ответ Лэнгли и их очередной вопрос...

Жену Кулькова, Лидию Васильевну, пригласила подруга; сам развлекался у Насти; на приеме у англичан ни с кем в контакт не входил.

А шифротаблица хранилась в тайнике — в его кабинете за плинтусом; помимо инструкций о постоянной связи и времени радиопередач в вопроснике указывалось: «Нам представляется, что вы ознакомили нас только с теми ракетными установками, которые находятся на территории

западных районов СССР. Наши эксперты считают, что вы пока еще не смогли получить исчерпывающей информации по поводу всех ракетных комплексов, которые, как полагают, значительно превышают то число, которое названо в вашем предыдущем донесении. Были бы очень признательны вам, если бы вы предприняли все возможное для выявления не только построенных, но и строящихся стартовых площадок. Вопрос, как вы понимаете, совершенно не терпит отлагательства, поскольку ситуация, сложившаяся ныне в Женеве, предполагает принятие кардинальных решений во имя торжества дела мира и демократии. Просили бы также сообщить имена, воинские и научные звания тех людей, с кем предстоят встречи в ближайшие дни, это придаст информации еще большую достоверность и объективность. Ваш друг «Л».

— Ну что ж, — сказал генерал, — все вроде бы становится на свои места. Кстати, следователи готовы к работе с голубем?

— Позвольте мне поработать с Кульковым, — сказал Славин.— Если мы хотим ударить Лэнгли, то лучше это сделать, пока голубь на свободе. Думаю, за ним, за каждым его шагом, как в свое время за Лесником-Трианоном-Дубовым, смотрят люди ЦРУ, можем спугнуть... А время в Женеве тикает, мы лишены привилегии на ошибку... Если он будет молчать на допросах, мы упустим темп, это непростительно... Надо, чтобы Кульков побыл на свободе, но работать он должен не на ЦРУ, а на нас... Думаю, что версия двойника, как мы это сделали в операции по Луисбургу, сейчас не пройдет, люди Лэнгли хорошие ученики, они умеют делать выводы...

— Мы должны, — заключил генерал, — лишний раз продемонстрировать общественному мнению мира, как ЦРУ, выполняя указание военно-промышленного комплекса, противится какому бы то ни было диалогу между Москвой и Вашингтоном. Так? Вся пресса, контролируемая ВПК, если не будет завершающего акта, засвидетельствованного не только нами, ошельмует дело, оболжет его или вообще замолчит. Следовательно, Славин, как всегда, прав: мы лишены привилегии на ошибку. Готовьте прикидку игры, буду докладывать наверх.

«ВОПРОСНИК, ИЛИ КАК ГОРЕК ХЛЕБ ИЗМЕНЫ»

1

...Вообще же, Кузанни относился к тому типу писателей, которые любили обкатывать свои новые сценарии на слушателях. (На съемочную площадку, впрочем, он никого из друзей и коллег не подпускал. «С актером нужно работать с глазу на глаз, а еще лучше вообще не работать, — считал он. — Когда художник, если он художник, навязывает свою волю другому художнику, понятно, если речь идет тоже о художнике, а не о ремесленнике, тогда не получится чуда, то есть искусства».)

Он читал сценарий в номере Степанова, забравшись с ногами на широкую кровать (у американцев это естественно; то, что русскому может показаться обидным, для американца совершенно естественно: просто-напросто так удобнее раскладывать страницы, курить, под себя коленки, походя делать правку на полях; столики в отелях крошечные, разве на них развернешься?! Прагматизм, прежде всего прагматизм, то есть надежное удобство дела).

Степанов умел и любил слушать; в свое время он часами просиживал с Межировым, Натальей Кончаловской, Поженяном, Юрием Казаковым, с только-только начинавшим Высоцким. Довелось ему слушать и Федора Панферова, и скорбно-лунного Михаила Светлова. Однажды пришел Симонов; читал свои стихи до полуночи: «Я много жил в гостиницах, слезал на дальних станциях, что впереди раскинется — все позади останется». Замечательные строки; иногда ведь в одной фразе заключен сюжет романа. Взять, например, известную пословицу: «Жизнь прожить — не поле перейти».

«Война и мир», «Гамлет», «Старик и море», «Клим Самгин» — яркие и глубокие ее иллюстрации. А как поразительно рассказывал свою будущую книгу академик Александр Александрович Микулин! Бритоголовый, похожий на римского патриция, он тогда еще жил в Коктебеле, сидел на громадной веранде своего маленького дома, восторженно развивал концепцию вечного здоровья человеческого тела.

«Сколько же мне еще надо написать, — думал Степанов, наблюдая за тем, как Кузанни аккуратно раскладывал страницы на кровати. — Надо бросать все, запереться в деревне и идти по встречам; нельзя уносить с собою информацию, даже короткие записки сгодятся потомкам, потому что

жизнь сводила — спасибо ей за это — с такими людьми, которые вошли в мировую историю... Маленький, быстрый как ртуть Жак Дюкло... Куньял в первые дни после апрельской революции в Лиссабоне. Команданте сандинистов Томас Борхе... Хо Ши Мин в годы американской агрессии... А Ульрика Майнхоф, руководитель «красной армии действия»? Идейный враг по своей сути, а человек нежнейшей души. Болезненно ненавидела обывателей уставшего и одряхлевшего мира... А Руди Дучке? Маленький, порывистый, растерянный — последний раз Степанов встретился с ним в Бонне, за несколько дней до его странной смерти. В конце шестидесятых его имя было известно всей молодежи Запада; бунтарь, выступающий против мещанства и холодного буржуазного истеблишмента... А Эдвард Кеннеди? Жаклин? А сосед по деревне Коля Дацун: «Послушай, Дима, помоги, ради бога, установить переписку с моим родственником в Японии». — «Да кто ж у тебя там, Николай? В плен кто попал?» — «А бог его знает, только там наша родня: не зря ж японцы свой автомобиль «дацун» назвали; в честь нашей фамилии, чьей же еще?» А принц Суфанувонг в сырой пещере под Самнеа в дни американских бомбардировок? Как великолепно он говорил о поэзии Жана Ришара Блока на своем изысканном, чуть грустном французском?! А Марк Шагал?! Смотрел на Степанова треугольными грустными глазами и тихо спрашивал: «Мальчик мой, ну-ка расскажи, как там у нас дома?! Я так хочу съездить к себе в Витебск! Только вот надо закончить работу». «Ты никогда не съездишь в Витебск, — с ужасом подумал тогда Степанов, — потому что никогда не сможешь закончить работу в этом своем небольшом доме возле Канн, ты прикован к самому себе, добрый Марк, как ты можешь разодрать себя, никому этого не дано, художнику тем более...»

— Ну, я готов, — сказал Кузанни. — Можешь слушать или у тебя свое в голове?

— Слушаю, — ответил Степанов.

...Начало сценария Кузанни прочитал ему еще позавчера; в новых эпизодах рассказывалось, как Питер Джонс обсуждает со своими друзьями из Пентагона отношение Уайнбергера к доктрине «благожелательного отношения русских к американскому десанту» в случае регионального конфликта, если космические ударные силы будут ограничены, а то и вовсе заморожены: «В университетах над этой темой работают три группы профессоров, концепция может получиться убедительной, меня знакомили с прикидками, я заказал это исследование и крайне правым советологам,

и центристам, которые следуют объективным данностям, и тем, кто симпатизирует русским. Из анализа трех позиций можно будет свести вполне пристойный документ. Надо реанимировать наши отношения с Москвой и постепенно приучить русских к тому, что мы такие же люди, как они, и не желаем им ничего, кроме добра и свободы; воюют не народы, а правительства». В стык Кузанни поставил эпизод, как эту позицию Джонса исследует Дейвид Ли, штаб его ракетной корпорации и друзья из Центрального разведывательного управления: «Идея старика отнюдь неплоха, и у нее будут свои сторонники; что ж, не только гордиев узел, но и вообще любой запутанный надо рубить; дешевле купить новый канат, чем тратить время на развязывание старых узлов. Данные об устрашающем ракетном потенциале русских — вот что нам срочно нужно; это гарантия победы над Джонсом; он тогда утрется со своими бомбардировщиками».

— А дальше, — сказал Кузанни, — мне потребуется сюжет о людях ЦРУ, работающих с агентурой в России. Так или иначе, — словно бы извиняясь, заметил он, — я обязан думать о массовом зрителе. Необходим головоломный, чисто шпионский сюжет, только тогда зрители проглотят мою основополагающую идею: безысходная трагичность схватки гигантов бизнеса; умные, талантливые люди постепенно теряют чувство перспективы... Борьба затягивает, Дим, она лишает человека кругозора, рождается зашоренность, слепая устремленность к поставленной перед собою цели...

— Только не пиши новую версию романа «Парк Горького», — усмехнулся Степанов. — Если хочешь, я пришлю тебе наши официальные материалы, фантазируй по ним. Пожалуйста, взрывай их изнутри, не соглашайся — твое право, но следуй фактам, не выдумывай по поводу того, чего не знаешь, получится лабуда...

— Что?!

— Это непереводимо. — Степанов пожал плечами: — Одним словом... Ложка дегтя в бочке с медом...

— Но, в принципе, тебе было интересно, когда я читал?

— Очень.

— Почему?

— Потому что новая информация... И ты относишься с симпатией как к своему Питеру Джонсу, так и к Дейвиду Ли, хотя не любишь их...

— К этим да, — согласился Кузанни. — Но я терпеть не могу Сэма Пима. Этот человек шел по трупам. Он

одержим. Иногда мне кажется, что в нем сокрыта паранойя: так он ненавидит вас и боится...

— Наверное, все-таки сначала «боится», а потом «ненавидит»?

— Нет, все обстоит именно так, как я сказал... Когда-то он возненавидел вас, а после уже пришел страх, который родил невероятную активность.

Степанов рассказал Юджину несколько сюжетов, из тех, что были на памяти: дело Филатова, военный, завербованный ЦРУ в Африке; Пеньковский.

— Ты все же навязываешь мне ваши версии, — усмехнулся Кузанни, поднимаясь с кровати. — Ты р а б о т а е ш ь со мной...

Степанов сразу же вспомнил Клауса Менарта: Кузанни повторил его слова...

— Сегодня будешь писать? — спросил он.

— Конечно. Все равно на конференции ощущается какая-то вялость. Надо ждать главного, результата, а это самое противное; спасение в работе; запрусь и начну диктовать...

— Тебе машина завтра не нужна? — спросил Степанов.

— Нет.

— Она у тебя оплачена?

— Да. На неделю.

— Можешь одолжить?

Кузанни вытащил из кармана ключи, бросил Степанову:

— Документы в ящике, все застраховано, только бензина мало... Если у тебя совсем плохо с деньгами, могу списать бензин на счет продюсера.

— Бензин достану, спасибо, — ответил Степанов.

— Но тебе действительно все это нравится? — настойчиво, как-то ищуще, повторил Кузанни. — Ты мне честно говори, мы, американцы, не боимся, когда нам говорят правду... Только чтоб в глаза, открыто.

— Я бы не стал тебе врать, Юджин. Мне действительно нравится твой сценарий, — повторил Степанов. «Господи, как же мы все похожи; любим, когда хвалят, необходимый детонатор продолжения работы». — Он замечательный, честно... Только у тебя все еще нет движения к финалу... Ты был прав, когда говорил, что не знаешь конца своего фильма... Мне почему-то кажется,что финал должен быть очень личностным...

— Это как?

— Ну, не знаю... Допустим, Дейвид Ли победил... Возвращается домой, в свой замок на озере Токсидо, счастли-

вый, сильный, неуемный — одним словом, динамическая махина... А детей его в замке нет... Тихо... Как в морге... Понимаешь? Малышей похитила мафия, перекупив секретаршу Дейвида Ли... А мафии уплатил Питер Джонс... Лежит себе старец в кардиологической клинике и неотрывно глядит на телефон — знает, что сейчас позвонит Дейвид, «любимый, молодой дружочек», предстоит торг... Ты только этого торга не пиши, ты просто покажи убитого горем отца и умирающего Джонса, который и на пороге смерти не намерен сдаваться... По монтажу может быть интересно, а там черт его знает... Помоги людям понять, что из многих побед, которые они одержали в жизни, большинство на самом-то деле были пирровыми. Предательство самих себя...

2

Требовать от писателя, чтобы он воспроизводил жизнь точно такой, какая она есть (а того пуще, какой должна быть), — значит расписываться в собственном невежестве. Ценность литературы определяется мерой приближения к тенденции, с одной стороны, и созданием образа, вызывающего доверие читателя, с другой.

Предмет литературы не есть копирование потока жизни, но вычленение из него таких коллизий, которые вызывают у читателя симпатию или ненависть, побуждают к деянию или, наоборот, воздерживают от необдуманного поступка.

Сочинить жизнь невозможно. «Из ничего не будет ничего». Однако именно литератор, обладающий даром наблюдения и анализа, может создать такую книгу, которая порой оказывается концентратом правды, в чем-то даже более жизненной, чем сама жизнь, ибо категория случайностей, столь типическая для людской каждодневности, уступает место эмоциям, соединенным с логической структурой писателя, живущего существом сегодняшнего дня...

...Кузанни не знал и не мог знать, что в отделе «45-в», ведавшем в Пентагоне вопросами психологической войны, действительно прорабатывались возможности создания цикла радиопередач о том, что в Советском Союзе существует значительное количество людей, которые примут американских десантников, сброшенных с самолетов «Авиа корпорейшн», цветами, хлебом и солью; при этом заново исследовался вопрос о Пауэрсе; конструировались новые объяснения, отчего американец тогда не был укрыт местными жителями; просматривались списки людей, уехавших на Запад, но служив-

ших до того в рядах Советской Армии; подбирались т и п а ж и, угодные стереотипу общественного мнения Штатов; создавались макеты фотороботов — улыбка, обаяние, раскованность, — которые затем должны быть изучены асами рекламы, прежде чем появиться на экранах телевизоров для сенсационных интервью о состоянии русского тыла.

Он, Кузанни, ч у в с т в о в а л нечто, и это его чувствование оказалось удивительным приближением к правде.

Однако же, когда он сочинял эпизоды о ситуации в ЦРУ, связанные с ракетным концерном вымышленного Дейвида Ли, его непрофессионализм сыграл с ним скверную шутку: его киноверсия о том, что Лэнгли готовит к заброску в Россию группу асов разведки, не являлась даже далеким отражением правды жизни.

На самом деле ситуация в ЦРУ сложилась совершенно иная, весьма и весьма непростая.

...Когда в Лэнгли пришло первое — после длительной «консервации» — сообщение от Н-52 о количестве ракетных установок в западных районах Советского Союза, ЗДРО позвонил Макгони, члену совета директоров ракетной корпорации Сэма Пима (по сценарию Кузанни — Дейвида Ли), и пригласил его на ужин; посидели, съели по бифштексу, поговорили; в двенадцать часов ночи Макгони срочно соединился с Пимом, извинился за поздний звонок: «Я бы хотел видеть вас немедленно». Встретились ночью.

— Ситуация осложнилась, Пим; из Москвы пришло сообщение суперагента, имеющего доступ к самой секретной информации; планировавшегося нами удара по нервам американцев не получится; русские действительно не имеют такого превосходства, которое бы позволило нам начать бум в прессе, вооружить сенсационными фактами делегацию в Женеве, остановить переговоры и, таким образом, получить в конгрессе ассигнования на наш проект.

Пим помял лицо ладонью, пожал плечами, закурил:

— Жаль... В конечном счете речь идет о судьбе всего предприятия... Надо идти ва-банк... От кого поступила информация?

Чуть помедлив, Макгони ответил:

— Вы же догадываетесь... От ЗДРО... Непосредственный босс моего брата Чарльза, которого мы с м о г л и отправить в Женеву... Вы знакомы, не так ли?

Пим, словно бы не слышав вопроса, отчеканил:

— Пусть этот самый ЗДРО что-то придумает, пусть,

наконец, пустит в ход данные своей агентуры не только о том, что русские имеют в настоящий момент, но о том, что они намерены сделать... Что им под силу... Мы не можем отступать... Мы обязаны запугать мир, от этого зависит будущее... Наше с вами будущее.

— Но ведь ЗДРО не может подтасовать факты, Сэм.

— Я не знаю, что он может, а что нет, не я хозяин его предприятия, но я убежден, что безвыходных положений не существует...

— Толкаете наших друзей на должностное преступление?

Пим вдруг рассердился; не скрывая раздражения, спросил:

— Значит, вы убеждены, что русские только и думают, как дать мир человецем и спустить благоволенье на землю?

— Нет, я так не думаю. Но жизнь приучила меня поступать в рамках правды.

— Послушайте, мой друг... Кажется, Карл Маркс говорил: есть маленькая ложь, есть большая ложь, а уже потом идет статистика. Пусть ЗДРО запрашивает своего человека не столько о существующем числе ракет, сколько о том, чего можно ждать от Советов. Русские же знают о нашем проекте, в конце концов! Они не сидят сложа руки! Наверняка прикидывают что-то на случай, если в Женеве не удастся договориться... А дальше словесная техника: количество построенных ракет, запланированных к постройке, соображения о том, сколько надо построить, если... Неужели не понятно? Это же рамки правды! Смелой правды, добавил бы я... Меня устроят непроверенные данные, Макгони. И вашего брата в Женеве это обязано устроить. Да, именно так, обязано. Меня удовлетворит любая информация, которая придет с той стороны, организованная таким образом, чтобы победил я, а не их авиация. — Пим усмехнулся: — К сожалению, на пост ЗДРО ни один из членов нашего совета директоров не хочет идти — оклад в семь раз меньше, чем у нас, по-человечески можно понять... Я не знаю, как вы, ваш брат, ЗДРО сделаете то, что нужно сделать, но не сделать этого вы просто не имеете права.

— Если я верно понял, в нынешней ситуации вас не интересует правда, Сэм? Вам нужна ложь, угодная предприятию?

— В общем-то, да. — Пим усмехнулся: — Когда ставки сделаны, поздно думать о заповедях Библии.

3

«Москва, Посольство США, резиденту ЦРУ.

Срочно запросите Н-52 не только о фактически существующем ракетном арсенале, но и о тенденции выпуска новой продукции, а также о том, сколько новых видов межконтинентальных ракет могло бы быть запущено в производство, имея в виду возможную ситуацию на женевских переговорах.

ЗДРО».

4

Резидент подвинул Питеру Юрсу шифротелеграмму из Лэнгли; тот прочитал ее и зло выругался:

— Идиотизм какой-то, я не могу ставить...

— Тшшш, Питер...

Юрс взял ручку, написал на листке бумаги: «Центральное разведывательное управление. Прошу составить конкретный вопросник по каждой интересующей позиции. Агент обязан передавать данные, а не делиться соображениями по поводу того, что „должно быть сделано, если"...»

Резидент дважды прочитал текст, внес правку, смягчавшую тон телеграммы (вместо слов «агент обязан передавать данные» написал: «Значительно целесообразнее, если мы будем продолжать получать информацию, которая представляет серьезнейший стратегический интерес, нежели чем...»), и отправил документ шифровальщикам, заключив его фразой о том, что Н-52 является ценнейшим источником секретной информации, которого необходимо всячески оберегать, запуская в работу лишь в экстремальной ситуации; использовать его в целях выяснения одних лишь тенденций нерационально; русские — особенно такого уровня, как Н-52, — привыкли к конкретике вопроса и ответа...

5

Получив эту телеграмму из московской резидентуры, ЗДРО довольно долго сидел над ней, потом выехал в город, встретился, соблюдая все меры конспирации, с главой ракетной корпорации Сэмом Пимом, а после этого вызвал Кемплера, шефа секции «особого назначения».

— Послушайте, Алек, а где этот самый Пол? Раньше он, мне кажется, жил под именем Анхел?..

— Пол на базе, — ответил Кемплер, — где же ему еще быть?

— Как его состояние?

— Вполне приличное... Мы несколько ограничили его в алкоголе, сейчас он пришел в себя.

— Полагаете, его можно включить в комбинацию?

Кемплер — маленький колобок с сияющими, словно у восторженного ребенка, глазами — поинтересовался:

— Дело связано с выездом?

— Нет. С консультацией.

— Естественно, по русской проблематике?

— Конечно.

— Можно.

— Вы ему абсолютно верите?

— Перебежчикам никто не верит а б с о л ю т н о. В чем будет его задача?..

— Сегодня, желательно до обеда, он должен составить вопросник... Скажем, по танковому потенциалу русских в Восточной Германии... Меня интересует м е т о д его мышления, ясно? Надо, чтобы русского спрашивал русский, вот в чем штука. И более всего меня интересует, чтобы этот самый Анхел составил часть вопросов в сослагательном наклонении. Не понятно? Поясняю: нас занимает вопрос, что предпримут русские, если мы договоримся с ними о каком-то соглашении, связанном с «мерами доверия» в Центральной Европе... Будут они выводить войска или же начнут свои обычные хитрости? Какие? Меня интересуют в первую очередь д о п у с к и, основанные на мнениях компетентных руководителей, доверительные разговоры с теми, кто обладает в ы х о д а м и, все, что угодно, но только не личное мнение агента. Американец никогда не поймет психологию мышления русского агента так, как именно русский... Меня интересует: что должны делать русские, если, скажем, переговоры о мерах доверия для них лишь способ выиграть время и запустить в серию новые виды... танков... Пусть ваш Анхел составит развернутый и подробный вопросник. Потянет?

6

Анхелом был Алексей Босенко, бежавший на Запад в 1964 году; на первом же собеседовании с американскими разведчиками в Берне заявил: «Именно я встречался с Ли Харви Освальдом, когда он запросил в Союзе политическое убежище, а Москва ему в этом отказала; именно я был

тем, кто пришел к нему в номер, когда он, будучи ошеломлен отказом властей, имитировал самоубийство в ванне, перерезав не ту вену...»

Работники европейской резидентуры ЦРУ слушали его с затаенным интересом, отправили в Вашингтон, привезли в Лэнгли, неделю допрашивали, а потом посадили в камеру, где он и провел тринадцать месяцев; выпустив наконец из одиночки, ему сделали пластическую операцию лица, вручили новые документы и посадили на б а з у — ни выехать свободно, ни знакомых пригласить, тотальная изоляция; так продолжалось еще полтора года; потом п о д в е л и «приятеля», журналиста Джозефа, и женщину, которая затем стала женой. По прошествии многих лет разрешили передвижения по городу; в маленьком баре ночью, когда решил добавить «стопаря», подошел рыжий парень, шепнул: «Я от главного». Босенко неторопливо обернулся и сразу же врезал в веснушчатое лицо бутылкой. «Тоже мне, проверку устраивают, у меня бы спросили, как это надо делать». С тоской вспомнил Николину Гору, освещенные подмосковным солнцем кроны высоких сосен, их гладкие, янтарные стволы; чем дальше, тем явственнее ощущал вкус шашлыка, который жарили на костре, собравшись компанией в воскресенье на берегу Москвы-реки. Уж если гуляли, то гуляли от души, не как здесь — один выдал, три в уме. Эх, жизнь, жизнь, вот уж воистину не ведаем, что творим...

Босенко прекраснейшим образом понимал, что ж е н а пишет о нем еженедельные рапорты, передавая их к о н т а к т у по пятницам, когда выезжала в город за покупками. Джозеф был никаким не журналистом, а невропатологом из спецгруппы ЦРУ, р а з м и н а л, пытаясь составить точный психологический портрет перебежчика. «Пиши, пиши, рожа, хрен ты меня поймешь!» Пил теперь каждый день; поправляться утром ж е н а не позволяла с тех пор, как началась бессонница. Постепенно пришло страшное ощущение назойливого и одинокого присутствия на чужом празднике: люди вокруг путешествовали, веселились, раскованные, крепкие, уверенные в себе, а он чувствовал себя маленьким просителем в огромной приемной, где даже секретарши нет — автомат-робот, говорящий бесстрастным, нечеловеческим, скрежещущим голосом: «Вуд ю плиз сит даун энд вэйт э литтл бит...»[1] А чего ждать-то? Поезд ушел, промахнул на слепой скорости все станции с любезными сердцу названиями, назад не воротишься...

[1] «Будьте любезны, присядьте и подожидте немного...» (*англ.*).

Имена и фамилии меняли ему довольно часто, перебрасывали с базы на базу; безымянный странник, в котором каждый видит иностранца, боже мой, как же горек хлеб на чужбине...

Когда стало совсем плохо, журналист, не покидавший его ни на день, завел разговор о князе Курбском: «Только палачи Грозного называли его поступок изменой, на самом деле истинное подвижничество, борьба за Русь, за то, чтобы дать ей, многострадальной, справедливость и закон».

«Курбский у поляков был пожалован командующим, — заметил тогда Босенко. — А я?»

Стали давать работу, связанную с консультациями; сразу же понял, что это огрызки, продолжающаяся проверка; чужак, он и есть чужак; потом пригласили прочесть лекции десяти охламонам; контакта не получилось, хотя люди здесь воспитанные, такту учены с детства, впрямую обидного не говорят, просто перестают общаться, если не пришелся по душе.

Пожаловался, что не знает страну: «Хочу посмотреть Америку». Вопрос довольно долго обсуждался у руководства управления, потом выделили двух сопровождающих; в Сан-Франциско испытал ужас, даже дыхание перехватило: два молодых негра трижды обогнали его автомобиль; машинально спрятал голову под щиток, отчетливо при этом понимая, что, если полоснут из «шмайссера», щиток не спасет, снесет череп за милую душу. Стал пить еще больше. Дважды предложили просмотреть запись беседы с перебежчиками. Боролся с искушением: «Пусть эти молодчики посидят, как я, в подвале, при слепящем свете прожектора, пусть поводят их на допросы» однако, опасаясь засветиться, отвстил уклончиво; американцы посмеялись, потрепали по плечу: «Вы теперь живете в свободной стране, не бойтесь высказывать свое мнение открыто, это вам не Россия, где надо контролировать каждое слово».

...Кемплеру обрадовался; тот круче всех нес по кочкам Лэнгли, костил шефов безмозглыми бюрократами; однажды пошутил: «Скажите, к кому обратиться, убегу в Москву там-то уж меня должны оценить, а?!»

Над вопросником Босенко работал увлеченно; полюбопытствовал, надежен ли уровень человека, который должен ответить на все то, о чем спрашивают: танки, самоходки и прочее...

— Немецкий полковник, — ответил Кемплер, — весьма компетентен, учился в Москве, жена русская.

Босенко усмехнулся:

— Ну, тогда я стану так составлять вопросы, чтоб немец отвечал, а не русский. Сколько можно со мной темнить?!

— Не был бы таким умным, не темнили б, — неожиданно жестко ответил Кемплер. — Человек с вашей сноровкой многого бы мог добиться дома, какого черта сунулись в наше болото?!

Говорил так не случайно· за многие годы с Босенко скопилась достаточная информация; просчитали, что особенно хорошо он работает когда обижен, — некая форма самоутверждения.

7

...После того как вопросник был готов, ЗДРО пригласил к себе Лайджеста — тот в свое время изучал связи Пеньковского.

— Послушайте, Джо, называя Н-52 самым перспективным человеком из окружения полковника, вы базировались на беседах с ним самим? Или на его информации?

— Нет, прежде всего на устной информации Пеньковского... Он назвал мне Н-52 в Лондоне после ужина.

— Не хотите вспомнить подробности?

— Существует запись нашей беседы. Я фиксировал все разговоры с Олегом Пеньковским, чтобы потом легче налаживать перепроверку его информации...

— Вы ему не до конца верили? — с какой-то затаенной тоской спросил ЗДРО; его круглые карие глаза были печальны, лицо бледное, в сетке мелких морщин, — такие персонажи, как правило, играют образы добрых и справедливых сыщиков из криминальной полиции: один против всех, пистолет не носит, логик, постигает преступника и л о м а е т его во время финальной беседы. — Вы не верили Пеньковскому, — повторил он, теперь уже не вопрошающе, а жестко, утверждая свою правоту.

— Признаться, да, — медленно, словно бы сопротивляясь самому себе, ответил Лайджест — Я и сейчас не до конца убежден, что его расстреляли... Вполне мог быть поставлен хороший спектакль для подтверждения переданной нам через него дезинформации...

— Тогда и Н-52 может оказаться каналом дезинформации?

— Может. Я не верю русским. Они совершенно не просчитываются..

— Но ведь данные Н-52 сходятся с теми данными которые

получает НСА[1], Джо. Это не агентурная разведка, а техника, тут не придумаешь... И эти данные не в нашу пользу.

Лайджест снова пожал плечами:

— Я высказываю свою точку зрения, быть может, я не прав, мне трудно переступить себя... Что же касается подробностей, не зафиксированных в записи... Это трудно пересказать... Иногда одна гримаса говорит больше, чем развернутая шифротелеграмма... Когда Пеньковский сказал, что мистер Кульков подвержен испепеляющей страсти скакать по лестнице вверх, хватаясь не за перила, но за и м е н а, он так усмехнулся, такая гамма чувств была в этой усмешке... Русские невероятно многозначительны в мимике... Это только наши кремленологи называют их скованными... Ерунда... Надо понять их, уметь всматриваться в их глаза, просчитывать с м ы с л молчания или улыбки... Лучшие мимы мира, поверьте слову...

— Испепеляющая страсть скакать по лестнице, хватаясь за имена, — задумчиво повторил ЗДРО. — Знаете, а ведь в этом действительно характер человека... Видимо, Н-52 обидится, если его п о д т о л к н у т ь к модели ответа?

— Почему? Наоборот. Он с радостью выскажет свое мнение, если поймет, ч е г о мы от него ждем.

— Что вы имеете в виду? — насторожился ЗДРО. — Мы ждем от него того же, что и раньше: объективной информации...

Лайджест вздохнул:

— Босс, порою я чувствую смертельную усталость от того, что мы все хитрим, отдавая себе отчет в том, что при этом каждый прекрасно понимает эту затаенную хитрость — каждый против каждого... Словом, не бойтесь подсказать Н-52 то, что хотите услышать. Он правильно поймет вас. Только успокойте его патетикой. Русские крайне высоко чтут затаенный смысл слова... «Правильно ли мы поняли вас, дорогой друг, что Кремль не остановится ни перед какими мерами, чтобы — в случае резкого охлаждения в американо-советских отношениях, которые связаны со «стратегической оборонной инициативой», — добиться немедленного и устрашающего превосходства, бросив на это все свои резервы?» Такую формулировку он примет, поверьте... Я ведь старый, я понимаю, босс, что вам нужно... Хитрите с молодыми и с начальниками, а меня держите в союзниках. Я по ночам думаю, как жить, когда выйду на пенсию... Мне стало скучно приезжать на работу каждое утро,

[1] Национальное агентство безопасности США.

босс... Остеохондроз, пиелонефрит, да и потом, не вижу реальных результатов... А я американец, настоящий американец, я работаю в радость только в том случае, если налицо результаты... Россия — это болото, которое засосет всех нас... Ничего у нас с ними не выйдет, верьте слову, босс...

Во время перерыва Кульков не попросил секретаря принести ему обед в кабинет, а отправился в соседнее кафе, заказал салат и сосиски, подошел к телефону-автомату и, проверившись, три раза набрал один и тот же номер — Юрса. Это означало то, что и следовало ожидать: необходима срочная связь.

Славин терпеть не мог свой большой, начальственный стол в кабинете, какой-то странной, пятиугольной формы. «Он во всем оригинал, — подшучивали те, кто не очень-то благоволил к полковнику, — даже кабинет себе выбрал особый, не как у других... Единственную фотографию держит в книжном шкафу, словно вызов: подруга Ирина. Как можно встречаться с женщиной семь лет и до сих пор не оформить отношения? Хороша воспитательная работа с молодыми сотрудниками».

Славин, понятно, знал об этом, посмеивался, попросил Эдика, давнего приятеля из Тбилиси, еще больше увеличить портрет Ирины. «Все прекрасное — а, согласись, Иришка сама прелесть — способствует вдохновению, причем именно вдохновение есть самый действенный побудитель работы!»

Трудился он, как правило, в углу кабинета, возле телевизора, где стояли маленький столик ручной работы и старинное низкое кресло, обитое настоящей кожей; как-то заметил Груздеву: «Что ни говори, а по маминой линии я наполовину армянин, видимо, поэтому пристрастие к низкой и мягкой мебели».

Именно здесь-то он и устроился (позвонив предварительно в Пицунду, чтобы узнать, каким рейсом Ирина возвращается с юга), углубившись в чтение папки, переданной ему генералом. У того по-прежнему в поле зрения два аспекта одной, как ему казалось, проблемы: тончайшие нюансы на переговорах в Женеве и при этом дело Пеньковского, все его связи, особенно московские; парижские и лондонские были уже отработаны досконально, заново изучены и перепроверены, методика связи с британской разведкой и ЦРУ — тоже; генерал пытался — Славин понял это по его осторожным карандашным пометкам — найти в показаниях Пеньковского и всех опрошенных свидетелей

хотя бы намеки на имена, дружеские клички, ласковые прозвища, а возможно, и фамилии, каким-то образом обойденные предварительными исследованиями. Генерал шел от вполне логического построения: коль скоро профессора Иванова в научный центр рекомендовал Пеньковский, а Иванов с давних лет дружил с Кульковым, возникал вопрос, на который необходимо получить точный ответ: не пересекались ли пути этих людей? А если пересекались, то когда? Где? На какой почве?

Славин открыл папку, к которой была приколота записка генерала: «Поглядите, любопытно, хорошо бы и в этом материале постараться еще и еще раз поискать с в я з и. Генерал Васильев ждет Вашего звонка».

В о п р о с: В среде товарищей и собутыльников вы пользовались возможностью узнавать военные тайны?

П е н ь к о в с к и й: Да.

В о п р о с: Вы их спрашивали?

П е н ь к о в с к и й: Нет, они сами по пьянке выбалтывали.

В о п р о с: Вы сказали, что у вас были собутыльники. Это что, ваши постоянные друзья и товарищи или случайные люди, встречавшиеся только в ресторанах?

П е н ь к о в с к и й: У меня не было настоящих, близких друзей с большой буквы, потому что, если бы такие были, я бы мог проговориться: в порядке совета, помощи... А те, которые ко мне обращались с какими-то просьбами (я с удовольствием их выполнял), были не прочь разделить со мной бутылку коньяку с лимоном.

В о п р о с: А кто платил?

П е н ь к о в с к и й: Когда инициатива принадлежала мне, я платил. Когда меня приглашали, то платил тот, кто приглашал. Или платили вместе. Я не был стеснен в денежных средствах. Поэтому, когда мне разведчики прислали деньги, они этим меня обидели.

В о п р о с: Значит, вы работали на английскую и американскую разведки бескорыстно?

П е н ь к о в с к и й: Я знал, что мой труд ими оценивается очень высоко. Нельзя сказать, что я все это делал бескорыстно, это было бы враньем. Я знал, что там откладывается на мой счет на будущее и, когда будет нужно, я смогу получить за все, но за полтора года моей преступной связи с ними я от них денег не получал. Мне прислали три тысячи рублей, я сказал об этом чистосердечно, хотя мог бы и утаить. Я сделал жест: купил подарки (серебряные вещи) и вместе с пакетом с деньгами попросил Винна передать разведчикам.

Вопрос: Скажите, какие-нибудь вещи вы получали из-за границы?

Пеньковский: Из-за границы я получал вещи, которые мне привозил Гревилл Винн по моей просьбе. За эти вещи я с ним всегда расплачивался, не желая быть у него в долгу, потому что он человек бизнеса, да и к чему он будет мне покупать за свои деньги?

Вопрос: Не была ли это оплата за услуги?

Пеньковский: Никак нет. Гревилл Винн никогда никаких ценных подарков мне не привозил, а привозил лишь различные безделушки, сигареты, виски, пластинки.

Славин подолгу вчитывался в каждое слово, не то что фразу; однажды Степанов сказал ему: «Старик, твое армянство просматривается именно в том, как ты читаешь; предки по маминой линии, видимо, носили в мешках землю на камни в горах, чтобы создать себе поле. Все это, конечно, прекрасно, но, читая таким образом рассказ или роман, не выхолащиваешь ли ты мысль, заложенную в словах писателя, постепенно заменяя ее своею? Не навязываешь ли ты себя той литературе, которую читаешь?» — «Вряд ли, — после долгого раздумья ответил тогда Славин. — Да и потом литература — одно, а работа — совсем иное. Я от рождения достаточно доверчивый человек и качество это в себе, честно говоря, ценю. Но служба в контрразведке приучила к тому, чтобы проверять значение каждого слова — а за словом стоит человек, не кто-нибудь, — и только после этого принимать решение, которое отмене не подлежит».

Славин поднялся, подошел к телефону, набрал номер генерала Васильева — живая энциклопедия, о Пеньковском знал все, вел его дело как-никак.

— Александр Васильевич, это Славин...

— Наконец-то, — усмехнулся тот, — генерал уж трижды звонил, жду не дождусь!

— Так ведь к вам неподготовленным приходить страшно, — в тон ему ответил Славин, — ам — и нет полковника! Я предпочитаю самолично изучить все, что можно... Хотя все равно без вас я так ничего до конца и не пойму.

— Будет тебе, — вздохнул Васильев, — все поймешь прекрасно и без меня... Когда приедешь?

— Мне хотелось бы еще раз прочитать фрагмент речи защитника Апраксина... И показания свидетелей...

— Ты со свидетелей начни, Виталик, — сказал Васильев. — А я тут еще помаракую, что тебе может пойти на пользу...

— Спасибо, Саша, — ответил Славин; один на один он говорил с Васильевым на «ты», испытывая к этому человеку чувство огромной симпатии: он того заслуживал...

Славин вернулся к столику и принялся заново читать допросы свидетелей, медленно ведя остро отточенным грифелем по строкам; кое-где ставил точки на полях, заметные лишь ему одному.

Председательствующий: Вы знаете Пеньковского?

Свидетель Русаков: Да.

Председательствующий: Какие у вас были с ним взаимоотношения?

Свидетель Русаков: Нормальные.

Председательствующий: Подсудимый Пеньковский, вы знаете свидетеля?

Пеньковский: Да, свидетеля Русакова я знаю.

Председательствующий: Какие у вас взаимоотношения?

Пеньковский: Взаимоотношения с ним были нормальные.

Председательствующий: Свидетель Русаков, что вам известно по делу Пеньковского? Расскажите суду.

Свидетель Русаков: В подтверждение показаний, данных мною на предварительном следствии, я могу дополнительно показать, что познакомился с Пеньковским лет десять тому назад. Познакомил меня с ним мой приятель Файнштейн Владимир Яковлевич, который отрекомендовал Пеньковского своим земляком, уроженцем Орджоникидзе. Встречался я с Пеньковским, в основном, в компаниях. Были такие моменты, когда я не видел Пеньковского по году и более. Встречались мы на стадионе, в кафе, в ресторанах, ходили в театры. В основном, Пеньковского я видел только в вечерние часы. Зная, что Пеньковский выезжает за границу, я считал, что он человек проверенный, и никаких подозрений в отношении его у меня не было. Хотя сейчас многие и говорят: «Его физиономия мне не нравится» — и прочее. А один знакомый говорит, что он знал, что Пеньковский не читал даже и газет. Я этого не знал и не замечал.

Летом прошлого года Пеньковский обратился ко мне с просьбой, не смогу ли я освободиться к концу дня, с тем чтобы на автомашине подвезти с аэродрома одного нужного человека, его приятеля, который работает в нашем посольстве в Лондоне. Без особого энтузиазма я согласился, и мы

поехали в Шереметьево. Меня это не удивило: я видел, как Пеньковский работал с японской делегацией, встречал и другие делегации у подъездов и прочее. Когда мы приехали на аэродром в Шереметьево, он пошел встречать, а я остался в автомашине, не представляя, кого я буду везти. Через некоторое время Пеньковский подошел ко мне в сопровождении гражданина, которого я раньше не видел. Пеньковский сказал: «Это наш друг. Ты не будешь возражать, если мы его подвезем?» Они сели сзади в машину, я был на водительском месте, и мы тронулись по направлению к гостинице «Украина».

Председательствующий: А кто был этот друг?

Свидетель Русаков: Как сейчас выясняется, это был Винн. Я его никогда не видел, и Пеньковский меня с ним не знакомил. Когда мы ехали в машине, Пеньковский и Винн разговаривали на английском языке. Изредка Пеньковский мне как бы переводил, о чем они говорят: например, какая в Лондоне сейчас погода. В общем, Пеньковский пытался показать, что держит меня в курсе их разговора.

Председательствующий: Винн как-то поблагодарил вас за встречу?

Свидетель Русаков: Я попросил Пеньковского спросить Винна, как он доехал в моей старенькой машине. Винн ответил, что доехал он хорошо, оставил мне пачку или две сигарет как презент. После того как Пеньковский вернулся из гостиницы, мы поехали к его дому. Пеньковский сказал, что это наш работник, нужный человек. Я удивился: как же может англичанин быть нашим работником!

Председательствующий: Расскажите о ваших встречах с Пеньковским.

Свидетель Русаков: С Пеньковским мы встречались в разное время, но, как я уже сказал, в основном вечером. Бывали с ним в кафе, в ресторанах, часто вместе обедали. Так как Пеньковскому звонить было бесполезно, то он звонил или мне на работу, или моему приятелю, и мы встречались. Иногда просто гуляли по улице, заходили в ресторан или кафе обедать после рабочего дня. Никаких разговоров антисоветского характера ни с ним, ни с моими друзьями мы не вели. Подозрений и сомнений у меня в отношении Пеньковского не было. Я познакомил его с подругой своей приятельницы Галиной. Вопреки нашим ожиданиям, у них вспыхнула большая любовь. Пеньковский ею увлекся. Во всяком случае, они часто встречались; она не знала ни домашнего, ни служебного телефона Пеньков-

ского, и мой домашний телефон был как бы связным пунктом между ними.

Председательствующий: Коммутатором?

Свидетель Русаков: Да, коммутатором. Галя звонила мне и спрашивала, не звонил ли Олег; так же звонил мне Пеньковский и просил передать Гале, когда он встретится с нею. Это, может быть, было три-четыре, а может, пять раз. Галя работала недалеко от ресторана «Баку», и в обеденный час Пеньковский несколько раз просил меня встретиться с Галей и войти с ней в ресторан, так как ему якобы было неудобно делать это: он женат, а я разведенный. Я в свой обеденный час подъезжал к ресторану, встречался с Галей и входил с нею в ресторан, где уже за столиком сидел Пеньковский. Так как это был обеденный перерыв, то все обходилось без каких-либо выпивок. После обеда я выходил с Галей и провожал ее до работы. Был он с ней раза два у меня дома в гостях.

Еще я встречал с Пеньковским женщину по имени Лида. Пеньковский сказал, что она очень хорошо и внимательно к нему относилась в госпитале; какие отношения у него были с этой Лидой, мне не известно.

Были еще две женщины, с которыми Пеньковский меня познакомил. Это жены военнослужащих — Зоя и Тамара. С ними как-то один или два раза мы встречались на квартире у Зои. Затем я один встречался с Тамарой, а встречался ли Пеньковский с Зоей еще, мне не известно.

И последний случай. Как-то с друзьями мы были на футболе. Пеньковский сказал, что будет нас ждать с девушкой в гостинице «Советская». После футбола мы зашли в ресторан, и действительно, там сидел с девушкой Пеньковский; имени и фамилии ее не знаю; он сказал, что это секретарь начальника управления или отдела, где он работает. Вскоре он с нею вышел. Какие отношения с этой девушкой, мне тоже не известно.

Председательствующий: Прошу ответить на вопросы народного заседателя генерал-майора Марасанова.

Народный заседатель Марасанов: Как часто вы посещали рестораны вместе с Пеньковским?

Свидетель Русаков: Начиная с весны шестьдесят второго года раза два-три в месяц.

Народный заседатель Марасанов: Кто платил по счетам?

Свидетель Русаков: Чаще платил он, потому что он говорил, что больше нас получает. Когда мы ходили с Галей, то он приглашал и платил.

Народный заседатель Марасанов: А вы всегда ходили с женщинами?

Свидетель Русаков: Чаще мы встречались в ресторане без женщин.

Народный заседатель Марасанов: Кроме ресторанов, где еще Пеньковский встречался с Галей?

Свидетель Русаков: Один-два раза он был с нею у меня дома.

Народный заседатель Марасанов: Что, ваша квартира была местом свиданий для Пеньковского?

Свидетель Русаков: Они были один-два раза.

Народный заседатель Марасанов: Вам известно, какие подарки Пеньковский делал знакомым женщинам?

Свидетель Русаков: Я как-то даже иронизировал по этому поводу. Меня удивляло, что он балует Галю. Он подарил ей туфли, часы и кофточку и просил ее не говорить об этом нам, чтобы мы не смеялись. Она разболтала одной девушке, и мы узнали об этом.

Народный заседатель Марасанов: А вам лично Пеньковский ничего не дарил?

Свидетель Русаков: Из мелких сувениров — бумажник, ремешок для часов, зажигалку, брелок для ключа, флакон туалетной воды.

Народный заседатель Марасанов: Насколько я понял, вы хорошо знали Пеньковского, в течение длительного времени дружили с ним, выпивали вместе. Не можете ли вы сказать суду, каков кругозор интересов Пеньковского?

Свидетель Русаков: На предварительном следствии я высказывал свое мнение. Сейчас, после этого страшного события, все узнали, что это за человек, а тогда я не мог думать на этот счет. Особых ненормальностей в его поведении я не наблюдал. Во время встреч он за пределы разговоров бытового, гастрономического характера не выходил. Не проявлял интереса ни к литературе, ни к музыке, ни к искусству.

Народный заседатель Марасанов: У меня нет вопросов.

Председательствующий: Товарищ прокурор, у вас есть вопросы к свидетелю Русакову?

Прокурор: Да. Свидетель Русаков, скажите, пожалуйста, что это был за вечер или вечеринка, когда вместо бокалов употреблялись туфли любимых дам?

Свидетель Русаков: Был такой случай, когда в день рождения одного моего приятеля мы совместно с Пень-

ковским и его дамой были в Парке культуры, в ресторане «Поплавок». Я был без дамы, и мне не пришлось пить из туфли. То ли чтобы показать свою любовь к даме или, может быть, так принято на Западе, но действительно, Пеньковский налил из бутылки вино в туфлю и выпил.

Прокурор: На какие темы велись разговоры в ваших компаниях?

Свидетель Русаков: Больше всего Пеньковский любил говорить о жареном куске мяса: «Вот здорово было поджарено мясо, с кровью...» и так далее...

Прокурор: Можно сделать такой вывод, что его интересовало лишь как бы вкуснее поесть, выпить, закусить? Ну и знакомства с дамами?

Свидетель Русаков: Что касается знакомств с дамами, то я не могу об этом так сказать. Что же касается его разговоров, то должен сказать, что он в наших глазах был на важной, ответственной работе, был связан с иностранцами и поэтому говорить с нами о многом ему было не положено. И мы считали, что волей-неволей все разговоры он сводил к чисто гастрономическим, бытовым интересам.

Прокурор: У меня нет больше вопросов к свидетелю.

Председательствующий: Подсудимый Пеньковский, у вас есть что-либо сказать по поводу показаний свидетеля Русакова?

Пеньковский: Русаков правильно показал о времени нашего знакомства. Только хочу сказать суду, что факт встречи Русакова с Винном изложен неточно. Винн привез сигареты мне, а Русакову одну пачку сигарет дал я. Русакова с Винном я не знакомил, так как не считал это нужным. Я его не знакомил ни у машины, ни у гостиницы, и больше Русаков Винна никогда не видел. О Винне я Русакову сказал, что он работник советского посольства в Лондоне, поскольку и советские граждане работают в разных иностранных посольствах.

Председательствующий: Подсудимый Пеньковский, почему вы обманули Русакова?

Пеньковский: Да, тогда я его действительно обманул.

Председательствующий: Вы хотели воспользоваться машиной Русакова для неофициальной встречи Винна?

Пеньковский: Да. В отношении посещений кафе, ресторанов, квартир наших общих знакомых Русаков показал правильно. Эти встречи были, если так можно сказать, в ресторанной обстановке и не располагали к деловому разговору.

Председательствующий: Подсудимый Винн, знакомил ли Пеньковский вас со свидетелем Русаковым?

Винн: Нет, ваша честь.

Председательствующий: Вы знаете его только как шофера, который подвозил вас?

Винн: Да, смутно я его припоминаю, но у меня в памяти нет точных деталей его внешности потому, что он тогда сидел за рулем машины.

Председательствующий: Товарищ комендант, пригласите в зал заседаний свидетеля Файнштейна... Прошу, свидетель Файнштейн, показать, что вы знаете в связи с делом Пеньковского.

Файнштейн: Я познакомился с Пеньковским в пятьдесят первом или пятьдесят втором году, точно не помню. Познакомил меня с ним мой товарищ по школе в Орджоникидзе, где я рос. Оказалось, что мы с Пеньковским земляки, жили в одном городе, в одно и то же время, правда, учились в разных школах.

На этой почве, на почве воспоминаний о родном городе, о днях детства, о каких-то общих приятелях, и возникло наше знакомство. Оно продолжалось до самого последнего момента в течение всех этих лет. Когда мы познакомились, Пеньковский был полковником, затем он работал в Госкомитете по координации научно-исследовательских работ. Часто, как мне известно со слов Пеньковского, он выезжал за рубеж. Поэтому в наших встречах были длительные пробелы. Обыкновенно он звонил и спрашивал, как там Игорь Павлович или кто-то еще из знакомых: «Если свободны, давайте встретимся». Встречались мы с Пеньковским в разное время, и часто это происходило на стадионе во время футбольных состязаний. Мы смотрели спортивные соревнования, ходили в кино, в театры, обедали в ресторанах, сидели в кафе. Я человек непьющий, вернее, пью очень мало и не видел, чтобы Пеньковский много пил. Утверждаю, что в нашем обществе он выпивал не более ста граммов крепких напитков, а затем переходил на сухие вина. Мы еще над ним посмеивались. Он объяснял это тем, что торопится, что у него дела. Вся его жизнь была расписана по часам: он вечно куда-то торопился. Возвращаясь из-за рубежа, Пеньковский привозил сувениры, зажигалки, брелоки и никчемные вещички, которые щедро раздаривал на моих глазах всем своим знакомым. У Пеньковского был широкий круг знакомств, как он говорил, и я в этом убежден потому, что часто на улице встречались какие-то люди, с которыми он здоровался. Причем это был круг самых разнообразных лиц.

Славин поднялся, походил по кабинету, сделал несколько гимнастических упражнений; обычно каждое утро бегал

десять километров, последние дни перестал, нет времени, поэтому ломило в пояснице.

«На улице раскланивался со многими знакомыми, — повторил Славин слова свидетеля, — поди вычлени из числа этих знакомых Гену...»

Председательствующий: Прошу вас ответить на вопросы народного заседателя генерал-майора Цыганкова.

Народный заседатель Цыганков: Вы дружили с Пеньковским только из уважения к организации, в которой он работал?

Свидетель Файнштейн: Я не дружил с Пеньковским. Это дружбой назвать нельзя, так как ничего интимного, близкого между нами не было... Это было хорошее знакомство, основанное на каких-то земляческих воспоминаниях. Он был интересный рассказчик, рассказывал о многих интересных вещах и событиях, о которых мне не было известно.

Народный заседатель Цыганков: Скажите, пожалуйста, а что вам рассказывал Пеньковский о своих поездках за границу?

Свидетель Файнштейн: Возвращаясь из-за границы, он подробно рассказывал о своих впечатлениях. Бывая в различных странах в прошлые годы — в каких именно, не помню, — он рассказывал, как живут в этих странах, какой темп жизни, какие там интересные рекламы. Во всяком случае, он проявлял ко всему этому интерес и умел хорошо передавать свои впечатления об этих странах. В прошлом или позапрошлом году, когда он вернулся из Англии и Франции, он рассказывал свои впечатления о Франции и Англии. Так как я работаю в искусстве, то меня интересовали музеи, архитектура, то есть достопримечательности этих стран...

Народный заседатель Цыганков: Какие подарки вы получали от Пеньковского?

Свидетель Файнштейн: Я подарки от него не получал, за исключением мелких сувениров.

Народный заседатель Цыганков: Чем вы его за это благодарили?

Свидетель Файнштейн: Ничем. Я не считал это подарками и не считал себя обязанным благодарить за мелкие сувениры.

Народный заседатель Цыганков: Вы показывали, что часто встречались с Пеньковским в ресторанах. Кто расплачивался за эти посещения ресторанов?

Свидетель Файнштейн: Мы встречались с Пеньковским, как правило, по его инициативе, всегда где-то в

городе. Он обычно звонил, и назначалась встреча или в ресторане «Москва», или еще где-либо. Как правило, Пеньковский предлагал выпить по бокалу шампанского, пойти посидеть в кафе или пообедать. Если был обед, то мы шли обедать, и, как правило, Пеньковский всегда пытался расплачиваться сам. У нас принято было, что каждый расплачивался по так называемому немецкому принципу — каждый за себя, но очень часто Пеньковский с возмущением отбрасывал деньги всех и платил сам, мотивируя это тем, что он зарабатывает больше, чем остальные, и для него ничего не стоит израсходовать двадцать — тридцать рублей.

Народный заседатель Цыганков: У вас в связи с этим никогда никаких подозрений не возникало? Или вы все это относили за счет того, что он много получает?

Свидетель Файнштейн: Да, именно так. Я также, когда встречался с человеком, который меньше меня получает, не давал ему возможности оплачивать расходы на выпивку и закуску.

Председательствующий: Каков был круг интересов Пеньковского?

Свидетель Файнштейн: Очень ограниченный.

Председательствующий: Конкретизируйте.

Свидетель Файнштейн: Пеньковский не увлекался театром. Казалось бы, что у человека с высшим образованием должна быть какая-то потребность в этом, потребность быть в курсе театральной жизни, кино, различных событий в искусстве и литературе, но Пеньковский, по моим наблюдениям, не увлекался этим. По-моему, он не читал книг, а если читал, то только то, что модно, хотя книги покупал. Я также очень люблю книги и часто их покупаю. Круг интересов Пеньковского, в основном, концентрировался вокруг его работы, о которой я, честно говоря, очень мало знал. Все это я объяснял его чрезвычайной загруженностью.

Председательствующий: Свидетель Русаков показал, что у Пеньковского на первом плане были «гастрономические интересы». Что вы скажете по этому поводу?

Свидетель Файнштейн: Действительно, он всегда показывал себя гурманом, человеком, который любит изысканную пищу, любит, чтобы ему это было как-то красиво подано. Создавалось впечатление, будто он воспитан в каком-то великосветском стиле.

Председательствующий: Был ли интерес у Пеньковского к политической жизни?

Свидетель Файнштейн: Мало. Во всяком случае, на встречах со мной он никогда на политические темы

разговора не вел. Более того, он даже их избегал. Если возникали разговоры о каких-то волнующих событиях общественной и политической жизни, то он переходил на житейские темы...

Председательствующий: Подсудимый Пеньковский, у вас есть вопросы к свидетелю Файнштейну?

Пеньковский: Свидетель Файнштейн очень подробно и правильно доложил о времени нашего знакомства и его характере. В отношении подарков. Я считаю, что свидетель Файнштейн правильно показал. Называть подарками все те безделушки — это очень громко будет для тех сувениров, которые я сам получал от иностранцев и раздавал знакомым. Я работал, например, с японской делегацией, и каждый из членов этой делегации почему-то считал себя обязанным подарить мне сувенир, в результате чего у меня образовался запас в двадцать пар носков, которые я раздаривал своим товарищам.

Председательствующий: Пеньковский, вы сейчас слышали показания свидетелей Русакова и Файнштейна. Они говорили, что у вас был узкий кругозор и узкие интересы. Вы не выходили из круга разговоров о «гастрономических интересах». Они оба показали, что вы не интересовались политикой. Согласны ли вы, что у вас были ограниченные духовные интересы?

Пеньковский: Когда мы встречались с Файнштейном и другими, то ставили перед собой задачу просто отдохнуть. Файнштейн говорил: «Дайте больше черемухи, ребята, тогда мы и отдохнем от всех проблем». У нас действительно были разговоры о женщинах и разговоры «гастрономического характера». Об этом Файнштейн и Русаков рассказали все подробно. Эти люди правильно, очевидно, сделали вывод, что я избегал политических разговоров. Но я говорю, что не я их избегал, а все мы разговаривали совершенно на отвлеченные темы. Мы бы могли говорить и о германской проблеме, и по другим вопросам, но мы хотели только отдохнуть и говорили о всяких пустяках.

Председательствующий: Подсудимый Винн, у вас есть вопросы к свидетелю Файнштейну?

Винн: Нет, сэр.

Председательствующий: Товарищ адвокат Апраксин, у вас был вопрос к подсудимому Пеньковскому, прошу задать.

Адвокат Апраксин: Да. Подсудимый Пеньковский, вы в первый и второй день процесса говорили о своих собутыльниках. Кто они?

Пеньковский: Может быть, я грубо выразился, что они собутыльники, но это Файнштейн, Русаков и некоторые другие, которые на предварительном следствии показывали, что мы часто встречались, выпивали.

«Эти «выскоблились», — подумал Славин, — не густо, однако же; бедный Александр Васильевич, каково ему было раскручивать это дело; поди удержи в голове все те линии, которые пунктирно прослеживались, именно пунктирно; Пеньковский не верил никому, волк среди людей, затаившийся, словно перед прыжком... У него было несколько кругов; он никогда не сводил воедино тех, кого близко знал; те, с кем он был связан работой, ничего не знали ни о Русакове, ни о Файнштейне; эти, в свою очередь, слыхом не слыхали о коллегах по работе; тем было невдомек, что существуют Зоя, Галя и Лида; женщины никогда не слыхали имени Гена, фамилии Кульков; впрочем, свою фамилию он никогда никому не называл...

Ну, давай, адвокат Апраксин, мне очень важно настроиться на твою логику; защита преступника необходима как доказательство от противного; истина не бывает однозначной; как монета имеет две стороны, так и предательство обязано быть рассмотрено без гнева и пристрастия; это необходимо не столько милосердию (хотя не в последнюю очередь ему), сколько анализу загадки. — Для Славина, как и для генерала, измена, предательство были аномалией, тайной за семью печатями. — Может быть, поэтому, — подумал Славин, — я не люблю встречаться с человеком, которого захватил с поличным: постоянное ощущение какого-то внутреннего неудобства и горечи...»

— Родился Пеньковский в 1919 году, воспитывался матерью в трудовой семье, — говорил адвокат Апраксин, — учился в школе, которую окончил в 1937 году. Получив среднее образование, он, так же как и его сверстники, продолжал дальше свое образование, но уже в военном училище, которое успешно закончил.

После окончания училища началась жизнь строевого офицера. Он участвовал в освобождении Западной Украины, в финской кампании 1940 года, а когда началась Великая Отечественная война, так же как и многие другие, пошел на фронт.

За короткий срок он проделал большой путь: от кур-

санта-артиллериста до полковника — командира истребительно-противотанкового полка.

За участие в боях отмечен наградами.

Закончилась война, Пеньковский садится за парту и вновь учится.

Благодаря способностям, трудолюбию и упорству — а этого отнять у него нельзя — он в послевоенный период окончил два высших учебных заведения, а затем нашел свое место в жизни и значительно преуспел на гражданском поприще. Последняя занимаемая им должность в Государственном комитете по координации научно-исследовательских работ была высока и достаточно авторитетна...

Бывают весьма редкие случаи — и мы о них узнаем из нашей печати, — что тот или иной гражданин в результате своей недальновидности, а иногда из-за отсутствия должного жизненного опыта, а может, в силу той или иной провокации оказывается в сетях иностранной разведки.

Недавно писали об одном военнослужащем, который изменил Родине, стал шпионом, познакомившись с женщиной, сотрудничавшей с американской разведкой.

Об этой истории мы читали в газете «Известия», и я не буду вам ее излагать, а если и напомнил о ней, то только для того, чтобы сказать, что материалы дела исключают подобную ситуацию. В деле Пеньковского ничего похожего не было, и мне в этой части говорить больше нечего.

Я также исключаю подобные — похожие или непохожие на приведенные, известные из литературы и судебных дел, а то и неизвестные, но предполагаемые — способы вербовки и сотрудничества с разведками капиталистических государств потому, что, как это установлено следствием и подтверждено здесь, в судебном заседании, он сам искал встречи с разведчиками, предложил свои услуги английской разведке и через Винна установил связь с нею, сам без какого-либо вознаграждения передал первые сведения, составляющие государственную и военную тайну.

Почему же это так произошло? Чем он руководствовался?

Прежде чем ответить на этот вопрос, я должен обратить ваше внимание на показания, данные Пеньковским на предварительном следствии: «Я в какой-то степени удовлетворил свое большое желание быть на передовых участках. В двадцать пять лет мне был доверен полк. В тридцать присвоили звание «полковник». Родина дала мне два высших образования. Меня опьянили дары Родины, я хотел все больше и больше».

Вот видите, как легко и блестяще складывалась его карьера: в двадцать пять лет командир полка, в тридцать — полковник.

Обращает на себя внимание легкость, с которой он прошел службу. Пеньковский был ослеплен своей карьерой, он стал себя переоценивать, ему хотелось иметь больше, чем в действительности он имел, он научился быть почтительным и услужливым с теми, от кого зависело его продвижение по службе. У него от успехов закружилась голова.

Как это ни печально, но он возлагал бóльшие надежды на привезенные из-за границы сувениры, безделушки, шариковые ручки, французский коньяк, а также на телефонные звонки, чем на добросовестную работу и беззаветное служение Родине. Он к этому привык и этим пользовался.

На правах близкого друга он был вхож в некоторые дома ответственных работников, а те, в свою очередь, уподоблялись грибоедовскому Фамусову и для Пеньковского делали все по принципу: «Ну как не порадеть родному человечку!»

Хотя в родственных отношениях они и не состояли, но это для них не играло никакой роли.

Услуга одному, помощь в устройстве сына в институт другому, ордер на квартиру третьему, удачно и вовремя рассказанный анекдот четвертому — все это медленно, но верно превращало Пеньковского в обывателя, но обывателя с большими возможностями, для которого личная карьера, веселое времяпрепровождение, личные блага стали выше интересов общества, выше благополучия своих близких и родных.

Менялись его взгляды на жизнь, менялись товарищи, менялись его общественные интересы.

Привычка достигать успеха любым путем стала неотъемлемой чертой его характера. У Пеньковского в последнее время родилась уверенность в своей непогрешимости, и это увело его в сторону от общественных интересов.

Из боевого, смелого командира истребительно-противотанкового полка в период Великой Отечественной войны, который не раз смотрел смерти в глаза и дрался с врагами своего народа, в результате мелкой, непринципиальной обиды на действия своих непосредственных руководителей, которые, по его мнению, препятствовали дальнейшему развитию его служебной карьеры — а карьера для него была всем, — он, забыв об интересах Родины, которые были главными для него в годы Великой Отечественной войны, стал предателем.

Нравственный процесс его перерождения происходил на глазах честных людей — друзей, близких и знакомых, которые за внешней эрудицией и инициативой, добросовестностью и общительностью, галантностью и почтительностью, блеском ресторанных обедов и тихих бесед в домашней обстановке не сумели заметить червоточину обывателя.

Когда же один из сослуживцев в грубой, но достаточно прямолинейной форме заявил, что Пеньковский заражен обывательщиной, что он ради своей личной карьеры и благополучия готов на низкие, недостойные советского человека дела, что с ним трудно из-за этого работать, то этот голос потонул в восторженных характеристиках и трелях телефонных звонков о добродетелях подсудимого.

Правда, это заявление проверяли, но больше для формы, так как заранее не верили ему, а истинными мотивами сделанного заявления никто так и не поинтересовался.

Объективности ради, я должен сказать, что такому «благополучному» для подсудимого решению этого вопроса способствовало и то, что и сам заявитель не во всем был прав.

Я далек от мысли, что свидетель Савченко уже в 1956 году предвидел то, что произойдет спустя пять лет, но, если бы к его заявлению отнеслись более внимательно, если бы было меньше заступников, уверен, что сегодня мы бы не занимались рассмотрением настоящего уголовного дела.

Был, правда, еще один человек, который видел, что с Пеньковским происходит что-то неладное, это жена, которая, будучи допрошенной на предварительном следствии, показала:

«Вообще за последний год он стал нервным, подозрительным. По своему характеру Пеньковский был тщеславен, самолюбив и склонен к авантюрам. Эти черты его характера складывались на протяжении всей его жизни. Этому способствовало восхваление его достоинств среди родственников, товарищей и друзей. Служба у него протекала довольно легко. В жизни он больших трудностей не испытывал».

Видите, какая проникновенность? Но любовь к мужу, уважение к человеку — отцу ее детей, к его боевому прошлому исключили для нее возможность каких-либо подозрений...

Самовлюбленность, нежелание считаться с коллективом, товарищами и нормами нашей морали, игнорирование этих норм, карьеризм, перешедший в авантюру, — все перечисленное и привело Пеньковского на эту скамью.

Но ослепление прошло, пелена спала с глаз, и сейчас на скамье подсудимых сидит человек, глубоко осознавший всю неприглядную картину своего падения, понявший не-

правильность сделанного им шага и глубоко раскаивающийся в совершенных им деяниях.

Есть ли основание считать, что Пеньковский чистосердечно раскаялся и рассказал обо всем, что он совершил? Защита считает, что у нее есть основания говорить о его чистосердечном и полном раскаянии, так как это не только слова, но и дела, свидетельствующие о желании Пеньковского рассказывать только правду...

...Генерал Васильев (как всегда, в синем костюме, локотки поблескивают, ботинки чиненые, галстук старомодный, повязан неумело) походил по своему небольшому кабинету (форточка открыта настежь, зимой — холодрыга, а ему нипочем, крестьянская закалка), остановился у окна, пожал плечами и наконец ответил:

— Нет, Виталий, и я не верю, что Пеньковский до конца открылся, руби руку — не верю... Я ведь с ним работал с самой первой минуты после задержания, вел дело все те месяцы, что он сидел у нас... Между следователем и тем, кто сидит напротив него в течение многих часов, день за днем, неделя за неделей, складываются совершенно особые отношения... Ты этого, видимо, не знаешь.

— Когда ты его увидел в первый раз, Саша? — спросил Славин. — Расскажи все, что помнишь, до самой последней мелочи...

— Хм... Сколько лет прошло? Двадцать три года, видишь ли ты, — вздохнул Васильев. — Впрочем, ладно, давай попробуем реанимировать прошлое... Ты, кстати, знаешь, как взяли Пеньковского?

Славин кивнул.

— Пеньковского уже не первый месяц подозревали, но работать с ним было трудно — весьма подготовленный... Особенно после того, как перестал ездить за границу... Когда мы все-таки получили улику — шпионское оборудование, ничего больше... Ерунда, а не улика — ни имен, ни связей. Все это мне надо было выявить в процессе следствия, сам понимаешь. Приняли решение его брать... Но в это время в Венгрию должен был приехать Гревилл Винн, его там решили задержать. Следовательно, операцию надо было провести элегантно, чтобы ни одна живая душа не узнала об аресте... Привезли его на площадь Дзержинского и повели прямехонько в кабинет начальника контрразведки... Генерал стоит возле камина — кабинет-то помнишь, — и я в своей форме, подполковник средних лет, но вполне уже седой, импозантно, правда?

Генерал был кряжист, скуповат на слова, медлителен в движениях; после долгой паузы сказал: «Олег Владимирович Пеньковский, вы задержаны по подозрению в преступлении, именуемом Уголовным кодексом РСФСР как шпионаж в пользу иностранного государства». Пеньковский, мертвенно-бледный, в считанные, знаешь ли, минуты покрывшийся щетиной, переодетый в рубашку и костюм, заранее для него приготовленный, спокойно, очень сдержанно ответил: «Вы же понимаете, что все это — чушь и ерунда, товарищ генерал. Обычная клевета врагов — я был, есть и буду солдатом и патриотом России!» — «Вы прекраснейшим образом понимаете, что времена теперь не те и, не имея улик, мы бы никогда вас не задержали». — «Нет, этого не может быть, я заявляю протест!» Руки у него не тряслись уже, как в первые минуты после задержания, успел собою овладеть, крепкий был человек, ничего не скажешь... «Повторяю, я ни в чем не виноват, произошла какая-то страшная ошибка!» — «Олег Владимирович, не надо... Вы отдаете себе отчет в случившемся. Ведите себя достойно...» Пеньковский побледнел еще больше, серый стал какой-то, пепельный, вытянул руки по швам и четко, чуть не по слогам, отрапортовал: «Даю слово офицера: если вы пошлете меня в Англию или Америку, я сделаю такое, что принесет советской разведке гигантскую победу над нашим идейным противником!» — «Почему вы убеждены в этом?» — «Потому что я действительно работаю на ЦРУ и британскую секретную службу». — «Когда вы начали на них работать?» — «Я начал работать на них двадцать шестого июля тысяча девятьсот шестьдесят первого года».

Мы тогда с начальником контрразведки переглянулись; Пеньковский-то это мог оценить по-своему, а нам стало ясно, что полковник начал лгать с самого начала. ЧК было доподлинно известно, что он начал работать на британскую разведку двенадцатого апреля шестьдесят первого года: вышел с Винном из ресторана «Метрополь» и в некоем укромном, сокрытом от чужих глаз месте показал ему свое служебное удостоверение, где он был сфотографирован в военной форме... А через сорок минут после этого эпизода по радио объявили о полете Юрия Гагарина в космос, всеобщее ликование, национальный праздник, вот ведь штука-то какая... Ладно... Переглянулись мы с генералом, поняв, что работать с ним будет да-алеко не просто, чрезвычайно сложно, точнее сказать, а он гнет свое: «Я обязан действовать вместе с вами рука об руку, мы должны провести такую операцию, которая сокрушит

как СИС[1], так и ЦРУ!» Ладно, говори, говори, а у меня в голове только один вопрос: реальных-то улик о том, что он начал шпионить именно двенадцатого апреля, у нас нет, поди выведи его на процесс без улик — срам и позор!

Ну а назавтра я начал с ним работу... Предъявил все то, что было изъято у него на квартире, он сразу же дал объяснение каждой шифрованной записи: «Это форма экстренной связи с моим руководителем по линии ЦРУ, это столб на Кутузовском проспекте, где я должен был оставлять знак для предстоящей встречи, это шифротаблицы, которыми я не пользовался, это паспорт, переданный мне ЦРУ для перехода на нелегальное положение, это «Минокс», а здесь пленки для него...» Вел он себя как артист, играл роль достойно, искренне, прямо-таки выпускник Щепкинского училища, а не шпион...

Спрашиваю: «Сколько пленок вы хранили в своем тайнике?» — «Ну как же, двадцать две, именно так, мне их передал Винн во время последней встречи. Я ведь ни разу ни одного документа за границу не отправил, ни одной пленки, слово офицера!» Шпион все должен помнить, такая уж у него горькая доля, но, как известно, всего запомнить нельзя, такова уж наша природа; вот он и запамятовал, что в тайнике у него было не двадцать две пленки, а шестнадцать. Куда ж шесть делись? Шесть пленок, сто восемьдесят кадров секретных документов, это тебе не фунт изюма... Ладно... Записали мы с ним в протокол допроса, что он хранил в тайнике двадцать две пленки и ни одной ни разу за кордон не отправлял... Таким образом, я, как следователь, получил единственную зацепку. От того, как я это обыграю, зависело, скажет он правду о том, когда начал работать на противника и что ему передал, или же замолчит — раз и навсегда... А Пеньковский гнет свое: «Повторяю, мы имеем уникальный шанс нанести удар по нашим врагам в ЦРУ и СИСе, я готов поехать за кордон и сделаю там такое, что никто и никогда сделать не сможет! Я открылся, я не таил правды ни минуты, конечно, после понятного шока в первые минуты, вот перед вами мои объяснения, вот пленки с отснятыми секретными документами, ни одна из них не передана врагу; да, я был завербован англичанами и американцами в Париже двадцать шестого июля в отеле, да, я имел здесь связь с разведчиками противника,но ни один наш секретный документ к ним не

[1] Секретная разведывательная служба Англии.

попал!» — «Это все хорошо, даже очень замечательно, но, чтобы мы тебе поверили, ты должен самым подробным образом рассказать обо всем с самого начала... Понимаешь? С самого начала...» — «Да неужели вы не верите мне?! Я ж русский, до последней капли крови русский, Александр Васильевич, я открылся перед вами как перед братом, как перед товарищем, наконец!» Я понял, что дальнейший разговор бессмыслен: он давно подготовился к линии своей защиты и не отступит от нее ни на шаг, если только я не нанесу ему такой удар, что он дрогнет и поднимет руки: «Сдаюсь». А как это сделать? Отдал я его другому следователю, предложил коллеге вести жесткую линию допроса: никаких откровений и сантиментов, вопрос — ответ, вопрос — ответ, неукоснительное следование суровой норме закона; а сам переключился на Винна, которого в тот день привезли из Будапешта... Сначала я к англичанину присматривался, начинать беседу не торопился, впечатление он произвел несколько странное: человек рассеянный, сразу видно, не профессионал, связник, погнался за деньгами, разведка, видимо, посулила ему большие барыши за сотрудничество, хотя он отнюдь не бедный, но ведь, как говорится, жадность фрайера сгубила... Размял я его, приладились друг к другу, и тогда только вскользь и спросил: «А где именно Пеньковский показал вам свое служебное удостоверение двенадцатого апреля, господин Винн?» — «Да как же?! Конечно, двенадцатого, через час или два после этого в Москве началась предпраздничная суматоха по поводу возвращения космонавта Гагарина!» Ладно... Записали в протокол, документ, что ни говори, определенного рода улика... Но не для Пеньковского, на нем зубы сломишь, я ж говорю, человек крепкой породы, наверняка ответ на удар — ударом: «Винн — связник, а не профессионал, мало ли что он скажет, а я настаиваю, что вербовка состоялась двадцать шестого июля в Париже, только так и никак иначе...» Я, Виталий, довольно круто тогда думал, что же предпринять... Считается, что только контрразведка умеет спектакли ставить, когда шпиона ловит... Нет, брат... Мы, следователи, тоже должны владеть мастерством режиссуры, а оно, мастерство это самое, без тщательного изучения психологического портрета твоего подопечного невозможно... Вот и решил я субботу и воскресенье провести за городом, в полнейшем одиночестве... С удочкой сидел: на одном конце червяк, на другом — дурак, и не рыба, как понимаешь, меня волновала — я больше всего навагу люблю, в ней костей нет, — а мой подопечный Пеньковский...

Человек он явно авторитарный; хоть он и пыжился, но в самой глубине где-то таился у него страх перед начальником — неважно каким, нашим ли, английским, — и бумагой, которую тот вправе подписать... «Без бумажки таракашка, а с бумажкой человек» — будь трижды проклято это наше вековое, но оно-то дало мне тогда ключ к Пеньковскому... В понедельник я вызвал его на допрос, он конечно же снова завел свое, истосковался с моим жестким коллегой, начал излагать головоломный проект комбинации против ЦРУ; я молчал, кивал, слушал, а потом врезал: «Смотри, что у нас с тобою получается. Ты просишь отправить тебя в Англию, дабы ты в Лондоне разгромил СИС, а потом ЦРУ... Все это хорошо и даже замечательно, но как я могу вручить тебе загранпаспорт, коли ты мне продолжаешь лгать, причем не просто так, абы отговориться, но совершенно целенаправленно? Почему ты настаиваешь на дате вербовки двадцать шестого июля в Париже, но ни словом до сих пор не обмолвился о том, что предложил свои услуги англичанам в Москве двенадцатого апреля, то есть практически за четыре месяца до того, как подписал в Париже документ о вербовке?» Пеньковский словно споткнулся обо что-то, потянувшись ко мне, видимо, понял, что дальше финтить нечего, конец... Вот тогда он и потек... В тот же день отдал нам своего непосредственного руководителя, поставил знак на столбе, вызвал американца к тайнику «номер один» на Пушкинской улице, мы его взяли с поличным, не отмоешься, а потом сел за стол и в течение трех месяцев писал о своей шпионской работе — день за днем, час за часом... Да... — Васильев вдруг усмехнулся. — А с Винном любопытно получилось... Он, когда в Лондон после отсидки вернулся, заявил в «Санди таймс», что, мол, русский следователь вел себя с ним в высшей мере корректно, по-джентльменски и что если бы он оказался на его месте, то вел себя точно так же, с соблюдением всех норм закона... А через два года вымазал дерьмом и меня, и английскую разведку, что называется, всем сестрам по серьгам... Американцы с ним начали работать, отбили его у англичан, оттого он так и собратьев своих понес по кочкам, да и меня заодно...

— Ты мне кино рассказал, Саша, — заметил Славин. — Почему сценарий не пишешь?

— А дела кто за меня будет вести? Это только обалдуи считают, что литературой можно в свободное от работы время заниматься, а она, литература-то, ох какая работа, что там каторга, Виталик...

— Чем ты объяснишь его падение, Саша? — спросил Славин.— «Водку пил, с женщинами гулял» — это все, конечно, плохо, но мало ли людей этим грешат, а шпионами не становятся?

— Ему генерала не дали, вот в чем дело... Зависть... Нет ничего страшнее зависти, дорогой мой человек... Моцарт и Сальери, вечная тема... Зависть рождает злобу, отчаянье, страх... Но при этом ощущение собственной исключительности... Он ведь и в том, что про пьянку на суде особенно нажимал, тоже свою вел линию, к потомкам, так сказать, обращался, да и к нам, смертным: с кем, мол, не случается, оступился, повинную голову меч не сечет, пощадите... Не в одни ворота играл на процессе, он туда и сюда норовил гол засадить... Хитрил он, Виталий, до последнего момента хитрил. Был человеком ловким, но недалеким, он не был интеллигентом, Виталий, хоть и академию кончил. Ненависть родилась в нем, темная ненависть, то есть зависть. Сел бы за книги, погрузился в историю, искусство, науку, заявил бы себя светлой головой — и получил бы свою звезду, никуда бы она от него не делась... «Чем он меня лучше?!» Да тем он тебя лучше, что талантливее и умнее... А в этом себе только благородный человек может признаться... И добрый... Вот в чем штука-то, — вздохнул Васильев, — о многом в этом кабинете думается, Виталий, ох как о многом.

— Послушай, Саша, — задумчиво спросил Славин, — быть может, вопрос покажется тебе несколько бестактным, все же ты вел дело, так что, если не хочешь, не отвечай... Но меня вот что интересует: тебе Пеньковский все отдал?

— Конечно, нет, — убежденно сказал Васильев. — Свои здешние связи, даже приятельские, он упорно скрывал... И заграничные приключения, убежден, тщательно редактировал... Что ты хочешь, борьба за жизнь... Это штука сложная, особенно если сидишь в четырех стенах и небо видишь в мелкую решетку...

— А почему он скрывал своих московских знакомых?

— Думаю, боялся показаний...

— Допускаешь, что какой-то свой крайне важный русский контакт он сумел от нас скрыть?

— Вполне допускаю.

— И ничего нельзя было сделать, чтобы добиться исчерпывающих показаний?

Васильев кивнул на свой стол:

— Садись, попробуй.

— Видимо, понимал, что если он сам — это одно дело, а когда преступная группа — тут уж пощады ждать не приходится, так?

— Скорее всего, именно так... Если идти по его логике... Но ведь это почти невозможно — идти по логике изменника. Даже Гоголь с Андрием не очень-то управился, пришлось его измену играть через трагедию Бульбы... А дочки короля Лира? Они ведь мыслили никак не категориями изменниц, каждая, кроме обиды на отца, имела свой резон. Заметь себе, в литературе еще никто образ изменника не написал. Видимо, это не под силу писателю, он живет моральными категориями, а злодейство и доброта несовместимы, против этого постулата не возразишь...

— Значит, допускаешь мысль, что Пеньковский скрыл сообщника?

Васильев пожал плечами, снова вздохнул:

— В этом кресле, Виталик, и не то можно допустить... Послушай с мое, что они тут несут, погляди в их глаза — господи, какая пропасть, дна не видно, тьма, жуть... Конечно, допускаю... Ты ведь Кулькова имеешь в виду? Геннадия Александровича?

«Дорогой Виталя!

Помнишь наши статьи: «Маска сорвана, господин Менарт»? Наверняка помнишь... Как же горазды мы на ярлыки; не зря шутят: у нас на телевидении есть обозреватели, а есть «подозреватели». Как чуть что не так — в зубы...

...Сижу в курортном городке, неофициальной столице Шварцвальда, пью кофе в маленьком ресторанчике — всего пять столов; тот отель, где я поначалу всегда ждал Менарта, закрыт на реконструкцию. Старик приезжал за мной из крошечной деревушки, потому что я путался в лесных дорогах, что ведут к его сельскому дому (нам бы такое покрытие на трассе Москва — Симферополь, как у них в «глухой местности»!) Приезжал я обычно ночью и звонил профессору из этого отеля по телефону; отвечал он всегда односложно: «Цвай-драй, цвай-зекс...» Я потом его спросил: «Это что, шпионский пароль?» «Да уж, кто только меня не обвинял в шпионстве! — вздохнул Менарт. — Первым, кстати, был Эрнст Рем... В тридцать третьем году, будучи корреспондентом трех наших католических газет в Москве, я писал в одной из статей, что даже в чисто партийной, национал-социалистской пропаганде, направленной против большевизма и еврейства, не следует так презрительно говорить о русском народе и его культуре... И отправил

развернутое письмо Эрнсту Рему: «Нельзя третировать русских; мой дед владел шоколадной фабрикой в Москве, теперь это «Красный Октябрь». Отец нарисовал обертку шоколада «Золотой ярлык» — его и поныне продают в магазинах; по-русски я говорю как по-немецки; поверьте, такая позиция национал-социалистов недальновидна, нельзя отказываться от идей Рапалло...» Меня срочно вызвали в Берлин — прислали телеграмму, что умирает тетя... Я немедленно выехал; звоню в Штутгарт — тетя жива и здорова, а у меня заграничный паспорт отобрали на перроне: «Вы посмели выступить в защиту русских свиней и Рапалльского договора, который подписал большевик Чичерин и наймит еврейского капитала Ратенау! С этой минуты вы находитесь под домашним арестом! Это указание брата фюрера, вождя доблестных СА партайгеноссе Эрнста Рема!» Каждый день ко мне на квартиру приходил следователь, раскладывал свои бумаги и начинал мучить дурацкими вопросами: «Составьте расчет ваших ежедневных трат в России. Сколько денег вы отдаете за аренду квартиры? Каковы ваши сбережения в Москве? Полное признание облегчит ваше будущее». В день, когда фюрер расстрелял Рема, следователь ко мне не пришел... Не пришел и на следующий день... И через неделю не пришел, а я все сижу в комнате, мне же сказали, что я нахожусь под домашним арестом, — немец: «Орднунг мусс зайн!»[1] А потом меня вызвал Гейдрих. Да, да! Тот самый! И сказал: «Изменник Рем написал на вашем искреннем, но далеко не до конца продуманном письме резолюцию: «Арестовать как врага нации!» Мы таковым вас не считаем, хотя не разделяем вашей точки зрения. Вы же не член партии?» Я ответил, что не состою ни в одной партии, кроме как в партии католической церкви... Вернулся в Москву... А в тридцать шестом ваши объявили меня шпионом... Уехал в Китай, потому что возвращаться в паршивый рейх не мог, не терпел нацистов... И писал из Шанхая и Токио в те немецкие газеты, которые еще решались меня печатать... Тогда еще такое было возможно... Гитлеровцы царствовали еще только четыре года и не успели превратить страну в пронумерованный концентрационный лагерь... Кстати, только этим можно объяснить феномен Рихарда Зорге... Я ведь был хорошо с ним знаком. Немецкий посол в Японии Отт свел нас на приеме... Очаровательный был человек, совершенно блестящий... До тридцатого года Рихард Зорге еще подписывал своим именем

[1] «Во всем должен быть порядок!» *(нем.)*.

и фамилией заметки в журнале «Коммунистический интернационал», открыто называл себя помощником председателя ИККИ... А потом уехал в Китай и начал работать для немецких газет... И для вашей разведки... А в сорок первом году, когда японцы ударили по Пёрл-Харбору и Германия вступила в войну против США, меня, несмотря на то, что жена была американка, из очень уважаемой семьи, объявили немецким шпионом! И сделали это американцы, предписав объявить полиции генералиссимуса Чан Кайши... Меня посадили в лагерь для интернированных немцев. Под Шанхаем. До сорок пятого. А потом выслали в Аахен. И там я год просидел в инфильтрационном лагере как бывший нацист. А потом, когда был избран в Академию наук, стал советником канцлера Аденауэра и начал выпускать журнал «Остойропа», ваши вновь назвали меня «шпионом», только теперь уж не немецким, но американским... Что же касается ответа на телефонные звонки: «Цвай-драй, цвай-зекс», то это маленькая хитрость; я зафиксировал примерно сто тринадцать соединений в день: «Здравствуйте, могу я поговорить с Клаусом Менартом?» — «По какому вопросу?» — «Он написал книгу о «новых левых», меня заинтересовало, где профессор почерпнул материал к пятой главе, я заканчиваю диплом, хотелось бы получить информацию...» Ему хотелось бы получить информацию, а мне семьдесят два года, и хотя я не ощущаю возраста, но, согласитесь, каждая минута на счету... Поэтому я дал свой деревенский номер «цвай-драй, цвай-зекс» издателям, телевидению, академии, редакции «Зюддойче цайтунг» и «Цайт», коллегам в Стэнфордском университете; если слышу с в о и х — говорю, когда звонят чужие — разговор автоматически прерывается».

Но это он мне все потом рассказал, добрый старый Менарт. Сначала он позвонил в Кельн, в редакцию журнала АПН «Совет Унион хойте», и попросил Володю Милютенко привезти меня к нему: «Я знаю книги Степанова, было бы очень интересно встретиться с ним лично, я прочитал, что он сейчас в Западной Германии, пожалуйста, приезжайте ко мне, жить будете в моем доме, угощу мужским обедом, есть о чем поговорить... Добирайтесь до Баден-Бадена, сворачивайте на Шварцвальд, зайдите в отель на выезде из города, что напротив курортного комплекса, и попросите портье соединить вас со мной. Я отвечу «цвай-драй, цвай-зекс», а вы отзовитесь: «Милютенко». Через пятнадцать минут я приеду за вами, иначе вы запутаетесь в наших маленьких лесных дорожках, их бесчисленное множество, не стоит рисковать...»

Вот так мы к нему и приехали... Глаза у него тогда были какие-то водянистые, серо-прозрачные, настороженные, очень цепкие, изучающие; говорили о нашей литературе чуть не до утра, он выписывал все наши журналы, они кипами валялись на диванах, полу, на подоконниках; в огромной комнате, которая была и кабинетом и столовой, главным, определяющим ее сущность, а значит, и сущность ее владельца был бронзовый бюст графа фон Штауффенберга, подложившего мину под стол Гитлера в «Вольфшанце».

Утром мы пошли гулять по Шварцвальду; вот уж действительно «черный лес»: громадные ели, никаких других деревьев... А как он тогда бегал, старый Клаус?! Идет-идет по тропинке, а потом как припустит! «Господа, йогинг[1] гарантирует мне еще по меньшей мере десять лет творческой активности... И фаворитки, кстати, не жалуются. Мужчина вневозрастен, если не курит, бегает, соблюдает разгрузочные дни и одержим работой...»

...Сижу пишу тебе это грустное письмо; дом Менарта во Фрейденштадте пуст, нет света в окнах; отсутствие; я просто не мог не приехать сюда; с возрастом влечет к тем местам, с которыми связаны какие-то важные этапы жизни; видимо, прикосновение к трагической памяти высекает чувство... Письмо это я отправлять не стану, вряд ли дойдет, передам в Москве, а может, и не передам, но все равно не могу не написать, больно уж многое вспомнилось...

Ты себе не представляешь, Виталик, как был Менарт в ту пору дремуч, говоря о нашей литературе! И это он, который по-русски говорил, как мы с тобой! А другие? Чего от них ждать?

«Но вы же не можете не согласиться, Дмитрий Юрьевич, что русские писатели не имеют права на свободу выражения собственной точки зрения?! Партийный аппарат распределяет заказы на тематику!» — «И с «Хождением по мукам» так было? И с «Разгромом»? И с «Лейтенантом Шмидтом» Пастернака? И с Паустовским? С Леоновым? Бабелем? Пильняком?» — «Да, но ведь Бабель и Пильняк погибли!» — «А кто про это открыто сказал миру на Двадцатом съезде? Мы, Клаус, мы сами!» — «Вы меня, пожалуйста, называйте Николай... Николай Германович. Я очень люблю свое русское имя. Меня маменька звала «Колечка». Я в Москве только с русскими мальчиками играл. По-немецки говорили только за обеденным столом, чтобы не забыть язык предков... Если бы не первая империалистическая, мы бы никогда

[1] Так называют «бег от инфаркта».

не уехали в Германию... Но в четырнадцатом, увы, нам пришлось. А если не тогда, то в семнадцатом бы выгнали... Шоколадную фабрику деда национализировали, дом отца заселили...»

Через месяц он позвонил мне в Бад-Годесберг: «Буду по делам в Бонне, хотелось бы увидаться». — «Приезжайте. Можно остановиться у меня, дом достаточно большой». — «Но я никого не стесню?» — «А кого стеснять? Я пока один». — «Ах, как это мило с вашей стороны! Тогда так: мой поезд выходит в девять ноль три, в четырнадцать часов у меня обед с директором «Цайта» графиней Марион. Он продлится до пятнадцати двадцати. Затем, в пятнадцать тридцать пять, встреча в бундестаге с Циммерманом. Только, пожалуйста, не браните его сразу. Он умный человек. Беседа будет продолжаться сорок минут, пятнадцать минут на дорогу до вашего дома, значит, я приеду в шестнадцать тридцать. Вас это устраивает? Если назначена какая-то встреча, я готов обождать в буфете бундестага». — «Встречи назначено не было, жду...»

И что ж ты думаешь?! Он приехал минута в минуту. Ну и пунктуальность! Мне, между прочим, рассказывали, как в первые месяцы совместной работы с итальянцами и немцами на строительстве Волжского завода наши шоферы ярились: «Привез, понимаешь, цемент с опозданием на пять минут, а они не берут! Что ж мне, выбрасывать его?!» — «Извольте соблюдать график!» Тогда наши ребята решили ударить по перевыполнению: привезли цемент на пять минут раньше срока. А те: «Нам такой цемент не нужен, пока вы будете ждать разгрузки, цемент потеряет свои свойства». Ну, конечно же, шофера в райком: «Провокация! Издевательство над русским рабочим!» Секретарь умный попался, ответил: «А что б вам, ребята, не попробовать минута в минуту?! Неужели не под силу?!»

Эх, Петр Великий, Петр Великий! Глядел в корень! Мудрец, не стыдился учиться, ибо понимал: пыжатся от дури и бессилия; русской вольнице необходимо усвоить границы европейской временно́й организованности. Без этого порядка в доме не наведешь... И как же отомстили ему, а?! Сразу же после смерти столицу вернули в Москву, женщин перестали «пущать» в ассамблеи, а дворянство сразу за свое: мы — самые-самые! Я, знаешь ли, сейчас особенно много думаю о феномене Петра и о реакции на его эксперимент, которая проявилась сразу после воцарения консервативной партии... И знаешь, с чем вижу сходство? С судьбою теории относительности! Ей-богу! На старости

лет меня потянуло в ту науку, которую в школьные годы боялся, а потому ненавидел. Нет, правда, страх и непонимание — два основных побудителя ненависти. Если спроецировать трагедию послепетровской России на историю с открытием Эйнштейна, то возникнут весьма любопытные параллели, которые — в данном конкретном случае — безусловны... Отчего люди с таким трудом воспринимали (да и, говоря откровенно, воспринимают) теорию относительности? Потому что опыт человечества в течение многих тысяч лет (не десятилетий, как при Петре!) имел дело с привычными свойствами времени и пространства. Согласись, что человеческие знания основываются и проистекают из опыта. Повседневный опыт — матерь знания, с одной стороны, и, с другой, дремучего консерватизма, приверженности темным догмам. Человечество привыкло к тому, чему его учили веками. Действительно, Ньютон сформулировал теорию, лежавшую на поверхности, основу основ знания: закон тяготения, действию которого подвержено все, абсолютно все в природе. И точка. Даже свет подвержен тяготению (вот она, тайна «черных дыр»!). Ньютон породил Лапласа. Гений порождает гения; застойность мстит миру плесенью. Занятно, когда Наполеон Бонапарт спросил Лапласа, отчего в его книге ни разу не упоминается бог, ученый ответил: «Ваше величество, в этой гипотезе я не нуждаюсь». Ньютон был создан добрым гением Галлея. Лаплас, будучи пиком человеческой мысли, тем не менее не мог представить себе, что в мире ничто не движется быстрее света, ибо ничто и никто не в силах обогнать свет в пустоте. Вот именно это и сформулировал Эйнштейн в своей теории — ну как к этому привыкнуть, если раньше и слыхом об этом не слыхали?! Ведь Эйнштейн замахнулся на самого Ньютона! А к нему привыкли. Эйнштейн замахнулся и доказал, как дважды два, что если Ньютон абсолютен для Земли, то в гравитационных полях его теория теряет свою силу. Как с этим согласиться?! Триста лет учили одному, а тут все в корне переиначили. «Не может такого быть, и все тут!» К счастью, в науке консерватизм сейчас невозможен. Кстати, знаешь, что такое «черная дыра»? Таким объектом называют «область пространства, которая не излучает света». Поразительно, да? Если нет излучения света (мысли, идеи, добра), из этого объекта вообще ничего не исходит... Неплохая проекция на людей, особенно на некоторых моих коллег по ремеслу...

Ладно, вернемся к Менарту... Приехал он ко мне с двумя чемоданами, как-то удивительно быстро, по-домашнему рас-

положился в маленькой комнатке, где у меня жила Лыс, когда приезжала на каникулы, вышел в тапочках — добрый дедушка, как их всем нам не хватает в жизни — и спросил: «Ну, чем будете угощать?» — «Макаронами по-краснофлотски». Он даже опешил: «Это как?» — «Пошли на кухню, открою секрет».

Меня знаешь, что восхищало в Западной Германии? Это как хозяйки делают покупки на неделю. С маленьким компьютером приходят в магазин и чеки домой забирают, бюджет соблюдают, подсчитывают каждый пфенниг, м а р а к у ю т, на чем сэкономить... В понедельник придет мамаша с двумя малышами в магазин, положит в каталку мясо, сыр, колбасу — все это в морозилку, храни хоть месяц — вот тебе и не надо толочься в очередях, экономия времени! Нигде так не теряется время, как у нас в очередях. Проблема номер один, честное слово...

Да... Поставил я кастрюлю с макаронами, достал из огромной морозилки спасительную тушенку и накормил профессора. Он плакал от умиления, особенно после того, как я ему поднес столь непопулярный ныне шкалик. А потом говорит: «Я ведь к вам приехал неспроста. У меня есть мечта — хочу написать книгу «Что читают русские». После нашего зимнего спора я сел за литературные журналы и по прочтении двух тысяч двадцати семи страниц был вынужден согласиться с вашей правотой по целому ряду позиций: действительно, ситуация в русской литературе изменилась, я был чрезвычайно удивлен смелостью, с какой ряд ваших виднейших писателей ставят крайне острые проблемы — без страха и оглядки». — «По-моему, идея замечательная». — «По-моему, тоже. Только меня к вам не очень-то пускают, вот в чем беда. Сможете помочь с визой?» — «Не знаю. Попробую. Но у меня есть ряд вопросов и несколько условий». — «Вот это по-европейски. Налейте-ка еще рюмашку и положите, пожалуйста, краснофлотских макарон, если осталось». Налил. Положил. Потом спрашиваю: «Николай Германович, во-первых, почему вы хотите писать лишь о русских?» — «Потому что не знаю ни эстонского, ни грузинского... Я понимаю вас, вам хочется, чтобы я написал книгу под названием «Что читают советские»? Не получится. Берусь только за то, что знаю... Я уже наметил двадцать писателей, которые показались мне наиболее интересными, о них я и хочу писать, это звезды первой величины». — «Если вы включите сюда уехавших, я не пойду хлопотать о визе». — «Нет, меня интересуют только те, которые работают в России и пишут то, что

имеет возможность читать народ». — «Кого вы избрали? Кого определили „звездами"?» Он назвал. Я спросил, отчего нет того, почему он обошел этого, зачем не хочет проанализировать такого-то. Менарт ответил: «Дмитрий Юрьевич, спорить со мной можно, а вот навязать точку зрения нельзя. Если бы я убедился, что ваш народ действительно читает и тех, кого вы упомянули, я бы увеличил мой список до двадцати четырех человек. Но не больше. Это уже профанация...»

Ты знаешь, как я бился за то, чтобы Менарту дали визу; слава богу, нашлись умные люди.

«Но я прилечу в Москву, — сказал он, — когда вы будете там». — «Милости прошу».

Я в отпуск, а он — ко мне; застолье, веселье — все, как полагается. Потом Менарт начал работать. Ах, как же великолепно работал старик! Сначала он хотел раздавать свои анкеты читателям городских библиотек: «Кого из современных писателей вы любите? Кого нет? За что? Какие книги вам наиболее интересны? Почему?» Сотня вопросов распечатана на двухстах анкетах; у себя в деревне на ксероксе отшлепал. Я ему тогда заметил: «Москва — показатель, верно, но вам надо и в Братск слетать, и в Волгоград, и куда-нибудь в рязанский колхоз съездить, где есть сельская библиотека». — «А пустят?» — «Чего ж не пустить, пустят». Я ему в Братск записку написал, в управление культуры исполкома, мол, помогите немецкому профессору... Народ у нас добрый, приняли хорошо, только сразу стали называть «товарищ Менарт»; решили, что коммунист, раз я прошу ему помочь... Это, кстати, его и перевернуло до конца... Он же все время слежки ждал, проверок, провокаций, а там: «товарищ Менарт» да «товарищ Менарт»... Он потом еще три раза в Союз прилетал, у меня жил, много ездил: в Калинин — на электричке, в Смоленск — на рейсовом автобусе, все норовил побыть с народом. Языкового барьера, как у большинства советологов, не было, говорил без акцента, обо всем говорил, понимаешь ли, обо всем... Глаза перестали быть серо-цепкими, сделались добрыми, голубыми, стариковскими, хотя продолжал крутить роман с женщиной моложе его на добрых сорок лет... Последний раз я был у него здесь, во Фрейденштадте, месяца за три перед выходом его книги «Что читают русские, каковы они есть». Пошли гулять, шутили, смеялись чему-то; а он смеялся и плакал. Слезы льются, а он смотрит добрыми голубыми глазами. «Вы что?» — «Нет, нет, ничего». — «Может, пробежимся?» — «Врачи запретили». — «А что такое?» — «Ерунда, пустяки, пройдет». А потом стал очень

серьезным, каким-то торжественным даже, вытер слезы и сказал: «Вы себе не представляете, какое это было для меня счастье — работать в России и писать книгу о вашей литературе, то есть о народе. Знаете, чем я ее закончил? Тем, что ваши книги взывают к миру, не требуют экспорта революции, полны ненависти к войне, напоены духом гуманизма и дружества к другим народам. Мои издатели — и в Штатах, и здесь, в Штутгарте, — были, говоря откровенно, удивлены... Но ведь я написал правду, я не мог иначе, я верующий человек, чту заповедь: «Не солги!» Не могли же организовывать для меня спектакли во всех тех десятках библиотек, где я говорил с тысячами людей?! Да и писатели, с которыми я совершенно откровенно беседовал, не статисты, а личности... Боже мой, Дмитрий Юрьевич, как же это важно — пристальность! Если бы люди научились пристально вглядываться в глаза друг другу! Скольких бы трагедий избежало человечество!»

Прошел еще месяц, я прилетел в Западный Берлин — случайно обнаружилась картина Коровина в Швейцарии, ее можно было спасти, однако, как всегда у нас, там не согласовали, здесь не подготовили; «надо запросить Москву, без разрешения машину дать не можем», словом, сам понимаешь...

Звоню к Менарту; отвечают: «Он в клинике». — «А что случилось?» — «Обычная профилактика. Кто говорит?» Я назвался. «Он просил вас непременно позвонить, если вы вдруг объявитесь в Федеративной Республике! Вот номер телефона в его палате. Он лежит в клинике профессора Штаубе». Звоню. Голос не его, какой-то надтреснутый, больной. Но когда узнал меня, рассмеялся — бодрячком-бодрячком: «Через десять дней выхожу! Все в порядке, индийский звездочет дал мне девяносто два года жизни! Так что еще осталось шестнадцать лет, скоро приеду писать книгу «Что смотрят русские». О вашем театре и кино! Какие-нибудь проблемы?» — «Есть проблемы, Николай Германович». Он выслушал, спросил мой номер (знал, что на Западе в деньгах мы все ограничены), позвонил через двадцать минут: «Все организовано, я арендовал для вас машину, заказал отель в Швейцарии; если возникнут какие-то сложности при вывозе картины с таможнями в Базеле, высылаю экспрессом письмо, в котором подтверждаю, что везете картину Коровина мне для консультации». А его на Западе все знали, Киссинджера учил, Нитце, помощник Рейгана, с ним советовался, политик первой величины... Как-то он мне сказал: «Каждое рождество отправляю лидерам всех партий в бундестаге букеты гвоздик: они ведь и за меня

работают; я там должен был сидеть, а пишу книги в Шварцвальде! Я им так благодарен, бедненьким... Не ругайте их... Политика — тяжелая профессия, с литературой не пересекаемая...» (Кстати, тогда в очередной раз был потрясен здешней экономичной деловитостью: по звонку из госпиталя — Менарт назвал фамилию, дал свой телефон, продиктовал номер счета в банке, в бюро аренды автомобилей, все это провели по компьютеру за десять минут — без каких бы то ни было бумажек, справок, я получил ключи от «фольксвагена»; время, все решает время, цените время! Когда же мы этому научимся? А тогда, отвечаю я себе в который уже раз, когда опубликуем з а к о н, отменяющий привычное, веками въедавшееся в поры «бумажное беззаконие». Иначе ничего не получится. Инициативного смелого человека пожирают подчас «тихой сапой», оперируя многозначительными ссылками на н е ч т о. Только новый закон экономики может открыть двери инициативе и спасти стране время, а оно дороже золота, газа и нефти вместе взятых!)

Словом, вывез я эту картину, вернулся в Москву счастливый, но сразу же замотался, даже письма Менарту не написал, мы на этот счет забывчивые, а зимою приходит конверт с черной каемочкой. Что такое?! Раскрываю, а там текст: «Дорогой друг, когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых... Завещаю немцам и русским дружество, а не вражду... Ошибся индийский мудрец, жаль, так много еще не сделано... Господь с тобою, и да сохранит он тебя в твоей нелегкой жизни...» Я потом уж узнал: у него рак был, и когда он в лесу в Шварцвальде заплакал, он от боли заплакал, а не от смеха...

Вчера вечером я встретился с его лечащим, вернее, лечившим врачом. «Его погубила последняя книга». — «Почему?!» — «Потому что ее з а м а л ч и в а л и, вы сами писатель, понимаете, что это значит. В его возрасте рак развивается п о л з у ч е, не так стремительно, как у пятидесятилетних, можно было пробовать облучение, биохимию, но тогда ему надо было остаться в клинике еще на месяц, а то и на два. Он спросил про операцию. Я ответил, что это нецелесообразно: мы же теперь ничего не скрываем от больного, новый метод, мобилизация всех сил человека на борьбу с недугом, расчет на сильных, а не на слабых... Я-то консерватор, но у нас нельзя отставать от того, что признано передовым, потеряешь клиентуру. Тогда Менарт поинтересовался, сколько времени, выполняя все мои предписания, он сможет продержаться... И я не выдержал, солгал ему: «Года два-три». Он очень рассердился: «Мне надо

спасти книгу! Я убежден, что она поможет немцам и русским поверить друг другу! Два великих европейских народа постоянно враждуют, вместо того чтобы дружить! Изменись наши отношения к лучшему, изменится и позиция Вашингтона! Надо же думать о будущем! Скажите честно, я смогу поработать хотя бы пять-шесть месяцев?» И я ответил утвердительно, хотя знал, что ему отпущены недели...»

Менарт поблагодарил врача, составил свое прощальное письмо, размножил его на ксероксе, продиктовал адреса друзей, которым письмо надо было отправить после смерти, и начал турне по Западной Германии: читал лекции о своей книге, публично защищал свою концепцию, рассказывал правду о том, что читают русские, то есть каковы они есть на самом деле... Путешествовал — с морфием в портфеле — до того дня, пока не потерял сознание... А ведь он собирался в Женеву: «Я докажу послу Нитце, что русские действительно не хотят войны! С ними необходимо договориться! Нельзя так зоологически не верить великому народу с замечательной культурой...» И не успел... Как же он был бы нужен сейчас в Женеве, добрый и мудрый Менарт, познавший правду о нас лишь на восьмом десятке... Необратимость познания. Почему она заявляет себя так поздно?! Наверное, новые наблюдения, а Менарт умел наблюдать, когда ездил по Союзу...

Я не зря уехал из Женевы на те дни, что объявлен странный перерыв в работе совещания, Виталик... Я уехал прикоснуться к Менарту, который стал для меня символом надежды, что диалог возможен. Мне очень грустно уезжать отсюда, это же окончательное расставание с недавним прошлым, а оно подобно детям, которые совсем еще недавно были маленькими, нежными, беззащитными, твоими, а пройдет время — годы так быстролетны! — и вот они уже личности. Готовы ли мы менять себя в отношениях с теми, кто недавно был комочком, а стал личностью? Ладно, ставлю точку и еду... Остановлюсь в Баден-Бадене, зайду в казино, проиграю десять марок, навещу девяностовосьмилетнюю графиню Кляйнмихель, которая ютится в сырой комнатушке, больная, слепая и полуголодная, и — в Женеву. Последние известия намеренно не слушаю, ищу на шкале приемника легкую музыку. Кто назвал эти милые мелодии, любимые людьми, «легкими»?

Привет тебе.

Письмо прячу в бумажник.

Передам в Москве. Привет Аришке, она у тебя чудо.

Степанов».

РАБОТА-VII

На аэродроме Ирину — как она и просила — встретил приятель, доктор Кирсанов, не заезжая домой, доставил ее в «Националь». Усмехнулся: «Там тебя благоверный ждет, праздничный ужин накрыл».

Славин погладил Ирину по щеке:

— Ты прекрасно загорела.

— Старалась, — ответила она, чуть откашлявшись, видимо, волновалась, чудачка, как пройдет встреча. — Жарилась на пляже с утра и до ночи.

Он заметил вокруг ее глаз белые морщинки: «Бедненькая, вот отчего она подолгу смотрелась в зеркало; но они так идут ей, эти нежные белые морщинки на загоревшем лице. Раньше их не было; когда мы встретились, у нее вообще не было ни одной морщинки...»

— Представляю, как тебе приходилось отбиваться от кавалеров, — сказал Славин.

— Да уж, — вздохнула Ирина, — совсем не просто. Теперь-то наверняка куплю обручальное кольцо...

— Тогда вообще прохода не будет, — вздохнул Славин. — Одинокая замужняя женщина, очень удобно... Чем тебя угощать? Самое лучшее, что есть в «Национале», это шницель по-министерски. Там в гарнире дают печеные яблоки — фирменное блюдо, рекомендую...

Ирина взглянула в громадное окно: Манежная площадь была пронизана солнцем, в Александровском саду гуляли влюбленные, мамы с малышами, тишина и благость...

— Как красиво, боже ты мой, Виталик... Это же надо писать! Отчего с этой точки не сделано ни одного холста?

— Художников с мольбертами сюда не пускают, — ответил Славин. — Пол заляпают краской, а тут паркет уникальный...

— Можно заложить ковриками.

— Действительно, — согласился Славин.

— Ты отчего такой грустный? Из-за моего дурацкого письма?

— Я же, как ты просила в телеграмме, сжег его, не читая... Просто чуть устал, — ответил Славин, посмотрев на крайний стол, где расположилась японская делегация; Кульков сидел вполоборота к нему — лицо сосредоточенное, породистое, улыбка располагающая, несколько снисходительная; академик Крыловский казался рядом с ним добрым дедушкой, случайно приглашенным сюда: суетлив в движениях, норовит услужить соседям, смеется как-то странно,

закидывая голову; седая шевелюра всклокочена, пиджачок кургузый, хотя отсюда видно, из какого дорогого, касторового сукна сшит; есть люди, которые не умеют носить вещи, — что бы ни надел, все будет сидеть мешком.

— Увидел знакомых? — спросила Ирина.

— Объясни, отчего женщина так все чувствует, а? Нет, правда, меня это чем дальше, тем больше занимает...

— Ты Люду помнишь?

— Это которая в очках? И с выдающимся бюстом?

— Да.

— Помню.

— Она сейчас со мною отдыхала, заглянула как-то вечером и грустно-грустно говорит: «У меня точное ощущение, что Ашот в эту минуту привел в нашу квартиру женщину...» Это ее нынешний друг, — пояснила Ирина, — скульптор, очень талантливый.

Ну, я и говорю, мол, позвони, закажи Москву. Она позвонила и спрашивает: «Ашот, ты меня любишь?» А он ей сухо ответил, явно был не один: «Нормально!» Люда в слезы, улетела в Москву. Никогда нельзя выяснять отношения...

— Ты образцово-показательная подруга, — сказал Славин. — Других таких нет.

— Есть. Сейчас очень много хороших женщин. Больше, кстати, чем мужчин.

— Почему? — спросил Славин, прислушиваясь к тосту, который произносил Кульков: «Наука — путь к миру... Уважение к таланту японского народа... Миролюбивые инициативы Советского правительства...» Ну и ну! Вспомнил Попова из университета; тот часто вел заседания комитета комсомола, тоже заливался... Робеспьер, Дантон, трибуны... А потом уличили в том, что членские взносы в рост давал, под десять процентов... Надо бы славословие приравнять к нечистоплотности. Любовь никогда не бывает громкой. Это твое, личное, кто же об этом завывает на трибунах?!

— Почему? — повторила Ирина задумчиво. — Наверное, потому, что женщины стали сильными. Им и работать надо, и не любить они не могут, а век у нас короче, чем у вас, и потом мы наконец научились ценить в мужчине доброту, она есть проявление силы, только дуры считают доброго мужика слабаком; тираном быть куда проще; хотя некоторым это нравится, полагают, что крутой норов — даже если наигранный — свидетельство надежности, да и самой думать не надо — все решения принимает он. Ты о чем думаешь? Ты слышишь меня?

— Конечно, — ответил Славин, в который раз поражаясь

ее чувствованию: он действительно не слышал ее, потому что думал о том, когда, где и как Кульков сообщит боссам, что завтра предстоит внезапный вылет на новые испытания ракет: об этом ему сказали сегодня на совещании; он не может не сообщить; каждую радиопередачу разведцентра ЦРУ теперь расшифровывают, его торопят: «Будем крайне признательны, если вы ответите на развернутый перечень интересующих нас проблем как можно скорее, желательно на этой неделе».

Каждый шаг Кулькова блокирован, любой его контакт будет зафиксирован, а контакт с ЦРУ не может не состояться — речь идет о ракетном потенциале; Степанов был прав, когда написал о прогнозе этого самого Кузанни: перерыв в работе Женевского совещания не в последнюю очередь связан с предстоящим слушанием в конгрессе вопроса об ассигновании гигантских средств на ракетный проект; нужны новые доказательства нашей агрессивности; Кульковым играют, подсказывают ответы; любопытно, что он им напишет, психологический тест такого рода многого стоит.

Ирина вздохнула:

— А что я говорила? Повтори.

— Ты говорила, что тираном быть проще. Но это не совсем так, Ириша... По-моему, тираном быть жутко... Он постоянно боится, он тени своей боится...

Она покачала головой:

— Нет. Не верно. Поскольку тиран есть явление в какой-то мере анормальное, он лишен страха. Разве Гитлер боялся собственной тени? Он как глухарь был, — внезапно рассмеялась она, — слеп и глух, только себя слушал и видел...

Ирина оглянулась на какое-то лишь мгновение, увидела стол, на который смотрел Славин; одни мужчины; он прочитал все в ее глазах: искала женщину, кого же еще? «Глупенькая... Все-таки женщины ревнивее мужчин; видно, изобретательнее в обмане. Мы более прямолинейны, хитрость не в нашей натуре — удел слабых. Ну да, — возразил он себе, — а Кульков? Хитер, как змей-горыныч... Впрочем, нет, просто не попадал на умных, по-настоящему умных. А не страдаешь ли ты манией величия, — спросил он себя, — неужели академик Крыловский глупее, чем ты? А ведь сколько лет работает бок о бок с гадом... И не догадывается...»

— Японцы — красивые люди, правда? — спросила Ирина.

— Очень.

— В них какая-то врожденная пластика... И корректность...

— Посмотрела бы ты хронику времен войны на Тихом океане... Корректность появилась после того, как их разбили в сорок пятом...

«Я должен дождаться того момента, когда он сообщит Лэнгли о предстоящем отъезде на ракетные испытания, — повторил себе Славин, — он не может не сообщить им об этом, а уж после этого я заставлю его поволноваться, пусть откроет запасные каналы связи, пусть завертится, мне необходимо понять, нет ли у него каких-то особых путей отхода; у Пеньковского был второй паспорт, мог скрыться в любой момент, ищи ветра в поле...»

Славин убедился, что просчитал Кулькова верно, когда тот, шепнув что-то Крыловскому, поднялся из-за стола и вышел в коридор; там люди Гречаева, каждый шаг подконтролен, пусть себе.

...Кульков попросил у метрдотеля разрешения позвонить; тот, конечно же, ответил согласием, поинтересовавшись: «Я вам не помешаю?» — «Нет, нет, что вы, какие тут секреты.. » Набрал номер, прикрыв диск рукой; ответил Юрс; сразу же положил трубку, набрал еще раз; Юрс трубку не поднимал, ждал, сколько будет звонков; семь; экстренная встреча в «Национале»; сам не поехал, написал на листочке бумаги адрес своему помощнику Дуаэсу; через тридцать минут будет здесь; обмен информацией произойдет в туалете, не зря Кульков туда отправился; старо как мир, но вполне действенно. Через пятнадцать минут люди Гречаева сделали снимок. Крохотный листочек рисовой бумаги, закатанный в пластилин, был приплюснут к бачку большим пальцем; не повредить бы отпечаток пальца Кулькова. «Срочно улетаю на секретный полигон, вернусь в субботу, после этого обмен информацией; дополнительный вопросник, переданный во время радиопередачи, принял к исполнению. Н-52».

— Милый, а почему в наших ресторанах такие слабенькие и безвкусные программы оркестров? — спросила Ирина.

— Потому что музыканты не имеют процента от прибыли, которую дают посетители, — ответил Славин.

— А почему им не дают процент от прибыли?

— Глупые дяди боятся, что они слишком много заработают...

— Наверное, я все-таки чего-то не понимаю... Вот я хожу к моему парикмахеру уже восемь лет, да?

— Семь, по-моему...

— Восемь. К сожалению. Раньше я никогда не укладывалась, огород на голове...

— Мне это, кстати, больше всего нравилось.

— Не лги себе. Ты во всем любишь элегантность, я же знаю.

— Твой огород был невероятно элегантным... Вкусные яблоки дали к шницелю?

— Объеденье.

— А почему не долопала?

— Потому что я и так перебрала с калориями.

— Имей в виду, с возрастом мужчин тянет на упитанных.

— Ты вневозрастен.

Славин усмехнулся:

— Как консервированный огурец?

— Не смей так говорить! Я не знаю ни одного мужчину, который был бы так молод, как ты.

— Ох, — улыбнулся Славин. — Повтори, пожалуйста, еще раз.

— Повторю вечером, — пообещала Ирина. — Так вот, о моем парикмахере... Я ему всегда плачу сверху, потому что он загодя резервирует время, знает, какую прическу я люблю, рассказывает мне какие-то истории, шутит — вот тебе и час отдыха, будто хвойная ванна, правда... Так вот, он пытался открыть салон у себя дома, но его замучили фининспекторы... В чем его вина, только лишь в том, что он очень любит свою работу и доставляет клиентам радость? Люди с хорошим настроением лучше работают, кстати говоря... Объясни же, кому он мешал?

— Мировому империализму, — смеясь, ответил Славин. — Ты повторяешь Степанова.

— Его не грех повторять.

— Родная община, Ириша. У нас, наверное, остались родимые ее пятна, — отшутился Славин, думая совсем о другом.

«Когда же мне к нему подойти? — вертелось в голове. — Я никогда не забуду слов Лесника, когда он сказал Гмыре, что каждый его шаг контролируется людьми ЦРУ; очень может быть, что и Кульков тоже под постоянным колпаком. Хотя ребята Гречаева — хваткие, они бы отметили все то, что хоть как-то подозрительно; нет, если они успели заметить подозрительное — считай операцию проваленной. Контрагент предпримет свои шаги, они на выводы горазды, умеют ценить время и решения принимают крутые».

Подошел официант, принес счет, укрытый салфеткой; Славин салфетку отвернул, прочитал: «Привет получен».

Он протянул официанту двадцать пять рублей и обернулся к Ирине:

— Было очень вкусно, правда?

— Да, замечательно, большое спасибо, — поблагодарила она официанта; улыбка ослепительная, ничего деланного. «Господи, какое это счастье, что она вернулась! Чего же ты не женишься? — спросил он себя. — Только потому, что прирожденный холостяк? Или оттого, что старше ее на двадцать лет, а это вот-вот может оказаться роковым? Впервые ты ощутил возраст, когда тебе исполнился пятьдесят один; дальше будет хуже; я никогда ничего от нее не скрывал. Кто сказал, что альянс Тургенева с Виардо аморален? Никто, — ответил он себе, — только ты-то не Тургенев...»

Посадив Ирину в такси, Славин сказал:

— Видимо, сегодня я не попаду к тебе. А если и приеду, то на рассвете.

— Скажи, что ты меня любишь, — улыбнулась она.

— Нормально, — ответил он, повторив неизвестного ему Ашота. — Я тебя очень люблю, в твое отсутствие ко мне никто не приходит, кому нужен лысый старик с астигматизмом и язвенной болезнью?

— Мне, — сказала она. — И еще как...

— Тогда давай сделаем вот что, — снова посмотрев на часы, совершенно неожиданно для самого себя вдруг сказал Славин. — Покупай подходящее платье, и давай назначим романтическое свидание... Скажем, через три дня... У загса... В шестнадцать ноль-ноль. Как тебе предложение такого рода?

...Такси отъехало; возле Славина остановился Гречаев и, прикуривая на ветру, негромко сказал:

— К десяти его ждет Настя.

— Сколько времени туда ехать?

— Пятнадцать минут.

— Хорошо, я у себя, на связи, жду информации...

Выйдя от Насти, Кульков осторожно прикрыл дверь ее квартиры, к лифту приблизился на цыпочках, нажал на кнопку вызова, достал пачку «Салема», закурил, сладко затянулся, и в это как раз время Славин спустился с верхнего пролета на площадку:

— Вниз?

— Да.

— Я с вами. Можно?

— Бога ради.

Славин почесал кончик носа, нахмурился:

— Мне ваше лицо очень знакомо.

— А мне ваше совершенно не знакомо, — раздраженно отозвался Кульков.

— Вас ведь Гена зовут? — спросил Славин, пропустив его в лифт.

Дверцы захлопнулись автоматически, Славин нажал кнопку первого этажа, кабина плавно пошла вниз.

— Представьтесь, пожалуйста, — сказал Кульков, и в глазах его что-то дрогнуло, но лишь на одно мгновение. — Я совершенно вас не помню.

— Может, и я ошибаюсь, — сказал Славин, улыбаясь. — Только мне кажется, вы это вы... Я как-то с вами в преферанс играл... На Черном море... Лет двадцать назад, а может, и больше... Вы тогда совсем еще молодой были...

— Вполне вероятно, — согласился Кульков. — Для одних шахматы, для других преферанс... Третьи предпочитают бильярд...

— Верно, — согласился Славин. — Только одним преферанс на берегу моря сошел с рук, а других затаскали... Среди свидетелей по делу Пеньковского, помнится, вас не было... А вот я едва открутился...

— Вы меня с кем-то путаете, — спокойно сказал Кульков, но лицо его начало стекать — за одно лишь мгновение обвисли щеки, цвет кожи сделался желтоватым, неестественно оттопырились уши.

— Если вы не Гена, то, конечно, путаю, — сказал Славин.

Лифт, чуть вздрогнув, остановился.

— Пожалуйста, — чуть откашлявшись, сказал Кульков, пропуская Славина.

— Нет, пожалуйста, вы, — Славин протянул руку, — я тут живу, а вы гость.

— Спасибо, — ответил Кульков; лицо его пожелтело еще больше; ноги стали ватными, он чувствовал, как мелко дрожат колени; вышел, однако, спокойно, с достоинством.

Славин сразу же свернул в переулок; Кульков остановил проезжавшее мимо такси.

— Вы можете уделить мне пару часов? — спросил он шофера. — Я отблагодарю. Мне нужно съездить на дачу.

— Э, нет, — ответил таксист. — У меня смена кончается...

— Когда?

— Через час двадцать...

— Мы обернемся...

— Куда ехать-то?

— В Раздоры, совсем близко...

— Где это? По Минскому?

— По Успенке... Я уплачу вам, сколько скажете. Выручайте, товарищ...

— А потом куда?

— Мы вернемся в центр... Я живу в центре, на Малой Бронной...

— Ну а сколько положите?

— Называйте цену.

Таксист засмеялся:

— Может, я полста запрошу!

Кульков достал из заднего кармана брюк деньги, протянул шоферу:

— Спасибо, вы меня очень выручили.

— Закурить не будет? — спросил таксист.

Кульков оглянулся: машин сзади не было. «А вдруг этот тип запомнил номер такси? Нет, он же свернул за угол; если что-то случилось, за мною бы шла машина. Или две. Это днем можно не заметить слежки, а сейчас любая машина видна: фары. Успокойся, — сказал он себе, — счастье, что это случилось ночью; завтра меня уже не будет в России; только бы скорей оказаться за городом; домой заходить нельзя; надо позвонить жене; только бы придумать что-то связное; придумаю...»

Когда выехали на Кунцевскую дорогу, Кульков увидал в зеркальце фары; похолодел от ужаса; попросил шофера пропустить — слепят; тот сбавил скорость; их резко обошла черная «Волга» с двумя пассажирами; окна открыты, включен радиоприемник, передавали эстрадный концерт, похоже, едут в ресторан «Сосны».

На даче он сразу же включил свет, вышел на участок черным ходом, подкрался к забору, отбросил три листа шифера, разгреб землю маленькой цапкой, достал из тайника кирпич, вернулся в комнату, обычный огнеупорный кирпич осторожно вскрыл, достал оттуда заграничный паспорт, пачку банкнот – отдельно доллары, рубли, марки ГДР; сунул в карман маленькие усы, которые сразу же изменят внешность, спрятал в портфель очки в толстой роговой оправе; раздавил ампулу с темной жидкостью, накапал в кастрюлю, залил водой, тщательно промыл волосы, вытер их насухо — через час станет совершенно седым; промазал брови пальцем, смочив его в той же кастрюле; вылил содержимое в унитаз, кирпич выбросил в помойку, выключил свет и вернулся в машину.

— Вот и все, — сказал он, — едем в город. Только не на Бронную...

— Еще куда везти, что ли?! — возмутился таксист. — Не могу, я ж сказал.

— Хорошо, пересадите меня в городе на другое такси.

— Это пожалуйста... У меня ж времени в обрез, — подобрев, объяснил водитель, — нас знаете, как песочат, если опаздываем?!

— Догадываюсь.

Шофер притормозил около такси, стоявшего на Кутузовском проспекте.

— Спросите, повезет ли? — посоветовал он. — Может, у него тоже пересменок...

Молодой парень, сидевший за рулем, легко согласился отвезти Кулькова в Шереметьево, конечно же, поинтересовавшись, оплатит ли пассажир порожний рейс из аэропорта в центр.

...На Ленинградском проспекте Кульков попросил водителя притормозить около кабинки телефона-автомата.

— У вас мелочи нет? — спросил он таксиста, похлопав себя по карманам. — Я... Мне нужны двухкопеечные монеты...

— Сколько?

— Три. Вдруг автомат глотает...

— Вам сколько раз надо звонить? — раздраженно спросил таксист. — Два или три? Глотает, не глотает, меня это не касается.

— Три, три, господи! — сказал Кульков, по-прежнему чувствуя, как его бьет нервный озноб. — Вот вам двадцать копеек, а мне дайте шесть...

...Жена уже спала, голос тревожный:

— Где ты, Геночка?! Я ждала-ждала и прикорнула...

— Родная, я за городом, пришлось срочно выехать, чепе... Буду завтра днем. Если позвонит академик, скажи, я у генерала, свяжусь с ним днем, ничего особенного, не пугай его и спи спокойно.

— Но правда ничего страшного не случилось?

— Правда, родная, я бы тебе сказал...

Он начал набирать второй номер — Юрса, два звонка по три гудка, сигнал тревоги, начало запасной операции «Либерти», но ему не дали этого сделать: вытащили из кабины, сразу же ощупали воротничок рубашки, лацканы пиджака, манжеты, потом завернули руки за спину, он услыхал страшный, металлический щелчок и только после этого ощутил на запястьях наручники.

В машину такси, на которой он ехал, его внесли: ноги внезапно отказали, колени словно бы выгнулись назад, казалось, что чашечки выскакивают одна из другой...

...Тот человек, что спускался с ним в лифте, сидел рядом с шофером; обернулся к Кулькову, зажатому тремя крепкими людьми с незаметными лицами, и усмехнулся:

— А вы говорите, я вас с кем-то спутал, Г е н а... Ни с кем я вас не спутал...

Тот замотал головой, тяжело сглотнул шершавый комок в горле и сказал:

— Это какое-то недоразумение...

Славин вздохнул:

— Пока мы едем к нам, подумайте вот о чем... Вы задержаны за шпионскую деятельность... Это, надеюсь, вам ясно? Если не ясно, то подполковник Гаврилов, — он кивнул на соседа Кулькова, — разъяснит вам, оперируя статьями Уголовного кодекса...

— Ознакомьтесь с постановлением об аресте, санкционированным прокурором, — сказал Гаврилов.

— Нет, зачем же, — прошептал Кульков, — я вам верю.

Славин усмехнулся:

— На даче мы вас, кстати, тоже фотографировали, — когда вы паспорт из тайника брали... Перед вами стоит дилемма: либо вы сейчас же, сразу рассказываете все о том, что вам предстоит сделать для ЦРУ — то, что вы уже сделали, мы знаем, — либо завтра начнутся допросы и следователи будут отрабатывать эпизоды вашего дела для передачи в суд... Вы понимаете, что я говорю?

— Не очень, — ответил Кульков, почти не разжимая рта, и повторил: — Произошло какое-то недоразумение...

— Будет вам, — пресек возражения Славин. — Не теряйте лица; Пеньковский вас верно учил: проигрывать надо достойно.

Кульков покачал головой, подбородок его мелко трясся.

— Ни о каком шпионаже не может быть и речи... После встречи с вами в лифте я понял, что дальше молчать нельзя... Я решил приехать к вам и все честно рассказать...

— Вы хотели приехать к нам на самолете? Решили из Шереметьева прилететь на Лубянку? — поинтересовался Славин, не отводя взгляда от Кулькова.

«Только не торопись, — сказал себе Кульков, стараясь собрать воедино рвань метавшихся в голове мыслей, — надо выиграть время; теперь надо научиться бороться за каждую минуту, какое там — минуту, за долечку секунды надо сражаться; Юрс был прав; теперь все зависит от меня; если я буду вести себя верно, не сфальшивлю, операция «Либерти» будет осуществлена успешно; вопрос идет о жизни; ты должен успокоиться, ты обязан взять себя в руки, ты

сотни раз представлял себе этот страшный момент, ты был к нему готов, а сейчас вдруг позволил себе сразу же рассыпаться, нельзя...»

— Послушайте, у вас нет валидола? — тихо спросил Кульков, давясь липкой слюной.

Человек, сидевший рядом, взял его запястье сильными пальцами, профессионально нашел пульс, начал считать удары, глядя при этом на светящуюся секундную стрелку своих часов.

— Пульс несколько учащен, — сказал он Славину, — но сердце работает без перебоев.

— Дайте ему валидол, — попросил Славин.

Человек достал металлический тюбик, высыпал на ладонь две таблетки, положил одну из них в рот Кулькову, посоветовав:

— Держите под языком.

— Я знаю, спасибо, — ответил Кульков, по-прежнему не в силах справиться с мелкой дрожью, которая била подбородок. — Мой папа был врач, так что я с детства знаком с валидолом...

— Когда у вас следующий обмен информацией с ЦРУ? — спросил Славин. — И где?

— О чем вы?! Какой обмен?! При чем здесь ЦРУ?!

— Кульков, вы в состоянии говорить со мною серьезно? — снова спросил Славин. — Неужели вы думаете, что мы бы задержали вас без достаточных улик?

— Нет, нет, что вы! Я знаю, как у нас неукоснительно соблюдается социалистическая законность.

Славин рассмеялся:

— Экий вы политграмотный... Я почему-то полагал, что вы не просто начнете сразу же говорить, но и внесете какие-то предложения, чтобы хоть как-то искупить вину...

— Вины нет, — возразил Кульков. — Была допущена ошибка, трагическая ошибка, но ни о какой вине нельзя и говорить... Жизнь соткана из случайностей, подчас совершенно ужасных... Мы подданные обстоятельств, которые сильнее нас...

— Как знаете. — Славин отвернулся от него.

«Шея крепкая, не иначе как спортсмен; такие люди лишены изыска в мышлении; надо держаться; его можно обыграть; соберись, — взмолился Кульков, словно бы обращался не к себе, а к какому-то другому человеку, — соберись же!»

Однако, когда машина въехала в тюремный двор и его ввели в комнату, совершенно без мебели, освещенную яркой

лампой, свет холодный, какой-то бессловесный, таких ламп нет на воле, когда пришел человек в белом халате и вполне корректно, бесстрастным голосом предложил Кулькову раздеться догола, осмотрел полость рта, заглянул в уши, когда ему дали чужую рубашку, костюм, туфли, но без шнурков, он вдруг ощутил зияющую, провальную пустоту и мягко обвалился на пол.

В чувство его привели довольно быстро, и первый, кого он увидел склонившимся над собою, был тот, лысый, что встретил его у лифта, а потом брал в телефонной будке и мучил разговорами в машине; каждое слово таило какой-то потаенный смысл; рядом с ним стояли следователь и прокурор; лысый назвал их фамилии, но Кульков не запомнил, у него что-то случилось с памятью, слова словно бы проходили сквозь него, не задерживаясь в сознании.

— Что ж, видимо, вы крепко притомились, — сказал Славин.— Хотите отдохнуть? Если решите облегчить душу и побеседовать, я к вашим услугам, скажите охране...

...Кульков растянулся на узкой койке, запрокинув руки за голову; более всего его поразило то, что пол в камере был паркетный, как дома, такой же теплый, чистый и хорошо натертый.

«Только б не думать про то, — сказал он себе, — наверняка у них здесь вмонтирована аппаратура, которая читает мысли». Перед глазами близко и явственно возникло лицо Пеньковского. «Уйди», — взмолился он; где-то в Новосибирске ученый психиатр фиксировал на фотопластинку галлюцинации шизофреников; они запишут на какие-нибудь пластины, вмонтированные в эти стены, лицо Олега Владимировича, а это улика. «Замолчи же!» — крикнул он самому себе и зажмурился, чтобы отогнать видение, но оно не исчезало, а, наоборот, приближалось, словно бы Пеньковский сел на кровать рядом с ним; точно таким же было его лицо, когда, грустно и как-то даже сострадающе посмеиваясь, он поймал его на том страшном мизере, а играли по копеечке, сто семьдесят рублей надо было выложить; забыл присказку: «Играть — играй, да не отыгрывайся»; где взять деньги, только-только институт закончил, вырвался в Сочи, и на́ тебе!

Пеньковский тогда похлопал его по плечу, усмехнулся: «Отдашь долг в Москве, поди-ка к той блондиночке, что лежит у лодки, объясни ей, кто я, скажи, что буду рад видеть ее у себя в номере, только что вернулся из Штатов,

джинсики и кофточки ее размера лежат в чемодане, надо примерить...» «А ведь знал, что это Зоя, я ее кадрил, все это видели, он тоже... Боже, какое забытое, беззаботное, молодое слово — „кадрил"...»

«Милый Гена, — продолжал тогда Пеньковский, — слово «понт» приложимо к тем, кто моложе вас и глупее; со мною «понт» не проходит, я играю в карты не для того, чтобы получить деньги, а для того лишь, чтобы выиграть; факт победы дает мне силы, это допинг, понимаете? Вы постоянно пыжитесь, зачем? Каждый, кто прыгает через две ступени по лестнице, ведущей вверх, рискует сломать ногу. Вы сметливы, но чрезмерно азартны, свернете шею, жаль...»

Кульков увидел его следующим утром; было еще часов шесть, только-только светало; Пеньковский вышел на пустой пляж в коротком халате, стройный, крепкий, несмотря на свой возраст, подмигнул ему как-то озорно, но в то же время по-хозяйски. Сбросив шелковый японский халат, вошел в море, нырнул под волну и двинул хорошим кролем, словно профессиональный пловец; метрах в двухстах от берега перевернулся на спину, лежал так чуть не полчаса; вернувшись, заметил: «Люблю одиночество, Гена, а оно достижимо лишь на волнах; суетная земля полна двуногих млекопитающих, которые издают звуки и раздражают неосмысленностью движений; суета сует и всяческая суета. Вы в Москве с родителями живете?»

«Зачем я сказал ему про однокомнатный кооператив?! Промолчать бы, а я о чем думал: «Нужный человек, со связями, полковник, подтолкнет...»

Кульков по-прежнему приказывал себе ни о чем не вспоминать, старался вызвать видения перистых облаков, йоги рекомендуют постоянно думать о небе, ничто так не успокаивает, как образ вечности, но лицо Пеньковского стояло перед ним словно ужас — безжизненное, пергаментное, в резких морщинах, с глубоко запавшими светлыми, безжалостными глазами...

...В Москве уже, передав Пеньковскому ключ от квартиры, Кульков сказал, что долг отдаст послезавтра; тот кивнул: «Если трудно, можно и подождать, не горит». Когда принес деньги, тот сунул их в задний карман брюк, не считая. «Мог бы и отказаться, девок в мою квартиру водишь бесплатно, а я сорок рублей ежемесячно вношу за кооператив — из своих ста сорока». Тем не менее к академику Крыловскому — через третьих лиц — подвел его именно он, Пеньковский, намекнув, что, пока Георгий Иванов рядом со стариком, путь наверх будет трудным: «Боритесь за

плацдарм, Гена, самое главное в жизни — это плацдарм». С работы и из дому к нему не звонил, только из автомата: «О нашем знакомстве не надо никому говорить, я человек из легенды, невидимка и, как истинная невидимка, обладаю силой; формула «ты мне, я тебе», конечно же, отдает чужекровием, но тем не менее бытие определяет сознание». Он никогда не говорил серьезно — посмеивался, шутил, только глаза у него всегда были, словно у слепца, совершенно неподвижны. Однажды, когда Кульков посетовал на то, что в магазинах почти совершенно пропал сыр, Пеньковский посмотрел на него с удивлением: «Вы на что замахиваетесь, мой дорогой? Классового врага критикуйте, а на свое не замайте, не надо, тем более я сделал так, что вас оформляют в Лондон, весьма любопытный город». Кульков тогда на радостях принес три бутылки коньяку, купил на базаре бараньих ребрышек, накрыл стол; Пеньковский пил, не пьянея, только глаза теряли цвет, становясь водянистыми, совершенно пустыми. «Вам жениться пора, Геночка, женитьба — это долг растущего работника. И пьете вы плохо, не надо бы, коли не умеете... Папа вашей приятельницы Лидочки кто? Тот самый?. Ну и чего же вы размышляете? Это ваш тыл, думайте о будущем, человек вы азартный, рисковый, нужно страховаться...»

Накануне вылета в Лондон Пеньковский дал Кулькову триста долларов: «Привезете мне лезвия, я бреюсь только «жиллетом». Зайдите в «Селфриджес», купите мне лосьон, называется «Джентльмен», остальное обратите на подарки невесте, деньги спрячьте в задний карман брюк, досматривать вас, думаю, не станут».

А если? Кульков не сразу решился задать этот вопрос, но не удержался, в нем все было напряжено: первый выезд как-никак, да еще в Лондон, с ума можно сойти...

«А если? — задумчиво повторил тогда Пеньковский. — Допустим, вас досмотрели. Нашли триста долларов. Что вы ответите? Ну, быстро, там времени на обдумывание не будет...»

Кульков сглотнул комок (не такой, что сейчас, меньше), горло сделалось сухим, язык был шершавым и каким-то неудобным, слишком длинным, что ли... «Ну, не знаю, — сказал он тогда, — скажу, что хотел купить Лидочке подарок к свадьбе, одолжил у знакомого дипломата...»

«А как зовут этого дипломата? — поинтересовался Пеньковский. — Вас уличат во лжи, и жизнь будет конченой, Геночка. Если бы у вас действительно был знакомый дипломат, который вернулся из командировки и продекларировал деньги, тогда одно дело, но, насколько я знаю, вы

пока что не обзавелись такими приятелями... Нет, мой друг, если представить себе наихудшее, говорите, что купили з е л е н ь у спекулянта. Да, казните, во имя любви на что не пойдешь... Нет, ни имени, ни фамилии не знаю, предложили в «Национале», очень хотел привезти сувениры невесте, повинную голову меч не сечет... Если же вы назовете мою фамилию, то вам просто не поверят... Или убедите? То-то и оно, не решитесь, вы же ловкий мальчик, в вас есть вполне прочный, гуттаперчевый стержень... Странно, что вы заторможенно мыслите, думал, возразите мне, когда я упомянул про задний карман брюк: зачем попусту рисковать, когда именно вы будете нести портфель академика Крыловского, у него дипломатический паспорт, досмотру не подлежит, там и место деньгам, неужели не ясно?»

Перед второй командировкой, в Женеву, Пеньковский дал Кулькову пятьсот долларов: «Сочтемся; бросьте письмецо; это уже д е л о в о е поручение, понимаете? Я же не зря хожу под погонами, о роде моей работы, видимо, догадываетесь, вопрос согласован, но, от греха, пронесите через границу, как и в первый раз, в вещах академика».

Письмо было о б р а б о т а н о: получившие его могли сразу же убедиться, вскрывали безобидное послание или нет; в ЦРУ выяснили, что не вскрывали и не прикасались; рыбка клюнула.

В Вене его напоили, похитили папку с документацией, дали время на панику, наблюдали, как будет себя вести; поняли, что вот-вот развалится; в номер зашли без стука, с отмычкой: «Геннадий Александрович, не глупите, вот ваша папка, в целости и сохранности; работали с ней в перчатках, отпечатков пальцев нет, можете не волноваться; вы, однако, совершили должностное преступление, передав нам совершенно секретные документы, за это судят; не вздумайте просить здесь политического убежища, мы это предусмотрели, будет сделано так, что вас выдадут как насильника и вора; возвращайтесь домой и спокойно работайте; вас тревожить не будем; бросьте в почтовый ящик в Москве вот эту открытку, других просьб нет, до свидания».

Все контакты и телефонные разговоры Кулькова этой ночью и утром накануне вылета контролировались ЦРУ; открытка в Москве пришла по назначению, в чужих руках не побывала, почтальоны не в счет, разведка знает множество приспособлений, которые позволяют проверить завербованного...

Пеньковского с той поры он не видел; полковник ни разу не позвонил, на холостяцкой квартире более не по-

являлся, словно исчез человек; номера его телефона Кульков не знал и не хотел узнавать, лег на грунт, встреч сторонился, вскоре женился, на свадьбе не выпил даже шампанского; когда прочитал сообщение в газете об аресте Пеньковского, сделался серым, слег в больницу — острая стенокардия; на допрос его ни разу не вызвали; через полгода после того, как Пеньковский был расстрелян, оформили на поездку в Мексику; отказался, сказавшись больным; через три месяца предстояла поездка в Берлин, там не страшно, с в о и; в отеле «Беролина», когда сидел в вестибюле за стойкой бара и пил кофе, рядом с ним оказался тот, с кем он беседовал в Вене: «Геннадий Александрович, вы сегодня в десять часов вечера пойдите погулять... Конференция ведь должна закончиться в семь? Так что время удобное, встретимся у витрины обувного магазина на Александерплац, на втором этаже, вы там были вчера в это же время».

Кульков сразу же ощутил во рту такой вкус, словно бы сосал медную ручку от своей комнаты; детское, кстати, воспоминание, мальчишкой сосал, потом рвало. И еще он часто вспоминал, как однажды уговорил Кольку Шурыгина сунуть ножницы в штепсель: «Только ты меня сзади обними, а то одному страшно». Колька тогда сильно разбил затылок, стукнуло током основательно и того и другого.

Вернувшись в номер отеля, Кульков открыл портфель, достал памятку, выданную участникам конференции; среди прочих телефонов был и посольский, советник по вопросам науки и техники; снял трубку: будь что будет. «А что будет? — спросил он себя. — Ну, не посадят, это верно, но жизнь-то кончена! Прозябание где-нибудь в провинции, никакой перспективы, тление... Почему? — возразил он себе. — Мною могут з а и н т е р е с о в а т ь с я, начнут и г р у, все пойдет, как шло, я ведь сам все скажу... Но тебя спросят и про Вену, — услышал он другой, сухой голос, чем-то похожий на бесстрастный голос Олега Владимировича. — И тебе придется признаться, что совершенно секретные документы находились в чужих руках, и ты никому не сказал об этом...» «В жизни много выигрышей, — услыхал он тогда голос Пеньковского, — зато проигрыш лишь один, Геночка; я фронт прошел, знаю, что говорю... Мы рождены для того, чтобы умереть; пока существуем, надо брать все, что можно; с л а д к о г о времени отпущено лет десять, от силы двадцать: сначала школа, потом институт, после становление, вот и сорок... А в пятьдесят пять печень начинает пухнуть, прозябание, затаенное ожидание смерти...»

Кульков тогда так и не набрал номер телефона посоль-

ства; отправился на Александерплац, поднялся на второй этаж, освещенный мертвенным светом неона, уткнулся взглядом в узконосые туфли, мягкой, чуть ли не лайковой, кожи, чертовски дорого, «саламандра», ничего не попишешь, фирма.

Тот остановился рядом с ним, обнимая молоденькую женщину; говорил, вроде бы нежно склонившись к ее шее, на самом деле слова были обращены к нему, Кулькову: «В Москве мы вас не будем тревожить; встречи во время командировок; в вашей безопасности мы заинтересованы не меньше, чем вы, а больше; мы представляем те силы в Штатах, которые, как и ваша страна, заинтересованы в сохранении мира; обмен научной информацией угоден доверию; время шпионажа кончилось безвозвратно; и у вас в стране, и у нас есть «голуби» и «ястребы»; мы представляем группу «голубей»; не думайте, что нам легко: реакционеры и правые ультра весьма и весьма сильны; слепцы, одержимые люди; бороться с ними можно только одним — правдой, то есть совершенно конфиденциальной информацией; сегодня, когда вы вернетесь, к вам в номер зайдет человек и, извинившись — перепутал этаж, — сразу же выйдет. Он оставит вам портмоне, там вы найдете все, что нужно; карточку «американ экспресс» суньте в карман пиджака, это не пачка банкнот; инструкции сожжете. До свидания, Геннадий Александрович, всего вам самого лучшего, до встречи. И пожалуйста, по возвращении сразу же садитесь за диссертацию».

В Москве к нему подошли только однажды — накануне встречи Брежнева с Картером в Вене; работал шесть дней, потом «консервация», и вот этот страшный звонок две недели назад, тайники, лихорадочные запросы о ракетном потенциале: «Не может быть! Уточните! Количество ракет должно быть значительно большим! Предпримите все, что можете, для выяснения истины!»

«Если здесь, в этой камере, могут записывать мысли, — с еще большим ужасом подумал Кульков, — если они знают, как фиксировать мысли и видения, я погиб... Но ведь все равно остается вариант «Либерти»! Только об этом здесь думать нельзя! Это же спасение! Лучик надежды! Меня должны водить на прогулку, я обдумаю все именно во время прогулки, во дворе они не смогут прочесть мои мысли! «Либерти», — повторил он себе, — молчи и расслабься; операция «Либерти»; если чекистам я теперь больше угоден мертвым, то те, на Западе, хотят меня видеть живым...»

Пеньковский придвинулся еще ближе, улыбка его была

жуткой, беззубой, а ведь он так следил за ртом, ежемесячно бывал у дантиста, подолгу рассматривал зубы в зеркале, скалясь своему изображению, будто разъяренный пес: «Геночка, научитесь тратить деньги, нельзя же всю жизнь существовать за чужой счет. Не оскудеет рука дающего; все понимаю, копите на машину, делаете подарки подругам, но о вас станут говорить как о скряге, это отталкивает людей, лишь гусарам симпатизируют; и не будьте таким угодливым, наработайте в себе самоуважительность; если уж не можете не услуживать, то хоть делайте это достойно, а вы суетитесь, мелко... Признайтесь, вы возненавидели меня, когда пришлось расплатиться за карточный проигрыш подружкой? Не злитесь, не надо, это психологический тест. Я принадлежу к породе коллекционеров. И никогда не спрашивайте впрямую про то, что вас интересует, это настораживает людей... За пулькой можно пробрасывать любые вопросы, но не жмите, не надо, молчание порою лучший ответ, только надо быть высококомпетентным, чтобы уметь оценивать смысл молчания, затаенную суть, сокрытую в нем... Я вам симпатизирую, Геночка, вы мой антипод, посему запомните: ниспровергательство, критику, патетическую борьбу за правду оставьте неудачникам. Побольше цитат из передовиц, не бойтесь быть со всеми, только это даст вам возможность ощущать величие виутренней свободы... Кстати, ваш бывший сокурсник Георгий Иванов действительно гениален? Или болтовня? Странно, мне кажется, что время индивидуальной гениальности кончилось, да и мир сделался чудовищно завистлив; заметили, в Штатах теперь работают целые институты, планирующие науку и внешнюю политику; сообщества, поглощающие личность, растворяющие ее в себе; воистину, надмирность ныне возможна лишь в самоощущениях; во сне часто летаете? Жаль, я каждую ночь... И пожалуйста, Геночка, не подражайте пижонам, шастающим по улице Горького, берегитесь страсти к иностранным брючкам и галстучкам; носите «москвошвей»; вас станут ставить в пример и двигать по работе; скромность украшает человека...»

Кульков тогда решился заметить: «А вы, Олег Владимирович?» Тот рассмеялся: «Голубь мой, я Пеньковский... Вслушайтесь только: Пень-ков-ский. Займите мое положение, проживите мою жизнь, тогда валяйте, это будет стиль, чудачество, прихоть...»

Кульков рывком поднялся с кровати; одеяло было серым, чуть пахло карболкой; как на такое шершавое можно класть женщину? «О чем я? — подумал он растерянно. — Я схожу

с ума, какая женщина! У меня в висках звенит! Ведь я в тюрьме! Я в углу! Начался отсчет секунд до той, последней, когда они начнут завязывать мне глаза черной тряпкой и кто-то незнакомый, но такой же, как я, человек, поднимет пистолет и выстрелит мне в лицо...»

— Нееееееееееет! — закричал Кульков. — Нееееееет!

Дверь открылась, вошел рослый сержант с широкоскулым веснушчатым лицом, спросил казенным голосом:

— В чем дело?

— Мне плохо, — простонал Кульков, — останавливается сердце. Вас как зовут?

— Меня зовут контролер, — таким же бесстрастным голосом ответил сержант и вышел из камеры. Свет был мертвенным, голубоватым; Кулькову показалось даже, что он хранит в себе запах прелой, гниющей листвы. Так пахло на даче в начале апреля, когда шофер Матвей Савельевич приезжал сжигать прошлогодние листья, собрав их граблями с огромного участка, поросшего соснами и молодым березняком...

КОНЦЕПЦИЯ-I

«Центральному разведывательному управлению США.
Строго секретно.
Тому, кого это касается...»

...Именно так начинались все шифрограммы, отправлявшиеся советником американской делегации Макгони, которые он составлял сразу же после того, как кончались заседания советской и американской делегаций по ограничению вооружений в Женеве.

Совершенно автоматически телеграммы Макгони расписывались директором и на ЗДРО — святая святых ЦРУ (через час содержание очередного сообщения из Женевы становилось известным президенту корпорации Сэму Пиму и его самому доверенному окружению).

...Руководитель делегации направлял свои отчеты в государственный департамент; там телеграмма изучалась, просчитывалась на компьютерах, делалась необходимая выжимка, которая докладывалась Белому дому в тот же день (с полным текстом, однако, имел возможность ознакомиться и президент «Авиа корпорейшн», тот, с кого Юджин Кузанни писал образ старого «сэра Питера»).

Другой советник отправлял свои телеграммы в Пентагон, третий — в министерство финансов; во всей этой гигантской

по своей насыщенности и объему информации надо было вычленить главное, основополагающее, соотнести это с ситуацией в сенате и конгрессе, на биржах мира, с мнением ведущих газет, проконсультировать отдельные вопросы с руководителями ряда правительств стран НАТО и, практически в тот же день, отправить определенные рекомендации в Женеву, которыми и надлежало руководствоваться делегации; так называемая свобода русла; вода вправе нести свои воды, но берега тем не менее обозначены цементно, никаких отклонений от предписанной направленности!

«Позиция русской делегации, — сообщал в тот день Макгони,— при всей ее жесткости обладает такими пропагандистскими достоинствами, что в случае прекращения переговоров общественность Западной Европы (причем не только леворадикальная и центристская, но даже умеренно-консервативная, традиционно ориентирующаяся на союз с Соединенными Штатами) неминуемо возложит вину за очередное замораживание диалога на администрацию.

Тщательно выверенные тексты заявлений русских, причем не только руководителя и его заместителей, но и научных экспертов, таят в себе некоторые элементы концептуального превосходства над нашей позицией.

Налицо альтернативная ситуация.

Либо мы повторяем трагическую ошибку президента Картера и позволяем себе непростительную роскошь идти на поводу у Кремля, или же мы по-прежнему отдаем себе отчет в том, что диалог с Москвой допустим лишь в том случае, если наличествует наше существенное превосходство в ракетном потенциале.

Именно поэтому я вынужден повторить: те материалы, которыми вы снабжаете меня, увы, не несут в себе взрывного момента; они — в той или иной мере — согласуются с данными, полученными НСА, действительно свидетельствуют о серьезной ядерной мощи русских, но не дают основания говорить о затаенности военных приготовлений Москвы, которая хочет успокоить Америку словами о мире, а практически намерена по-прежнему делать все для удержания своего стратегического превосходства, особенно на Европейском континенте.

Именно поэтому я повторяю: для того чтобы мы здесь вели свою линию, не опасаясь за пропагандистский ущерб, который может быть нанесен Соединенным Штатам в случае одностороннего замораживания переговоров, необходимы

качественно новые документы, полученные оперативным путем в России.

Я настаиваю на этом еще и потому, что в Женеве существуют разные мнения по поводу возможного исхода переговоров; во всяком случае, глава делегации, как мне кажется, был бы не прочь получить Нобелевскую премию мира, а ее дают за подпись о соглашении, составленном на мелованном листе бумаги, но отнюдь не за непререкаемую твердость.

Макгони».

«Женева, Миссия США при ООН,
Резидентура ЦРУ.
Строго секретно.
Чарльзу Макгони.

Вам необходимо скорректировать стиль и манеру поведения, поскольку доверенная агентура сообщила, что среди ряда членов нашей делегации зафиксированы разговоры о вашей «чрезмерно» жесткой позиции. При этом такого рода «жесткость» связывается с неизменной концепцией ЦРУ.

Материалы из России, которых вы так ждете, считая, что именно они решат исход встречи в Женеве на уровне делегаций по разоружению, в ближайшее время будут вам переданы.

Просим конкретизировать, какие аспекты в такого рода документации произведут наибольшее впечатление в угодном нам направлении.

ЗДРО».

«Центральному разведывательному управлению США.
Строго секретно.
Тому, кого это касается.

Информация, которая может потрясти тех, кто аккредитован при Европейском центре ООН в Женеве, предельно проста: несмотря на переговоры, происходящие здесь, невзирая на слова русских о необходимости «сохранения мира», в Москве именно в это время разрабатываются планы модернизации ракетно-ядерного потенциала Советов, размещение не только в ЧССР и ГДР, но и на всей западной части России.

Для того чтобы не расшифровывать агентуру, работающую по получению такого рода документации, огласить это сообщение может Дриггер, представляющий на переговорах НСА, что не является здесь особым секретом.

Оптимальный вариант я, конечно же, вижу в переходе на Запад такого человека из России, который бы смог сделать открытое заявление подобного рода для прессы и телевидения.

Такая акция заморозит идею переговоров с русскими на ближайшие три-четыре года — срок, вполне достаточный для того, чтобы реализовать наши планы по развертыванию оборонных систем ракетоносителей в космосе.

Что же касается моей манеры поведения, то я не намерен ее корректировать, как и не волен менять своей убежденности в том, чему я отдал сознательную жизнь.

В случае если отказ «скорректировать поведение» делает мое пребывание в Женеве нежелательным или, того хуже, наносящим хоть малейший ущерб интересам страны, прошу прислать мне замену.

Чарльз Макгони».

РАБОТА-VIII

— Чаю хотите? — спросил Славин, весело глядя на Кулькова, когда контролер после истерического срыва в камере привел его в кабинет, в котором находился следователь подполковник Гаврилов.

— Если можно, кофе, — ответил тот растерянно: столь неожиданной была улыбка на лице этого кряжистого лысоголового человека.

— Держу только растворимый... Хотя очень хороший, бразильский...

— Спасибо. Без сахара, пожалуйста, – попросил Кульков.

— Есть сахарин.

— Нет, благодарю.

— Ладно, сделаем горький, — согласился Славин. — Сколько ложек класть? Имейте в виду, очень крепок, а вы жаловались на сердце...

— Тогда одну, если можно...

— Можно, отчего же нельзя...

Славин держал в кабинете маленькую электрическую плитку, кофе пил постоянно, хотя в последнее время его друзья-медики в один голос уверяли, что кофе — это яд. Славин только посмеивался: «То нельзя есть хлеб — жиреешь, то, наоборот, надо есть хлеб, ибо это «синтез здоровья», то пей аспирин, то остерегайся его, потому как «разъедает стенки кишечника». Все ерунда: организм подобен индикатору — тянется к тому, что потребно. Давайте

научимся верить себе, своему естеству. «Вперед к здоровью» — значит, назад, к древним!»

Даже растворимый кофе он делал в медной кастрюльке — прислал Руслан Цвинария, старый приятель из Сухуми; больше таких кастрюлек не будет; кустарей, тех, кто наладил выпуск их, восстановив забытое ремесло, больше нет — слишком много зарабатывали, так, во всяком случае, посчитали фининспекторы; с трудом удалось отбить до суда. «Попроси приехать кого-нибудь из крепких московских юристов, — писал Славину его приятель, — кто-то осознанно торпедирует саму идею инициативности, большое начинается с малого, тревожно...»

Следователь вышел из кабинета, заметив Славину:

— Я ненадолго.

— В окна прыгать не намерены? — поинтересовался Славин, поднявшись с кресла. — Не советую, шишку набьете, стекла у нас непробиваемы.

— Я очень люблю жизнь, — тихо сказал Кульков. — Зачем же прыгать в окно?

Славин, разлив кофе по чашкам, протянул Кулькову.

— Очень вкусно, — деловито сказал тот, отхлебнув глоток. — Сразу вспомнились Гагры...

— Вы ведь не очень любили Гагры, насколько я знаю? Все больше Сочи.

— Это в молодости. Сейчас-то я мечтаю о Гаграх...

— Да, место отменное... Вы ко мне попросились оттого, что в камере страшно? Особенно наедине с собственными мыслями?

— Скажите, — задумчиво начал Кульков, — закон о том, что разоружившийся человек, принесший повинную, освобождается от наказания, действительно имеет силу или же это было нам нужно в целях пропаганды?

Несколько опешив, Славин переспросил:

— «Нам»?! Вы сказали «это было нам нужно»?!

— Я еще не научился отделять себя от общества, — вздохнул Кульков. — Постарайтесь меня понять верно. Если на чашу весов положить то, что я сделал для повышения обороноспособности страны, а противоположить этому информацию, которой обменивался с коллегами по науке во имя идеи договоренности между нашими странами, то, уверяю, счет будет в мою пользу, как гражданина, члена нашего социалистического общества.

— Вы еще, видимо, не пришли в себя, Геннадий Александрович. Вы несете ахинею, простите за резкость. А вам есть что сказать мне по делу, особенно в связи с последним

запросом из Лэнгли... Вы ведь и сами несколько растерялись, расшифровав его, не правда ли? Помните текст?

— Какой именно вы имеете в виду?

— Послушайте, вы боретесь за каждую секунду, — сказал Славин, и слова эти потрясли Кулькова, потому что лысый повторил то, о чем он сам думал при аресте; точно, они изобрели что-то такое, что пишет мысли, с еще более леденящим душу ужасом подумал Кульков. Только б не вспоминать т о! Нельзя! Гибель! Конец! — Вы боретесь даже за долю секунды, — повторил Славин, с удивлением заметив, что Кульков расплескал кофе — так задрожала его тонкая рука с длинными, красиво с д е л а н н ы м и ногтями. — Или я не прав? Вы поправляйте меня... Пока что допрос не начался, я не следователь, можете со мной беседовать... Вам подполковнику Гаврилову придется о т в е ч а т ь... На каждый вопрос... Можете, конечно, отказываться, лгать, но мы знаем правду, Геннадий Александрович, в с ю правду... Вот в чем штука...

— Нет, вы не знаете всей правды, — откашлявшись, возразил Кульков. — Это только от меня зависит, открыть ее вам или нет. Зато от вас зависит другое: сохранить мне жизнь или лишить меня этого дара...

— Полагаете, что пятнадцать лет в камере — это жизнь?

— Не торопитесь присуждать меня к пятнадцати годам. Я же не зря спросил вас: действует ли и поныне закон о раскаявшихся и «разоружившихся»?

— Действует. Мы не привлекаем к суду шпиона, который сразу же пришел к нам и во всем признался. Но, Геннадий Александрович, вы же не пришли к нам... Нам пришлось самим брать вас...

— А это как посмотреть... Я же ехал к вам с повинной... А вы поторопились меня арестовать...

— Повторяю, ЧК находится не в Шереметьеве...

— А если в Шереметьеве этой ночью должен был находиться тот, в ком вы заинтересованы куда больше, чем во мне? И я хотел приехать к вам не с пустыми руками? А в сопровождении человека, знающего всю ц е п ь? Что вы скажете на это?

— Я отвечу, что предложение любопытно. Нам бы, конечно, было небезынтересно познакомиться с тем, кто знает ц е п ь, но, согласитесь, с нашей помощью — обратись вы к нам вовремя — это можно было бы сделать значительно более профессионально.

— Пожалуйста, постарайтесь меня понять... Если вы согласитесь с моей версией, что я ехал к вам добровольно

отдать себя в руки наших славных органов, мое положение позволит мне — в этом случае — принести нашему делу максимальную пользу...

— Нашему делу, — задумчиво повторил Славин. — Вот что я вам скажу, Геннадий Александрович: хотите облегчить себя, хотите хоть в чем-то искупить вину, говорите. Намерены торговаться — не выйдет. При всем моем определенном отношении к Пеньковскому, должен повторить: он проигрывал достойно...

— И ни словом не обмолвился обо мне.

«Это он ничего, — подумал Славин, — врезал весомо, значит, оклемался».

— Почему вы убеждены в этом?

— Потому что в противном случае вы бы меня давно нашли.

— Резонно, — согласился Славин. — Еще кофе?

— Да, если вас не затруднит.

— Когда у вас выход на очередную связь?

— Вы же сказали, что вам и это известно...

Славин кивнул:

— Мы сфотографировали текст, который вы заложили в «Национале», сохранив при этом след вашего пальца.

Кульков снова ощутил в горле шершавый комок.

— Но вы же понимаете, что я могу написать то, что нам выгодно, а могу вообще ничего не писать. А ведь вам нужно взять с поличным того человека, который будет забирать мою информацию...

— Резонно, — снова согласился Славин. — Очень хорошо мыслите. Ваше предложение?

— Я его уже внес.

— А я вам ответил: говорить я с вами согласен, торговаться — не моя профессия. Считаете своим долгом хоть как-то искупить свою вину, пожалуйста. Нет — ваше дело. Главную задачу мы выполнили, перекрыли утечку информации, дело кончено.

— Согласен, — сказал Кульков. — Верно. Но я готов предложить вам свою помощь в игре против ЦРУ.

— Давайте сформулируем ситуацию иначе, Геннадий Александрович: если руководство позволит мне привлечь вас к операции, я буду продумывать возможность вашего использования в деле... Но, признаться, я не очень-то убежден, что мне это разрешат... Слишком уж вы замарались... И действовали вполне осознанно... много лет... Будем называть вещи своими именами: сначала вы предали эту страну, нас... Теперь собираетесь предать тех, на кого работали.

— Мы же не на собрании, — облизнув шершавым языком пересохшие губы, сказал Кульков. — Я предлагаю разоблачить тех, кто путем шантажа понудил меня свернуть с того пути, на котором я стоял.

— Закон гарантирует вам только одно: следствие и суд тщательно разберут все то, что было до этой ночи. Но ни следствие, ни суд не пройдут мимо того, что может произойти после сегодняшнего рассвета... Вносите предложения, я готов слушать...

— Можно взглянуть на вопросник? Самый последний, который вы расшифровали? — спросил Кульков.

— Вы имеете в виду тот, что вы изъяли из тайника вчера ночью?

— Я запамятовал время... Вспомню, если вы мне покажете расшифрованный текст...

— Вы помните время, — сказал Славин. — Помните с точностью до минуты... Вы хотите проверить, действительно ли мы знаем все или же берем вас на пушку.

— Вы вправе думать так, как считаете целесообразным... Я же сказал то, что полагал сказать совершенно необходимым...

Славин вышел из-за стола, открыл сейф, вмонтированный в стену, покопался в папках, достал одну, синего цвета, принес ее на стол, полистал страницы, вытащил два листка, сколотых пластмассовой красненькой скрепкой, и протянул Кулькову:

— Это?

Лицо Кулькова снова стало течь, когда он пробежал страницу: «Знают все! Читали все запросы из Лэнгли! Вот ужас-то, а?! Но ведь они не читали мои ответы! А только это может быть уликой! В этом спасение!»

— Да, — сказал наконец Кульков. — Это.

— Вот видите, — вздохнул Славин и, положив руку на папку, заметил: — Тут целая брошюра: «Что хочет знать ЦРУ — особенно во время женевских переговоров — о ракетном потенциале Советов».

— Но у вас нет второй брошюры. С таким же броским названием: «Что ЦРУ узнало — во время женевских переговоров по разоружению — о ракетном потенциале Советов».

— Почему же? — Славин пожал плечами. — Есть.

Он снова поднялся, отошел к сейфу, достал оттуда маленький конверт, вернулся, положил на стол:

— Ознакомьтесь.

Кульков достал из конверта зажигалку «Пьер Карден»; лицо потекло еще зримее; щеки обвисли, под глазами

впадины, словно у старика, который вынул на ночь изо рта протез: ни одного зуба, шамкающая пустота.

— Да вы смелее, Геннадий Александрович, смелее, — подтолкнул его Славин мальчишеской какой-то улыбкой. — Вы же знаете, как обращаться с этой камерой... Мы проявили все семьдесят два кадра, вот вам лупа, читайте, ваша работа, вы же документы щелкали, не я...

— У вас нет сигареты?

«Ощутив шок, обязательно просите у них сигарету, — вспомнил он слова Питера, который инструктировал его по операции «Либерти», когда они встретились в Цюрихе, в баре на Банхофштрассе, — это верный признак того, что вы дрогнули, они это съедят, а уж после этого начинайте поэтапно цедить информацию, приберегая главный козырь на самый конец».

— Давно стали курить? — спросил Славин.

— После того как встретил Олега Владимировича.

— Странно... Я опрашивал ваших школьных и институтских знакомых, они говорили иное...

— Так ведь столько лет прошло, могли забыть...

— Гуляева помните?

— Нет. Кто это?

— Игорь Гуляев...

— Я его не знаю.

— Он вас знает... Он сидел за партой позади вас... На вечере в вашей мужской школе потанцевал с Лидой Киреевой. Вы же за ней ухаживали, да? Вы столкнули Гуляева с лестницы из-за этого танца... Бедняга, сломал ногу... Он уверяет, что вы еще в девятом классе курили... Сигареты марки «Ароматные», двадцать копеек пачка...

— Я никого не сталкивал с лестницы...

— Вы и Проскуряк, был такой урка... Вы его с собой привели, бутылку ему купили... Неужели не помните?

— Теперь обо мне можно говорить все что угодно...

— Мы сплетен не собираем, Геннадий Александрович... Например, ваш бывший декан, Антон Гаврилович, без ума от вас: «Надежда администрации, борец против прогульщиков, никто, как Гена Кульков, не умел провести персональное дело против нарушителей морали...» Я полистал эти дела, вы лихо выступали.

— Как я понял, сигарет у вас нет? — заметил Кульков, снова притронувшись шершавым языком к пересохшим, потрескавшимся губам.

— Ну почему же, есть... Какие хотите? Я заметил, вы предпочитаете ментоловые, «Салем»?

— С бо́льшим удовольствием я бы сейчас выкурил «Памир»... Были такие сигареты в дни моей молодости, черный табак, словно «Галуаз», только стоили дешевле — десять копеек за пачку, если не изменяет память...

— Есть и «Галуаз», — сказал Славин. — На выбор.

— Тогда, пожалуйста, «Галуаз»...

Он затянулся, жадно глотая дым, закрыл глаза, ноздри его на какой-то миг затрепетали, сделавшись белыми, хрящеватыми. «Только не торопиться, — молил он себя, — я веду себя верно; этот лысый, не ведая об этом, помогает мне; больше всего я боялся напора, крика, требования отвечать; этот увалень — другая порода, туго мыслит; я чувствую, поддается...»

— Так вот, — затянувшись еще раз, Кульков чуть откинулся на спинку стула, — эти данные не были мною отправлены... Да они и не пришлись бы, судя по последнему вопроснику, по вкусу тем, кого интересует ракетный потенциал Роди... Советского Союза...

— Вовремя поправились, — заметил Славин. — Слово «Родина» сейчас звучало бы, согласитесь, несколько цинично...

— Да, я вынужден с этим согласиться. Но хотите верьте, хотите нет, я был, есть и останусь патриотом России...

— Какой? — лениво поинтересовался Славин. — Генерал Власов тоже провозгласил себя истинным патриотом «матушки-России» — без коммунистов, комсомольцев, профсоюзных активистов, а их, активистов, почитай, сто миллионов.

— Я презираю Власова, даю слово...

Славин посмотрел в окно: надо было хоть на мгновение отвлечь себя от этого человека; погасив гнев, он негромко сказал:

— Мы все время отвлекаемся, не находите? У меня будет трудный день, да и вас, видимо, пригласят на допрос... Пойдите-ка лучше в камеру и постарайтесь уснуть...

Кульков покачал головой:

— Вы не позволяете мне досказать то, что я обязан... Посмотрите вопросник и прочитайте те документы, которые содержатся в микрофильме. Данные, которые я пересылал американским ученым...

— Кому, кому?! — поразился Славин. — Ученым?

— Конечно. Не ЦРУ же, — ответил Кульков, глотая комок. — Я обменивался информацией с теми учеными, которые являются противниками ядерной конфронтации, в этом вся суть. Люди, которые получали мою информацию,

были и продолжают оставаться на той позиции, что мы и Штаты имеем равный паритет ракетных мощностей... А «ястребов», которые верховодят в Вашингтоне, такого рода правда не устраивает... Судя по последнему вопроснику... «Ястребы» подталкивают меня к тому, чтобы я завысил уровень ракетной оснащенности Ро... Союза... Они заинтересованы в том, чтобы я передал не объективную информацию, а слухи, базирующиеся на моих беседах с военными руководителями и ведущими конструкторами... Мне кажется, их бы устроили даже мнимые беседы, лишь бы я передал то, на что они намекают в последнем вопроснике.

— А как вы бы поступили, не арестуй мы вас?

— Я бы продолжал передавать объективную информацию... Я отдаю себе отчет в том, что в пламени ядерной конфронтации победителей не будет.

— Вообще-то вы, как я погляжу, все эти годы вели патриотическую работу, а? — не удержался Славин. — Некая форма борьбы за мир, не правда ли?

— Напрасно вы иронизируете... Внутренне я оправдывал то, что произошло, только этим. Да, они спровоцировали меня, да, я не нашел в себе мужества повиниться... Но потом я понял, что мне надо делать... И сражался против их «ястребов» так, как мог... Я передавал им только то, что так или иначе было им известно в результате работы их спутников...

Славина подмывало дополнить слово: «шпионов», но он сдержался, чувствуя, что Кульков приступает к главной части игры; он не ошибся.

— Убежден, что та информация, которую они ждут, связана с переговорами в Женеве, — продолжил Кульков. — Полагаю, они намерены торпедировать переговоры, опираясь, в частности, на мою информацию. Я им такой возможности давать не намерен...

— Предложения? — снова повторил Славин.

— Позвольте мне заложить тайник в воскресенье... С объективными данными, а не с тем, в чем они заинтересованы... Они сразу же ответят очередной радиограммой, мы ее прочитаем...

— Мы ее прочитаем, — медленно повторил Славин. — А что? Заманчиво... Вот вам стило, пишите заявление, понесу наверх, будем ждать решения...

— Вы же наверняка фиксируете нашу беседу... Неужели этого недостаточно?

— Запись нашей беседы прослушают аналитики, Геннадий Александрович... Они посчитают, в каких пунктах нашего собеседования вы лгали, а где открывали правду...

Но, как говорится, дело любит форму... Пишите... Чтобы потом не было разговоров о принуждении, угрозах... Пишите, вот ручка...

...Рассвет для шального московского мая выдался на удивление, потому что был необычайно тихим и солнечным; небо высокое, пронзительно-голубое, будто в Домбае в начале февраля.

— Может, наконец установится погода, — вздохнул Славин, — мы ведь в последние годы лета не видим...

Генерал усмехнулся:

— Зато видим увеличение выпуска автомобилей... И грузовики, которые терроризируют город... В большинстве столиц грузовики давным-давно ездят по улицам ночью, а мы гранитно стоим на привычном...

— Община, — усмехнулся Славин, повторив интонацию Степанова. — Ведь за ночную работу водителям грузовиков надо больше платить, а это нарушение равенства — богатеи среди шоферов появятся, нельзя...

— Думаю, не только в этом дело, — возразил генерал, открывая папку (перед началом серьезного разговора всегда «делал шаг в сторону», разминаясь, словно спортсмен). — Мне кажется, что городские власти не хотят идти в Министерство финансов и хлопотать дополнительные средства... А мы все дело поставили на режим экономии... Могут «неверно понять», кто-нибудь на собрании зацепит, к чему рисковать?.. Посадили бы умного экономиста за компьютер, попросили бы посчитать без гнева и пристрастия — вот бы и получили справку: увеличение заработной платы тем шоферам грузовиков, которых перевели на ночной график, даст миллионы экономии народному хозяйству — на одних только дневных пробках, когда попусту жгут десятки тонн бензина под светофорами, тратим черт знает сколько... А ведь не бензин жгут, а золото — время, говоря иначе...

— На что так рассердились? — деловито поинтересовался Славин.

Генерал вдруг рассмеялся:

— На Центральное разведывательное управление, Виталий Всеволодович. Я ведь тоже кончил работу по оперативным материалам на Пеньковского... Знаете, о чем я — чем дольше их изучал — думал?

— Я лишен дара ясновидения...

— Жаль... Хорошо иметь ясновидящего помощника...

— Рискованно, — возразил Славин. — Каждый из нас

имеет что-то такое, что принадлежит только ему, всеобщее обозрение нежелательно.

— Спору нет. — Лицо генерала обрело свое обычное, собранное, несколько даже жестковатое, выражение. — Так вот, Виталий Всеволодович, я пригласил вас для того, чтобы вы разбили мою версию...

— А вы мне потом выговор влепите...

Словно бы не услыхав шутливого замечания Славина, генерал продолжил:

— Зачем Лэнгли — особенно в последнее время работы этого агента — нужно было попусту светить Пеньковского? Зачем они заставляли его постоянно рисковать, требуя чуть ли не еженедельного обмена информацией? Они намеренно подталкивали его к провалу...

— Доказательства, пожалуйста...

— Посмотрите эту папочку на досуге, я кое-что подобрал.

— Посмотрю самым внимательным образом.

— Словом, я позволил себе допуск версии, — заключил генерал. — Либо они, практически выдав нам агента такого уровня, как Пеньковский, хотели вызвать в стране психоз шпиономании, тотальную подозрительность, которая в век научно-технической революции чревата необратимыми последствиями, поскольку отсутствие живого обмена идеями отбрасывает на десятилетия, либо он перестал им быть нужен, потому что нашли более серьезную замену...

— Кульков? — спросил Славин.

Генерал не ответил, продолжая говорить неторопливо, словно бы присматриваясь к своим словам со стороны:

— Попробуйте поспрашать его: кто-нибудь когда-нибудь из американских коллег говорил с ним о Пеньковском? Особенно в самом начале его работы против нас. Вы наверняка почувствуете, лжет он или приближается хоть к какому-то подобию правды.

— Версия интересна, — заметил Славин, — но мне сдается, что она грешит неким сверхжестким прагматизмом... Отдать такого агента, как Пеньковский, во имя раскачки психоза?

Генерал убежденно ответил:

— Мавр сделал свое дело... Если они решили, получив замену, отдать его нам, чтобы вызвать в стране волну подозрительности, то, значит, комбинировали возможность его провала заранее. Видимо, они заранее планируют гибель своего агента, но при этом тщательно просчитывают, как обратить это себе на пользу... Правда, с Лесником, с их Трианоном, они проиграли вчистую, с сухим счетом... Но я не знаю, что у них было запланировано, не покончи он

с собой... А что запланировано с Кульковым? Какие акции они предпримут, догадайся о его провале? А если они уже как-то узнали об этом? У вас есть предложения?

— Есть, — ответил Славин. — Есть, товарищ генерал. Мне очень хочется поверить Кулькову.

«Стивен! Дорогой мой человек!

По тем телефонам, которые ты мне оставил, ни тебя, ни твоей подружки нет: я звонил к вам утром, днем и ночью. Поэтому решил написать тебе. Тем более что один русский — я тебе рассказывал о нем, хотя ты мог и не запомнить, если был увлечен своими формулами, — сказал страшную фразу: «Помирись со Стивом, иначе не сможешь писать...» Вообще-то я давно сочинил письмо, потому что разговоры у нас как-то не получались последнее время: на каждый мой довод ты легко, чуть раздраженно и снисходительно выдвигал свои, очень четкие, достаточно холодные и резкие, которые опровергали мою позицию, — посылал в хороший нокаут... Я обижался, не стану лгать тебе... Наверное, это плохо... Говорят, что за детей, как и за любимых женщин, надо уметь воевать. Правда, на понятие такого рода «войны» люди не проецируют тот необратимостремительный ужас, который я воочию видел во Вьетнаме и Ливане, отнюдь. Речь идет о хитрости, маневрах, экономических рычагах — словом, о постепенности, которая противопоказана как тебе, так и мне: наверное, дают себя знать капли итальянской крови, тем более наш с тобою Голливуд мало чем отличается от Неаполя. Я имею в виду климат, естественно.

Умом-то я понимаю, как можно воевать за тебя, существует несколько способов, вполне действенных. Поскольку мама умерла, когда ты был совсем маленьким, ты всегда тянулся к тете Мэри, тем более они с мамой погодки, очень похожи и характер у обеих ангельский. Я ведь помню, с каким плохо скрываемым счастьем ты собирал свои вещички, когда я отвозил тебя на каникулы к ней или к бабушке. Честно говоря, мне это было чуток горько, потому что я никогда не жил для себя, во имя своего личного блага: мое треклятое кино и ты, это было неразделимо в моей жизни. Я понимал, что ты никогда не сможешь принять другую женщину в доме, которая бы утром жарила мне кусок мяса, пока я в кровати читаю газеты. (Наши с тобой итальянские предки были крестьянами, поэтому в генах заложена привычка крепко перекусить в начале дня — основная крестьянская работа приходится именно на первую

половину. Один мой русский друг часто повторял: «Кто рано встает, тому бог много дает». Очень верно.) Ты не сможешь никого принять, считал я, потому что в нашем доме все жило памятью мамы... Да и я, в общем-то, отдавал себе отчет в том, что вряд ли какая-либо женщина может хоть в чем-то быть равной ей, поэтому не сердись, читая мое письмо, не говори, что, мол, я упрекаю тебя за то, что остался один. Я очень благодарен Всевышнему — он подарил мне годы счастья, когда мы с тобою жили под одной крышей и, как я считал, не было в мире более надежных друзей, чем ты и я... О том, что я считаю дружбой, напишу чуть позже... Видишь, вязну во фразах — первый признак усталости, а может быть, это и есть старость?

...Итак, «воевать» за детей...

Поскольку я очень дружен с тетей Мэри и с бабушкой, я, наверное, должен был бы поехать к ним, когда впервые заметил, что в наших с тобою отношениях началась какая-то дискомфортность, поначалу угадываемая лишь, никак не выраженная словом или поступком, и попросить их, именно их, повлиять на тебя, но мне это, после достаточно долгих дискуссий с самим собою, показалось недопустимым; влияние надо организовывать в бизнесе или политике, но в отношениях между отцом и сыном? Черт его знает, быть может, я совершил тогда первую ошибку.

...Я видел, как ты преклонялся перед своим преподавателем математики в колледже, Джорджем Робертсоном; из-за этого я сошелся с ним, мне было важно понять, какие человеческие черты вызывают в тебе чувство восхищения. После десяти вечеров, которые мы провели с Робертсоном, мне показалось (хотя, возможно, я не прав), что тебя привлекает в нем непреклонная компетентность, мужественная суровость, невероятная выдержка — я его нарочно дразнил — и неукоснительное право, данное ему директором колледжа, ставить вам оценки, поднимая кого-то одного над всеми другими, а детское честолюбие не только врожденная черта характера, но и вырабатываемая школой. Хорошо это или плохо — честолюбие? В общем-то, конечно, хорошо. «Честолюбец» — это «человек, который любит честь». Дети, когда мама и папа перестают быть непререкаемыми авторитетами, кардинально переосмысливают свое отношение к родителям, проецируя на них не только образы, почерпнутые из книг, но и характеры тех людей, с которыми их начинает сводить жизнь: первый друг, родители друга, преподаватель, первая подруга (или дружок, если речь идет о дочери), первые беседы с теми взрослыми, которые

не были вхожи в родительский дом... Опыт, приобретаемый детьми, постепенно входит в своеобразный конфликт с опытом отцов и матерей...

Чтобы свергнуть существующий авторитет, нужно утвердить какой-то другой. Следовательно, некий приятель по колледжу или еще какой-то человек, с которым ты случайно познакомился, должен, если он претендует на то, чтобы стать твоим другом, заявить себя как авторитет, то есть предложить тебе новый эталон поведения и мышления, отличный от того, к которому ты приучен дома. Этот человек, как правило, ниспровергает авторитет отца и матери, иначе он не возьмет над тобою верх.

После долгих и достаточно скучных вечеров с Робертсоном я еще раз убедился в правоте суждения: последователем быть хорошо, но подражателем — плохо. В разговорах с тобою я не мог заставить себя быть немногословным, весомым, сдержанным — проклятая итальянская кровь, огонь и сера! Мне казалось, что ты обидишься на меня, если я стану вести себя с тобою так, как этот квакер Робертсон. Но отчего же тогда его совет и слово были для тебя абсолютом?! А он отнюдь не всегда был прав, да и открывал вам не все то, что знал: взвешенное распределение откровений по пропорциям. Неужели только так нарабатывается авторитет в глазах юношества?! И самые добрые человеческие отношения строятся на принципе точного расчета, что и когда дать?!

Знаешь, отчего я перестал с ним встречаться? Он как-то заметил, что ты слишком избалован. Нет, нет, не в том, вульгарном смысле — высокомерен, капризен, обижаешь черных... Нет, он сказал другое: «Вы воспитываете Стивена как тепличное растение, не понуждаете его узнать на собственном опыте, сколько стоит «хот дог»[1]. А сын Джекобса, директора нашего Первого банка, работает по вечерам на бензозаправочной станции, чтобы скопить себе деньги за оплату обучения на первом курсе университета».

Разумом-то я понял правоту холодноглазого Робертсона, но сердце мое восстало. Он стал мне активно неприятен после этих слов: мой мальчик и так понимает, как трудна жизнь, зачем создавать ему искусственные препятствия, это же мой сын, а не олимпийский бегун, которого тренируют для рекорда в прыжках через планки на гаревой дорожке. Мой сын достаточно умен и добр, чтобы чувствовать, каково мне дается наша с ним «хот дог», он видит, каково мне жить в нашем жестоком мире, у него прекрасное

[1] Бутерброд с сосиской *(американский сленг)*.

сердце и тонкий ум, мы друзья, а черствый воротила Джекобс просто-напросто натаскивает преемника, никак не заботясь о том, чтобы сын навсегда остался его другом. Для их семьи всегда главным было д е л о, а не тепло человеческих отношений, к о м п а н ь о н ы...

...Прости, но только теперь, по прошествии шести лет после этого разговора, я начинаю думать, что холодноглазый квакер был прав. Я был обязан переступить через самого себя и во имя нашего же общего блага заставить тебя на деле ощутить меру физических и моральных трат во имя получения проклятой долларовой монеты. А ведь ты никогда не знал отказа ни в чем. Другое дело — нет более тактичных детей, чем ты. Я не помню ни одной обиды или каприза, когда я не мог чего-то тебе купить. Ты это переносил молча, а для меня это была трагедия. Детей нельзя лишать тренинга. Гаревая дорожка с препятствиями нарабатывает ощущение самостоятельности, с одной стороны, и с другой — уважительности к труду того, кто гарантирует и полет на Аляску, и новую модель гоночной машины, и полную независимость в суждениях... Когда приходится ради хлеба насущного стоять у конвейера на заводе Форда, независимость суждений подменяется автоматизмом движений и чувством благодарности судьбе за то, что вечером можно поесть как следует и растянуться на тахте возле видео. Не до суждений и борений с самим собой... Отдых... Да здравствует бездумный, расслабленный отдых!

В начале этого унылого и, видимо, бесполезного письма я помянул дружество, помнишь?

Знаешь, когда я на тебя впервые по-настоящему обиделся? Я расскажу, это плохо — держать в себе обиды: разъедает, как ржавчина... Помнишь, однажды нас пригласили к Равиньоли? Торговец галантереей и парфюмерией, но при этом «почетный консул» Италии в Лос-Анджелесе? Увы, жизнь приучила меня делить свой день на благословенные минуты работы и на изнуряющие часы раздумий и советов с юристами по поводу тактики: у какого продюсера целесообразнее клянчить деньги на новую работу, какая тема может оказаться кассовой, как в этой кассовой, то есть обеспечивающей наше с тобою благополучие, теме не потерять себя, а, наоборот, сказать людям про то, что жжет сердце... Помнишь фильм, который мы с тобою смотрели? «Мефисто»? Об артисте, который продался дьяволу гитлеризма, успокаивая себя тем, что он и г р а е т в дружбу с наци, а на самом-то деле отстаивает свое право говорить

правду несчастным немцам... Я часто думаю об этой ленте, Стив. Это очень горькая, но нужная картина — людей надо постоянно предостерегать, обращаясь к недавней истории. Впрочем, роман Манна, по которому снята эта картина, куда лучше, пожалуйста, прочитай его.

Так вот, галантерейщик Равиньоли, имеющий тесные связи с Сицилией, а значит и с мафией, — при том, что он мне весьма и весьма несимпатичен, — может оказаться полезным в новой работе, которую я рано или поздно сделаю. Это будет предметное исследование мафии, ее ужасной, разъедающей человеческие сердца и души сущности. Помнишь, я сказал тебе, что сегодня мы пойдем к Равиньоли? Ты сразу же ушел к себе в комнату, закрыв дверь так резко, что я услышал это, сидя на кухне. Я сразу почувствовал, как ты раздражен. Твое настроение всегда передавалось мне. Наверное, я должен был заставить себя понять твое состояние: отец, художник, идет на поклон к парфюмеру! Но я не мог понять, какой вывод ты сделал из этого верного посыла: «Отец продает душу дьяволу?» Или: «Бедный старик, с кем ему приходится иметь дело в его работе?!» Или: «Пусть он себе ходит, а я живу в мире абстрактных формул, мне это не надо». Словом, в доме повисло раздражение, и я, видя, как ты нервничаешь (румянец двумя пятнами выступил у тебя на скулах), был вынужден сказать тебе, что пойду один. Наверное, я был снова не прав. Я был обязан заставить тебя пойти со мною вместе, объяснив, что мужское дружество предполагает взаимовыручку, ощущение чувства локтя, уверенность в том, что прикрыта спина... Но я тогда не сделал этого... Я виноват кругом, потому что воспитание ребенка, увы, предполагает не только ласку, но и твердость. Ты в этом убедишься, когда у тебя будут дети, помяни мое слово... Понятно, я вернулся от Равиньоли раздраженным, потому что, конечно же,там царил иной дух, отличный от того, в котором живем мы; а я был один; а ты позволил себе оставить меня одного... Мне бы ночью прийти к тебе и сказать: «Сын, это очень плохо, когда друзей бросают в беде...» Но я испугался того, что ты — ничего не попишешь, математик, логика твоя стихия — ответишь: «А зачем ты роняешь себя, принимая эти приглашения?» Я должен был спокойно возразить, объяснив про мой замысел о картине про мафию. Но ведь ты знал об этом замысле! Знал, Стив! Я боялся, что ты скажешь: «Делай другую картину, у тебя есть что сказать и без мафии...» Логично? Вполне. Только очень холодно... Ты потом часто оставлял меня одного — и когда

приезжал продюсер Гринберг, ты не любишь его, но что делать, ведь именно он пока что финансирует мои фильмы, и когда вваливался Берни, действительно назойлив, но именно он ведет наши с тобою дела... И кстати, прожил шесть лет в сельве, среди индейцев; направь разговор в нужное русло, получил бы массу поразительной информации... В пустыне глаз отдыхает на маленькой травинке; во время деловых ужинов глаз должен отдыхать на самом близком, на друге, сообщнике, на сыне... Ты лишил меня права на такого рода отдых... Но ведь если бы я, рассердившись, прервал свою «деловую активность», будь она неладна, как бы ты продолжал обучение в университете?! Кто платил бы за тебя три тысячи долларов в год?! Кто бы оплачивал твои расходы на бензин? Университет расположен далеко от дома, в автобусе ехать часа два, а я сам учил тебя ценить время. Но ведь ты не работал, как сын Джекобса, на бензоколонке по ночам... А я не пошел к тете-Мэри и не съездил к бабушке, чтобы они повлияли на тебя... Одна моя приятельница как-то сказала:

— Ты допускаешь ошибку, Юдж. Ты никогда не понуждал Стива ни о чем тебя просить. Ты всегда угадывал его желания. Дисциплина взаимоотношений складывается также из того, что дети на опыте познают ценность духовных и материальных благ, получаемых от родителей.

Мне показались ее слова очень жесткими. Я не смог погасить в себе такого же отношения к ней, какое у меня возникло к твоему кумиру, математическому квакеру Робертсону; я перестал видеться с ней. Сейчас, по прошествии лет, я стал часто вспоминать ее слова. Нет, я не жалею о том, что прервал наши отношения, — все, что происходит, происходит к лучшему, тем более что я никому и никогда не смогу простить дурного или неуважительного слова о моем сыне. То, что я говорю тебе, — это одно; никому другому это не позволено.

И вот еще о чем я хотел тебе сказать... Привычка... Хорошо это или плохо? В чем-то да. В чем-то нет. В мире нет однозначных понятий. Хорошо ли, что ты привык к тому, что любое твое желание будет мною выполнено? Плохо. И это не твоя вина, а моя беда... Вообще, если внимательно прочитаешь письмо, легко поймешь, что оно звучит приговором самому себе. В том, что отношения между отцами и детьми отклоняются от первозданных, виноваты родители. И, как правило, такое чаще случается в семьях интеллигентов. Знаешь почему? Мы слишком обидчивы. Как бабы. Я, например, знаю, что автор постоянной колонки, освещающей новинки кинематографа, сукин сын

Ларри Арс, настоящий расист, для него не только негр человек «низшей расы», но и я, итальянец, тоже «неполноценный». Я знаю, что он связан с ку-клукс-клановской бандой и прочими фашистскими союзами, ратующими за «чистоту крови» и «верность почве». Но вместо того чтобы ответить на его злую, мелочную, пристрастную критику, привлечь его к суду, я обижаюсь... Мы, интеллигенты, уж очень часто обижаемся, так вернее... А он потирает руки. Капля долбит камень! Не все смотрят мою картину, но почти все читают скандальную хронику Ларри о фильмах и режиссерах! Обидевшись на какое-то время — как раз в такие дни я бывал особо замкнут, что несколько сердило тебя (а я про это не хотел тебе говорить, чтобы не расстраивать), — я начинал новую работу и в ней находил успокоение, а также в тех добрых письмах, которые присылали тысячи моих зрителей... Черт с ним, думал я о Ларри Арсе и подобных ему... Впредь я этого делать не намерен... Надо отвечать немедленно и беспощадно на каждую мелкую подлость, потому что именно из них, из этих малозаметных широкой публике мелочей, рождается зло...

...Прочитав это письмо, я вдруг подумал: все ерунда и чушь. Ты самый лучший сын изо всех, какие есть на земле, потому что ты из тех денег, что я тебе давал, покупал подарки своим друзьям, не забывая никого... А я покупал подарки только тебе...

Да, детство принадлежит родителям, дитя еще связано с ними некоей незримой пуповиной, но взрослые сыновья и дочери получают теперь гигантскую информацию, их головы полны новыми идеями, иными представлениями, чего их винить... «Благодаренье, господи, тебе за все то зло, что сделать не успела...» Замечательные строки, а? Написала их восемнадцатилетняя девушка...

Помнишь, как в прошлом году мы с тобой поехали на охоту? И легли переночевать в палатке на деревянные подстилки? А егерь устроился над нами... Как же ты крепко и зло стукнул меня по больной ноге, когда я захрапел... А я ведь чертовски трудно засыпаю, а там, на воздухе, решил обойтись пару дней без снотворного... Когда же егерь под утро проснулся и начал заматывать ноги трескучим прозрачным целлофаном, ты лежал тихий, как мышонок... Что ж ты ему не сказал: «Потише, приятель, я спать хочу...»

Помнишь, как раньше ты всегда собирал меня в дальние поездки и как мы с тобой сидели возле чемодана и шутили, мечтали, думали о том, что станем делать, когда я вернусь...

А перед моим вылетом в Женеву ты даже не заглянул, и конечно же все, что надо, я оставил дома. Теперь приходится ходить по душным магазинам и покупать необходимые мелочи, которые в Швейцарии ужасно дороги...

А помнишь... Прости, только что позвонили из Дворца прессы, что-то срочное, поеду... Дописывать не стану, отправлю так, тем более дописать это невозможно...

Я тебя очень люблю, Стив. Мне пусто без тебя. Не думай, я не ревную тебя к твоей подружке, бог с ней... Давай-ка попробуем с чистого листа?

Позвони, а? Или напиши. Посылаю тебе это нудное письмо экспрессом. Значит, послезавтра оно будет у тебя.

Целую».

РАБОТА-IX

— Геннадий Александрович, объясните-ка мне, пожалуйста, — Славин подвинул Кулькову чашку кофе, — отчего вы так опрометчиво обошлись с сотенной ассигнацией? Неужели не могли ее сбыть как-то иначе? Зачем рассчитывались ею в доме друга?

— Случайность, — ответил Кульков без раздумья, и Славин понял, что человек, сидящий напротив него в мягком кресле, за маленьким, изящным столиком, где обычно располагались Груздев, Гречаев и Коновалов, давно и многократно продумал линию поведения, открывая далеко не все, что знает, но лишь то, что ему по каким-то неведомым соображениям выгодно.

Славин пришел к этому заключению после того, как Груздев положил перед ним кипу папок, в которых были собраны беседы со всеми, кто знал Кулькова или даже встречался с ним в течение последних двадцати пяти лет. Савватеев, кандидат наук из института, заметил между делом, что Кульков, учась в аспирантуре (диссертацию тогда не защитил, профессор Иванов помог с л о ж и т ь ее много позже, практически написав от начала до конца), болезненно, с какой-то даже истеричностью относился к успехам своих соучеников.

— Послушайте, полковник, — сказал Славин, — а не посмотреть ли вашим коллегам все персональные дела профессора Иванова? Раньше завистники — в лице Сальери — давали яд, нынешние пишут анонимочку, но это, пожалуй, еще пострашнее яда, можно долго наслаждаться видом мучений оболганного. Воистину: «Ах, какая благодать кости ближнего глодать!»

Дело профессора затребовали из архива научного центра — пухлое; бумажка подшита к бумажке; неподписанное грязное заявление, с которого, еще в молодости, начались все его катавасии, было напечатано на машинке; просчитали на компьютерах, и оказалось — Славин поначалу ничего не мог понять, а потом лицо его внезапно перекосила гримаса какой-то яростной гадливости, — что о т с т у ч а л и заявленьице на пишущей машинке самого Иванова; каково?!

Славин позвонил профессору, договорился о встрече, предложил увидеться в кафе. Выехал сразу же, полагаясь на то, что беседа окажется саморегулирующей; времени на подготовку не было, полнейший цейтнот.

— Что вы грустный? — спросил Иванов, мазанув своими маленькими кабаньими глазками осунувшееся лицо Славина.

— Любимая бросила, — ответил тот. — Хожу по пустой квартире, думаю, как бы поскорее удрать на море, предварительно закончив очерк о вашем брате...

— Если бросила, очерк не получится... Работа идет хорошо лишь в моменты влюбленности: подъем душевных сил, желание самоутверждения, смутная надежда потрясти ту, которой отдал сердце...

— У кого как, — возразил Славин. — Один мой приятель, композитор, лучше всего работает, когда его бросает очередная жена... «Страдание угодно моей душе, — уверяет он меня. — Без страданий не было бы Достоевского». Когда я заметил, что Тургенев состоялся на иной концепции, как, впрочем, и Толстой, он обвинил меня в непонимании нашего национального духа...

— Не сердитесь на него, — вздохнул Иванов. — За вольно трактуемое понятие национального духа прячутся, как правило, беззащитные люди, неуверенные в себе, полагающиеся на спасительную множественность.

Славин усмехнулся:

— Мои слова.

— Я не честолюбивый, — усмехнулся Иванов. — Считаете своими — и считайте на здоровье, какая разница чьи, в конце-то концов.

— Я хочу вам предложить мороженое с вареньем и тостиками... Как отнесетесь к такой перспективе?

— Положительно.

— Все-таки наше мороженое самое вкусное, нигде в мире нет вкусней...

— Ну уж! — возразил Иванов. — Ничего подобного! По мне, самое вкусное мороженое у французов...

— Да? — удивился Славин. — Странно, я полагал, что уж в чем в чем, а в мороженом мы уверенно обогнали передовые капиталистические страны... Вы, кстати, где были за границей последний раз?

— В Берлине.

— А до этого?

— Не помню... Кажется, в Будапеште...

— А в Париже когда были?

— Когда меня еще к буржуям пускали... В семьдесят первом, по-моему...

— А почему потом перестали пускать?

— Занялся новой темой... Закрытая, как у нас говорят... Ну и... Меня, кстати, это не очень и трогает... Я здесь люблю жить. Да и потом с нашими-то командировочными на Западе себя чувствуешь как бедный родственник... Я в Альпах хотел подняться на фуникулере, снежные поля посмотреть, так один билет тридцать швейцарских франков стоил... Чуть не половину того, что дают на день! Ну их к черту! Здесь я человек, а там ходячий арифмометр: броди мимо витрин и подсчитывай, кому что купить, а в номере грызи сухую колбасу! Срам... Я привык жить широко... Здесь. Дома.

— Вас перестали пускать не из-за того, что вы занялись закрытой темой, Георгий Яковлевич, — грустно заметил Славин. — На вас анонимку написали... Очень подлую. С этого все дело и закрутилось...

— Так их на меня все время пишут. — Иванов пожал плечами. — Я привык. Человек ко всему привыкает... Это в молодости возмущаются, ищут правду... А в моем возрасте приходится экономить время; я теперь и в горы беру с собой работу, и на море... Это в радость, если работать интересно, кайф, как говорят молодые.

— А кто еще занимался темой, аналогичной вашей?

— Черт его знает... Как-то меня это не интересовало... Хотько занимался, Влас Хотько, профессор из Киева... Очень интересный теоретик... Вайцман... Фима Вайцман... Вот и все, кажись...

— Так ведь кандидатская почти на такую же тему была у этого... Вылетело из памяти... Что-то связано с сумками...

Иванов рассмеялся:

— У Кулькова? Сюжет из Чехова, лошадиная фамилия... Нет, диссертация Гены не в счет...

— Что, не интересная?

Неуловимая улыбка тронула тонкие, жесткого кроя, губы Иванова; интересно, что он ответит, подумал Славин; сам же ему писал диссертацию...

— Трудно сказать. — Иванов попробовал мороженое, удовлетворенно кивнул: — Между прочим, действительно, очень вкусно, я такого не ел, беру на вооружение... Что касается диссертации Кулькова... Гена ведь больше организатор... Как теоретик он не слишком силен... Честно говоря — но это, конечно, между нами, — я ему помог сделать эту работу...

— По старой дружбе?

— Опять-таки на ваш вопрос ответить нелегко... Гена относится к тому типу людей, с которыми нельзя дружить... Он удобный, очень славный, удобный человек, но друг...

— По-моему, «славный человек» вполне может быть синонимом понятия «друг».

— Вы хорошо чувствуете слово, — заметил Иванов. — Вы правы, я употребил не то выражение... Разве у вас нет таких знакомых, которые журчат, не раздражают вас, а, наоборот, рассказывают новости, готовы услужить? Есть, конечно... И вы им тоже готовы помочь...

— Слушайте, а вы ему часто ключ от своей квартиры давали? — неожиданно для самого себя спросил Славин и сразу же пожалел об этом.

— Не ваше дело, — грубо ответил Иванов и посмотрел на Славина с удивлением и нескрываемой неприязнью. — Бестактно задавать вопросы такого рода.

— Я бы не посмел задать вам этот, как вы говорите, бестактный вопрос — вы правы, он действительно некорректен, — если бы анонимное заявление о том, что вы скрытый антисоветчик, не было напечатано на вашей машинке...

— Что?! — Иванов даже откинулся на спинку стула.

— Оно самое.

— Не может этого быть!

— Я говорю правду.

— Не может быть, — повторил Иванов. — И потом — откуда вам это известно? Кто вам мог сказать, что заявление против меня было написано на моей же машинке? Этим следствие занимается, а вы...

— А я? — спросил Славин.

Иванов отодвинул от себя мороженое:

— Знаете, мне что-то не хочется с вами говорить. Точнее сказать, мне вдруг расхотелось с вами беседовать.

Славин достал из кармана страничку, на которой был напечатан неподписанный текст: «Антисоветские высказывания, анекдоты, пьянки, цинизм», — и молча протянул Иванову:

— Это стоило многих часов работы в архивах, Георгий Яковлевич... Так что, пожалуйста, смените гнев на милость.

— Не хочу я читать всякую гадость, — упрямо повторил Иванов, но в голосе его уже не было той внезапно возникшей отчужденности, которая слышалась только что.

— Взгляните на дату, Георгий Яковлевич, — попросил Славин. — Только на дату...

— Ну и что? — Иванов надел очки, поглядел число, месяц и год. — Ну и что? Посмотрел. В этот день новый Эйнштейн родился? Или Чайковский?

— Нет. На следующий день вас убрали от академика Крыловского, вот что тогда случилось. Академика — через месяц после этого — сделали консультантом правительства по ракетной технике... И работать с ним начал Кульков...

Иванов снова подвинул себе мороженое, взял своими толстыми пальцами сухой ломтик торта, обмакнул его в растаявшие сливки, облизал, словно кот, и заметил:

— Сейчас вы говорили, как расчетчик... У вас ум математика... Но вы не математик... И не журналист... Видимо, вы из КГБ. Если не можете ответить правду, промолчите, я довольно остро чувствую ложь...

— Вы правы, я действительно из ЧК.

— Почему сразу не представились? Игры играете?

— Играл, — поправил его Славин. — Сейчас перестал... Вам придется уехать из города, Георгий Яковлевич...

— Не могу. У меня завтра защищается аспирант, сильный парень, поэтому много врагов, надо прикрыть...

— Защиту придется перенести.

— Что значит перенести?! Вы подумали, каково будет парню?! Да и потом, почему я должен уезжать?

— Должны.

— Арестовываете, что ли?

— Я забронировал вам номер в отеле «Ялта», и это было очень не просто сделать. — Славин усмехнулся чему-то. — Туда сейчас буржуй повадился, все места распроданы за месяц вперед... Покатаетесь на водных лыжах...

— Это несерьезно...

— Это серьезно, — ответил Славин. — Вы даже не представляете себе, как это серьезно.

— С чем связано? — Иванов снова отодвинул мороженое.

— Я пока не могу вам ответить... Я не стал оформлять мою просьбу о вашем отъезде официально: пришлось бы приглашать вас к нам, звонить в спецчасть вашего центра... Я решил обратиться к вам лично.

— Погодите-ка... Вы начали с Кулькова... Потом показали мне анонимку, напечатанную на моей же пишущей машинке... После этого провели прямую между датой ее составления и временем моего отвода от Крыловского. А отсюда подбросили идею о выдвижении академика на ключевой пост в ракетной технике... Если вы посмеете после этого сказать, что Крыловский имеет отношение к шпионажу, я вам здесь же, не сходя с места, надаю пощечин.

— В милицию заберут, — ответил Славин. — Протоколами замучают... Не бейте... Тем более что я полон ришпекту к академику Крыловскому.

— Слава богу. Но тогда остается только один вывод — особенно в связи с тем, что вы поинтересовались, не давал ли я ключ Гене от моей квартиры, — и вывод этот однозначен: вы подозреваете Кулькова?

Славин долго молчал, а потом, проклиная себя за характер, ответил:

— Мы арестовали Кулькова.

— Да я ж сегодня к нему звонил, мне сказали, что он в Берлин вылетел...

— А вы хотели, чтоб вам ответили, мол, сидит Кульков? Ему ведь не только вы звоните... Скажите, часто бывало, что в пятницу, когда вы садились за пульку, кто-то несколько раз подряд звонил по телефону и не отвечал?

Иванов нахмурился, видимо, отчего-то заинтересовавшись вопросом. Ну и лбище! Славин вспомнил, как однажды Степанов похвастался: «Ко мне в Крыму как-то подошла парочка, протянули открытку, а на открытке стихи собственного сочинения: «Плечи богатырские, голова Сократа, напиши автограф для нашего брата». А у Мити голова махонькая в сравнении с ивановской, вот уж действительно Сократ...

— Бывало, — ответил Иванов после долгой паузы. — Но вы же знаете наши телефоны...

— Знаю. Но если вы постараетесь вспомнить, то, думаю, убедитесь, что такого рода звонки раздавались именно в те пятницы, когда у вас был Кульков, и к телефону подходил он, произнося обычное в таких случаях «алло».

Иванов долго молчал, а потом хлопнул своей толстой ладонью по мраморному столику так, что подпрыгнули бокалы с мороженым:

— Но ведь если он написал анонимку, то сделал это, именно когда я закончил ему диссертацию! Зачем?! Объясните мне, зачем?!

— Не объясню. Не знаю. Предположить могу: ему надо было занять ваше место... Подле Крыловского...

— Но это же бесчестно, — как-то жалобно сказал Иванов. — Это по-скорпионьи...

— Ничего подобного, — возразил Славин. — Скорпион жалит того, кто его везет через реку, и тонет вместе с ним... Кульков же хотел, чтобы вы утонули в одиночестве... Георгий Яковлевич, я должен вас предупредить о том, что про арест Кулькова знаете только вы?

— А генерал с артистом?

— Генерал знает, артист нет. Повторяю: предупреждать не надо?

— Не надо.

— Вы ни с кем не поделитесь этой новостью? Если вы сделаете это, стране может быть нанесен непоправимый урон...

— Повторяю, я никому ничего... — Иванов вдруг набычился, прервав себя, замер, лоб навис над столом, а потом рывком поднялся: — Едем ко мне! Быстро!

В однокомнатной квартире, которую он снимал, царил артистический беспорядок, который, однако, таил в себе некую аскетическую организованность: письменный стол, составленный буквой «г» из двух обычных, раздвижных столов, был ареной работы; в горе книг явственно угадывалась система; стопка исписанной бумаги была заложена разноцветными листочками; все, что не относилось к столу, словно бы не интересовало хозяина.

— Сейчас, погодите-ка, где же это?! — Иванов остановился посреди комнаты. — Кажется, в чулане, ну-ка, помогите...

Он распахнул в прихожей дверь чулана, задекорированную обоями под кирпичную кладку, и начал выбрасывать оттуда дорогие горнолыжные ботинки, спортивную одежду, вытащил водные лыжи «росиньоль», потом достал два тяжелых ящика — книги, которые не умещались на полках, — а уже после этого три чемодана; самый последний, плоский, под крокодилову кожу, принес в комнату, вывалил из него на пол конспекты, книги, несколько рубашек, дырявые носки, вытертую меховую шапку и две пары рукавиц.

— Так вот, — словно бы сопротивляясь самому себе, скрипуче сказал Иванов, — этот чемодан мне подарил Гена. Накануне одной из моих поездок на Запад. «Не с фанерным же тебе ехать, стыд, думай о престиже». В поездки меня собирал он, я этого не умею; ключ от квартиры был у него постоянно; поглядите чемодан. Как правило, встретив меня

в аэропорту, он грузил его в свою машину и никогда, понимаете, ни-ког-да, сразу не приезжал ко мне, обязательно заезжал куда-то по дороге: то домой, то на работу, то к другу... А что, если он переправлял в этом чемодане информацию?! В любом отеле ничего не стоит войти в номер, мы же останавливаемся в тех, что подешевле.

Тайник в чемодане нашли сразу же; анализ подтвердил, что в тайнике перевозились фотопленки; там же без особого труда обнаружили отпечатки пальцев, которые, как вскоре было установлено, оставил Кульков.

Через десять минут после того, как Славин поднялся к себе, его пригласил генерал:

— Я попросил специалистов внимательно поглядеть текст донесения, которое Кульков предложил нам отправить в Лэнгли. Посмотрели. И вычислили слово «либерти»... Там, конечно, получились тысячи вариантов слов, как понимаете, но меня заинтересовало именно «либерти»... Помните, в одной из радиограмм ЦРУ инструктировало Кулькова: «В крайней ситуации в действие вступит план «Либерти». При этом, однако, мы должны не только получить возможность увидеть вас, но и убедиться, что это действительно вы, а не двойник...» Ай да Кульков! Ай да желание «искупить вину»!.. Что вы на это скажете?

«ЗАУМЬ ЭЙНШТЕЙНА — НЕ НАШЕ ДЕЛО!»

Академик, друзья называли его Нолик, ведущий специалист по космосу, нашел Степанова через советское представительство: приехал на несколько дней в качестве научного эксперта; с людьми сходился быстро; рыжеволосый, голубоглазый, он источал доброжелательство; глянув на Кузанни, заметил:

— Я прочитал сегодня вашу корреспонденцию в «Нью-Йорк трибюн». Мне понравилось. Хотя вы не очень-то компетентны в нашей проблематике, но широкий читатель вас поймет больше и лучше, чем специалистов, заседающих во Дворце наций...

— Спасибо, — ответил Кузанни. — Я знаю ваше имя, поэтому мне очень приятно слышать именно от вас такую похвалу.

Степанов отправился на кухоньку включить плитку: можно сделать яичницу с плавленным сыром — поужинать, не выходя из номера.

— Митя, знаешь, у кого я только что был?!

— Откуда же мне...

— У Сименона, представь себе! И он прекрасно помнит тысяча девятьсот десятый год, когда к Земле приблизилась моя комета Галлея.

— Почему ваша? — удивился Кузанни.

— Потому что я ею занимаюсь. Вплотную. Каждый день. И жду ее приближения к Земле — весна восемьдесят шестого... Так вот слушайте, люди... Митя, ты слышишь?

— Слышу, — ответил Степанов, орудуя сковородками.

— Сименон, оказывается, помнит, как его дядя фотографировал комету на темные, закопченные стеклянные кассеты... Он рассказал о страшной панике, которая царила тогда в Америке: «Наступает конец света!» А сейчас, когда человечество стоит на грани гибели из-за возможности реализовать идею космических войн, все спокойны! Идиоты какие-то, честное слово! Людская логика совершенно неподвластна расчетам! Сименон меня спросил, отчего с появлением кометы Галлея связаны такие ужасные представления о грядущих земных катастрофах... Я рассказал ряд случаев, они действительно занятны...

— А нам?.. — крикнул с кухни Степанов.

— Вам это действительно интересно? — Нолик посмотрел на Кузанни.

— Еще как! — ответил тот.

— История хранит рассказ о том, как накануне одного из важнейших сражений Вильгельма Завоевателя, герцога Нормандского, в небе появилась комета Галлея, — начал академик. — Он решил, что это хорошее предзнаменование для него и плохое для врагов, и смело ринулся в битву под Гастингсом, тысяча шестьдесят шестой год... И действительно, битву выиграл. Жена его Матильда в честь победы заказала фантастический гобелен, или не знаю, как это тогда называлось, семья Гобеленов как будто бы начала свое производство много позже... Неважно... Это был гигантский настенный ковер, чуть ли не пятидесятиметровой длины! Представляете?! И над полем битвы была изображена символика победы: сияющая громадная комета. То есть мы имеем первое документальное подтверждение прихода кометы Галлея во время битвы при Гастингсе... И запечатлено это искусством... Каково?! Этот гобелен, кстати, хранится в Нормандии, в городке Байе... — Нолик вздохнул: — Как мало об этом знают во Франции... Надо б рекламировать — возникнет новый туристский бум! С тех пор, кстати, появление кометы Галлея и считается символом войны... А Сименон, говоря о панике тысяча девятьсот

десятого года, верно заметил, что тот приход кометы люди потом, по прошествии трех — пяти лет, начали ассоциировать с кануном первой мировой войны. А может быть, символика наших дней в том, что русские и американцы пытаются договориться о разоружении накануне очередного появления кометы?! Интересно, осознанно ли это, понимают ли обе стороны сокровенную суть события?

— Я начал понимать, — усмехнулся Кузанни. — Слушая вас... Вы какой-то Андерсен, вам просто нельзя не верить... А в общем-то, в массе своей, мои сограждане не отягощены знанием мировой истории...

— Жаль, — сказал академик. — Очень жаль. Это опасно: нация, не знающая истории или, что хуже, произвольно ее толкующая.

Степанов пришел в номер с двумя сковородками, яичница с сыром, политая томатным соусом, шипела и пузырилась.

— После такой еды, — Степанов усмехнулся, — Кузанни растолкует своим согражданам, что не стоит шутить ни с историей, ни с космосом, даже с его символикой.

Ели с аппетитом, по-братски, тремя ложками из двух сковородок, подбирая оливковое масло корочками сухого батона (длиннющие французские батоны черствеют быстро; «одноразовый хлеб», как пошутил кто-то из русских; все наши к хлебу относятся с религиозной почтительностью, даже если не едят, соблюдая диету. Степанов вспомнил маму, Галину Николаевну: без полбатона не может; видимо, с голодных времен — а на ее жизнь такого было достаточно: гражданская война, коллективизация и Отечественная — остался страх не наесться. А что самое надежное? Хлеб, что ж еще?!).

— Ну так вот, — продолжил между тем академик, — что касается космических символов, то два наших аппарата, «Вега-I» и «Вега-II», — это, кстати, мирный космос, — он посмотрел на Кузанни, — в проекте участвуют и французы, мы никому дороги не закрываем, милости просим, — летят сейчас к комете Галлея, чтобы сблизиться с нею на минимальное расстояние... Трудно что-то предполагать, но я не исключаю возможности того, что наши «Веги» могут способствовать землянам, американцам в том числе, избежать каких-то катаклизмов... Научный просчет вероятий — великая штука, без этого теперь жить нельзя... А знаете, кто был вторым человеком, засвидетельствовавшим закономерность приближения к Земле кометы Галлея?! Великий Джотто ди Бондоне! Да, да, именно он!

— Кто это? — спросил Кузанни. — Мы, американцы, не боимся показаться дикарями, сразу спрашиваем о том, что нам не известно...

— Это, между прочим, хорошо, — заметил Степанов. — Хуже, когда человек не знает, но молчит, а пуще того — кивает, мол, как же, как же, все известно, а сам ни в зуб ногой... Вы ближе к детям, чем европейцы, давай вам господь, Юджин...

— Только б шаловливые дети кнопочку не нажали, — усмехнулся Нолик. — Так вот о Джотто... Джотто, дорогой Юджин, был, во всяком случае я так считаю, основоположник раннего Возрождения, великий итальянский художник, наблюдавший приход кометы. В тысяча триста втором году. Каково?!

— Этот Джотто не только рисовал, но и строил всякие там аппараты? Вроде Леонардо? — с обезоруживающей простотой спросил Кузанни.

«Нет, все же американцы в массе своей действительно большие дети, — подумал Степанов. — Наверняка он прочитал в какой-нибудь книге о Леонардо или в Италию слетал на летний отдых, вот и брякнул; ни один русский человек, считающий себя интеллигентом, никогда бы не задал такой вопрос, да еще без тени смущения! А может быть, — возразил себе Степанов, — такая открытая наивность есть вненациональный удел настоящего таланта? Юджин по-настоящему талантлив, блистательный режиссер...»

Нолик мельком глянул на Степанова; в уголках его тонкого рта затаилась едва заметная улыбка (когда академик смеялся, лицо его сразу же менялось: рот становился округлым, от кажущейся жесткости не оставалось и следа — сплошное озорство: ни дать ни взять, студент третьего курса). Ответил он, однако, серьезно:

— Нет, Юджин, Джотто не был ни механиком, ни астрономом, в отличие от Леонардо... Но я утверждаю, что именно он начал через два года после того, как наблюдал очередной подход к Земле кометы Галлея, писать фреску «Поклонение волхвов»...

— А как он ее наблюдал? — снова спросил Кузанни. — Через телескоп?

— Тогда еще не было телескопов, Юджин. Он наблюдал ее невооруженным глазом, но как художник. А всякий настоящий художник — это мыслитель... Так вот, в той фреске — ее знает весь мир, вы ее тоже наверняка знаете — он нарисовал волхвов, которые пришли в Вифлием, ведомые звездой странной формы. Именно в тот момент,

когда родился младенец, нареченный Иисусом... Видимо, приближение кометы невероятно подействовало на Джотто, ибо он так написал фреску, что всякому очевидно: волхвы пришли в Вифлием именно в тот год, месяц, день и час, когда родился младенец. И пришли не случайно, но ведомые загадочным магнетизмом таинственной звезды... Джотто был первым в истории человечества, кто вместо традиционной вифлиемской звезды написал именно комету Галлея, каково?! Но во всем этом есть еще один аспект: взаимосвязь космического тела с судьбой мирового искусства. По тому, как он нарисовал комету Галлея — это я говорю, я, знающий все ее фотоснимки, — можно с абсолютнейшим правом утверждать, что именно Джотто был основоположником Возрождения. То есть правды. А говоря еще научнее — натурализма. В этот термин ныне многими вкладывается дурной смысл, но ведь это же глупость и темнота! Понятие *натурализм* происходит от великого слова *натура*! Что может быть прекраснее натуры, то есть правды?! Понимаете, в чем чудо? Нет? Оно в том, что вполне можно сопоставить рисунок Джотто из его цикла «Жития святых» — волхвы возле девы Марии — с астрономическим снимком кометы! Рисунок Джотто научно *достоверен*! Понимаете, что значит сделать такой рисунок в тысяча триста четвертом году?! Рисунок кометы Галлея?! Изобразив ее с абсолютной научной достоверностью?! Таким образом, и библейский сюжет приобретает оттенок научности, то есть подтвержденной истинности, каково?! Поэтому-то европейцы и назвали свой космический аппарат, запущенный на встречу с кометой Галлея, именем Джотто... Вот оно, реальное объединение человечества: две наши «Веги», на которых установлена аппаратура десяти стран, «Джотто» и маленький японский зонд «Планета» летят сейчас — в абсолютной, не представляемой нами тишине — к комете, являющей собою одну из загадок Галактики. Причем наши «Веги» и «Джотто» поддерживают между собою постоянную связь: чтобы получить наибольший научный выход, надо подойти как можно ближе — к самому центру кометы...

— Верно. — Кузанни кивнул. — Пока я не заглянул в кратер вулкана, ничего не мог понять про Помпею...

Легкая улыбка снова тронула губы академика.

— Очень верное сравнение, Юджин... Но подконтрольный вулкан — это все же одно, а комета — другое... Главная опасность для моих... для наших «Вег» сокрыта в пылевых частицах... Представляете, что это такое?

— Нет, — в один голос ответили Кузанни и Степанов.

— Пылевые частицы могут ударить по корпусу наших аппаратов со скоростью до восьмидесяти километров в секунду. Каково?! Пылинка, весом в миллиграмм, может разнести в клочья весь аппарат...

— А если бы там сидел человек? — спросил Кузанни.

— Ну, это для него сверхзвуковая картечь. — Нолик ответил мимоходом, несколько даже досадуя на то, что его отрывают от главного. — Это же аксиома: с космосом шутить заказано... — Он вздохнул отчего-то, поинтересовался: — Знаете, кстати, отчего родилась французская пословица «Опре ну ле дэ люж» — «После нас хоть потоп»?

Степанов и Кузанни снова в один голос ответили, что не знают, откуда им, нынче физики в почете.

— А история занятна, — продолжал между тем Нолик. — Фразу эту произнесла мадам де Помпадур, когда король Людовик проиграл битву своему грозному прусскому недругу и пришел за утешением к ней, мудрой и красивой фаворитке. Людовик удивился этим словам. Мадам объяснила, что недавно у нее в гостях был математик — сейчас мы называем его великим ученым, Мопертюи, он действительно один из самых великих механиков и математиков нашей цивилизации — и сказал, что, по его расчетам, к Земле скоро приблизится страшная комета и может наступить конец мира. Заметьте себе: трагический разгром войск Людовика наступил опять-таки за два года до прихода кометы...

— А мадам, — усмехнулся Степанов, — была, видимо, причастна к логике сторонников общины: «Ну и черт с ним, все равно конец для всех без исключения! Обидно, когда кто-то выживет, а так — пускай, все равно ни одного живого на земле не останется...»

— В общем-то, да, — согласился академик. — Какой-то рудимент нивелирующей общины в этих ее словах сокрыт, только, как все французское, выражено это более абстрактно, изысканно, что ли... А почему эта комета называется именем Галлея? Знаете?

И снова Кузанни и Степанов, завороженно слушавшие академика, покачали головами...

— Дело в том, что ни Вильгельм Нормандский с женою Матильдою, ни мадам Помпадур, ни великий Джотто, ни даже гениальный Мопертюи никогда не сводили, да и не могли еще, по правде говоря, свести определенную цикличность подходов кометы к Земле в некую систему. А сделал это сэр Эдмунд Галлей... Нет, нет, он уж перед смертью стал с э р о м; нет пророка в своем отечестве, да и зави-

стников в каждом королевстве хоть пруд пруди... Именно Галлей, поработав с хрониками и летописями, обратил внимание на определенного рода последовательность приближения комет к Земле. И не только обратил внимание, но и просчитал эту последовательность: подход загадочной кометы, которую запечатлела на гобелене Матильда, определен строгим временным циклом — семьдесят шесть лет... Каждые семьдесят шесть лет именно эта комета, подвластная некоему закону Галактики, приближается к нам с вами... Вообще-то Галлей не только зафиксировал комету, получившую потом его имя... Он, можно считать, подарил человечеству Ньютона...

— Как?! — Степанов придвинулся к академику. — Почему?

— Здесь нет камеры, — вздохнул Кузанни. — Ваш рассказ надо снимать на пленку, получился бы гениальный фильм...

— Ладно, — усмехнулся Нолик, — считайте это репетицией...

— Нет, погоди, Нолик, а почему именно Галлей создал Ньютона? — снова спросил Степанов.

— Видишь ли, Ньютон был невероятно замкнутый человек, со странностями... Для него главное заключалось в том, чтобы понять самому... Его не интересовали другие... Славы он бежал, титулов тоже, ему доставляло высшее счастье думать о взаимосвязанности предметов... Кстати, по-моему, это свойство истинного гуманиста... А Галлей не только заставил Ньютона написать книгу о земном притяжении, но даже из своего скромного жалованья дал ему денег на опубликование его гениального труда. Я же говорю, Галлей был символом позднего Возрождения... Механик, путешественник, авантюрист, игрок, лучший навигатор своего времени, первым применивший астрономические приборы для того, чтобы проложить верный курс фрегату... Он интересовался всем, он раздавал себя, понимаешь? Талантливость, а точнее говоря, гениальность — это когда человеку не терпится раздать себя. Только на склоне лет Галлей остановился на астрономии и получил титул — он есть только в Англии — «астроном короля»... И стал директором Гринвичской обсерватории... А когда кто-то из его друзей с м о г намекнуть монарху, что его астроном и шеф обсерватории получает нищенское жалованье, и венценосец, понимая, что нельзя экономить на талантах, решил прибавить Галлею денег, тот написал яростное письмо: «Ваше величество, если на должности королевского астронома будет

установлено слишком высокое жалованье, то этот пост может оказаться всего лишь приманкой для некомпетентных людей...» Каково, а?! Юджина, наверное, не очень-то заинтересуют подробности о совершенно трепетной дружбе между Петром Первым и Галлеем, но вообще-то это тема для романа... Говорят, даже сохранилась их переписка... Правда, кое-кто может восстать против опубликования: два гения довольно часто вспоминали про то, как они устраивали всякого рода шутки... Сейчас бы за такое нашего брата в два счета посол выслал! Мы, между прочим, тоже раз пошутили... Собрались на совещание в Будапеште, работы до черта — глаз не оторвешь от бумаг... И однажды во время перерыва, когда пили кофе, венгры меня спрашивают: «Можете предсказать, кто выиграет в сегодняшнем матче — наша сборная или Австрия?» Я, понятно, ответил, что, поскольку венгры активно участвуют в нашем космическом проекте — Галлей с нами, поэтому победа будет за ними, как в битве при Гастингсе. А вечером смотрю телевизор: батюшки светы, накостыляли австрийцы моим венграм за милую душу... Утром коллеги говорят: мол, елки-палки, что же вы так предсказываете?! Хороша наука! Я, честно говоря, даже несколько растерялся: действительно, по системе аналогов должны были выиграть именно венгры. Это была не только шутка, а в какой-то мере попытка научного прогноза. А потом вдруг вспомнил: на каком поле была выиграна битва при Гастингсе? Ага, в том-то и дело, что на чужом! А венгры принимали австрийцев на своем! Вот в чем вся штука! Нет, науку не обманешь! Кого угодно можно обмануть, даже жену, только не науку...

— Скажите, академик, — задумчиво спросил Кузанни, — значит, именно вы предскажете, что случится с человечеством, когда «Веги» сблизятся с кометой?

— Вопрос поставлен неверно, — ответил академик. — Наша задача в ином. Мы должны понять, что представляет собой комета Галлея с близкого расстояния. Вопрос надо формулировать предельно просто. Каждый вопрос — это задача. Ответы возможны разнотолкуемые, это пожалуйста, но задача... Между прочим, Сименон сказал, что приближение кометы Галлея вызвало в Америке массовую эпидемию самоубийств...

Кузанни внезапно вскочил со стула, потом снова сел, полез за сигаретами:

— Начало, начало фильма, черт возьми! — вскричал он ликующе. — Это же блестящее начало ленты!

Степанов пояснил академику:

— Юджин готовится к съемкам нового фильма о межконтинентальном узле, ты ему идею подарил...

— Это ключ, а не идея, — возразил Кузанни. — Ключ вещи! Массовое самоубийство на почве страха перед силами, неподвластными уму человечества... И спокойное непонимание того, что тысячи маленьких комет Галлея в шахтах готовы — за тридцать минут — сделаться новыми звездами, чтобы потом превратиться в ядерные смерчи и уничтожить планету...

— Я бы сформулировал это несколько иначе, — заметил академик. — Ваши военные в Пентагоне не раз выступали с заявлениями: «Все эти Венеры, Юпитеры, комета Галлея — суета сует. Надо думать о космической обороне, такова главная задача момента...» Странные люди... Видимо, не отдают себе отчета в том, что само понятие ядерного сдерживания настолько серьезно, что неразумно оперировать только тем, что там у них спрятано в шахтах... Может, у них камуфляжа на полсотни процентов, кто знает? Американцы — бо-ольшие и г р у н ч и к и... А понятие ядерного сдерживания связано с демонстрацией технических возможностей человечества, вот в чем штука... Смысл сдерживания не в том, чтобы строить новые военные системы в космосе, а в том, чтобы продемонстрировать миру новейшие технические возможности, — в частности, познать комету Галлея, проникнуть в тайну Венеры, попробовать установить надежный космический мост с Юпитером. Это и есть истинное сдерживание, а не ассигнование средств на «звездные войны»... Я как-то летал на воздушном шаре, между прочим, — он улыбнулся Кузанни, — у вас, в Штатах... На земле ветрище, чуть не ураган, а когда я поднимался, ветер исчез, будто и не было его, причем произошло это за какие-то три минуты... А ведь на самом-то деле ветер не исчез... Просто он понес воздушный шар, принял его в свои потоки, я оказался, если хотите, его составной частью, растворился в нем, подчинился тому физическому закону, который породил его в данном конкретном регионе мира... Как бы мир не понесло, ребята, вот в чем ужас... Мир может понести, словно воздушный шар, и поначалу никакого вихря не будет, пока не раздастся взрыв... Самый последний, который подведет черту подо всем... Мить, кофе сделаешь?

— Конечно. А ты нам про Галлея еще расскажешь?

Про Галлея, однако, академик рассказать не успел: позвонили из миссии, попросили спуститься вниз, машина уже выслана, ЧП; американская сторона внезапно попросила отложить заседания на три дня; ждут новых указаний из Вашингтона...

Академик поднялся, посмотрел на Кузанни и неожиданно жестко сказал:

— Значит, кто-то испугался у вас того, что были близки к договоренности... Точно... Поверьте мне... Ученые обладают особым даром чувствования... Особенно ваш советник Макгони болезненно воспринимал любое сближение в позициях, у него глаза замороженные и голос какой-то истеричный...

Кузанни пошел к себе в номер, позвонил в Нью-Йорк, потом в Вашингтон, вернулся через полчаса, хмуро объяснил:

— Этот самый Макгони — так, во всяком случае, сказали мне ребята из прессы, — скорее всего, представляет интересы Лэнгли... А его брат входит в директорат «космического концерна» Сэма Пима... Теперь ты просто обязан что-то придумать для финала моего фильма. Мне представляется кровь, всеобщий ужас... Понимаешь? Этот твой гениальный академик чувствует свое, а я — свое; действительно, дело чревато кровью, или я перестал вбирать в себя происходящее.

— Ты сначала передай в газету. — Степанов пожал плечами. — Сенсация, перепечатают все телеграфные агентства.

— Я уже попросил Нью-Йорк вызвать меня через пятнадцать минут по твоему номеру...

Кузанни достал из кармана маленький плоский диктофончик и начал неторопливо наговаривать:

— Из Женевы специально для «Нью-Йорк трибюн» передает Юджин Кузанни... Абзац, начало текста: «Как и любая монархия, наши мощные корпорации имеют свои генеалогические древа...» Он весело посмотрел на Степанова, не удержался, спросил: — Ничего, а?

— Ты лучше сразу на бумаге пиши, — ответил тот. — Стенографистки с твоей диктовкой замучаются.

Кузанни достал из кармана маленький шнур с присоском на конце:

— Техника, Дим, техника! Все решает техника и ее демонстрация, как учил нас твой академик! Я подсоединяю диктофон к телефонной трубке, а в Нью-Йорке меня — точно таким же образом — записывают на большую кассету. С нее уже текст идет в наборную машину... «Именно это генеалогическое древо и создает иллюзию, — Кузанни снова начал диктовать, — цветущей жизненности. Сколько ветвей! Как раскидиста крона! Так много живительной тени дает она людям! Если предположить, что перерыв на совещании в Женеве будет объявлен завтра по просьбе или под влиянием одного из членов нашей делегации, а конкретно — мистера Макгони, то вполне прослеживается —

по раскидистому древу корпорации — совершенно уникальная генеалогия: Джозеф Спенсер Макгони, брат здешнего Макгони, Чарльза Вильяма, член директората «космического концерна» Сэма Пима, нетерпеливо ожидающего голосования в конгрессе по ассигнованиям на его проект «космической обороны». Двенадцать миллиардов долларов в следующем бюджетном году. В дальнейшем средства, которые должны закладываться в его махину, будут расти в прогрессии, близкой к геометрической... Центральное разведывательное управление постоянно говорит о русском военном превосходстве, а Пентагон распределяет заказы на поставку оборонительных систем в космосе между ведущими корпорациями страны... Мистер Макгони, один из боссов нашей делегации в Женеве, таким образом, представляет интересы не просто и не столько нашего государственного института, то есть ЦРУ, сколько заинтересованность своей семьи в успехе начинания Сэма Пима в его космическом предприятии. Следовательно, любая договоренность с русскими — на любом уровне — удар по финансовым интересам монополии Сэма Пима; вот оно, генеалогическое древо, одна из веток которого братья Макгони! Так кто же тогда правит Америкой?! Кто думает о будущем ее народа?!»

...Кончив диктовать, Кузанни победно посмотрел на Степанова.

— Здорово, — сказал тот. — Только фактов мало.

— Главный факт тот, что я передаю это сообщение в Нью-Йорк первым. Официального подтверждения о замораживании переговоров еще нет, мы же слышали последние известия...

— Ты Эйнштейном никогда не занимался? — спросил Степанов.

Кузанни пожал плечами:

— Я же ни черта не смыслю в технике, Дим!

— Он был философом и только поэтому стал математиком... Засунь в свою корреспонденцию такой пассаж, если, конечно, у вас это принято: все доэйнштейновские школы философии полагали, что интуиция — субъективный феномен, некая категория, соединяющая подсознание с логикой. И лишь Альберт Эйнштейн... — Степанов вдруг замолчал, нахмурившись. Он мысленно обратился с вопросом к самому себе: а если б Гитлер не начал гонение против евреев? Ведь тогда именно рейх стал бы первым обладателем атомной бомбы. — Да, именно Эйнштейн первым в истории философии сказал, что интуиция базируется на информации... Интуиция, по Эйнштейну, есть путь от внешнего

оправдания к внутреннему совершенству... Еще проще, для американцев, как ты меня учил, надо писать просто: путь от частного к общему интуитивен, от общего к частному логичен... Обыграй это в конце... Ты писал свою корреспонденцию, интуитивно ощущая коллизию. Ты шел от частного к общему, пусть теперь разбираются ученые и политики. И еще можно обыграть, что любое генеалогическое древо — при всей пышности его ветвей — лишено корней, вот в чем штука-то, Юджин...

...В потоке газетной, журнальной и телеинформации короткая корреспонденция Юджина Кузанни, написанная к тому же не так, как принято в Штатах — сухая информация, лишенная каких бы то ни было личностных акцентов (для этого есть колонка Арта Бухвальда или Стефена Коэна), прошла мимо внимания ЦРУ; сотрудник, сидевший на компьютерах, сунулся было к шефу своего сектора, но от него отмахнулись: надо успеть обработать информацию, поступающую от людей с мировыми именами, кто такой этот самый Кузанни? Киношник. Какие у него связи? Чью тенденцию выражает? Если бы это была заметка Гендриха Смита или Лесли Гэлба из «Нью-Йорк таймс», одно дело, близки к Белому дому, а так — пусть себе резвится, тем более кончается заметка Кузанни какой-то абракадаброй про частное и общее; Эйнштейн давно умер, его заумь не наше дело...

Потому-то в Женеве за ним и не было пущено наблюдения по линии ЦРУ.

За Степановым, таким образом, тоже, ибо практически все время он был теперь вместе со своим американским приятелем...

РАБОТА-Х

— Скажите, Геннадий Александрович... — Славин смотрел мимо Кулькова, мучительно заставляя себя как-то обходить его лицо взглядом: «Контрагент чувствителен, может понять мое состояние, а его сейчас весьма трудно скрыть, особенно после разговора с Ивановым; «Либерти» — это его работа, последняя надежда, по-человечески можно понять, а вот в деле с Ивановым выявился чудовищный характер, полнейшая, мерзостная безнравственность — топить того, кто спасает тебя?!» Такого Славин понять не мог, отвращало; донос на друга — что может быть пакостнее? — Какой год вы считаете переломным?

— То есть? — Кульков чуть подался вперед; видимо, почувствовал состояние Славина; мембрана, а не человек. — Ваш вопрос мне не до конца ясен.

— Вы давеча говорили, что у вас было всего пять встреч с работниками управления науки ЦРУ... С какого года вы начали работать на них активно?

— Я же отвечал вам... В ноябре позапрошлого года...

— До этого вы с ними контактов не поддерживали?

— Конечно, нет...

— Вы предложили нам сотрудничество, Геннадий Александрович, предложили начать игру против ваших работодателей... Допустим, мы начали эту игру... Рискованное дело, согласитесь?

— Конечно. Я отдаю себе отчет в том, как рискую...

Славин удивился:

— Вы? Чем же?! Нет, вы ничем не рискуете, Геннадий Александрович, рискую я... А как мне идти на риск, если вы лжете?

Следователь Гаврилов вышел из кабинета.

Кульков допил кофе и ответил:

— Я отвечаю правду, только правду, и ничего, кроме правды...

— Вы, видимо, не до конца понимаете свое положение, — заметил Славин. — Мы бы не стали вас арестовывать, не имея неопровержимых улик... Не один день наблюдали за вами, прежде чем я поприветствовал вас у лифта... В камере вы мучительно строите комбинации, вспоминаете даты, придумываете линию защиты, но это похоже на то, как человек, не умеющий играть в шахматы, садится за стол, где его партнером является Каспаров, то есть личность, обладающая знаниями, говоря предметнее, информацией. Мы обладаем информацией, а вы наивно думаете, что нас можно обойти на повороте. Против вас работаю не один я, а наш аппарат... Не считайте нас любителями, которых можно обыграть. Не выйдет. А вот я лишний раз убеждаюсь в том, что вы лгали мне с самого начала и ничего серьезного предложить не можете... Поэтому в последний раз задаю вопрос: когда и каким образом вы начали работать на Лэнгли?

— Клянусь честью, я ответил вам правду...

Славин вздохнул:

— Клянетесь честью... Это хорошо, что вы клянетесь честью... Я не стану подвергать сомнению наличие чести у человека, работающего на Лэнгли...

— Во-первых, работавшего, а во-вторых, не на Лэнгли,

а на ученых, озабоченных, как и я, вопросом сохранения мира на земле...

— Вы это придумали или такая реплика вам была заранее написана, Геннадий Александрович?

— Ни то ни другое. Это моя глубокая убежденность, внутренняя убежденность... Простите, мы с вами так много говорим, вы меня называете по имени-отчеству, а я лишен такой привилегии, неловко...

— Я не представился? Странно... Меня зовут Иван Иванович...

Кульков усмехнулся:

— Хороший псевдоним, легко запоминать.

— Все-то вы про нас знаете, — вздохнул Славин и посмотрел прямо в глаза Кулькова. — А вот что вы знаете про азы Уголовно-процессуального кодекса, хотел бы поинтересоваться?

Лицо Кулькова дрогнуло, глаза заметались, зрачки расширились:

— То есть? Вы имеете в виду статью, связанную со шпионажем?

— Нет... В данном случае я имел в виду статьи о доказательствах по уголовному делу.

— Ну, не знаю... Понятые, свидетели...

— А вот отпечатки пальцев, по-вашему, являются уликой?

— Не знаю.

— Хотите почитать разъяснение по этому поводу?

— Зачем же? Я верю вам... В отличие от вас я верю каждому вашему слову...

— Так вот, отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления или на орудии преступления, носят характер улики... Суд принимает это в качестве доказательства... Конечно, вы можете опровергать заключение экспертов, доказывать случайность появления отпечатков ваших пальцев на определенном месте, опять-таки ваше право... Но это будет голословное опровержение факта, которое суд во внимание не примет.

— Спасибо за исчерпывающее разъяснение... Зачем вы сказали мне об этом?

— Для того чтобы вы, подумав, вспомнив былое, ответили мне правду до того, как вам будет представлена улика...

— Но мне нечего сказать! Я и так доверчиво открыл вам душу! Предложил план игры! Написал — под диктовку — сообщение туда! Испытал огромное облегчение, когда признался вам во всем! И начал помогать...

Славин поднялся, отошел к дивану, стоявшему у противоположной стены, и аккуратно, артистическим жестом, снял покрывало с какого-то плоского предмета — это был чемодан, подаренный Кульковым «любимому другу» Георгию Иванову перед его командировкой в Париж.

— Чей это? — спросил Славин. — Вообще-то вам его должны были предъявить для опознания несколько позже, но следователь Гаврилов пошел мне навстречу, я решил ускорить дело, времени у нас в обрез.

Лицо Кулькова снова потекло; как же меняется оно в моменты, когда надо принимать решения; студень какой-то, ложкой можно накладывать да на стол капнет...

— Нет, я не знаю, чей он...

— Не знаете, — повторил Славин. — Что ж, и на старуху бывает проруха... Могли запамятовать, столько лет прошло... Ну а если ознакомить вас с показаниями профессора Иванова? Хотите почитать? Или буквы перед глазами прыгают?

— Погодите, погодите, — сказал Кульков, шаркнув подошвами, — это же чемодан профессора Иванова! Я вспомнил! Это Жорин чемодан!

— Вот видите, — усмехнулся Славин. — У вас, видимо, ассоциативная память... Вам надо увидеть, а уж потом вы начинаете вспоминать...

— Совершенно верно! Вы правильно заметили: у меня, как у математика, выборочная память! Разве можно все удержать в голове?! Черт-те сколько дел, важных дел...

— Вы подарили этот чемодан Иванову?

— Я? Не помню... Вряд ли... Почему именно я?

— Так показывает Иванов.

— Видимо, он ошибается, я... Нет, нет, положительно не помню. Вообще-то я люблю дарить, но разве упомнишь все подарки, которые когда-либо делал друзьям и знакомым?

— Мы помним, — отрезал Славин. — Список подарков, которые вы делали, возвращаясь из командировок за рубеж, вам предъявят... Большинство мы изъяли, что-то около девяноста семи предметов... Потренируйте память, вы же идете от зримого образа, правда?

— Значит, все уже знают о том, что я здесь?

— Только те, кому нужно. Вы же просили — в интересах операции против ЦРУ, предложенной вами, — не сообщать о факте ареста...

— Задержания, — поправил Кульков. — Пожалуйста, употребляйте это слово, мне не так больно.

— Ладно, вернемся к чемодану... Вы утверждаете, что не дарили его Иванову?

— Нет, я бы так категорически не говорил... Я сказал, что не помню. Я же не хочу вводить вас в заблуждение... Не помню...

— Вы помните, Геннадий Александрович, вы все прекрасно помните...

— Да нет же! Иванов вполне мог сам купить этот чемодан!

— Он не мог купить этот чемодан.

— Почему?! Он всегда любил изящные вещи, особенно заграничные, он...

— Он не мог купить этот чемодан, — повторил Славин. — Дело в том, что чемоданы этой фирмы не закупались Внешторгом... Они слишком дорогие, люксовые... На такого рода товар не будет спроса у массового покупателя, а ведь мы о нем должны думать в первую очередь...

— Конечно, — подтвердил Кульков, — понятно, что в первую очередь надо думать о запросах трудящихся.

Славин отвел взгляд от лица Кулькова, надолго замолчал, потом подошел к чемодану, открыл его, молча показал, как закладывается информация в тайник, сработанный не кустарно, а вполне профессионально, с противомагнитной защитой, работа лабораторий ЦРУ, и, не оборачиваясь, сказал:

— Тут отпечатки ваших пальцев, Геннадий Александрович... Именно вы всегда собирали Иванова в командировки. Используя его в качестве курьера... До той поры, пока вам не приказали написать на него донос, чтобы самому перейти к академику Крыловскому... Значит, работать на ЦРУ вы начали не в позапрошлом году, а значительно раньше... Отправляйтесь-ка в камеру и готовьтесь к допросам, следователь вас заждался.

— Нет! — тонко закричал Кульков и повалился на колени. — Нет же! Я хочу искупить! Поймите, мне стыдно! Я не скрываю! Мне мучительно стыдно за все, что было! Не лишайте меня возможности искупить хоть малую толику моей вины! Молю вас, Иван Иванович!

Славин вздохнул, лицо собралось морщинами — не терпел избыточных эмоций. Из-за этого даже редко ходил в театры, чаще всего покупал билеты на «Принцессу Турандот». Другие спектакли его просто раздражали, особенно когда актеры дышат трепещущими ноздрями и по минуте держат бессмысленные паузы, рассчитывая на нервических старух. В таких случаях Славин просто уходил.

— Встаньте, — сказал он. — Я не переношу истерик... У мужчин тем более... Если вы намерены искупить свою вину — понятно, хоть в самой малой степени, — объясните на пальцах, в чем состоит смысл «Либерти»?

— Что?! — Кульков «сыграл» непонимание. — О чем вы?!

— Не надо выгадывать время. Или вы объясняете мне, что это такое, или я объясню вам, но это будет наша последняя встреча, Геннадий Александрович...

Кульков снова увидел лицо Питера, вспомнил его слова; все развивается именно так, как тот и говорил; только продолжать игру, только бы не сорваться, только вести себя именно так, как начал, тогда он вырвется...

Встав с пола, Кульков тяжело вздохнул, потер лицо ладонями и ответил:

— Смысл операции «Либерти» состоит в том, чтобы по этому условному сигналу мой непосредственный руководитель из ЦРУ Гарри Сайтон приехал в столицу Германской Демократической Республики и там нелегально встретился со мной.

— Зачем?

— Для обсуждения вариантов моего ухода на Запад.

— А какие варианты возможны?

— Первый вариант: он вручает мне американский паспорт и билет на поезд... Второй — уход самолетом, но через третью страну, скорее всего Африканского континента...

— Вы хорошо помните Гарри Сайтона?

— Да! Я сразу опознаю его! Вы захватите с поличным!

— Вы имеете в виду американский паспорт с вашей фотографией?!

— Конечно.

— Где и когда вы встречались с Гарри Сайтоном?

— Первый раз в Париже, когда он передал мне этот треклятый чемодан...

— А второй раз?

— Через год... В Женеве... Именно он предложил мне устранить Георгия Иванова с того поста, где тот работал в то время.

— Он разговаривал с вами о Пеньковском?

— Да.

— Когда?

— Практически во время каждой из этих встреч.

— Он говорил вам, что Пеньковский является их агентом?

— Нет.

— Убеждены?

— Конечно.

— Что его интересовало в Пеньковском?

— Всё.

— А что вы ему отвечали?

— Я?

— Ну, естественно, не я, — усмехнулся Славин. — Я бы знал, что ему надо ответить.

— Старался давать обтекаемые ответы...

— Почему?

— Не знаю... Я боялся Пеньковского... Думал, что это проверка...

— Вы думали, что это проверка? — переспросил Славин и неторопливо, чуть не по слогам, врезал: — Скажите, а сколько вариантов и значений дал этот самый Сайтон для использования слова «либерти» в шифровке?

Лицо Кулькова снова потекло; Славин понял, что угадал. «Бойся везения вначале», — вспомнил он слова Абеля, тот часто повторял именно эту фразу; сейчас Кульков задаст какой-нибудь вопрос, чтобы выгадать время.

— Что вы имеете в виду? — спросил наконец Кульков, облизнув сухие губы.

— Ничего, — устало ответил Славин. — Ровным счетом ничего. Но от того, как вы ответите, зависит лишь одно: поверю я вам или нет. Конкретно: примем мы ваше предложение о поездке в Берлин или отвергнем... Не торопитесь говорить... Идите в камеру и подумайте...

...На сообщение Кулькова, заложенное им в контейнер тайника — под контролем контрразведчиков — и взятое через пятнадцать минут Питером Юрсом, радиоответа, как это бывало ранее, в тот же день не последовало...

В КГБ не знали, что сразу после прочтения информации Н-52 московская резидентура ЦРУ отправила в Лэнгли срочную шифрограмму: одна из цифр написана Н-52 таким образом, как было обусловлено заранее — в случае провала.

...Прочитав расшифрованное сообщение, ЗДРО вытянул ноги, запрокинул руки за голову и закрыл глаза, не зная, радоваться этой новости или печалиться; любой агент обречен, вопрос времени; сейчас важно другое — настало ли время, когда провал Н-52 угоден и, соответственно, розыгрыш «Либерти», или же время еще не приспело; рано, поздно, не успел, переторопил — значения не имеет; время или нет, вот в чем вопрос...

«Папа!

Я получил письмо.

На все твои доводы я бы мог ответить своими.

Но это будет перебранка, а она представляется мне недостойной.

Ты не прав ни в одной из своих посылок. Все твои соображения несут на себе печать пристрастного домысла.

К сожалению, я обязан открыть тебе правду.

Тетя Мэри объяснила мне, что врачи сказали маме, как ей опасно рожать. Но ведь ты итальянец, а как итальянец может жить, не имея детей? И ты заставил маму родить меня. И поэтому ее не стало.

Тетя Мэри сообщила мне об этом три года тому назад, когда у тебя появилась именно та женщина, которая так сострадала, что ты не научил меня ценить добро. Передай мою глубокую благодарность твоей подруге за заботу обо мне. Я очень тронут и отдаю дань ее бесспорным педагогическим способностям. Только пусть бы она решилась пожертвовать собою, чтобы удовлетворить прихоть мужчины, которого любит: родить ребенка, зная, что это унесет ее в могилу.

Не считай меня неблагодарным. Я никогда не забуду то добро, которое ты для меня сделал.

Эту горькую правду ты вынудил меня сказать своим жестоким письмом.

Сейчас я живу у бабушки, нам с Дэзи здесь удобнее, и старенькая счастлива, что не одна. Так что звони. Я буду рад услышать тебя.

Стивен»...

Кузанни отложил письмо, не в силах пошевелиться. Что он такое говорит?! Это же бред какой-то!

«Ну и что? — спросил он себя, ощущая громадную тяжесть в плечах, словно чугунные плиты положили на них. — Ну и что? Если он поверил в это, ничто его не переубедит, это навсегда... Но Мэри не могла так сказать! Это невозможно! Так позвони ей, — сказал он себе по-прежнему не в силах пошевелиться. — Зачем? Что это изменит? — спросил он себя. — Как — что?! Ведь это ложь! Ты же сам писал ему про беду интеллигентов: обижаются, вместо того чтобы действовать... Но почему Мэри так сказала ему?! Почему?! Ведь я всегда считал ее своим другом! Мэри, милая Мэри, с ямочками на щеках, как же ты могла произнести такую кощунственную ложь?! Зачем?!»

Он все-таки пересилил тяжесть этих треклятых чугунных плит и медленно поднялся. «А зачем я поднялся? — подумал он. — Ах да, мне ведь надо найти телефон Мэри, я давно ей не звонил, запамятовал номер, плохо... А где моя записная книжка? В сумке, — ответил он себе. — Где она, кстати?»

Сумку он искал медленно и сосредоточенно; перерыв шкаф, заглянул под кровать, потом увидел, что проклятая сумка лежит на столе, рядом с телефоном, в трех сантиметрах от письма Стива...

— Мэри, здравствуй, — набрав семнадцатизначный номер, сказал он и закашлялся, горло свело спазмой.

— Здравствуй, Юджин! Как хорошо, что ты позвонил! Я читала твою корреспонденцию из Женевы, очень интересно...

— Ты говорила... — начал было Кузанни, но снова закашлялся. «Не хватало еще тут сдохнуть;везти свинцовый гроб чертовски дорого, меня же не застрелили, сам помер, государство самолет не предоставит, оплачивать расходы придется семье, бедный Стив, и так я здорово поиздержался, застряв с этим сценарием о проклятом Сэме Пиме...»

— У вас там холодно, в Европе? — заботливо поинтересовалась Мэри. — Ты простудился, бедненький Юджин?

— Ответь мне... — Кузанни откашлялся в третий раз и, сжав кулаки так, что ногти впились в кожу, медленно, чуть не по слогам, произнес: — Ты говорила Стиву, что его мать не могла рожать, это грозило ей смертью, но я, паршивый итальянец, мечтавший лишь о продолжении рода, заставил ее дать жизнь мальчику?

— Я не могла ему этого не сказать, Юджин, — ответила Мэри. — Элеонора была моим самым любимым человеком...

— Почему же ты никогда мне об этом не говорила?

— Как?! Ты что... не знал?

— Если бы я знал, разве бы я посмел, разве бы я...

— Юджин, милый! — Голос женщины сорвался. — Я была убеждена, что Элеонора сказала тебе об этом! Юджин, отчего ты молчишь?!

Кузанни медленно положил трубку на рычаг; трубка тоже стала чугунной, весила не менее тонны.

«Зачем ты продолжаешь скрипеть на этом свете? — спросил он себя. — Кому ты нужен с твоими дерьмовыми фильмами, эффектными корреспонденциями из Европы, премьерами, разгромными рецензиями Ларри Арса и медалями, полученными в Сан-Себастьяне и Каннах?! Никому ты не нужен!

Элеонора промолчала о том, что врачи запретили ей рожать... И Мэри, которая знала, тоже молчала тогда об этом. И только один я, доверчивый идиот, носился, счастливый, по городу... Бедная Элеонора, бедная моя, бедная, бедная... Но ведь она хорошо перенесла роды! — чуть не закричал он. — Ведь она встала на пятый день, это все неправда! Она расцвела после родов! Никогда не была так красива, как в тот день, когда мы привезли Стива домой!»

Он машинально начал листать страницы записной книжки. «Что ты ищешь? — спросил он себя. — Телефон доктора, который наблюдал Элеонору во время беременности», — ответил он себе и вдруг ощутил, что кто-то снял чугунные плиты с плеч и головы, стало легко.

Он позвонил в справочный сервис Голливуда, запросил телефоны клиники доктора Самуэля Баренбойма; в приемном покое ответили, что доктор Самуэль Баренбойм умер семь лет назад; у него были пергаментные руки, вспомнил Кузанни, совершенный пергамент, только не желтоватый, а прозрачный, с ощущением легкой голубизны, наверное, сосуды очень близки к коже.

— Мне надо поднять историю болезни Элеоноры Кузанни, — сказал он, — это моя жена, она родила в вашей клинике моего сына первого октября шестьдесят второго года... Все время беременности ее наблюдал доктор Баренбойм.

— Мы подготовим выписку, мистер Кузанни. Я передам вашу просьбу в информационный центр. Куда вам позвонить? И пожалуйста, продиктуйте номер вашего банковского счета, мы пришлем документы к оплате за сервис непосредственно в ваш банк...

— Я звоню из Европы, — ответил Кузанни, продиктовав свой телефон в Голливуде с автоматическим ответчиком и здешний, в Женеве. — Я бы просил вас связаться с моим адвокатом: Эрвин Эбель, запишите, пожалуйста, его телефон; он подтвердит мою просьбу и договорится с вами об оплате по любому тарифу за экстренность справки. Я должен получить ее через час.

Из Голливуда позвонили ровно через час:

— Мистер Кузанни, это Лайза Эдмундс, информационный центр клиники профессора Джозефа Баренбойма-младшего... Диктую выписку из истории болезни... Вы готовы? Копия уже отправлена вашему адвокату... Итак, Элеонора Кузанни-Уолкер, 1938 года рождения, страдала язвенной болезнью и начальной формой диабета; в результате кардиологического исследования было установлено, что пациентка...

— Погодите, — Кузанни нетерпеливо перебил неизвестную ему Лайзу Эдмундс, проклиная себя за несдержанность, — там сказано, что ей было запрещено рожать, что роды могли стоить ей жизни?

— Любые роды могут стоить жизни, — мягко ответила женщина. — Любые, мистер Кузанни. Однако такого рода заключения в истории болезни миссис Кузанни-Уолкер нет... Содержалась рекомендация доктора Баренбойма отправить ее на кардиологический курорт для укрепления сердца...

— Так я же возил ее туда!

— Простите, — женщина из клиники не поняла его, — что вы сказали?

— Я вот что скажу. — Кузанни снова почувствовал на плечах чугунную тяжесть. — Я скажу вот что... Пожалуйста, сделайте еще одну ксерокопию этого заключения... Нет, сделайте ксерокопию всей истории болезни и срочно отправьте экспресс-бандеролью в Лос-Анджелес... Записывайте адрес, пожалуйста... Там очень сложный индекс, дом на берегу океана, вдали от поселка...

...Кузанни позвонил Степанову; долго слушал гудки, только потом понял, что его нет, уехал. «Ты же сам отдал ему машину; голова совершенно не варит, вот что значит шок, а?!»

Он дал отбой; посидел в задумчивости с трубкой в чугунной руке. «Если я обречен на то, чтобы быть сегодня одному, напьюсь, а мое лекарство от сердечных перебоев кончилось, сердце порвется, обидно; жаль Стива, пыжится, а ведь еще маленький, я ему еще года три нужен, пока защитит докторскую и получит место в хорошем институте... Увы, без галантерейщика из мафии Равиньоли, «почетного консула» Италии в Лос-Анджелесе, ни черта не получится... Нет, отчего же, — возразил он себе, — рано или поздно получится, Стив очень талантливый математик... Только жаль времени... На то, чтобы занять плацдарм, у него без моей помощи уйдет лишних пять или шесть лет, а они необратимы... В его годы не думают о том, как невосполнимо время, это только в моем возрасте близко видишь безглазый ужас этой невосполнимости,особенно если наблюдал раскопки, когда ученые измеряют черепа...»

Кузанни набрал номер рецепции; ответила девушка.

— Добрый вечер, — сказал он, — где ваш коллега?

— О, месье, у меня трое коллег! Которым вы интересуетесь?

— Тем, который учился в Штатах.

— Это Жюль! Минуту, я позову его! Он пьет кофе в баре...

Жюль взял трубку через несколько секунд. «Бежал, что ли, — подумал Кузанни, потом понял: — Девица переключила телефон на бар, они теперь, как и мы, сплошь телефонизировались, даже в туалетах поставили аппараты».

— Послушайте, — сказал Кузанни, — тут у вас в городе есть коллгерлс[1]?

— Я должен посмотреть вечернюю газету, сэр, — ответил Жюль. — Там должны быть номера телефонов... Какой тип вы предпочитаете?

— Вы бы при вашей коллеге не говорили, — заметил Кузанни, — она, наверное, совсем молоденькая...

— У нее двое детей, — рассмеялся Жюль. — И потом все в порядке вещей: мужчина, оторванный от домашнего очага, вправе найти успокоение...

...Пришла высокая красивая женщина лет двадцати шести, одетая с вызывающей роскошью; по-английски ни слова.

— А как у вас с итальянским? — Кузанни заставил себя улыбнуться. — Понимаете?

— О, совсем немного! Но ведь вы пригласили меня не для того, чтобы произносить передо мной речи. — Женщина рассмеялась. — Меня зовут Ани, добрый вечер...

— Я хочу пригласить вас на ужин, — сказал Кузанни. — В самый хороший ресторан.

— Что?! — Лицо женщины дрогнуло; под слоем грима Кузанни увидел растерянность; глаза у нее хорошие, только зачем наляпала на лоб и щеки золотых мушек? Это же вульгарно. Хотя некоторые считают, что именно вульгарность иногда привлекает мужчин, они не чувствуют скованности...

«Ты хотел, чтобы на телефонный вызов откликнулась магистр философии? — спросил он себя. — Попроси ее снять этот ужасный грим, у нее хорошие, ясные глаза и прекрасный овал лица... А потом спустись вниз, вызови такси и поезжай в город, туда, где музыка и очень много народа; если ты не один, тогда не так страшно, нет давящего ощущения обреченности; эта Ани несчастная, порочная женщина, но и в ней живет ее изначалие — нежность... Вот ты и прикоснись к ней... Тебе сейчас нужна доверчивая нежность женщины, только это, и ничего больше.

---

[1] Девушки, вызываемые по телефону в номер отеля (англ.).

Завтра утром начнется работа, вернется Степанов, только бы сегодня не быть одному; как это Дим читал стихи русского поэта: «Те, кто болели, знают тяжесть ночных минут, утром не умирают, утром опять живут». Прекрасные строки... Мы порой еще плохо знаем русскую поэзию, цивилизованные дикари...»

— Я хочу пригласить вас на ужин, — повторил Кузанни, — в самый хороший ресторан...

— О, как это мило! — Ани улыбнулась. — До которого часа я вам нужна в ресторане?

— А черт его знает! Пока не прогонят. Уйдем самыми последними.

— В час ночи я должна уехать...

— Почему? Впрочем, простите мой вопрос, он бестактен... Наверное, что-то связанное с семьей? Ребенок?

Ани покачала головой, рассматривая Кузанни своими круглыми черными глазами:

— Нет, не ребенок... В общем-то, я могу и задержаться, но вам придется оплатить неустойку... В час ночи я обязана быть по другому адресу...

— Фу ты! — Кузанни почувствовал, что и веки у него стали чугунными. — Сколько я вам должен за вызов? Я оплачу все, как полагается, и, пожалуйста, уезжайте...

В лице женщины снова что-то дрогнуло, Кузанни даже показалось, что она побледнела; он сунул ей деньги в широкий карман юбки, распахнул дверь, пробормотав:

— Не сердитесь, спокойной ночи...

Ночь он провел на вокзале; там было не очень многолюдно, но ресторанчики и кафе работали; группа молодых ребят шумно что-то обсуждала на странном немецком; ни слова не понятно; ну да, это же здешний немецкий, швицы говорят по-своему; швицов было на вокзале немного, а те, кто говорил по-французски, таких в Женеве большинство, посматривали на них с плохо скрытым недоброжелательством; как же традиционна неприязнь французов к тем, кто говорит по-немецки...

Возле окна притулился пожилой мужчина с копной седых волос, смолил одну сигарету за другой. «Мой брат по беде, — подумал Кузанни, — только у него нет денег, чтобы выпить, поэтому он и сосет кофейную жижу, оставшуюся на донышке чашки; старуха в углу, со старым, порванным чемоданом, тоже моя подруга по горю, наверняка совсем одинока, ботиночки стоптаны, как это жалко и трогатель-

но — стоптанные ботиночки седых старушек с натруженными пальцами, искривленными подагрой. Интересно, что у нее в чемодане? — подумал он. — Игрушки, которые она везет внукам, сэкономив гроши из пенсии? Весь ее убогий скарб, наверное, в этом чемоданчике. Может быть, злая и неблагодарная дочь выгнала несчастную — старики раздражают детей... Надо бы перечитать «Короля Лира»... Человек сиротеет, когда умирает отец или мать, даже если ему самому за пятьдесят. Стив наполовину сирота с трех лет, всегда помни об этом, — сказал себе Кузанни, — а ты стал это забывать, вдолбил себе в голову, что рядом с тобою растет друг, а не ребенок, у которого не было мамы... Сиротка... Но я же был ему всем! Нет, — ответил он себе. — Все можно заменить, только маму нельзя...»

Старушка медленно встала, тяжело подняла чемодан.

Кузанни бросил на мраморный столик купюру, подошел к ней, положил свои ледяные пальцы на ее руку. В глазах у женщины сразу же появился испуг.

— Нет, нет, я сама! У меня нет денег, мой господин, спасибо...

— Я помогу вам без денег, — сказал Кузанни. — Мне так хочется помочь вам, вы очень похожи на...

— Отойдите, — сказала старушка, повысив голос. — Я не отдам вам чемодан! Отойдите!

Кузанни снова почувствовал, какие у него чугунные пальцы, даже не пальцы, а ногти; так и тянут к земле, будь ты все трижды неладно...

...Он вернулся за свой столик, купюры уже не было, сдачи тоже; хотел поднять руку, чтобы подозвать официанта, но понял, что не сможет этого сделать; тогда, раздражаясь на самого себя, крикнул:

— Дайте стакан виски! Без льда! Полный стакан виски! Пять порций! Слышите вы там?!

Когда скользящий герр обер[1] поставил перед ним стакан, он сразу же ощутил резкий, бьющий запах, подступила тошнота; видимо, испанская подделка; на вокзалах всего мира жульничают. Станет ли кто в дороге обращать внимание на мелочи?!

Кузанни с трудом поднял стакан, превозмогая чугунность, поднес его ко рту, подумав: «Зачем кончать с собою таким образом? Понаедут врачи со «скорой помощи», капельница в вену; если невмоготу — иди и стреляйся, секунда — и все кончено...»

---

[1] Официант *(нем.)*.

Кузáнни медленно вылил виски на пол, задумчиво глядя на то, как тяжело и чугунно темно-желтая струя п а д а е т на пол; встал, вышел на пустынную улицу, остановил такси, поехал в ночную аптеку, купил снотворное, вернулся в отель, принял две таблетки и, вцепившись ледяными пальцами в диктофон, начал наговаривать новые эпизоды сценария; пусть будет дочь у Питера Джонса, пусть помучается, как король Лир, интереснее писать, когда сам себе придумываешь препятствия, как бегун на гаревой дорожке... Работа, работа, ничего, кроме работы, а там будет видно...

НУ И «ЛИБЕРТИ»!

После того как московская резидентура ЦРУ передала в Лэнгли новые данные о Кулькове, ЗДРО собрал совещание, пригласив наиболее близких ему людей, предложил продумать все коррективы, которые, видимо, придется внести в план «Либерти», заранее разработанный и просчитанный в секторе «17»; время на обдумывание дал весьма ограниченное — до вечера; просил работать сепаратно: «Мне бы хотелось свести ваши идеи в одну. Мыслите вы диаметрально противоположно; плюс на минус дает плюс — единственное, что я хорошо помню из всего курса математики».

...Поздно ночью ЗДРО внимательно изучил соображения своих коллег; воистину, каждый человек — это мир, в природе нет ничего одинакового; предложения носили взаимоисключающий характер; ночью люди из другого подразделения свели все предложения воедино:

«Объект» переходит границу России по имеющимся у него нашим документам. Появляется в пункте, известном ему из плана «Либерти». Служба в Западном Берлине загодя берет «известное место» в Восточном Берлине под наблюдение. Сразу же после обнаружения там «объекта» начинается практическое осуществление вывода его в нашу зону, для чего откомандированная нами группа «активного действия Л-37»:

а) входит в контакт с военной разведкой З. Берлина (Уолтер-младший);

б) связь между всеми службами поддерживается постоянно;

в) в шестнадцать ноль-ноль люди Уолтера-младшего снимают пароль возле метро «Фридрихштрассе», Берлин, ГДР;

г) в семнадцать часов агентура входит в случайный контакт с «объектом» в метро, на Ляйпцигерштрассе;

д) в операцию вводится «у»[1], который — сразу же по получении известного ему документа — переходит границу и ровно в девятнадцать тридцать предает гласности содержание документа, полученного им от «объекта» в восемнадцать часов;

е) ответственность за безопасность «объекта» и его вывоз из ГДР на Запад возлагается на военную разведку (Уолтер-младший)».

...Уолтер-младший был не зря включен в комбинацию: в течение трех лет вся его семья работала на «Авиа корпорейшн», корпорацию старика Летерса, в пользу максимальных ассигнований на развитие стратегической авиации; сведения, которые передавались компании, носили исключительный характер; это могло на стадии слушания дела в конгрессе затруднить работу тех, кто поставил на ракетный проект Сэма Пима.

В результате комбинации он будет убран из Западного Берлина; в ЦРУ все планируется впрок; конечно же, тот, кто рисует схему, не догадывается о живых прототипах; «икс», которого намечено «изолировать», вполне может оказаться братом автора проекта операции; схема, да здравствует схема! Разведка подобна математике. Эйнштейн, записывая свои уравнения, не мог даже и представить себе Хиросиму; он думал об абсолюте формы и доказательности посылов, сведенных воедино его мыслью.

...Газеты Соединенных Штатов — в этом смысле строптивый Макгони из Женевы прав — должны получить сенсационное сообщение ведущего русского ученого из-за «железного занавеса» о подавляющем превосходстве Советов в ракетной обороне; это, кстати, лишний раз докажет малую компетентность в работе военной разведки; Уолтер-младший в связи с этим будет отозван из Западного Берлина; его место займет человек, сориентированный на корпорацию Пима.

Теперь, после того, как службы предложили сведенный воедино, скоординированный план «Либерти», призванный спасти агента Н-52, заместителю директората разведки ЦРУ США предстоял всего лишь один контакт, и проводить его

---

[1] Агент ЗДРО, работающий в представительстве газеты «Чикого стар» в ГДР.

был обязан он, ЗДРО, лично; такое не поручают никому, даже самому верному сотруднику, ибо встретиться ему предстояло с человеком, не состоявшим на агентурном учете Центрального разведывательного управления, поскольку Чезаре Бинальти представлял интересы мафии в ложе «П-2»; таких не вербуют — в случае чего не отмоешься; с таким контáктируют, и то весьма конспиративно, с сохранением всех мер предосторожности.

Поскольку ЗДРО успел поработать под началом Аллена Даллеса, он не брезговал обычными приспособлениями, почерпнутыми из анналов классической разведки: отправляясь на контакт с Бинальти (такого рода встречи носили чрезвычайный характер и были крайне редки), несколько менял внешность, разговаривал мало, приглушив голос, несмотря на то что беседовали на специально оборудованной, звукозащищенной квартире; был предельно осмотрителен в формулировках — вполне можно допустить, что контрагент пишет каждое его слово: японцы перешли на пластмассовую звукозапись, аппаратура ЦРУ к этому еще не готова.

Расстелив на коленях карту того района Берлина, где Кулькову была назначена встреча с целью переправки его через границу, ЗДРО ткнул пальцем в красный кружок:

— В этом месте будет находиться человек. — Он показал Бинальти фотографию Кулькова. — Правда, он будет выглядеть несколько иначе. — ЗДРО достал другой снимок Кулькова, бритого наголо; сделали на фотокомпьютере загодя, готовя операцию «Либерти». — Запомнили?

— Да. Сколько недель вы отпускаете на подготовку операции?

— Ни дня.

— Это несерьезно.

— Наоборот, это вполне серьезно.

— Но я не успею...

— Это ваша забота, — прервал его ЗДРО.

— Сюда, — Бинальти ткнул пальцем в карту, лежавшую на коленях ЗДРО (город не назвал, каждый страхует себя, таковы правила), — я могу добраться только завтра вечером.

— Ну и что?

— Очень мало времени на подготовку, — повторил он задумчиво.

— Помнится, вы говорили, что именно в такого рода районах держите постоянные базы... Я исходил именно из этих ваших слов, планируя дело...

Бинальти кивнул, изучающе посмотрел на ЗДРО:

— Вы, конечно, понимаете, Восток докажет, что выстрел был произведен из-за стены? У них будут доказательства. Баллистическая экспертиза неопровержимо подтвердит этот факт... Опровергнуть довольно трудно...

— Ничего, опровергнем, — усмехнулся ЗДРО, хотя в задачу комбинации входил факт признания выстрела из Западного Берлина; вопрос в том, кто оттуда стрелял; пусть отмывается Уолтер-младший, он тесно связан с «красными бригадами»; докажем, что волосатыми руководит Москва или София, да и в конечном счете реакция Востока никого не волнует; шоу должны смотреть те американцы, которые будут голосовать за ассигнования в конгрессе и решать судьбу переговоров в Женеве.

— Мало времени, — снова повторил Бинальти.

— Я не очень понимаю, — ЗДРО недоуменно пожал плечами, — вы отказываетесь, что ли?

Тот грустно усмехнулся:

— Лично я с радостью бы отказался, но, думаю, боссы меня не поймут.

— Да и я не пойму, — заметил ЗДРО. — На случай непредвиденного было бы славно, снабди вы тех, кто будет работать, документами, которые позволят провести пунктирную линию на Восток.

— Вариант «серых волков»? — усмехнулся Бинальти. — «Болгарский след»?

ЗДРО закурил, медленно затушил спичку, ничего не ответил, только чуть опустил веки; Бинальти покачал головой:

— Интересно, люди когда-нибудь научатся верить друг другу?

— Конечно, — убежденно ответил ЗДРО. — Ради этого мы и живем на земле.

— Кто-то из ваших в случае экстренной нужды может оказать помощь?

ЗДРО отрицательно покачал головой.

— То есть это моя работа? А никак не ваша? — уточнил Бинальти.

ЗДРО снова кивнул, делая быстрые, легкие затяжки.

— Вы неважно выглядите, — заметил Бинальти. — Отдохните пару дней, у вас очень усталое лицо.

— Ладно, — ответил ЗДРО, поднимаясь. — Через два дня улечу в Майами. Как только узнаю, что вы закончили дело.

...Вернувшись в Лэнгли, ЗДРО продиктовал радиограмму для Н-52: «Дорогой друг, проявляйте максимум хладнокро-

вия. Ситуация находится под контролем. Срочно переходите на нелегальное положение. Предпримите все возможные меры, чтобы прибыть в заранее условленное место — по нашим документам — через три дня. Ваш переход будет прикрывать специальная группа в количестве четырех человек, это асы разведки. Будьте уверены в благополучном исходе. Сердечно ваш Л.».

— Где условленное место? — спросил Славин.

— Беренштрассе, — ответил Кульков.

Славин нашел эту улицу на карте Западного Берлина; ничего приметного, поблизости от государственной границы ГДР.

Генерал вернул шифровку ЦРУ Славину.

— Зачем они написали о четырех «асах разведки», Виталий Всеволодович? Они это не Кулькову писали, а нам. Смысл? Зачем они отдают нам четырех своих? Цель?

КОНЦЕПЦИЯ-II

1

«Женева. Миссия США при ООН,
Резидентура ЦРУ.
Строго секретно.
Чарльзу Макгони.

Какой тональностью должно быть окрашено заявление, если допустить возможность бегства из-за «железного занавеса» одного из тех, кто симпатизирует идеалам демократии и мира?

Учитывая, что вы находитесь в эпицентре событий, получаете информацию непосредственно из Дворца наций ООН и, следовательно, можете составить некий стереотип представлений о желаемом быстрее, чем наши аналитики, просили бы вас срочно прислать приблизительный текст заявления, которое, по вашему мнению, вызовет наиболее благоприятный эффект в Европе.

Что касается вашего отзыва в Соединенные Штаты, то вопрос такого рода решает руководство управления, а не вы.

В случае если вы ощущаете несогласие с общей линией, проводимой Центральным разведывательным управлением, мы готовы рассмотреть вашу официальную просьбу об отставке.

Желаю успехов в работе.

ЗДРО».

2

«Центральному разведывательному управлению США.
Строго секретно.
Тому, кого это касается.

В заявлении упоминавшегося ранее толка, появление которого сыграет положительную роль на Западе, должны быть приведены неопровержимые данные о наращивании русской ракетно-ядерной мощи.

Следовало бы раздать журналистам выдержки из подлинных документов Советов, отмеченных грифом высшей государственной секретности.

Особое внимание целесообразно уделить тому, какими методами русские камуфлируют свою агрессивную устремленность. Это неминуемо скомпрометирует хорошо организованные инициативы «за мир и ядерное разоружение», оплаченные резидентурами КГБ.

Убежден, что Дворец наций более всего шокирует информация о совершенно секретном, непрекращающемся разворачивании русскими своих ракетно-ядерных сил для нанесения первого удара по Западной Европе.

Желательно привести факты о том, что все усилия Советов устремлены на организацию влияния на Бонн, Париж и Лондон в главном направлении: «Проблемы войны и мира в первую очередь касаются именно нашего континента». Смысл такого рода давления русских очевиден: в случае замораживания диалога с Вашингтоном Москва сохраняет вполне надежных экономических партнеров.

В отличие от нас европейцы более эмоциональны, именно поэтому заявление патриота идеалов демократии, который, возможно, окажется на Западе, должно быть ярким, бьющим на чувство.

Полагаю, что отдел психологических акций прислушается к моим рекомендациям при разработке проекта такого рода заявления.

Хочу подчеркнуть: среди нашей делегации намечается все отчетливее и явственней тенденция к сближению с русскими по целому ряду позиций, которые значительно более выгодны Москве, чем нам.

Что же касается моей отставки, то, отправив предыдущую телеграмму, я не рассматриваю вопрос в такой плоскости. При этом я подчеркиваю еще раз, что не умею легко менять принципы, тем более те, которые служат делу демократии, свободы и мира. Естественно, если я по ка-

ким-то причинам неугоден на нынешнем посту, вопрос о моей отставке относится к вашей компетенции. Именно поэтому не могу не повторить, что менять свою позицию не намерен, ибо не учен поступаться жизненными принципами.

Макгони».

3

ЗДРО вздохнул; что поделаешь, дурак; с ними приходится считаться ввиду их численного превосходства. Ребенку ясно, что русским необходим позитивный исход переговоров, они должны высвободить ресурсы для развития и модернизации мирных отраслей промышленности, их предложения носят вполне серьезный характер, они действительно ищут выход из положения, сложившегося в мире, которое, увы, чревато ядерной катастрофой. Но ведь есть на земле люди, которые с юности упрутся во что-то лбом, и переломать их совершенно невозможно. Макгони относится к числу именно таких л б о в; впрочем, именно такая индивидуальность и нужна сейчас в Женеве; своеобразная форма «акции сдерживания», ничего не попишешь, все мы жертвы пересеченности обстоятельств...

ЗДРО р а с п и с а л телеграмму Макгони в отдел психологической борьбы, пусть работают над текстом заявления для Н-52, а сам вызвал руководителя группы «активное действие-III» Ника Дэвиеса и Роберта Шварца, п р а к т и к а.

— Вам предстоит полет в Западный Берлин, друзья, — сказал ЗДРО, пригласив своих опытнейших сотрудников к маленькому столу, где уже стояли три чашки кофе и маленькая вазочка с сухим печеньем. — Задание в высшей мере ответственное... Речь идет о жизни и смерти борца за демократию и прогресс... Русского, который решил выбрать свободу... По соображениям оперативного характера, подготовительная работа была возложена на представителя военной разведки, Уолтера-младшего... В общем-то, верно, видимо... Зачем так уж обижать коллег из Пентагона? Однако давайте говорить начистоту, между нами не может быть тайн, братство по общему делу: Уолтер-младший — баловень судьбы, вы знаете, из какой он семьи, ему не приходилось прошибать себе карьеру так, как это выпало на долю каждого из вас... Его родственники сидят в наблюдательных советах «Авиа корпорейшн», мультимиллионеры... На что способен этот белоручка, не знаю... Так

что вам самим придется проявлять максимум осмотрительности в деле... А оно, повторяю, ювелирное... Сейчас я приглашу автора проекта, он изложит вам план по пунктам... Только давайте уговоримся об одной маленькой игре: пусть Ник — надеюсь, он простит меня, — являясь, как всегда, руководителем операции, играет роль помощника, а Шварц получит титул старшего... Так задумали в секторе проработки проекта — пусть. Сочтетесь честолюбиями, когда вывезете нужного нам человека. Я не говорю, что его жизнь в ваших руках, это, видимо, вам и так понятно... Я не говорю, как он важен нам здесь, на свободе, вы достаточно опытные люди... Есть какие-то вопросы перед тем, как начнем идти по частностям?

4

А уже после этого ЗДРО позвонил Сэму Пиму:

— Придется встретиться.

— Я готов, — ответил тот; адрес не называли, был обговорен заранее.

5

— Вы хотели, чтобы все дело было решено одним махом, — сказал ЗДРО, включив приемник. — Я запустил вашу идею в работу... Но я не могу не рассказать о том, какой она будет.

— Предприятие столь рискованно, что не обойтись без аксессуаров круговой поруки, — усмехнулся Пим. — Полагаете, что, случись беда, я оставлю вас?

— У меня есть к тому основания. Вся моя служба работает на проект «Либерти». Есть у нас любопытная идея: вывезти на Запад агента, попавшего в беду. Но я не думаю, что вас устроят его показания в конгрессе: наши зубры, стоящие за диалог с Кремлем, вытащат из него правду. Даже если наш агент будет произносить те реплики из сценария, которые мы ему подготовим, особого доверия он не вызовет... Но тем не менее ради того, чтобы спасти его, я отправляю в Европу бригаду...

— Зачем? — удивился Пим. — Если тем более здесь его разобьют и он скомпрометирует вас и меня?

— Я отправляю бригаду для того, чтобы профессионалы из Управления, — скрипуче ответил ЗДРО, — знали, как

мы ценим своих агентов и боремся за них... Но его не вывезут на Запад... Его нейтрализуют на месте...

— Убьют, что ли? — усмехнулся Пим. — Называйте вещи своими именами, не терплю этих конспираторских ужимок.

ЗДРО повторил:

— Его нейтрализуют. Но если хоть один из тех, кто это будет делать, провалится, след приведет ко мне и я должен буду уйти из ЦРУ.

— Обидно, — сказал Пим. — Вы прирожденный стратег разведки.

— Тем не менее.

— Вас интересует, какой будет ваша дальнейшая судьба? Отвечайте, старина, отвечайте же, я привык к конкретике...

ЗДРО молчал, глядя в переносье Сэма Пима, не произнося ни слова.

— Ладно, — сказал наконец тот, — не пугайте, я и так напуганный. Работайте спокойно, пусть только тот, кто может мне помешать, не мешает. Поедете в Майами, там есть фирма, которая давно ждет хорошего директора. Устраивает?

ЗДРО поднялся, молча кивнул Пиму и, по-прежнему не проронив ни слова, вышел.

6

— Вот что, — после долгого, тяжелого раздумья сказал генерал, — немедленно звоните-ка, Виталий Всеволодович, в Женеву вашему другу... И пригласите его — конечно, вместе с Кузанни, без американца не получится сенсации желаемого уровня, свой, он и есть свой, — в Западный Берлин... Последний акт игры надо смотреть с обеих сторон границы, возможны варианты всякого рода... Пусть Степанов приедет к вам из Западного Берлина на полчаса... Посвятите его в курс дела — в общих чертах, понятно...

Славин недоуменно нахмурился:

— Степанов — мой друг. Я не умею верить наполовину.

— Я тоже. Но если он ваш друг, то пощадите его все-таки — во многия знания многие печали... Сейчас, во время телефонного разговора с вами, он поймет, что дело пахнет жареным?

Славин усмехнулся:

— Он все поймет...

— Только назовите не один Западный Берлин, а несколько европейских городов; его же наверняка слушают, пусть гадают...

— Он все поймет, — повторил Славин. — Все будет как надо... Вылетать завтра?

— Нет. Сейчас, — ответил генерал. — Группа Гречаева ждет вас, Кульков тоже; генералу Конраду Фуксу в Берлин я уже позвонил, полетите специальным рейсом, везти Кулькова на «Аэрофлоте» кажется мне рискованным.

Славин незаметно посмотрел на часы, голубые глаза-щелочки генерала фиксировали каждую мелочь.

— Какие-то неотложные дела? Не можете сейчас вылететь? Что ж, полчаса у вас есть, не больше...

Неотложные дела, подумал Славин; конечно, неотложные дела; Ирина ждет у загса уже пять минут; она привыкла к тому, что он обычно опаздывает; будет ждать еще минут двадцать, а ехать туда полчаса; уйдет; плохо, ужасно плохо, просто хуже быть не может...

И как раз в это время дали Женеву; Степанов, по счастью, был в номере...

...Ирина ждала Славина сорок минут; она была в белом платье, эти дни бегала по комиссионкам, дуреха; загрохотал гром, закраины облаков сделались фиолетовыми — погода переменилась внезапно, теперь это стало в Москве обычным; зонтика у нее с собою не было; как кошка под дождем, подумала она, и эти хемингуэевские слова показались ей вдруг до того пронзительно-жалостными, что она, не сдержавшись, заплакала; в секретариате Славина ответили, что Виталий Всеволодович неожиданно вылетел в Ялту, будет через неделю, простите, кто его просит; не ответив, Ирина осторожно повесила трубку; дождь решила переждать в кабине автомата; такси с парочками подъезжали к загсу часто, чуть реже — «Чайки» с новобрачными. «Переоденусь — и в Рязань, к бабушке, у нее я наревусь всласть, только б сейчас сдержаться...»

«ПОДИ-КА СОЧИНИ, НЕ ЗНАЯ ПРАВДЫ»

— Ну и каков же шанс? Какова вероятность того, что этого «икса» выкрадут? — спросил Кузанни, изучающе посмотрев на Степанова; лицо его за эту ночь осунулось, под глазами легли черные тени. — Сколько можно поставить на то, что предполагаемое действительно случится?

— Не знаю.

— Информация надежна?

— Тот, кто мне ее передал, вполне надежен. Что же касается тех, от кого ее получил мой друг, сказать не могу.

— Давно с ним знаком?

— Давно. Ты, кстати, его тоже знаешь.

— Я?!

— Да. Косвенно. Через меня. Это он назвал адрес, по которому держали в больнице Эмму Шанц, жену Джона Глэбба из луисбургской резидентуры ЦРУ. Тебе, кстати, пригодилась встреча с Эммой?

— Очень... Это меняет дело... Я не хочу спрашивать, кого представляет твой человек... Так мне удобнее.

— Верно, — кивнул Степанов. — Ты прав.

— Но лететь придется нам двоим.

— Я готов. Хочешь, чтобы я помог тебе?

— Ты мне понадобишься как свидетель. Хотя одного свидетеля мало... По нашим законам нужны двое... Давай адрес...

— По условиям задачи, Юджин, я могу назвать адрес лишь за час перед тем, как на месте получу подтверждение...

— Довольно сложно начинать предприятие, если главному его участнику не верят. — Кузанни пошел на кухоньку в степановском номере, включил плитку, поставил воду для кофе. — Нельзя не верить соучастнику предприятия, Дим...

— Дело не в том, верят или не верят... Они делают их дело, я — мое, ты — свое. Повторяю: я знаю город, где должно совершиться нечто такое, что помешает диалогу... А может, и вообще сделает его невозможным. Впрямую об этом по телефону не поговоришь... Окончательную информацию я получу либо в Вене, либо в Западном Берлине, так мне объяснили. Утром, накануне д е л а. Это все, что я могу тебе сказать... И еще должен добавить: видимо, без частного детектива не обойтись, он понадобится тебе как режиссеру.

— Тебе сказали, что д е л о имеет какое-то отношение к моему будущему фильму? — спросил Кузанни.

— Да, поскольку твой фильм имеет отношение к тому, что происходит и здесь, в Женеве, и на Нью-Йоркской бирже.

— Откуда твой друг знает о моем новом сценарии?

Степанов улыбнулся:

— Потому что он не дикарь, газеты читает. Я же тебе переводил мою корреспонденцию: там было достаточно полно рассказано, над чем ты сейчас трудишься...

Кузанни вернулся из кухоньки с двумя чашками кофе.

— Я должен посоветоваться с моим адвокатом, Дим.

— Думаю, этого делать не надо.

— Но мы не предпринимаем ни одного шага, не включив в дело человека, знающего закон... Иначе у нас нельзя.

— Это очень хорошо, — сказал Степанов, — и, честно говоря, мне это нравится, потому что сами-то мы частенько полагаемся на авось, но, думаю, сейчас этого делать не надо.

— Не считай, что все наши адвокаты — агенты ЦРУ.

— Никогда так не говорил и не писал! Наоборот, хвалил ваших законников, это было... Кстати, частный детектив действует в соответствии с законом?

— Полагаю, что да... Никогда не обращался к ним за помощью.

— Как долго происходит оформление договора на сотрудничество?

Кузанни повторил:

— Я ни разу к ним не обращался... Предпочитаю работать соло. Кстати, не германский Вальраф это начал, а я, американец, когда дрался за освобождение вашей Анджелы Дэвис.

— Вашей, — мягко поправил Степанов. — Не нашей, а именно вашей Анджелы... Тебя несколько занесло, Юджин.

— Еще бы не занести! Я должен лететь на свои деньги, а они у меня, между прочим, считанные! Должен нанимать детектива, а это дорого! И потом, я не знаю, во имя чего я вхожу в предприятие и что оно собой представляет... Ты говоришь — «преступление»... Какое? Браухич из фликовского концерна дает очередную взятку людям из партии вице-канцлера Геншера? Это не моя тема. Наркоманы принимают коллективную клятву сжечь весь героин? Не поверю. Имеет отношение к моей работе... Крадут нашу ракету? Угоняют за «железный занавес» новый Ф-13?

— Не знаю, — повторил Степанов. — Я сказал тебе условия. С меня взяли слово, что это в тебе умрет. И я такое слово дал. Если ты не входишь в предприятие, забудь о нашем разговоре.

Через час они вылетели из Женевы...

...Когда принесли завтрак и стюардесса спросила пассажиров, кто и что будет пить — пиво, вино, соки, — Кузанни ответил:

— Стакан холодной воды.

Степанов снова посмотрел на него: «Что с ним случилось за то время, что меня не было? Осунулся, глаза запали, какие-то потухшие, больные, безжизненные...»

— Что-нибудь произошло, Юджин? — спросил Степанов.

— Нет, ровным счетом ничего, — ответил тот, но не удержал вздоха; он был судорожным, какой-то спазм, а не вздох.

— Я ни в чем не могу тебе быть полезным?

— Нет, Дим. Спасибо, — ответил Кузанни, тяжело, превозмогающе усмехнулся. — Впрочем, можешь: пожалуйста, впредь никогда не давай советов, связанных с моей личной жизнью.

— Плохие новости от Стивена?

Кузанни поковырял вилкой холодную закуску; есть ничего не стал, полез за сигаретами.

— Слушай, — спросил он, — у тебя есть какие-нибудь сенсационные материалы о мафии?

— Черт его знает... Я же путешествовал по Сицилии восемь лет назад... Но крутить клубок надо с Нью-Йорка и кокаиновых плантаций в Парагвае... Потом уже возникнет Сицилия...

— У тебя никогда не появлялось желания, — задумчиво спросил Кузанни, — застраховаться на миллион долларов, войти в клетку к льву и провести с ним день? Отчего-то я убежден, что он не бросится... Если зверь сыт, он не кидается на человека, ему лень...

Нажав кнопку в кресле, Кузанни откинул спинку и отвернулся к иллюминатору.

— Я попробую поспать, ладно? — тихо сказал он. — Нигде так хорошо не спится, как в самолете. А ты придвинься поближе... Хочу чувствовать рядом с собою спину...

Степанов вздохнул:

— Заметь, с развитием научно-технической революции функции попа, которому исповедовались, перешли к врачу... Ему рассказывают про себя все, без утайки. Человек обладает знанием, которое может тебе помочь...

— К чему ты об этом?

— Не знаю... Просто пришло на ум, вот и сказал...

— Ладно, — усмехнулся Кузанни, — когда вернусь домой, непременно схожу к невропатологу, ты ж меня на это толкаешь...

Бюро частного детектива Ганса Прошке помещалось неподалеку от отеля «Берлин», в новом жилом массиве, на втором этаже.

Его помощник, молодой и несколько экзальтированный человек (Степанову это очень не понравилось; Кузанни отмахнулся, шепнув: «Не обращай внимания, мир полон психов»), провел гостей в небольшой холл:

— Шеф сейчас выйдет, располагайтесь, пожалуйста.

На низком столике, вокруг которого стояли три мягких кресла темно-малинового цвета, лежали журналы «Полицист», «Ассосиэйшн фор лоу», «Детектив»; западноберлинские газеты, подшивка «Интернэшнл геральд трибюн» и «Шпигель».

В Женеве, после того как Степанов назвал Кузанни приблизительную дату и район предстоящих событий, тот за час перед вылетом заехал к частному детективу Рене Сежо: «Он сотрудничал со мной против нацистов, которые базировались в швейцарской Асконе в последние месяцы войны, честный парень, во всяком случае, лично я ему верю безусловно». Он и назвал имя Прошке. «Только имейте в виду, господа, — заметил он, переводя взгляд со Степанова на Кузанни, — Западный Берлин — особый город, со своим статутом, у них существует ряд ограничений, неизвестных нам. Частные детективы там, например, не имеют права на хранение оружия; тем не менее Прошке — крепкий человек, новая волна, никаких связей с прошлым».

...Прошке оказался полной противоположностью своему помощнику: громадный, неряшливо одетый, медлительный в движениях, он производил впечатление абсолютной флегмы; похож на бездомного художника или музыканта из дешевенького ресторанчика в привокзальном районе.

— Да, Рене мне звонил, очень рад знакомству, фабулу он изложил весьма туманно, рассказывайте подробно, я весь внимание.

— Возможно, это будет связано с операцией разведслужбы, — сказал Кузанни и поинтересовался: — У вас американский акцент, жили в Штатах?

— Да, я там учился.

— Где?

— У Збигнева Бжезинского, в Нью-Йоркском университете, факультет права... Про Бжезинского шутка, я не славист, но его семинар посещал, мужик с головой.

— Этого не отнимешь, — согласился Кузанни. — Думать умеет...

— Что вы вкладываете в понятие «разведслужба»? — спросил Прошке. — Кстати, должен предупредить, что наш разговор записывается...

— Кем? — спросил Кузанни.

— Моим помощником, Францем... Здесь так принято, ничего не попишешь... Я должен иметь оправдательные документы перед прокуратурой, если произойдет с к о л.

— Тогда я бы предпочел говорить в баре, — сказал Кузанни.

— В каком?

— В вашем доме, рядом с итальянским рестораном «Ля бока».

Прошке усмехнулся:

— Там тоже записывают. Только не Франц, а дяди из полиции, что значительно хуже. Пошли, — Прошке поднялся, — погуляем, если вы считаете, что дело столь щепетильное...

Они вышли на улицу; жара спала, от канала тянуло прохладой, из-за того, что листья деревьев были покрыты слоем пыли, они казались нарисованными каким-то неореалистом — отточенность правды, приближающаяся к фотографии.

— Кстати, я дорогой детектив, — сказал Прошке. — Имейте это в виду. Особенно когда дело касается работы против организации. Одна страховка в таком предприятии стоит не менее тысячи марок.

— Я понимаю, — кивнул Кузанни. — Сначала я объясню, что меня будет интересовать, а потом вы назовете цену.

— Хорошо. Давайте, я слушаю...

— Сегодня вечером...

Прошке остановился, резко обернулся к Кузанни:

— Что значит «сегодня вечером»? Сейчас одиннадцать часов, вечер вот-вот наступит, к делу нужно подготовиться...

— Я закончу, ладно? — Кузанни полез за сигаретами. — Сегодня вечером по ту сторону зональной границы должно произойти н е ч т о. Так, во всяком случае, считает мой друг. — Он кивнул на Степанова. — Кстати, он русский, вас это не смущает?

— Красный? — спросил Прошке.

— Да, — ответил Степанов.

— Профессия?

— Литератор.

Прошке усмехнулся:

— А чин в с л у ж б е?

Кузанни вздохнул:

— Генерал. Можно продолжать? Или то, что я не считал возможным скрыть, имея в виду гражданство моего коллеги, как-то повлияет на ваше решение?

— Договаривайте, мистер Кузанни. Я должен понять, чего от меня хотят. Прежде всего условия задачи, решение потом. Если бы вы попросили выследить вашу любовницу, которая спит с приятелем, пока вы зарабатываете деньги, я бы сразу назвал цену: выгодная работа, никакого риска... Вы же говорите об операции некоей разведслужбы... Это другое дело. Я жизнелюб, понимаете ли, бо-ольшой жизнелюб...

— Так вот, — продолжил Кузанни, — в условия задачи входит следующее: вы должны быть вооружены...

— В городе запрещено хранение ору...

Кузанни перебил его:

— Что вы такой быстрый, а? Дослушайте. Я прекрасно знаю, что вы живете под оккупационным статутом... Вы вооружайтесь телекамерой и делайте съемку лиц, которые будут наблюдать в бинокли за событием, которое должно произойти в ГДР. Также сфотографируйте номер машины, на которой эти люди подъедут к зональной границе. Меня сие очень и очень интересует...

— Возможно, там будет не одна машина, — заметил Степанов. — Вероятно, несколько автомобилей. Необходимо проследить их маршрут.

— Думаю, они отправятся в аэропорт, — сказал Кузанни. — Меня будет интересовать фотоматериал обо всех, кто войдет с ними... или с ним... в контакт... Если, конечно, кто-то войдет... В том случае, если контакт состоится, я хочу знать, куда поедет человек, подходивший к ним... Или полетит. Более того, я хочу, чтобы вы и ваш помощник и дальше сопроводили этих джентльменов, поглядели, где они остановятся в том городе, куда их доставит самолет... И продолжали смотреть за ними до тех пор, пока я не скажу «стоп».

— А как вы мне это скажете, хотел бы я знать? Будете летать вместе со мной и Францем?

— Нет. Я не буду летать вместе с вами. Я дам вам свой телефон в отеле «Кемпинский». И буду ждать звонков.

— Вы понимаете, сколько может стоить такого рода операция?

— Думаю, дорого.

— Франц, — Прошке обернулся к помощнику, следовавшему за ним неотступно, — пожалуйста, поинтересуйтесь, какие рейсы вылетают из города вечером... Их примерно двенадцать... Сделайте заказ на билеты... На наши имена... на все рейсы.

Кузанни и Степанов переглянулись: парень с хваткой.

— Вернемся к вопросу об оплате работы, — сказал Прошке.

— Я понимаю, что это дорого, — повторил Кузанни.

— Не просто дорого, мистер... А очень дорого...

— Я готов оплатить расходы. О билетах на самолет, аренде машин и номерах в отелях не говорю, само собой разумеется... Просьба не брать билеты первых классов, не арендовать «ягуары» или «роллс-ройсы» и не поселяться в отелях люкс.

Прошке поинтересовался:

— Как долго я должен т о п т а т ь интересующих вас людей?

— Не знаю, — ответил Кузанни, взглянув на Степанова. — Пока не знаю.

— Если я потеряю их, это скажется на гонораре?

— Во что вы оцениваете работу? — спросил Кузанни.

— Я не знаю, каков уровень подготовленности объектов наблюдения...

Степанов убежденно ответил:

— Самый высокий.

Прошке сразу же поинтересовался:

— Имеете информацию?

— То, что у меня появится, будет вручено вам на аэродроме, когда вы передадите мистеру Кузанни снимки, сделанные на месте...

Кузанни со вздохом пояснил Прошке:

— Русский комплекс — избыточная подозрительность, ничего не попишешь...

— Ничего не попишешь, — согласился Прошке. — Что ж, сегодняшняя фотооперация — две тысячи, первые два дня нашего путешествия-погони будут стоить вам тысячу семьсот марок... Тысяча мне, семьсот Францу... За последующие дни я бы хотел получить по две тысячи пятьсот, это, конечно, много, очень много, но справедливо.

— Слишком дорого, — сказал Кузанни.

Степанов покачал головой:

— Нет, Юджин, это по правилам. Господину Прошке предстоит смотреть не за любовниками, он прав... Риск велик, мы не должны скрывать это, нечестно, а ничто так высоко не оплачивается, как риск...

— Где здесь можно поменять деньги на мелочь? — поинтересовался Кузанни. — Мне надо позвонить в Голливуд.

— В «Ля боке», — ответил Прошке. — Наменяют, сколько хотите.

В ресторане было пусто; усатый итальянец, подражавший основателю ресторана (тот сейчас купил дом на Корсике, хорошо заработал во время западноберлинского бума; вложил доллары в швейцарский банк, получает десять процентов годовых), лениво подошел к кассе, выгреб пригоршню пятимарочных монет, ссыпал их в карман Кузанни, определив на глаз:

— Вы мне должны девяносто бумажек; возможно, я потеряю на этом пять марок, а если выиграю, то сущий пустяк, пересчитывать — дороже.

— Вы выиграли десять марок, Карло, — меланхолично заметил Прошке. — Я подсчитал. Ссыпали ровно восемьдесят марок, хороший бизнес.

Кузанни и Степанов переглянулись; Кузанни чуть улыбнулся, подмигнув русскому: парень что надо; когда спустились в туалет, где было два автомата, один городской, а другой международный, Степанов заметил:

— Господин Прошке, если вы будете работать так же четко, как сейчас считали монеты, за исход дела можно не волноваться.

— Думаете? — Прошке зевнул, прикрыв рукой рот, сделавшийся круглым, как вход в тоннель. — Хорошо если так. На самом-то деле Карло проиграл, сыпанул девяносто пять марок, но я не терплю штучек — деньги любят счет.

...В туалете было чисто, как в операционной; черный кафельный пол, голубые умывальники, хрустящие салфетки, фирменное мыло в маленьких коробочках, сделанных под черепаху; к счастью, никого из посторонних не было. Как медленно человечество постигает самые простые истины: зачем было платить деньги старухе, которая дремала здесь на стуле, собирая с посетителей пятьдесят пфеннигов, когда значительно экономичней врезать в кабинки замки с копилкой?!

Кузанни набрал голливудский номер продюсера Гринберга; тот, по счастью, был дома; разница во времени, там еще поздний вечер.

— Привет, Стив, это я.

— Ты уже в Берлине? — спросил Гринберг.

— Да.

— Ну и как?

— Может быть любопытно.

— Съемка скрытой камерой?

— Боюсь, что нет. Телевик. Но такие фото очень хорошо монтируются, Стив, это дает бóльшую достоверность, чем

киносъемка, да и потом здешних клиентов на камеру не снимешь, нет времени и, судя по всему, слишком рискованно.

— Тебе виднее. Во сколько это мне станет?

— Оплата их номера в гостиницах...

Прошке поднял палец:

— Нет, нет, двух номеров, пожалуйста! Франц храпит, и потом, я привык засыпать с женщиной.

Кузанни спросил Гринберга.

— Ты слышал?

— Да. Сколько это все будет стоить? Говори сумму, я отвечу тебе «да» или «нет».

— Ты ответишь «да», Стив.

— Сначала назови сумму, — повторил Гринберг.

— Это может стоить плюс-минус двенадцать тысяч долларов.

Прошке покачал головой:

— Неверно. А если интересующие вас люди полетят в Штаты? Чили? Или на Мадагаскар? Пусть переведет пятнадцать тысяч...

— Он говорит, что надо перевести пятнадцать тысяч, Стив.

— Нереально, — ответил Гринберг. — Максимум, на что я могу пойти, это шесть тысяч. Марка по-прежнему падает, так и так ему выгодно, он согласится.

Кузанни обернулся к Прошке:

— Мой продюсер готов уплатить шесть тысяч долларов.

Прошке покачал головой:

— Это несерьезно, мистер.

— Хорошо, но скостите же хоть на сколько-нибудь, — взмолился Кузанни.

Прошке пожевал губами и несколько растерянно шмыгнул носом:

— Ладно, черт с ним, пусть пересылает четырнадцать тысяч.

Кузанни повторил в трубку:

— Он согласен на четырнадцать.

— Это нереально, Юджин! Четырнадцать тысяч баксов за двадцать фотографий?! Он хочет сорвать куш на жареном! Найди кого-нибудь еще и сразу называй сумму: «Мой продюсер готов перевести семь с половиной тысяч, и ни цента больше, цена окончательная».

— Сейчас, погоди. — Кузанни снова обернулся к Прошке: — Семь с половиной тысяч. Он говорит, что уплатит семь с половиной тысяч.

Прошке медленно покачал головой; лицо его было обиженным.

— Повторяю: я буду охотиться не за неверной женой. Он знает, о ком идет речь?

— Хорошо, Стив, — сказал Кузанни, — давай уговоримся так: я иду на риск... Семь с половиной тысяч платишь ты, а остальные шесть вычтешь из моего гонорара...

— Не делай глупостей! Он обирает тебя...

— Стив, я прошу тебя сделать то, что прошу...

Прошке написал на салфетке номер телекса:

— Пусть отправит перевод на тринадцать тысяч прямо сейчас же в мой банк, счет шестнадцать двадцать три четыреста пять.

Кузанни повторил; Гринберг раздраженно сказал:

— Погоди, я должен встать с кровати... Диктуй...

— И пусть отправит подтверждение по моему телексу, — попросил Прошке. — Берлин, девяносто семь семьдесят два, «Прайвэт лебенс бюро». Я хочу иметь подтверждение немедленно, — он посмотрел на часы, — потому что через час я должен начать работу... И последнее: когда вы мне назовете адрес, где я должен снимать?

ТЕМП-III

В шестнадцать часов мимо Кулькова, сидевшего на скамеечке возле станции метро «Фридрихштрассе» после телефонного звонка, который он загодя сделал из автомата, медленно проехала старенькая машина марки «фольксваген» с военным номером подразделения ВВС США, расквартированного в Западном Берлине.

Через час, когда Кульков шел к выходу из метро «Ляйпцигерштрассе», два пьяных турка на высоких каблуках, в обтягивающих, узеньких брючках, расклешенных книзу, обгоняя, толкнули его в бок, и он почувствовал, как в карман его пиджака что-то сунули. Группа Гречаева, наблюдавшая за ним вместе с работниками контрразведки ГДР, отметила, что предметом этим был конверт: очень тонкий; авиапочта Болгарии; марка погашена в Софии.

...Через двадцать две минуты турки перешли государственную границу ГДР с Западным Берлином на станции метро «Фридрихштрассе»; офицер, проверявший их пропуска, сообщил контрразведчикам, что Мехмет Шааби и Абдулла Кижа были совершенно трезвы; в интересах операции досмотр произведен не был.

В Западном Берлине они сделали пересадку на линию, которая вела к Клейаллее; штаб-квартира оккупационных войск США; в резидентуру ЦРУ не пошли; на улице их подхватил битый «мерседес-230» и отвез в маленький особняк на Фогельштрассе; дом принадлежал фармацевту Рихарду Ризенбауму — конспиративная явка регионального отдела военной разведки.

После тридцатиминутной беседы Мехмет Шааби вышел из особняка и отправился в Кройцберг; там в доме, где помещался магазин радиоаппаратуры, работающий в основном на турецких иммигрантов, на втором этаже, в квартире семь, была явка одного из руководителей «серых волков», так называемая «группа-зет»; вместе с ним отправился к границе; оставили «фольксваген» возле свалки старых автомобилей; поднялись на пятый этаж полупустого, разрушенного еще со времен войны дома; здесь на имя художника Рикенброка еще неделю назад было снято ателье; просмотр территории ГДР отличный, особенно Зауэрштрассе (а не Беренштрассе, как говорил Кульков в Москве), куда, как значится в инструкции, сунутой в карман Кулькову, он должен явиться в девятнадцать часов тридцать минут, предварительно побрившись наголо: «Предстоит переход границы, вас заберет наш общий друг, но предварительно вам необходимо бросить в семнадцать часов прилагаемое письмо, заранее переписав его от руки, в почтовый ящик квартиры. Это сигнал, означающий, что вы будете в условленном месте на Зауэрштрассе в обговоренное время». Прилагался адрес: Ляйпцигерштрассе, наискосок от ресторана «София»; о том, что там жил представитель чикагской газеты, не говорилось, а уж тем более о том, что человек этот связан со с л у ж б о й.

Письмо, которое надлежало переписать от руки, гласило следующее: «Я, кандидат физико-математических наук Геннадий Александрович Кульков, в течение двадцати пяти лет работал рука об руку с ведущим ракетостроителем Советского Союза академиком Крыловским. На моих глазах создавались ракеты СС-20 и вывозились в страны-сателлиты, чтобы стационировать их там против Запада. За участие в создании этой ракеты я был удостоен Государственной премии СССР и награжден орденом «Знак Почета». Я был твердо убежден,что ракетное оружие необходимо моей стране для отражения удара «американской военщины». Но в последнее время я стал свидетелем трех секретных совещаний, которые открыли мне глаза на происходящее: владыки Советского Союза, на словах выступающие за мир и

разоружение, подвергающие злобной критике Америку, сейчас, во время ведения переговоров в Женеве, приняли новый, сверхсекретный план. Согласно этому плану, уже сейчас — в обстановке абсолютной тайны — в России начат новый виток гонки ракетных вооружений. Именно поэтому я принял горькое решение покинуть Родину, чтобы открыто предостеречь народы всего мира от того, что им готовит Кремль. Тактика ведения переговоров в Женеве советской делегации есть тактика бесчестных затяжек во имя выигрыша времени. Мир в опасности. Честные люди Земли должны сказать свое слово в защиту цивилизации. Я отдаю себе отчет, на какой риск иду, пытаясь уйти из-за «железного занавеса», я понимаю, что не исключена возможность моего ареста КГБ и контрразведкой ГДР, поэтому решил передать это заявление в прессу еще до того, как предприму попытку уйти в свободный мир. Геннадий Кульков».

...Второй турок, Кижа, от фармацевта Ризенбаума выехал в район Ванзее; дом семь по Моцартштрассе; поднялся в квартиру два на третьем этаже.

Ее арендовал Луиджи Мачелли, возглавлявший «группу-7», связанную с масонской ложей «П-2».

...Славин и Конрад Фукс — генерал-майор контрразведки ГДР, старый друг, вместе заканчивали аспирантуру в университете — сидели на т е л е ф о н а х; сообщения поступали ежеминутно.

— Если бы когда-нибудь ваши или наши кинематографисты решили снять фильм об этом деле, — заметил Славин, — им бы не поверили...

— Зависит от того, как снять, — не согласился Фукс.

— Я имею в виду другое: ни ты, ни я не курим. И на столе нет бутылки; ни ты, ни я не страдаем язвенной болезнью — это в кино очень любят, утепляет образ; страдание угодно широкому зрителю... И совершенно необходима ревнивая жена...

— Ты так и не женился, Виталий?

— Нет.

— Можно задать вопрос?

Славин усмехнулся:

— Я его знаю. Ты хочешь спросить: почему?

— Именно.

— Знаешь, вообще-то я никому на этот вопрос не отвечаю... Нет, нет, — заметив что-то в глазах Фукса, вздохнул он, — тебе я отвечу, Кони... Пропустил время... Ук-

раинцы, когда говорят с тобой по телефону, спрашивают: «Ты сам?» Это значит: «Ты один?» По-украински, кстати, звучит — с точки зрения философии — точнее; «один» — это количественное, «сам» — качество человека. Если человек женился в том возрасте, когда это положено — в молодости, или если произошло совпадение, которое, увы, редкостно, — и тогда счастье ждет пару. Если же люди в чем-то разнятся, темпераментом не подходят, вот тебе и разлад... Поначалу не женился из-за того, что маму очень любил, а мои подруги как-то не вписывались в ее представление о том, какой должна быть моя жена, потом работа завертела. Полагаю, что, женившись ныне, я доставлю только боль той женщине, которая придет в мой дом. Я привык жить так, как привык. Я встречаюсь с очаровательной подругой, но разность в возрасте слишком велика... Времени на прилаживание не осталось, Кони, а в организации семьи самое главное — приладиться, как тут ни крути...

— Сейчас позвонят. — Фукс кивнул на телефоны. — Чует мое сердце.

— Мое тоже.

— Я стал побаиваться интуиции... Видимо, именно профессия накладывает самый сильный отпечаток на характер человека... Анна Зегерс как-то рассказывала мне, что от романа к роману ей хотелось писать все больше и больше, понимала, что времени уже мало, отдохнуть бы, а нет, работа. А в молодости, грустно добавила она, казалось, что впереди еще уйма лет, успею... Лишь профессия по-настоящему создает человека, если он верно избрал профессию... У меня ремонт делал столяр... Зигги... Замечательный мастер, только крайне медлительный... Я его как-то спросил, отчего он так долго работает. А он ответил: «Музыку люблю». Я сначала не понял, переспросил. «Когда имеешь дело с деревом, — ответил он, — погружаешься в музыку; не зря и рояль, и скрипка, и гитара сделаны из разных пород; каждое дерево по-своему хранит солнце, дождь и ветер...»

— Красиво, — согласился Славин.

— Очень... У меня вот профессия выработала интуицию... И это плохо.

Славин удивился:

— Почему?

— Потому что в нашем деле прежде всего надо следовать факту, а не интуиции. При некоторых поворотах интуиция может сыграть с нами злую шутку...

Зазвонил телефон — требовательно, почти без перерывов.

— Ну, что я говорил? — усмехнулся Фукс. — Сейчас чем-нибудь обрадуют...

Доложили, что к Луиджи Мачелли только что прибыл высокий мужчина, примерно пятидесяти лет или чуть старше, нос приплюснутый, боксерский, левая бровь чуть рассечена; в синем костюме, с плоским чемоданом фирмы «Карден» (самые дорогие в мире) и «дипломатом» крокодиловой кожи с шифровыми замками...

— Для досье мало, — заметил Фукс. — Разве что только рассеченная левая бровь...

(Среди лиц, подозреваемых в организации злодейского взрыва Миланского вокзала, который унес сотни жизней, числился некий Бинальти, он же Панинни, он же Голденберг, он же Банаат-заде; именно он отвечал в синдикате за «укрытие следов» после совершения террористических актов.)

— Ну что ж, — сказал Славин. — Время эндшпиля, Кони?

— Видимо... Кто-то занятно писал о Лейбнице: у философа была необыкновенная способность ощущать связь соподчинения; он был невероятно последователен, а именно потому порою выглядел нелепым, ибо ни на йоту не отступал от своих принципов, даже если это явно противоречило здравому смыслу...

— Повтори, — попросил Славин, — повтори, пожалуйста...

Фукс удивился:

— А в чем дело?

— «...Не отступал от своих принципов, даже если это явно противоречило здравому смыслу»? — Славин процитировал слово в слово — память феноменальная.

— Именно.

— Слушай, давай-ка еще раз съездим на место, Кони, а?

...На пустынную Зауэрштрассе, возле границы, где была намечена операция ЦРУ, Славин и Фукс пришли, как мирно гуляющие собеседники, увлеченные разговором; машины оставили в двух кварталах отсюда; не глядя на тот дом в Западном Берлине, что одиноко высился среди пустыря, Славин спросил:

— Сколько метров до верхних окон, как думаешь, Кони?

— Четыреста... С небольшим, — ответил тот.

— Слушай, Кони, — задумчиво сказал Славин, — а все-таки они сегодня не будут Кулькова похищать... Они должны его убить, Кони, должны убить...

Фукс походил, затем остановился над Славиным — высокий как жердь. Усмехнулся:

— Допустим... И?

— Это не мы подготовили спектакль, а они, вот в чем дело! Вот почему те турки, вот зачем изменено место встречи, если, конечно, Кульков не врал мне с самого начала, вот почему новое место встречи с шефом, который должен провести операцию «Либерти», выбрано на пустыре, совсем рядом с границей; вот зачем здесь Луиджи Мачелли... А на все про все у нас с тобой четыре часа... Впрочем, если ты поддержишь мою идею, мы примем условия игры ЦРУ, но эту партию выиграем мы, потому что в отличие от Лейбница пойдем за здравым смыслом...

Уолтер-младший из военной разведки Западного Берлина внимательно оглядел лица двух сотрудников ЦРУ, прилетевших утром.

— Вам бы переодеться, — сказал он, — вы слишком уж по-нашему одеты...

— Нам предписано быть одетыми именно так, — ответил старший. — Лайджест сказал, что мы должны быть одеты в высшей мере традиционно... Он рекомендовал еще раз — вместе с вами — прорепетировать операцию... Машина внизу?

— Да. В гараже. Хотите кофе?

— Потом, если можно. ЗДРО просил отправить ему телеграмму, как только мы осмотрим машину.

— Хорошо, — Уолтер-младший легко поднялся из-за огромного стола, пошел к двери, — я спущусь с вами. Если возникнут какие-то вопросы технического порядка, разъяснит Лилиан, она будет вести машину, вполне квалифицированный офицер.

Они спустились в закрытый гараж; там стоял только один автомобиль — большой «додж» с помятым передним левым крылом.

— Это специально, — пояснил Уолтер-младший, тронув носком крыло. — Некоторая неопрятность предусмотрена — битая машина не привлекает внимания...

Старший из ЦРУ кивнул:

— Нам бы посмотреть, как работает тайник.

Уолтер-младший открыл дверь кабины, нажал кнопку на щитке — открылся багажник.

— Это первый этап, секунда, не больше.

— А ну-ка, закройте, — попросил старший. — А то во время дела всегда что-нибудь да откажет, лучше заранее испробовать.

Уолтер-младший добродушно усмехнулся:

— Согласен. Закрывайте. Будем еще раз пробовать. Закрыли?

— Да.

— Засеките секундную стрелку. Открываю.

Багажник сработал мягко, дверца податливо открылась.

Старший улыбнулся:

— Порядок. Как часы. А тайник?

Уолтер-младший нажал вторую кнопку; открылся люк, деливший багажник пополам.

— Лезь, Ник, — приказал старший своему помощнику. — Я засеку время.

Ник, фигурой похожий на Кулькова, нырнул в багажник, подтянув ноги к подбородку.

— Девять секунд, — сказал старший. — Быстрее сможешь?

Ник засмеялся:

— Я-то смогу, а вот тот, кого мы должны вывезти, сможет?

— Я кладу на эту фазу десять секунд, — сказал Уолтер-младший.

— Закройте, пожалуйста, тайник, — попросил старший.

Уолтер-младший нажал кнопку; сработало отменно.

— Еще раз, пожалуйста, — попросил старший. — Откройте и закройте.

— Мы же занимались этим весь вчерашний день, — поморщился Уолтер-младший. — Неужели вы думаете, что мы тут бездельничали?

— Ну что вы, конечно, нет, — ответил старший. — Просто я привык все перепроверять. Нас сопровождает «БМВ»?

— Да.

— Сколько в нем будет человек?

— Как и запланировано. Трое. Среди них Рисс, его знают на Востоке как разведчика, хвост на Чек Пойнт Чарли[1] они пустят за ним, это прорепетировано, мы останемся без наблюдения...

— За вами никто не пристраивался во время репетиций?

— Нет, сразу же повели «БМВ» с Риссом.

---

[1] Место перехода государственной границы ГДР и американской зоны оккупации Западного Берлина.

— Что ж, прекрасно... Когда выезжаем?

— Как только позвонят ваши люди. За эту фазу операции отвечает Лэнгли...

Старший кивнул:

— От восемнадцати до восемнадцати тридцати они дадут нам знать... И сразу же едем?

Место перехода государственной границы ГДР и американской зоны оккупации Западного Берлина.

— Да. Только сначала надо заглянуть в «Центрум»... Ваши рекомендовали купить там специи, шампанское и мясо; за стеной все это значительно дешевле, версия пересечения зональной границы, таким образом, будет вполне оправдана... А уже оттуда поедем за «объектом»...

Старший посмотрел на помощника:

— Ну как, Ник? Что у тебя на душе? Операция пройдет успешно?

— Провалимся, — усмехнулся тот. — Я всегда боюсь провала, только поэтому, верно, и не проваливался ни разу...

Уолтер-младший тронул пальцем лоб.

— Стучу по дереву... А теперь, мистер Уолтер, мне бы хотелось получить список всех — без исключения — людей, которые имели доступ в этот гараж...

— Это еще зачем? — удивился Уолтер-младший.

— Не знаю. Так приказал Лайджест. Он приказал срочно передать ему все имена... При этом выразил убеждение, что ни один из немцев доступа сюда не имел. Это верно?

— Нет, не верно, — не сдержал раздражения Уолтер-младший. — Мы живем не в безвоздушном пространстве, в конце концов! Сюда имеют доступ два немца...

— Кто они?

— Один занимался разбором нашего маршрута, он перешел на Запад в шестидесятом году, вполне надежен, а второй...

— Перейдет на Восток, — усмехнулся старший. — Как шеф боннской контрразведки Тидге... Вместе с подробным описанием тайника в вашем «додже»...

РАБОТА-XI

Кульков посмотрел на свою бритую голову, и вдруг ужас вновь обуял его.

— Где Иванов? — спросил он жалобным голосом охранявших его людей. — Где т о в а р и щ Иванов?! Я должен

поговорить с ним! Пожалуйста, пусть Иван Иванович немедленно придет сюда!

Под таким именем он знал Славина; тянулся к нему, ищуще заглядывал в глаза, чувствуя постоянную, скребущую потребность говорить с ним, ставить осторожные вопросы, ожидая хоть какого-то намека на будущее; то, что Славин сказал ему в первый же вечер о неизбежности суда, как-то само собой отводилось, не им даже, не его сознанием, а какой-то новой субстанцией, возникшей в нем; только один раз, в самом еще начале, он успел подумать: «Я подобен раковому больному, они тоже машинально отводят от себя возможность страшного исхода». Но мысль эта исчезла сразу же, как только появилась, он убежденно возразил себе: «При чем здесь раковый больной? Там полнейшая безнадежность, а я принимаю участие в операции по борьбе с ЦРУ, мы сейчас по одну сторону баррикад; да, оступился, с кем не бывает, но ведь теперь с прежним все кончено!»

Он сейчас постоянно жил какими-то странными представлениями: то видел себя возвращающимся домой; нет, конечно же, сразу к Насте, с Лидой жить невозможно, старуха; иногда, впрочем, ему казалось, что он произносит заключительную речь на пресс-конференции для иностранных журналистов, в которой клеймит империализм и рассказывает о том, как был продан Пеньковским ЦРУ. В этот момент он слышал свой голос, наблюдал себя со стороны — в строгом сером костюме, обязательно с жилетом, красно-синий галстук. Был убежден, что его речь будет передаваться по первой программе телевидения; в свое время фильм «Заговор против Страны Советов» смотрел с ужасом, забившись в угол кровати, особенно когда давали показания арестованные. «Нет, я ни в коем случае не стану выступать перед камерами телевидения в джемпере, что за неопрятность?! Надо быть подтянутым, убежденным в своей правоте».

Но сегодняшней ночью, после того как его водили по городу, какие-то пьяные парни толкнули в метро и только потом Славин вытащил у него из кармана конверт, появилось еще видение, которое он мучительно отгонял от себя в Москве: он идет на место встречи, его ведут на место встречи... но потом оставляют одного... «Им придется оставить меня одного, иначе у них ничего не получится, они не смогут получить у л и к у...» Но как раз в те минуты, когда он будет один, из-за стены перелетят — на заспинных мощных моторчиках — «зеленые береты» с маленькими «шмайссерами», подхватят его, и он окажется там, на свободе... «Я, который решился принять бой один на один со

слепой, одержимой силой, и я победил в этом бою, выиграл схватку, я, Ген Кулькоу, звезда двадцатого века, человек, которому удалось то, что не удавалось никому и нигде...»

Он явственно видел толпу репортеров в нью-йоркском аэропорту; головы, головы — море голов; ощущал тонкий аромат роз, которые ему преподносит женщина в слезах; нет, почему в слезах?! Она же смеется, она счастлива первой приветствовать меня на земле Америки, стройная блондинка с ослепительной улыбкой и мягкими, теплыми ладонями.

— Что случилось? — спросил лейтенант из группы Гречаева. — Зачем вам так срочно понадобился Иванов?

Видение померкло — сладостное, близкое, желаемое; надо напрячься, чтобы оно не исчезало; оно должно быть с ним все время; ведь он ведет партию именно так, как надо; ЧК клюнула, как и было запланировано; они двадцать раз проговаривали вариант «Либерти» с Робертом; пусть вначале все плохо, в конце будет так, как задумано; только не забыть какую-нибудь мелочь, самые важные дела всегда срывались из-за мелочей...

— Я должен сообщить товарищу Иванову крайне важную вещь... Я только сейчас вспомнил... Все может рухнуть, мы погубим операцию...

— Скажите мне, я передам, полковник занят.

— Нет, я скажу только ему! Только ему! Ясно вам?! Я открою это лишь ему одному!

Когда Славин спустился, Кульков потянулся к нему, облегченно вздохнув:

— Наконец-то! Я совсем забыл! В левой руке у меня должна быть «Литературная газета»! Последний номер! Наверное, это какой-то знак, меня лишь сейчас осенило...

— Ну, хорошо, а где мы достанем «Литературку»? — спросил Славин.

— Не знаю, — упавшим голосом сказал Кульков. — Но я должен держать газету в левой руке.

— Это что, сигнал? Мол, все в порядке?

— Мне этого не объяснили. Сказали, что на заключительной фазе операции «Либерти» каждая мелочь может быть решающей.

— Когда они вам про это сказали?

— Не помню...

— Во время первых встреч?

— Нет. Скорее всего, на последней...

— В Вене?

— Нет, в Женеве...

«Накануне начала переговоров, — подумал Славин, — сходится; значит, они давно задумали свой фокус? Ну и ребята! А если не задумали? Что тогда? — спросил он себя. — Если допустить, что мои предположения гроша ломаного не стоят? Не слишком ли вольно я позволяю себе думать за моих американских контрагентов? Нет, — возразил он себе, — они действуют вопреки здравому смыслу, если вспомнить то, что кто-то когда-то писал о методе Лейбница; молодец Кони, вовремя внес коррективу, все-таки он тактичен совершенно на особый лад, чудо что за человечина...»

Славин повторил:

— Они объяснили вам смысл этого сигнала, Геннадий Александрович? Знак благополучия? Или, наоборот, опасности?

— Нет, не уточнили.

— И вы не поинтересовались?

— Зачем же?! Я боялся их спугнуть...

Славин поразился:

— Кого спугнуть?!

— ЦРУ, кого же еще... Я ведь втягивал их в игру, я был убежден, что рано или поздно мы разоблачим их...

— Слушайте, это, конечно, очень хорошо и даже замечательно, что вы их втягивали в игру, но дело сложнее, чем вы думаете. Если вы чисты и газета есть сигнал о том, что вы за собою не тащите слежки, тогда вас будут вывозить... Но ведь если ЦРУ поймет, что за вами смотрят, они не станут рисковать... Это вы понимаете?

— Да, да, конечно! — Кульков лихорадочно думал, пытаясь осмыслить свою позицию, задумку этого лысого беса, возможные шаги людей с той стороны. — Конечно, товарищ Иванов, я должен держать газету, свернутую в трубочку, но так, чтобы были видны ордена на первой полосе, в левой руке...

— Точно?

— Да, да, совершенно точно, сейчас я вспомнил все, до самых мельчайших подробностей...

«Гарри Сайтон тогда сказал: «Если вас арестуют, да, да, я беру крайний случай, и вы втянете их в игру, а они на нее обязательно пойдут, в самый последний момент вы вспомните про газету. А потом расскажете им информацию про левую и правую руку... Если вы будете держать газету в левой руке, тогда наша машина проедет мимо вас,

не притормозив, а мы вас — с этого же места — вывезем совершенно иначе, у нас коммандос со спецоборудованием... Это, конечно, рискованно, но мы знаем, как это сделать, репетировали не раз и не два, у нас крепкие ребята с хорошей школой...»

— Точно? Уверены, что в левой? Не перепутали?

— Нет, нет, товарищ Иванов, не перепутал.

— Кофе хотите?

— Очень. Как это трогательно, что вы постоянно помните о моей пагубной страсти к кофе.

— Без сахара сделать?

— Без, если можно.

— Можно, — ответил Славин и поднялся. — Больше ничего мне не хотите сказать?

— Нет, нет, если я что-нибудь вспомню, то...

— То времени уже не будет.

— Даю вам слово русского ученого; я открыл все, что знал...

— Про Зауэрштрассе вы раньше никогда не говорили?

— Нет, нет, что вы! Меня самого удивило, отчего в последний момент возникла эта улица, речь всегда шла о другой.

— Память-то у вас как? — усмехнулся Славин. — Провалов не бывает?

— Нет, что вы, я очень цепко помню события, мелочи, слова... Даже, знаете, интонации запоминаю...

— Ну что ж... Тогда прекрасно... Пошли отправлять письмо на Ляйпцигерштрассе, пора...

«ВСЕ РЕШАЕТ ТЕМПО-РИТМ ПРЕДПРИЯТИЯ»

1

Звонок телефона был резким, словно ночной стук в дверь.

— Да, слушаю, — ответил Уолтер-младший.

— Из бюро «Чикаго стар» только что позвонили в западную зону... Было три звонка по три гудка в каждом.

Это значило, что Кульков был замечен на Ляйпцигерштрассе, когда шел по широкой улице, чтобы опустить заявление, переписанное — как и было указано в инструкции — от руки, в ящик квартиры, арендованной корреспондентским пунктом газеты.

— Спасибо, — обрадовался Уолтер-младший, — добрые новости, сердечное вам спасибо. Газета была?

— Да.

— Именно та?

— Да. Наблюдали в бинокль, та именно.

Уолтер-младший положил трубку:

— Все в порядке! Дело идет по плану.

— В какой руке была газета? — спросил старший.

— Они не сказали, — ответил Уолтер-младший. — Если бы было не так, как надо, они бы сделали четыре звонка...

Старший и Ник переглянулись, ничего более не спрашивали.

Старший попросил разрешения закурить (он спрашивал разрешения перед каждой сигаретой; видимо, воспитывался в провинции, люди из глубинки обычно крайне деликатны, это утомительно для окружающих, невольно обязывает и тебя самого вести так), лицо его собралось мелкими морщинами; снова посмотрел на часы и обернулся к помощнику:

— Ну что ж... Как себя ведет твой внутренний индикатор, Ник?

— Зашкаливает...

Уолтер-младший рассмеялся:

— В таком случае оставайтесь здесь, мы все проведем одни.

Ник вздохнул:

— Если все обойдется, через десять лет я напишу об этом книгу — сотня тысяч баксов в кармане.

Старший удивился:

— Ты напишешь? Я ее уже написал! Через год ухожу в отставку, надо ж как-то убить время! Болтать на диктофон — чем не отдых по вечерам, когда кончишь заниматься хозяйством на ферме?!

— Босс, — усмехнулся Ник, — что у вас за странная манера постоянно играть роль свинопаса?! Стоило ли ради этого заканчивать философский семинар в Гарварде?

По тому, как старший стремительно глянул на своего помощника, Уолтер-младший понял, что тот сказал правду: «Ну и контора, тотальное неверие друг другу! Все-таки в армии такое невозможно; корпоративность людей, служащих под погонами, предполагает иные отношения между своими. Слава богу, что я остался в Пентагоне; отец верно говорил, что после ухода Донована политическая разведка стала приватной конторой, где костоломы обслуживают только тех, с кем повязаны бизнесом».

2

...Частный детектив Прошке устроился с телевиком на чердаке; оттуда хорошо просматривалось — через стеклянную крышу — ателье художника, а через громадные окна — зональная граница...

3

...Шааби приник к оптическому прицелу; рядом с ним замер с карабином в руках Зинеджо, в прошлом чемпион Палермо по стендовой стрельбе; до этой встречи знакомы не были; условным паролем обменялись в пустом пыльном подъезде, говорили шепотом, поднимались по лестнице на цыпочках, хотя знали, что квартиры пустуют; лежали на широких подоконниках тихо, ощущая в висках тугую пульсацию. Зинеджо сюда привез на арендованном «вольво» Луиджи Мачелли; через три минуты Шааби подвез Бинетти. В машине никто не произнес ни слова; арендовали ее через синдикат. В центре, возле станции метро «Зоо», на бензоколонке стояло десять машин, отобрали мощный «БМВ» с приемником и кассетным проигрывателем. Бинетти сразу же включил музыку — запись фестиваля из Сан-Ремо; деньги и авиационный билет на рейс, следовавший во Франкфурт в двадцать десять, передал в перчатках, по-прежнему не говоря ни слова; паспорт турка положил в карман пиджака, а ему протянул потрепанное удостоверение на проживание в ФРГ, выписанное на имя палестинца Юсефа эль-Насра. «Но я же не говорю по-арабски!» Бинетти чуть усмехнулся. «Ну и не надо» — эти четыре слова произнес одними губами, почти беззвучно; когда Шааби вылез из машины, так же беззвучно, но очень явственно артикулируя, сказал: «Когда улетишь отсюда, во Франкфурте тебя встретят, получишь новые бумаги и билет на следующий рейс, счастливо».

4

— Что это? — спросил Шааби, растерянно глядя на огромный панелевоз, медленно остановившийся в ГДР, как раз напротив той скамейки, куда должен был сесть о б ъ е к т; теперь скамейки не было видно. — Что это, а?!

— Суки, — процедил итальянец, — паршивые суки... Ты был здесь на чердаке?

— Нет.

— Суки, — повторил он. — Надо же было заранее посмотреть, наверное, оттуда больший обзор.

...К панелевозу подъехал небольшой кран; в оптику было отчетливо видно, как белозубый крановщик что-то кричал шоферу; тот, достав из бумажного пакета бутылку молока и рогалик, покачал головой, показал толстым пальцем на часы и начал неторопливо закусывать.

И как раз в это время подъехало такси; в те секунды, что автомобиль тормозил, Шааби и Зинеджо заметили на заднем сиденье бритоголового человека, фотографию которого им показали перед операцией; он спокойно и неторопливо расплачивался с шофером.

Когда такси отъехало, бритоголового в машине уже не было.

— Он сел на ту самую скамейку, — прошептал Шааби. — Я побегу на чердак.

— Лежи, — сказал Зинеджо, — сейчас крановщик снимет эти панели и уедет, пять минут, не больше...

— А если нет? При этих шоферах можно работать?

— Конечно. Какое нам до них дело? Наше дело — бритый...

— А может, надо, чтобы никого кругом не было...

Итальянец усмехнулся:

— Тогда заранее надо было послать просьбу на радио: «Объявите, чтобы убрали с такой-то улицы прохожих, мы должны пристрелить бритого».

— Все же я пойду на чердак...

— Лежи, — приказал итальянец. — Что ты такой беспокойный? И держи в прицеле левую сторону панели, бритый может выйти с твоей стороны... А я буду страховать правую... Как только панель снимут, как только он откроется, — сразу же стреляй. После того как упадет, сделай контрольные выстрелы по лежащему, понял?

— Эта пуля убьет, даже если просто руку царапнет.

— Ага, — усмехнулся итальянец, — так мы и поверили... В теории все хорошо, они за теорию деньги и гребут, а вот пускай бы поработали, как мы, теоретики...

— Слушай, а если этот панелевоз пришел сюда неспроста?

— Ну и что? Мы же за стеной. Нам-то какое дело?

— Ты думаешь, полицейские не контачат друг с другом? Это они на словах лаются, а когда дело доходит до стрельбы, сразу объединяются...

— Через минуту после того, как дело будет сделано, мы с тобой уедем в аэропорт... Пусть себе объединяются.

Нам-то какое дело? Смотри, смотри, крановщик потянул панель, сейчас откроется бритый...

И он действительно открылся; человек с бритой головой сидел на скамейке, зажав в левой руке газету; в позе чувствовалась напряженность; будто каменный; не шелохнется; ждет кого-то, ясное дело.

Первым выстрелил итальянец, пуля за пулей; вторым — Шааби; было видно, как взорвался бритый череп, брызнуло красно-желтое;человек повалился на землю; в пересечении объектива итальянец заметил, как крановщик что-то закричал, испуганно оглянулся, панель грохнулась на грузовик, с которого ее поднимали, тела на земле не было больше видно; сняв перчатки, итальянец отбросил ружье, поднялся с подоконника и обернулся к Шааби:

— Бежим, парень. Работа сделана, машина ждет...

5

Когда «додж» — на переднем сиденье Уолтер-младший и Лилиан (в форме, пилоточка наискосок, чудо что за девушка), а сзади старший и Ник, заваленные кульками с покупками, сделанными в «Центруме» — выехал из-за поворота к пустырю, где ждал «объект», их обогнали две машины «фольксполицай»; за ними неслась, врубив сирену, «скорая помощь».

Третья машина «фольксполицай» прижала «додж» к обочине.

— Ну вот, — прошептал Ник, — не обманул меня индикатор...

— Только спокойно, — процедил Уолтер-младший сквозь зубы; открыв окно, спросил полицейского: — В чем дело? На каком основании вы задерживаете нашу машину?

— Никто вас не задерживает, — ответил полицейский. — Там впереди происшествие, подождите пять минут и поедете дальше.

— А я могу развернуться и уехать? — спросил Уолтер-младший.

Полицейский оглянулся на трассу:

— Хорошо. Я на всякий случай выйду на осевую, не ровен час, кто-нибудь вмажет в вас из-за поворота... — И, достав из «Лады» жезл, неторопливо пошел на середину улицы.

— Подольше заводите мотор, Лилиан, — тихо, каким-то скрипучим голосом сказал старший. — И не торопитесь

разворачиваться. Я хочу посмотреть, зачем они вытащили носилки из «скорой помощи»...

— Да замолчите же вы! — Лицо Ника стало жестким, рубленым, и Уолтер-младший понял, что никакой он не помощник, а настоящий руководитель операции; «старший» — ширма, даже в этом играли.

Когда Лилиан наконец тронула машину, Ник отчетливо увидел, как в «скорую помощь» всунули носилки; сомнений не было — окровавленная простыня, недвижное тело; «объект» устранили красные, видимо, смогли проследить его; не зря Лайджест дважды повторил во время последнего инструктажа, уже после совещания у ЗДРО, что у военных, в конторе Уолтера-младшего, возможна утечка информации; маменькин сынок, прощелыга, из-за него потеряли такого человека! Ну, разгильдяи!

До Чек Пойнт Чарли ехали молча, не произнося ни слова; Уолтер-младший предупредил, чтобы не вступали в объяснения, если машину задержат пограничники ГДР: «Вы не знаете здешней обстановки, говорить буду один я, молчите».

Офицер вышел из будки, козырнул, попросил предъявить документы тех, что в штатском.

— Они тоже офицеры, — улыбнулся пограничнику Уолтер-младший. — Устаешь от постоянного ношения формы...

— Я понимаю, — ответил офицер вполне дружелюбно. — В выходные дни я тоже переодеваюсь в штатское.

Он зашел в будку; Уолтер-младший обернулся; Ник бросил под язык эвкалиптовый леденец, пососал его мгновение, а потом разгрыз; «старший» спросил разрешения закурить — на этот раз у Лилиан; выпускник Гарварда, играющий в свинопаса, снова подумал Уолтер-младший. Люди, лишенные собственного «я», живут по легенде, которая придумана для них невидимками, раскассированными по научным центрам, издательствам, специализирующимся на выпуске детективной литературы, и конторам, которые приобретают права на сценарии боевиков для Голливуда.

— Эта процедура всегда длится здесь так долго? — тихо, одними губами, спросил Ник.

— Когда как, — ответила Лилиан, нервно сжимая руль маленькими, словно у девочки, пальцами. — Не хотите угостить меня вашим эвкалиптом?

«Старший» не сдержался, хмыкнул:

— Двусмысленная просьба.

Лилиан — сама наивность, личико кукольное — обернулась:

— Почему? Я действительно люблю эвкалиптовые леденцы...

И в это время из будки вышел полицейский; документы он держал в руке; козырнув, спросил:

— Откуда следуете?

— Из столицы Германской Демократической Республики, — ответил Уолтер-младший, — откуда же еще?

— Вы, случаем, не ехали по Любекштрассе?

— А в чем дело? — Уолтер-младший облизнул пересохшие губы. — Что-нибудь случилось?

— Там только что убили человека... Может быть, видели что-то такое, что может помочь расследованию...

— Убили человека?! — Уолтер-младший неловко сыграл крайнюю степень изумления, обернулся к «старшему» и Нику, перевел им на английский, хотя оба прекрасно поняли пограничника.

— Действительно, нас обогнала полиция, — сказала Лилиан. — Мы ехали довольно медленно, неужели там убили кого-то?! Кто?!

Пограничник внимательно посмотрел на спутников Уолтера, а потом перевел тяжелый взгляд на него.

— Вы не откажетесь в случае необходимости ответить на вопросы криминальной полиции?

— Пожалуйста, обратитесь к моему командованию, — сказал Уолтер-младший. — Я обещаю вам доложить руководству о случившемся... Без санкции командования мне нечего сказать вашей криминальной полиции...

— А вашим спутникам? Им тоже нечего сказать?

Уолтер-младший снова перевел и без того понятный всем вопрос; Ник, «старший» и Лилиан ответили, что они не заметили чего-либо подозрительного...

Когда «додж» уже был в американской зоне, «старший» процедил:

— Ставлю тысячу против одного, что тех немцев, которые имели право доступа в ваш гараж, где стояла эта машина, уже нет в городе...

Уолтер-младший обернулся так, словно тело его было составлено из гуттаперчевых шарниров:

— Хотите сказать, что это я виноват в трагедии?!

— А кто же еще? — Лицо Ника свело гримасой гнева. — Кто еще мог знать обо всем?! Кроме него, — он ткнул пальцем в «старшего», — меня и вас?!

6

Зинеджо спускался по лестнице по-кошачьи, очень мягко, чуть приседая, сторожко, но при этом стремительно; Шааби бежал следом за ним на цыпочках, потому что каблуки его туфель были огромны; видимо, страдал из-за своего роста — хотел казаться высоким; Зинеджо дважды обернулся, лицо перекосило гримасой, прошептал:

— Тише ты!

Возле парадной двери Зинеджо замер, осторожно выглянул в окно; сейчас должна притормозить машина: «вольво», марки «ДЛ-244», стэйшэн вагэн[1]; заднюю дверь откроют; посмотрел на часы; еще десять секунд, все идет как надо, по плану; только бы выбраться из этого проклятого города; полгода отдыха гарантировано, скорее к морю, окунуться в тяжелую, соленую воду, растянуться на горячей гальке, чувствуя, какое сильное и большое у тебя тело, как оно вбирает сладостное тепло земли; машина плавно затормозила; человек в очках, сидевший на заднем сиденье, открыл дверцу; итальянец обернулся к Шааби:

— Порядок, наши здесь.

Он вышел из подъезда, согнувшись, словно перебегал поле, простреливаемое снайперами; такое ощущение он испытал в Африке, когда подрядился провести пару операций в Мозамбике; вернувшись в Кейптаун, пил неделю, стараясь забыть этот безнадежный, холодящий изнутри ужас.

Шааби шел следом, не в силах сдержать улыбку счастья.

7

...Зинеджо убили, когда он занес ногу в автомобиль; Шааби сначала ничего не понял, распрямился, словно наткнувшись на невидимую преграду; три пули из бесшумного пистолета размозжили ему лицо и разорвали грудь; «вольво» резко взяла с места, пронеслась по пустынной улице, свернула за угол; притормозила возле машины, за рулем которой сидел Бинальти, он же Бинетти, выскочили из «вольво», пересели к нему и погнали в центр.

---

[1] Фургон.

8

Прошке включил «воки-токи»[1] и спросил:

— Ты еще видишь их?

Его помощник Франц, сидевший за рулем маленького «фольксвагена», ответил:

— Да.

— Сфотографировал, когда они пересаживались в другую машину?

— Да.

— Веди их. Они поедут в аэропорт. Если нет, я на связи, контакт в условленном месте. Понял?

— Все понял. До встречи.

«ЕСЛИ НЕМЕЦ ЧЕСТЕН, ОН ДО КОНЦА ЧЕСТЕН»

Герберт Граузе работал в криминальной полиции последний год — в декабре можно выйти на пенсию, ни дня он не проведет здесь более; когда телевидение начинало показ очередного татортa[2], он, если жена и дочь уезжали в гости, выключал ящик, а когда они были дома, поднимался к себе на второй этаж (переделал чердак под столярную мастерскую, здесь и спал; запах свежеструганого дерева прекрасен, отдыхал, работая за маленьким станком; сам сделал мебель, баварский стиль, под деревенскую старину).

Граузе просто-напросто не мог смотреть ту некомпетентную ложь, которую лепили на телевидении: поговорит мудрый сыщик с тремя свидетелями, походит маленько за подозреваемым, который окажется честным человеком — он неминуемо подскажет, в каком направлении надо искать гангстера; чушь собачья!

Однажды после одного из таких татортов новый помощник, Курт, только-только начавший работать с ним, сказал:

— Лихо закрутили, а?! Улицы были пустые, все сидели у ящиков, такой передачи давно уже не было...

Граузе водрузил маленькие очки на свой мясистый нос, похожий фактурой на белую пемзу, недоуменно взглянул на парня, словно бы увидел его впервые, и спросил:

— Ты это серьезно?

— Конечно, — ответил Курт, снимая пиджак; как только

---

[1] Переговорное устройство.

[2] Детективный телесериал, еженедельно показываемый в ФРГ.

приходил в управление, сразу же тщательно прилаживал пистолет под мышкой и только потом начинал просматривать информацию, поступившую за ночь.

— Погоди, Курт, погоди... Или я стал старым ослом, или я таковым был всегда... Объясни, как тебе может нравиться чушь?! Где работа с агентурой? Прослушивание телефонных разговоров? Оплата осведомителей? Вербовка, которая есть венец работы в борьбе против организованной преступности? Где все это?!

— Да разве такое можно показывать?! — удивился Курт. — Кто это разрешит?!

— Значит, в кино это можно показывать, а в телевидении нельзя?! Значит, Бельмондо, Ньюмену и Габену можно, а бедолагам немцам заказано?! Зачем дурить людей, Курт?!

Тот улыбнулся:

— В книгах пишут, что максимализм свойственен моему поколению, молодым, а на самом-то деле максималист — это вы, шеф...

Граузе вздохнул:

— Ты помнишь дело Ультера?

— Это который грабил особняки наших богатеев?

— Именно.

— Конечно. Мы это дело обсуждали на семинаре...

— Ну и что вам рассказывали на этом самом семинаре?

— Рассказывали, что Ультера вычислили по окуркам... Он курил южноафриканские сигареты, у них табак очень хороший, самый лучший в мире...

— Самый лучший табак в мире в России, в районе Абхазии, на Черном море, — отчеканил Граузе. — Американцы ежегодно покупают у африканцев целую партию, подмешивают к своим самым дорогим сигаретам. Ясно? И никто Вольфганга не вычислял...

— Кого?

Граузе досадливо поморщился:

— Ультера звали Вольфганг... Кстати, он сейчас, после отсидки, открыл свое дело в Намибии, вполне легален, гребет золото лопатой — строительство шоссейных дорог, бассейнов и полей для гольфа... так вот, мой агент, очень красивая женщина, — Граузе вздохнул (она стала женой Ультера, подконтролен отныне и навсегда), — сообщила мне, что некий Сейф, это была кличка Ультера, выехал из кнайпы[1] с тремя дружками в десять вечера и вернулся

[1] Пивная.

в двенадцать, подарил ей бриллиантовое колечко. Ну, я и опознал камушек — как раз с десяти до двенадцати грабители взяли один особнячок. Вот тогда я и сказал жене Ультера, чтобы она приучила Сейфа к южноафриканским сигаретам... Мне ж была нужна улика, без улики он выкрутится, его обслуживали лучшие адвокаты, за полгода он ломанул ни мало ни много — полтора миллиона марок... Вот так-то... Мой агент выполнил мою просьбу... Ультер начал курить мои сигареты... На них я его и взял... Доктор Рикк, что вел его дело, вошел в учебники, вы про него на семинарах говорите, а обо мне ни слова...

— Вот интересно, а?! — Восторженный Курт слушал, открыв рот. — Выйдете на пенсию — напишите мемуары, господин Граузе! Пойдут нарасхват...

Граузе вздохнул:

— Ты думаешь, я не пробовал? Еще как пробовал! Сотни страниц исчеркал... А выходит, словно протокол: «Я спросил, он ответил»... Кто такое будет читать? Как рассказать, на чем я взял ту девку?! Я ж ее сломал, Курт... Если ты обладаешь знанием того, чего лишен другой человек, его можно запросто сломать... Девка пробавлялась тем, что приглашала к себе тузов, убаюкивала их, а потом чистила карманы... Ну, а те молчали, скандала боялись... Я ее на этом и прижал: или будешь работать на меня, или передам дело следователям, а оттуда в суд; тюрьма — суровое место, два года покажутся вечностью...

— Шеф, а почему вас так понизили? — спросил Курт. — Простите мне этот вопрос... Если он вам неприятен, не отвечайте... Я, честно говоря, благодарен судьбе, что попал под ваше начало, лучшего шефа нет и быть не может... Но ведь вас прочили в руководители криминальной полиции страны, а сослали в Западный Берлин... Почему?

Граузе пожевал губами, они у него были размытые, чуть вывернутые, изучающе посмотрел на Курта, а потом усмехнулся:

— Любого человека можно взять на жадности, страхе и честолюбии, Курт. Точно говорю, не вздумай спорить... Вот ты меня и хочешь взять на честолюбии... А я думаю: почему бы не поддаться?! Я уйду, кто будет знать, почему меня ударили виском об угол стола? Ты помнишь то безобразие, когда террористы убили на Олимпиаде в Мюнхене израильских спортсменов?

— Конечно, помню...

— А кто начал раскручивать это дело?

— Не знаю.

— Я, — тихо сказал Граузе. — Твой покорный слуга. В то время я был шефом криминальной полиции в том районе, Курт, первым приехал на место... И начал копать... Вышел на одного из террористов... Получил информацию, что он дважды накануне преступления контактировал с неким Ахмедом. А этот самый Ахмед был таким же Ахмедом, как ты премьер-министр Накасоне. Он был связником израильской разведки... Кому была выгодна бойня в Мюнхене? Палестинцам? Так их же после этого объявили гитлеровцами, изуверами... А Израиль получил венок страдальца и новые ассигнования на оружие для защиты от террористов... Вот я и выдвинул версию: а не есть ли эта бойня — самая настоящая комбинация? Нет, нет, не правительства, конечно, оно и знать-то об этом не имело права, а какого-нибудь ловкача из их секретной службы?! В недрах секретных служб такое затевается, Курт, про что и сам босс слыхом не слыхивал; инициатива честолюбцев — страшная штука, замечу я тебе... Ну вот... Черт меня потянул за язык, старого дурака... Хотя нет, тогда я был молодым дураком...

— Но ведь это поразительно, что вы сейчас рассказали! Почему об этом так никто ничего не узнал?

— Потому что, как я тебе только что сказал, человека можно сломать на честолюбии, что сделал ты сейчас, — Граузе усмехнулся, — а еще на страхе и жадности... На двух последних ипостасях меня тогда и сломали... Да, да, Курт, сломали. Я ломаный человек, поэтому добр и совестлив, молодых поддерживаю, иначе-то должен был бы вам шеи перегрызть, чтобы сохранить ореол собственной значимости в сыске... Мне тогда сказали, что я антисемит, выпестованный «гитлерюгендом»... Я ответил, что меня в «гитлерюгенд» на пушечный выстрел не подпускали, потому что мама у меня еврейка... Ее сожгли в Равенсбрюке... Я чудом уцелел, у отцовского брата жил... Это и спасло... А мне сказали, что дед Гейдриха был евреем, но это не помешало ему стать антисемитским изувером — вопрос, мол, идеологии, а не крови... Я на это возразил, что Гиммлер санкционировал убийство Гейдриха, когда узнал, что тот на восьмушку еврей, что для гитлеровцев это был вопрос именно крови, со мной были вынуждены согласиться, но при этом намекнули, что предстоит реорганизация и я могу оказаться без работы... А что я умею делать, кроме как ловить бандитов? То-то и оно, ничего я больше не умею, Курт... Ну, я и заткнулся... А потом меня и вовсе затерли.

— Как зовут того человека, который контактировал с Ахмедом?

Граузе покачал головой:

— Хочешь принять эстафету? Похвально, только послушай доброго совета и не таскай под мышкой пистолет, детство это... Бандита головой ловят, а не оружием... Ты молодец, Курт, смелый парень... И вправду решишься раскопать то дело?

— Конечно.

— Молодец, — повторил Граузе. — Не зря ты мне нравишься... Только того человека пристрелили, Курт... Через день после того, как я доложил свою версию начальству...

...В кабинет заглянул дежурный (Граузе держал только один телефонный аппарат для связи с наиболее серьезной агентурой, все остальные перевел на дежурную часть, пусть туда звонят, если потерялась собачка или по ночам на чердаке слышны стоны).

— Инспектор, на пустыре возле Бауэрштрассе только что была пальба, наши машины уже выехали, не хотите взглянуть, что там случилось?

— Это на границе?

— Да.

— Придется посмотреть, а то газетчики потом замучают, обвинят в политическом бездействии... Едем, Курт, поглядим, а?

Журналисты уже были на месте; привычные вспышки блицев, микрофоны радиозаписывающей аппаратуры, алчный интерес в глазах; Граузе отказался комментировать событие; слишком уж тенденциозны были документы, обнаруженные в карманах убитых: один — палестинец, а другой — сицилиец, приехавший в Западный Берлин после трехдневного, как явствовало из штампа в паспорте, пребывания в Софии.

В машине, когда возвращались в полицию, Курт спросил:

— Шеф, а зачем вы отмалчивались? Это же факты... Тем более что в управлении им скажут обо всем сегодня вечером...

— Ну и пусть говорят, — ответил Граузе. — Это их дело... Только что они скажут им про того третьего, что сидел на чердаке? Его же не убили? И он не убивал никого — людей расстреляли из машины в упор... Посмотрим, что покажут отпечатки пальцев, взятые на чердаке, не зря же я там ползал на брюхе...

«ВЫДЕРЖКА, БУДЬ ОНА ТРИЖДЫ НЕЛАДНА, ВЫДЕРЖКА, И ЕЩЕ РАЗ ВЫДЕРЖКА!»

1

— Ты знал, что дело кончится убийством? — спросил Кузанни, сунув в карман пленки, которые передал в аэропорту Прошке; лицо его стало землистым, морщинистым, вмиг постаревшим. — Ты знал об этом заранее, Дим?

— Нет, — ответил Степанов, чувствуя внутри мелкую зябкую дрожь.

— Знал, — убежденно, с горечью сказал Кузанни. — И втянул меня в преступление... Но в отличие от твоей страны, где люди лишены права на слово, я, к счастью, живу в свободном обществе... И я расскажу обо всем, свидетелем чего стал... Мы могли помешать преступлению. Я и ты! — Он сорвался на крик. — Но преступление свершено! Какой же я осел, а?! Старый доверчивый осел!

— Погоди, — сказал Степанов, — ты зря обижаешь меня...

— Осел, — повторил Кузанни, сокрушенно покачав седой кудлатой головой. — Доверчивый осел, воспитанный на догмах христианской доброты и веры в ближнего! Правы наши: с русскими можно иметь дело, только когда ты силен и все знаешь наперед... Осел, затеял фильм про наших бесов! Да, бесы, верно, только ваши страшнее! Ты же растлен и растоптан! Ты марионетка в чужих руках, ты... Нет, надо строить ракеты, надо быть сильным, нельзя верить ни одному вашему слову! Господи, отчего же так поздно ты даешь прозрение!

— Погоди, — тихо, с трудом сдерживаясь, чуть не взмолился Степанов. — Ты сказал больше, чем позволено между воспитанными людьми... Погоди... Дай мне ответить... Я не знал, что все кончится так, как кончилось... Не знал, даю слово... Но я знаю, что тебе готова виза для полета в Москву. Тебе обещана встреча, которая, как мне сказали, все поставит на свои места... Пиши и снимай все, что хочешь, но только, пожалуйста, наберись сейчас терпения и ничего не публикуй хотя бы неделю. Повторяю, виза тебя ждет.

— Думаешь, я поеду в страну, которая знала о готовящемся преступлении и молчала?! Думаешь, я стану говорить с твоими костоломами? С теми, кто покрывает террористов?!

— Если бы они покрывали террористов, зачем я обратился к тебе? Зачем сказал, что готовится преступление? Зачем пошел с тобой к Прошке?! Зачем вывел тебя на

цепь?! Зачем посвятил во все это дело?! Если бы мы покрывали террористов, я бы не должен был говорить тебе ни слова!

— Я пока должен молчать, виза меня ждет?! Нет, дорогой русский коллега, мы решим иначе! Ты никуда не уедешь отсюда! Ясно?! Все то время, пока я должен чего-то ждать... А если ты убежишь, струсив, я все открою! Все! До самой последней мелочи!

«Какие «мелочи», — подумал Степанов, — о чем ты, Юджин? Мамы бранят своих детей за то, что они слишком верят людям. Моя старенькая ковыляет сейчас по своей улице Вавилова, ощупывая тротуар палочкой; катаракта, а операции боится — как-никак семьдесят девять... Сейчас-то я могу не согласиться с ней, старость — это беззащитность... Отец учил верить людям, и он был прав. Он прав был всегда и во всем. А как мне было трудно отстаивать себя перед мамой, когда был маленький... «Доктор Спок, доктор Спок» — только и слышал...

Комету Галлея будем рассматривать, к электрону подбираемся, а как воспитывать детей, по сю пору толком не знаем, а потому что это не призвание, а наука...

Я правильно делал, что верил и верю Славину. Если перестать верить друзьям, надо стреляться. Если у него что-то не сработало и случилось непоправимое — а ведь он везучий, баловень судьбы, — это может обернуться для него жизненной катастрофой; пятьдесят шесть — это тебе не тридцать, когда можно начать жизнь с нового листа...»

Степанов явственно представил его лицо, яйцеобразный череп, сведенный толстыми морщинами. У Бемби, когда Надя привезла ее из родильного дома, головка была в таких же морщинках. И черный чуб на макушке. Надя потом очень следила за волосами дочери...

«Какая ерунда лезет в голову, — одернул себя Степанов, и снова мысли его вернулись к Славину. — Ведь он знает мой здешний телефон. Отчего не позвонит? Он же понимает, каково мне сейчас. Нет, лучше не думай об этом, — сказал себе Степанов. — О чем угодно думай, только не о том, что произошло. А попробуй! Сколько в твоем мозгу миллиардов клеток? И в них заложена информация; вот ею они и живут; теперь они твои владыки, а ты их подданный. Все. Точка. Заставь эти чертовы клетки переключиться на что-то другое. Заставь!» — взмолился Степанов, глядя на Кузанни, метавшегося по номеру, как разъяренный бык на Пласа де Торос в Памплоне после того, как его раздразнили

афисионадо красными платками во время традиционной утренней пробежки...

Почему-то именно об этом празднике Сан-Фермина, который так понял Хемингуэй, Степанов думал, когда висел в воздухе над Северным полюсом в маленьком «Антоне-два». Кажется, это была дрейфующая станция четырнадцать, а может, пятнадцать, какая разница? РП[1] Данилыч получил по рации на «подскоке»[2] приглашение от ученых прилететь попариться в бане: «Наш повар — он из «Астории», гений кулинарного искусства — сделал сказочные табака с чесночным соусом! Как-никак День космонавтики! Пятнадцать минут лета, ребята!»

И Данилыч, элегантнейший «Фанфан-Тюльпан», принял приглашение, благо ни один самолет с материка в ближайшие сутки не ожидался — там пурга, нет видимости...

Табака были действительно сказочными, такими же сказочными, как и баня, вырубленная во льду, обложенная оцинкованным железом и зашитая досками. В этой бане Степанов вспомнил отца, когда тот рассказывал, как в Москву в тридцатые годы прилетел министр иностранных дел Франции Лаваль — в ту пору ходил в прогрессистах; прием в посольстве ошеломил роскошью; наркоминдельцы думали, чем и как ответить французам, собрали стареньких кулинаров, которые еще в «Яре» готовили; те и предложили ответить «жареным мороженым»: посредине блюда сливочное, фруктовое и шоколадное мороженое, а вокруг плеснуть немного спирта — феерия, горит мороженое! А потом он вспомнил, как отец, когда его только-только привез домой полковник Мельников, с трудом передвигаясь, опираясь на трость (было это двадцать девятого апреля пятьдесят четвертого года), подошел к телефону — квартира после его ареста стала коммунальной, поэтому соседи потребовали вынести аппарат в прихожую, — набрал номер парткома (помнил ведь, все годы помния!) и спросил, когда он сможет внести взносы — платил сам себе ежемесячно по двадцать копеек из тех двадцати рублей, которые Степанов — по крутым правилам тех лет — имел право отправлять ему во Владимир... И слова отца навсегда врубились в память Степанова: «Я всегда верил, что позвоню тебе, Иван Прохорович. Видишь, не зря верил...»

...Когда Данилыч, поглядев на свои громадные, тридцатых еще годов, часы, сказал, что пора возвращаться на

---

[1] РП — руководитель полетов.

[2] Ледяное поле рядом с действующей станцией.

«подскок», они поднялись в безоблачное небо на «Антоше». Через минуту после того, как самолет начал набирать высоту, с льдины неожиданно потянуло белое облако; Данилыч недоуменно поглядел вниз: на том месте, где только что стоял самолет, медленно расходилась дымная трещина и упругое белое облако, словно ядерный взрыв, быстро поднималось в голубое небо, расходясь упругим грибом, закрыв за минуту всю станцию — белым-бело, ни зги не видно...

— Ну и ну! — покачал головой Данилыч. — Хороши бы мы были, опоздай на минуту! С меня бы голову снесли: «бросил «подскок», «самоволка» и все прочее...

Из кабины высунулся второй пилот и, сняв наушники, крикнул Данилычу:

— Наш «подскок» тоже порвало! Видимость нулевая! Куда же нам садиться?! И там все закрыто, и здесь!

— Выдержка, — словно бы самому себе, негромко сказал Данилыч, и Степанов заметил, как лоб старого пилота начал покрываться мелкой испариной. — Выдержка и еще раз выдержка!

— У нас топлива на полчаса! — крикнул второй пилот. — Что будем делать?! В торосы врежемся, кранты колеса!

— Выдержка, — с тихой отчаянной яростью повторил Данилыч. — Только выдержка!

Он был очень похож на героев Хемингуэя, наш Данилыч, — такой же мужественный и добрый; Хемингуэй писал человеческие э т а л о н ы, которые потом стали общечеловеческими характерами, — вот в чем его гениальность...

2

...В утреннем выпуске газет, которые Кузанни купил в холле отеля, был напечатан огромный портрет Кулькова; заголовок сразу же бросался в глаза: «Я больше не могу молчать об угрозе Кремля странам свободного мира! В тайных лабораториях идет лихорадочная работа по созданию новых систем космических ракет! Выиграть время, не дать осуществить противоспутниковую оборону Запада — мечта московских заправил!» Чуть ниже петитом набрано: «Сенсационное разоблачение выдающегося русского ученого, профессора Геннадия Кулькова, возглавлявшего в России исследования в области ракетостроения».

— Значит, это его убили? — тихо, словно бы самого себя, спросил Кузанни; он уже с утра крепко выпил, достав из мини-бара в номере три семидесятиграммовые бутылочки

виски; потом перешел на джин, обнаружил шкалик русской водки; глаза его покраснели, стали нездорово-лихорадочными, пальцы то и дело сжимались и разжимались. «А ведь начнет драться, — с тоской подумал Степанов, — ничего не понимаю; Славин не мог подставить меня, это исключено; что-то не сработало? Что? Где?»

— Включи радио, — попросил Степанов. — Или телевизор...

— Зачем? Тут, — Кузанни ткнул пальцем в газету, — все сказано. Лучше не напишешь...

— Тем не менее ты не будешь возражать, если я включу телевизор? Пожалуйста, не возражай...

Кузанни ткнул пальцем кнопку в ящике; передавали музикладен[1], веселые негры самозабвенно пели старую песенку, заново аранжированную.

— Почему они до сих пор не передают про то, что на пустыре убили двух снайперов? — задумчиво спросил Степанов; он говорил медленно, как бы через силу, глядя прямо в глаза Кузанни. — Видимо, готовят удар... Наверное, в вечерних выпусках выдвинут версию о том, что преступление совершили люди, которых тренирует и содержит София.

— А если нет?

— Тогда ты волен в любых действиях, Юджин, — ответил Степанов. — Я не посмею возражать... Пойдем за проявленной пленкой, они же получили с тебя за срочность, пойдем, пока не начались «последние известия», пленка может оказаться такой, что ее уворуют...

— Ты что-то знаешь, — с болью, как-то растерянно сказал Кузанни. — Но не говоришь мне. В твоих словах есть логика... Действительно, отчего молчат про пустырь? С твоим посылом можно было бы согласиться, не убей они человека... И ты знал, что это произойдет... Ты знал... Цель оправдывает средства? Это не по мне, Дим... Это вандализм, это инквизиция двадцатого века... Мне очень стыдно за то, что произошло, я как обгаженный...

И Степанов сказал:

— Я тоже.

3

Генерал, сидевший возле телефонных аппаратов, чувствовал, как у него от боли онемел затылок; последние дни он и ночевал в своей маленькой комнате отдыха при ка-

[1] Джазовая программа.

бинете, потому что связь с Берлином поддерживалась чуть ли не ежеминутно, а после акции начала поступать информация из Женевы и Вашингтона — практически беспрерывно.

Он попытался массировать шею; не помогло; друзья который уже год рекомендовали съездить в Цхалтубо: «Сказочный курорт, навсегда забудешь об остеохондрозе»; ладно, отвечал он, спасибо за совет, непременно поеду. Особенно сильно ломило, когда начинались нервные перегрузки; будь рядом жена, вмиг бы сняла массажем нудную, изнуряющую боль; как это прекрасно — прикосновение женщины, которая любит. Он вспомнил глаза Лиды, огромные, такие красивые, голубые и — когда смотрит на него — полные нежности, спокойного понимания. Лицо человека стареет, глаза никогда. Кто-то отлично сказал: «Счастье — это когда тебя понимают». А ведь действительно, подумал генерал, литература — явление необычное: можно написать несколько книг и не оставить после себя следа, а иногда простая, точная фраза гарантирует писателю посмертную память. Строка Некрасова: «Идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, весенний шум!» — стала хрестоматийной оттого, что она живописна. Или короткое стихотворение Ахматовой: «В Кремле не надо жить, Преображенец прав, там зверства дикого еще кишат микробы, Бориса дикий страх и всех Иванов злобы, и Самозванца спесь взамен народных прав». Вся концепция Петра, прорубившего для России окно в Европу, заключена в этом стихотворении. Увы, в иных многостраничных поэмах словосотрясений много, а информация ахматовского толка отсутствует, рифмованное безмыслие.

...Генерал снял трубку, соединился с Конрадом Фуксом; Славин, ясное дело, был рядом:

— Никаких новостей?

— Ждем реакцию... А у вас?

Генерал вздохнул:

— Занимаюсь именно этим же.

— Самая трудная работа, — заметил Фукс. — Нет ничего более изматывающего, чем ожидание.

— Да уж, — согласился генерал. — Славина можно к аппарату?

— Он сам тянет руку, — ответил Фукс. — До связи.

— Спасибо. До связи.

— Здравствуйте, товарищ генерал! Как там у вас? Какие будут указания?

— Знаете, я что-то очень волнуюсь за Степанова...

— Я тоже...

— Может быть, все же позвонить ему?

— Но уж теперь-то любой разговор с ним фиксируется. За каждым их шагом смотрят...

— Почему они сами молчат?

— Полагаю, он ждет звонка от меня...

— Что об этом думает товарищ Фукс?

— Он согласен со мною: нам сейчас со Степановым просто невозможно войти в контакт.

Генерал раскурил сигару, хотя ночью поклялся себе, что до субботы не сделает ни единой затяжки, пыхнул, задумчиво посмотрел на странный, причудливой формы рисунок, образованный дымом — какая-то сюрреалистическая абстракция серо-голубого цвета на фоне деревянных, темно-коричневых панелей кабинета, — и тихо спросил:

— А вы убеждены, что Степанов выдержит, Виталий Всеволодович?

...В молодые годы, когда Славину довелось служить армейским офицером в Вене — восемнадцать лет, было ли когда с ним такое? «Жизнь моя, иль ты приснилась мне»; как же пронеслось время, — он судил о человеке прежде всего по лицу: сколь оно волевое, сильное; по осанке — в ней, считал он, проявляется отношение личности не только к себе, но и к окружающим; по манере одеваться. Элегантность, и только элегантность, — основное в одежде.

Потом Славина откомандировали переводчиком на Нюрнбергский процесс, и там он провел год, каждый день наблюдая людей, сидевших на скамье подсудимых.

Поначалу его потрясло лицо фельдмаршала Кейтеля — сильное, холеное, породистое, само, казалось бы, благородство! А какие страшные приказы подписывал этот человек?! Чудовищные по своему изуверству, не поддающиеся объяснению с точки зрения норм общепринятой морали. Геринг, хоть и осунувшийся, постоянно укрывавший ноги клетчатым шотландским пледом, в полувоенном кителе, постоянно хранил в уголках жесткого рта саркастическую улыбку; но иногда, особенно во время перекрестных допросов, когда чувствовал, как прокуроры загоняют его в угол, забывал о придуманной, тщательно отрепетированной маске, лицо резко менялось: обрюзгшая баба, готовая вот-вот сорваться в истерике... А Шахт? Банкир, плативший деньги Гитлеру и финансировавший создание гестапо? Само благородство, добрый дедушка. А интеллигентность и достоинство на лице

рейхсминистра восточных территорий Альфреда Розенберга? Но ведь именно он приказал вырезать «примерно (его слова) тридцать миллионов славян и всех без исключения евреев», признанный автор антирусской и антисемитской доктрины национал-социализма... Когда Розенберга вели на казнь, лицо его, как рассказывали очевидцы, стало как студень, тряслось мелкой дрожью, он норовил упасть на колени и, вымаливая пощаду, поцеловать высокие башмаки американских солдат, которые волокли его к виселице; Кальтенбруннер плакал; Риббентроп потерял сознание; только редактор погромного нацистского «Штюрмера» Юлиус Штрайхер сам шел к виселице, задрав голову, истерически выкрикивая: «Вы еще пожалеете об этом, янки!»

Нет, сказал себе тогда Славин, все же физиономистика — спорная наука, если вообще ее можно называть наукой. Нельзя судить о человеке по лицу и осанке, а тем более по тому, как он одевается, — это дань юношеским представлениям о людях.

Когда Славин смотрел наши фильмы о деревне, он часто думал: режиссеры словно бы не ищут настоящих героев на главные роли. «Что, нет у нас мужчин, подобных Полу Ньюмену, Роберту Редфорду?! — говорил он Ирине. — Даже нашего любимого Николая Крючкова до сих пор не смогли снять так, как он того заслуживает! Почему никто из режиссеров не думает об эталонности героя?! Боятся мечтать — не так поймут коллеги? Не для коллег работает художник, а для миллионов! Народ — высший судья искусства. То, что он принял, то и есть искусство. А то, что хвалит критика, а люди не принимают, — симуляция творчества...»

...Лицо у Степанова было одутловатое, никакой мужественности, пройдешь по улице — не обратишь внимания, одевался неряшливо, никакой элегантности. Славина порою он раздражал: «Что за мягкотелость, Митя? И этот «хороший парень», и тот «славный человек»?! Какая-то всеопрощающая всеядность!» «Это не всеядность, — отвечал Степанов, улыбаясь (иногда, впрочем, глаза у него желтели — явный признак ярости). — Просто мне так кажется, говорю, что думаю. И потом я убежден, что даже в падшем человеке надо искать что-то хорошее... Людей следует тянуть к добру, только тогда они подобреют... Если отсекать, окажемся в пустыне, Виталик, страшно».

Поначалу Славину казалось, что Степанов не просто мягок, но слабохарактерен даже, однако, когда тот в очередной раз улетел к партизанам Вьетнама, задумался: кто

его заставляет лезть в самое пекло? Никто. Наоборот, стараются уберечь, он сам прет на рожон. Игрок? Нет, отнюдь. По натуре он романтический прагматик, авантюры не его стихия. Видимо, это надобно делу, которому он себя посвятил; литература и журналистика не терпят полуправды и отсиживания в тишине; ведь «строчки с кровью — убивают, нахлынут горлом и убьют».

...Как-то ему попалась видеозапись интервью Степанова в Лондоне: как всегда, мягок, улыбчив, открыт; спокойно отвечал на вопросы, пусть даже самые злые, но (это было видно по лицам спрашивающих) продиктованные желанием понять, а не заранее отвергнуть все, что ответят. И только один раз лицо его закаменело, глаза сделались желтыми, сузились в щелочки — поднялся явный провокатор, не спрашивал, но оскорблял, и не столько Степанова, сколько Союз; так он его отхлестал за милую душу, какая уж тут мягкость, втер каблуком в асфальт...

...Славин набрал московский номер генерала лишь через полчаса:

— Я думаю, он все же выдержит...

Генерал, пыхнув сигарой, ответил:

— Я тоже так думаю, потому что из Женевы сейчас пришло сообщение: советник американской делегации в Женеве Чарльз Макгони собирает экстренную пресс-конференцию...

4

— Не вопрос о гражданских правах в России, — чеканил Чарльз Макгони, то и дело отрываясь от текста, чтобы всмотреться в лица журналистов, — не существо их государственного строя подталкивает нас к решению о прекращении переговоров, но лишь убежденность в том, что Советам нельзя верить на слово ни в чем и никогда... Трагическая судьба выдающегося русского исследователя Геннадия Кулькова до конца убедит в нашей правоте тех, кто сомневался, считая американскую позицию излишне твердой и бескомпромиссной. Мы готовы вернуться на переговоры лишь в тот момент, когда те, которые садятся с нами за общий стол, будут столь же искренни в своем намерении достичь мира, как и мы. Никогда еще в истории человечества зло не было так организованно и мощно, как ныне. Идео-

логия коммунизма, открыто заявляющая о своем неминуемом торжестве, наращивает ракетный потенциал день ото дня. При этом происходит постоянная манипуляция лозунгами «защиты мира», рассчитанными на доверчивых людей, не искушенных в политике, но искренне жаждущих спасения цивилизации...

5

...Через час после этого выступил член конгресса, поддерживавший необходимость ассигнований на ракетную программу корпорации Пима:

— Каждый, кто выступал против проекта противоракетной обороны, теперь — после того как правда об агрессивных планах русских стала достоянием мировой общественности ценою жизни выдающегося поборника мира профессора Кулькова — убедился, что наши предложения об ассигнованиях на космический проект были продиктованы лишь заботой о безопасности западной демократии. Русские понимают только один язык. Это язык силы. Что ж, мы его выучили. Мы готовы к диалогу, но лишь на этом языке, иной отныне неприемлем...

6

Голос Славина в трубке телефона, где что-то постоянно щелкало и шипело, был уставшим, каким-то бесцветным, совершенно лишенным чувства:

— Митя, передай своему приятелю, что виза на посещение столицы ГДР лежит на Чек Пойнт Чарли. Растолкуй ему, что только здесь ему могут объяснить и показать, отчего все так случилось. Скажи, что, если он не хочет приехать сюда на час, мы пригласим других американских журналистов... Хотя, честно говоря, жаль, ведь ты именно ему обещал сенсацию... Он ее получит... Так что жду.

7

В западноберлинском офисе «Юнайтед пресс интернэшнл» было, как всегда, шумно, весело.

— Сделайте наше фото — я и Степанов за одним столом, — попросил Кузанни; шеф-редактор отдела междуна-

родной информации был его давним знакомым, подружились в Сайгоне в шестьдесят восьмом. — Мое заявление для прессы найдете в сейфе отеля «Кемпинский», если я не вернусь из Восточного Берлина до восьми вечера, распоряжение портье я оставил загодя.

— До семи, — поправил Степанов.

Кузанни нахмурился, вспомнил, что от семи до восьми будет звонить Прошке; он уже в Палермо; кивнул:

— Верно. До семи. Если я не вернусь до этого времени из-за «железного занавеса», отправляйся в отель, открывай мой сейф, бери конверт, вскрывай его и сразу же давай материал на первую полосу, — такой сенсации ты давно не имел.

Отсюда же, из бюро, он позвонил в Голливуд, продюсеру Стиву Гринбергу, повторив слово в слово то, что сказал редактору...

8

Почтальон Витя, обслуживавший дом, где жил Славин, запомнил слова заведующей отделением связи Елены Кондратьевны, что жильцу из двенадцатой квартиры заказные письма и телеграммы надо бросать в ящик («Заявление он написал, все честь по чести, никто не придерется»), вне зависимости от того, дома он или отсутствует («Геолог, — предположила Елена Кондратьевна, — они все шатуны, в Москве редко бывает, потому, верно, и одинокий»).

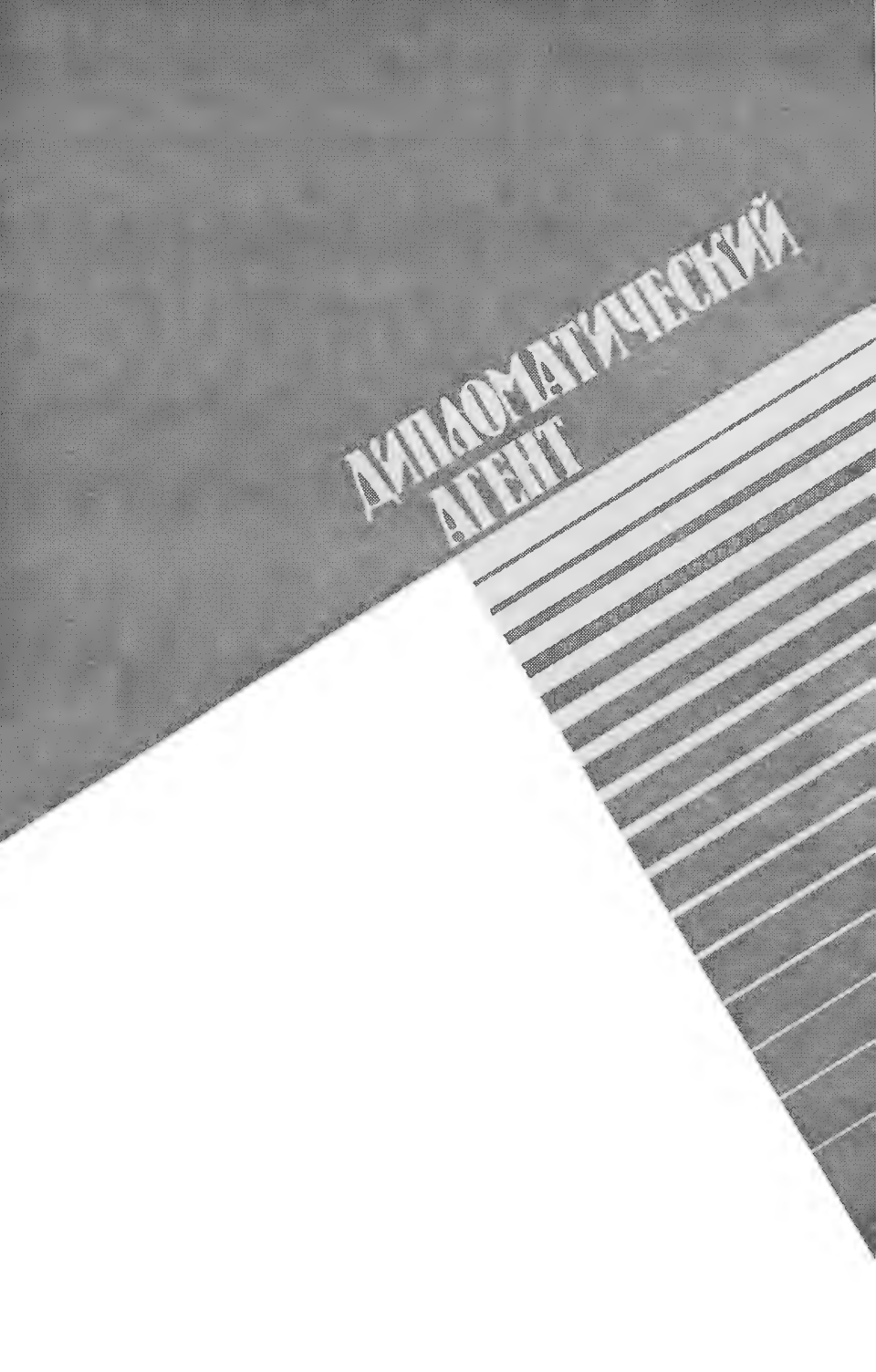
Вот Витя и опустил в почтовый ящик Славина телеграмму; написано в ней было всего несколько слов, без всяких «зпт» и «тчк»: «Спасибо тебе за тебя больше мы не будем видеться так лучше нам а скорее всего мне прощай Ирина».

9

В Берлине Степанов и Кузанни сразу же отправились в институт судебной медицины; по длинным коридорам, крашенным зеленой масляной краской, их провели в небольшую комнату; возле хирургического стола, на котором лежало т е л о, укрытое белой простыней, сидел Славин, лицо осунувшееся, усталое, под глазами темные мешки. «Таким я его никогда не видел, — подумал Степанов. — Так сдать за две недели — вот что значит провал операции...»

— Сначала я предъявлю вам кое-что к опознанию, — тихо сказал Славин, предварив возможные слова Степанова, — а уж потом мы сообща обсудим ситуацию.

— Да вы потрогайте, потрогайте, — сказал он, обращаясь к Кузанни. — Это муляж, не страшно... «Голову» снесли из американских карабинов с оптикой. Что же касается Геннадия Кулькова, автора письма, опубликованного на Западе — текст его, кстати, подготовлен Лэнгли, хранится у нас как улика; в ЦРУ Кульков числился агентом Н-52, — то сейчас он в Москве, в тюрьме. Если хотите получить у него интервью и сделать киносъемки, думаю, следствие в порядке исключения предоставит вам такую возможность, приезжайте в Союз. Когда Степанов просил вас — после «убийства» ученого — подождать дней семь, мы не думали, что события будут развиваться с такой быстротой... Да и друзья мистера Сэма Пима чуть переторопились... Если у вас есть какие-то вопросы, меня уполномочили ответить, — Славин усмехнулся, — представителям советской и американской прессы... Впрочем, если вы сейчас не готовы к работе или заняты чем-то другим, официальное сообщение ТАСС обо всем этом деле будет опубликовано в наших газетах. Так что, думаю, послезавтра переговоры в Женеве возобновятся. И начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном прерван не будет...


ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ
АГЕНТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Дверь заскрипела, и большой ключ начал вращаться в скважине замка. Когда дежурил старый солдат, он запирал дверь быстро, одним рывком. Молодой стражник всегда долго возился.

Иван слушал, как лязгал ключ в скважине. Раз. Два. Три. Три оборота. Закрывал дверь молодой стражник: несколько раз он ударил плечом в дверь, пошатал ее руками и только после этого пошел по коридору направо.

«Чудак, — подумал Иван, — ведь все равно некуда».

Он подошел к койке, стоявшей под маленьким, сплошь зарешеченным окном, лег на шершавое, серого цвета одеяло и расстегнул ворот рубахи. Провел рукой по лицу. Нос был холодный, как льдинка, а щеки горели лихорадочно. Иван ощупал нос и сказал:

— Мой.

Он испугался своего голоса. Вздрогнул. И вдруг с поразительной ясностью вспомнил слова прокурора, его голос — красивый, низкий. Перед тем как произнести фамилию Ивана, он кашлянул и громче, чем имена всех остальных, прочел:

— Виткевича Ивана Викторовича, четырнадцати лет от роду, за участие в организации преступного революционного общества «Черные братья» в Крожской гимназии — к смертной казни через повешение.

Иван зажмурился и укусил пальцы, чтобы не заплакать. Он укусил пальцы еще сильнее. Из-под ногтей показалась кровь. Увидав на подушках пальцев маленькие красные пятнышки, похожие на божьих коровок, Иван закричал. Крик его, страшный, слабый крик мальчика, ударился о тяжелые стены и заметался по длинному холодному зданию острога.

«Нет, — поднявшись на локтях, подумал Иван, — нет! Этого не может стать! Смерть? Нет! Нет!»

Но он снова ясно, как будто все представлявшееся ему действительно происходило здесь, в камере, перед глазами, увидел лицо прокурора, его бакенбарды, подстриженные снизу, височки, аккуратно зачесанные ко лбу, и глаза, когда тот, вглянув на Ивана, запнулся на какую-то долю секунды, а потом закончил:

«...через повешение».

Дело учеников Крожской гимназии, которые за писание и распространение среди своих однокашников стихов возмутительного содержания были приговорены к смертной казни и ссылке, потрясло даже самых спокойных. По Вильне пошло возмущение. Студенты университета — горячие головы — хотели устроить вооруженное нападение на острог и освободить детей. Ведь самому старшему из осужденных не было семнадцати лет.

Нехорошие, тревожные слухи проникли в Петербург. Узнали об этом при дворе. Александр I, не желая столь неприятных толков, отправил в Варшаву своего доверенного барона Рихте, поручив ему как-то уладить все это дело.

— Я не люблю, когда в нашей империи говорят о крови. Это дурной тон. И потом я противник резкого в чем бы то ни было. Гармония и еще раз гармония. Придумайте что-нибудь, барон, я верю вам. Сделайте добро этим детям, сделайте им каторгу, но бога ради не смерть, — напутствовал император барона.

Когда Рихте вышел из кабинета, Александр поднял с колен книгу, открыл заложенную страницу и углубился в разглядывание фривольных рисунков к поэме Вольтера «Орлеанская девственница».

Прибыв в Варшаву, барон был принят наместником почти сразу же. Константин пробежал по вощеному паркету из одного конца огромного кабинета в другой и остановился около бюста Екатерины. Бабушка-императрица пустыми, блудливыми глазами смотрела поверх его головы на Рихте.

— Да, да, да! — прокричал Константин. — Пусть мальчишки, пусть дети! Нечего лезть в политику! Когда я был мальчишкой, я читал Вергилия и играл в солдатов! Не говорите мне больше ничего! Я неумолим. — Константину понравилась последняя фраза, и он повторил: — Я неумолим!

Рихте не двинулся с места. Ни один мускул не шевельнулся на его лице, когда он заговорил:

— Прощаясь, его величество сказал мне, что видит в вас отца поляков. Поэтому государь просил привезти подтверждения, дабы лишний раз насладиться теми качествами характера вашего высочества, которые так хорошо известны нам, русским.

Константин засмеялся.

— Какой же ты русский, барон? Ты немец. Немец ты, а не русский... А с мальчишками я неумолим. Пусть будет так, как сказали Новосильцев с Розеном. Смерть.

Назавтра барон Рихте уехал в Санкт-Петербург. Он увез с собой дело крожских гимназистов. На папке, в которой хранилось все относящееся к Ивану Виткевичу, ломким почерком наместника было начертано: «В солдаты. Без выслуги. С лишением дворянства. Навечно. Конст...»

Под последним, незаконченным словом расплылись две большие чернильные кляксы.

Через три дня Иван Виткевич и его гимназический друг Алоизий Песляк были закованы в кандалы и отправлены по этапу в Россию.

В Оренбурге они обнялись в последний раз и не могли сдержать слез. Виткевича увезли в Орскую крепость, а Песляка — в Троицкую.

2

Забравшись высоко в небо, стыли жаворонки, что-то рассказывая солнцу. Веселые, они словно старались оживить ландшафт размахнувшейся на много сотен верст оренбургской равнины.

Казалось, жара охватила своими сухими руками весь мир. Но нигде не была она так нещадно сильна, как в этих степях. Недавно проложенный вдоль по Уралу тракт из Оренбурга в Орск был еще совсем не объезжен. Он прятался в балках, кружил голову причудливыми изгибами, тряс телеги сердитыми, в полметра, а то и в метр, ухабами.

Бричка, в которой ехал Виткевич, сотрясаясь, стонала, словно собираясь вот-вот рассыпаться. Маленькая лошаденка жалобно запрокидывала морду, когда возница — солдат Орского линейного батальона Тимофей Ставрин — лениво, но с силой постегивал ее по взмокшему крупу.

— Ишь, стерва! — хрипел Тимофей, вытирая со лба пот. — Глянь-ка барин, ленива ведь, а?

— Устала.

— И-и, устала! А я, поди, не устал! Иль ты? Уж, наверно, ох, как замаялся...

Тимофей обернулся, и бугристое красно-синее лицо его растянулось в улыбку.

«Худенький мальчонка-то, — жалостливо подумал Ставрин, — шейка на просвет. Дите, а поди ж ты...»

— Ай заморился? — спросил он Ивана. — Так я погожу. Хочешь, иди цветиками подыши, васильками. Они, видишь, какие? Синь-цвет. Как словно Каспий-море.

— А Каспий-море синее?

Тимофей засмеялся.

— Как небо все одно. Будто вместе с дождичком опрокинулось.

Ставрин натянул вожжи и спрыгнул на землю. Размявшись, он развел руки и, запрокинув голову, начал тонко высвистывать песню жаворонка.

— Глянь, барин. А птица все ж самое что ни на есть чистое создание. С сердцем. Поет себе да поет... А у нас не попоешь. Так что ты сейчас, мил-душа, поиграй. Годы твои молодые, игручие.

— Я не ребенок.

— Да ты не серчай. Я от сердца к тебе.

Когда Иван соскочил с брички и пошел в поле, Тимофей окликнул его:

— Барин, а за что тебя, а?

— За всякое, — ответил Иван и вздохнул. — Я и сам-то не знаю за что.

— Хитер. Ни за что такое не делается. Инто, значит, было за что...

Иван собрал большую охапку васильков и положил рядом с собою, укрыв от лучей солнца холщевиной. Ставрин сел на облучок, чмокнул губами и негромко запел:

И-эх, поедем,
Едем да поедем,
Песню да песню,
Песню заведем..

В Орскую крепость Ставрин приехал поздним вечером. Жара спала. С запада дул соленый ветер. Полный диск луны дрожал в небе. Около маленького свежебеленого домика Тимофей остановил лошадь. Постучал кнутовищем в окно. В доме кто-то закашлялся. Сверчок прервал свою песню, прислушиваясь. Прошлепали босые ноги, щелкнула

о косяк щеколда. На пороге стояла высокая девушка в белой, до пят, рубахе. Тимофей поцеловал ее в лоб, отдал кнут и вернулся к бричке. Взяв на руки спящего Виткевича, он бережно понес его в дом.

— Царева преступника привез, — шепнул он дочери. — Замаялся мальчонка.

Всю жизнь Тимофей Ставрин мечтал о сыне. Бог послал ему пять дочерей. Он прижал к себе хрупкое тело Ивана, и сердце глухо застучало «Сы-нок, сы-нок, сы-нок».

3

Часы пробили полночь. Жители британской столицы давно уснули. Тут даже в дни празднеств балы кончаются рано: веселиться можно ехать в Париж или Петербург.

Только в одном из фешенебельных лондонских предместий, в небольшом особняке, охраняемом двумя запорошенными мокрым снегом львами, горят тусклыми пятнами в темноте ночи два окна на третьем этаже. Большие хлопья снега прилипают к освещенным стеклам, и кажется, будто им очень хочется разглядеть, что происходит в большом холле.

Холл отделан мореным черным деревом. Острые блики огня в камине пляшут, отражаются на черном дереве причудливыми видениями.

Хозяин этого дома — человек, далекий от политики, но близкий к финансам. Лорд, он любит подчеркивать свою аполитичность. Он уже стар, этот лорд. Прежде чем встать, приходится долго массировать поясницу. Потом осторожно можно начать разгибаться.

— Стар, — усмехнулся лорд. — Я стар, Бернс. Понимаете?

— Не понимаю, сэр.

Лорд оценил шутку. Он кивнул головой и пошел к столу. Бернс залюбовался его походкой — осторожной, плавной, твердой. В этом человеке все было продумано, все до самых последних мелочей. Он достал сигары из деревянного ящичка тоже каким-то особенным, мягким движением руки. Сигара была длинная и тонкая, черного цвета. Из Бразилии

— Курите, — предложил лорд Бернсу.

— Спасибо, сэр. Я не курю.

— Скоро начнете, — улыбнулся лорд. — Очень скоро начнете, поверьте мне.

Бернс пожал плечами. По манере держать себя он англичанин. Пожалуй, даже шотландец, потому что для англичанина он слишком резок в жестах и дерзок в словах. Но чуть

раскосые глаза, смуглая кожа, нос тонкий, с горбинкой делают его похожим то ли на перса, то ли на индуса.

Лорд раскурил сигару и осторожно опустился в кресло около камина.

— Мне говорили мои друзья, Бернс, что вы человек с большими способностями. Поэтому я и пригласил вас... Вы, конечно, знаете, что моим ситцем можно обернуть земной шар пять раз подряд. Но это филантропия. Заниматься экипировкой земли я не собираюсь. Об этом достаточно заботится господь наш, меняющий одежды земли четыре раза в год. Я должен одевать моим ситцем людей, я должен продавать мой ситец. Ясно?

— Ясно, сэр. Вы должны продавать свой ситец.

— Можете не повторять. И никогда не соглашайтесь вслух. Вас могут заподозрить в неискренности.

— Ясно, сэр, — улыбнулся Бернс.

Лорд пожевал губами, внимательно разглядывая лейтенантский мундир Бернса. Потом скользнул глазами по его лицу.

— Словом, вы хотите перейти к главному, не так ли?

Бернс смотрел на лорда и молчал. Тот снова пожевал белыми губами, в быстрые доли минуты обдумывая, взвешивая, сопоставляя, принимая решение. Решение принято.

— Ну что же! Мне это даже нравится... — Лорд в последний раз взглянул на Бернса и стал говорить: — Пусть в парламенте болтают о русской угрозе Индии. Язык дан для того, чтобы работать им. Взоры России не обращены к Индии, это говорю вам я. Поэтому, казалось бы, Афганистан нас может сейчас не беспокоить. Но каждая минута имеет свой цвет. Минуты бегут, цвета меняются. Нас очень скоро заинтересуют среднеазиатские ханства. Выгоде подчинена политика. Я буду помогать вам убедить некоторых досточтимых господ в том, что купцы Хивы и Бухарии должны ездить на ярмарки не в Нижний Новгород, а в Индию. Именно это и заставит вас вплотную заняться Афганистаном, Бухарой и Хивой. Путь в срединные районы Азии лежит через Кабул и Кандагар...

Лорд осторожно поднялся с кресла, потер спину. Потом протянул Бернсу сухую руку и сказал:

— Вам будет легко работать, потому что вы вне конкуренции. У русских нет людей, знающих Восток. Вас ждет слава, Бернс, это говорю я.

Через несколько дней Бернс отплыл в Бомбей.

4

Тимофей разбудил Виткевича еще затемно, с первым криком петуха. Почувствовав на плече руку, Иван вздрогнул всем телом и открыл глаза.

— Что, что?! — спросил он, вскакивая.

За долгие месяцы этапа он привык просыпаться сразу, по первому окрику. Только там было хуже: на руках висели тяжеленные пудовые цепи, за ночь руки делались чужими. Сейчас, впервые за весь пройденный путь, он ощутил блаженство, истинное блаженство. Руки были свои, мягкие. Кожа у кистей не стерлась, не кровоточила, пальцы сгибались свободно, без хруста и тугой боли в суставах.

Сено пахло так чудесно, что казалось, вместе с запахом его в тело входило само здоровье. Иван подумал, что здоровье, наверно, должно быть похоже на тот пшеничный, прижаренный сверху хлеб, которым его угощала вчера дочь Ставрина, Наталья.

Раньше, до ареста, Иван считал, что за Москвой мир кончается. Там пустыни, зной, голод. А ведь нет! И земля есть, и люди есть. Добрые люди, добрей многих, с которыми Ивану приходилось встречаться за его короткую жизнь.

— Собирайся, барин, — сказал Ставрин. — Идти нам пора, а то их благородие рассерчают. И не говори им, что у меня отдохновенье имел, — не сносить нам тогда головы.

— А разве я не у тебя жить буду? — удивился Иван.

Ставрин шумно вздохнул. «Дите, чисто дите, — подумал Тимофей, — никакого ведь соображения не имеет, что ему здесь за судьбина уготовлена. Не дай бог мужику такое, а он дите, да еще барское».

За Уралом занималась заря. Петухи, словно приветствуя рождение дня, голосили отчаянно громко, стараясь перекричать друг друга.

Не доходя шагов пятидесяти до дома батальонного командира, Ставрин начал ступать на носки, затаил дыхание.

— Нашего батальонного сейчас нет, в России он, папенька у них помирают, — пояснил Тимофей. — А так они человек очень хороший. А заместо них пока что зверь лютый. Спаси боже...

Во двор Ставрин вошел первым. На крыльце, в расстегнутой рубахе, в порыжелых грязных панталонах, заправленных в мягкие чувяки, сидел маленького роста человек и допивал стакан водки. Допив, он вытер ладонью тонкие синие губы, глубоко подышал носом, покачал сокрушенно головой и только после этого закусил хрустящим малосоль-

ным огурчиком. Кончив жевать огурец, ротный командир Ласточкин посмотрел на пришедших улыбчивыми голубыми глазами. Вытянувшись, Ставрин пошел к нему, высоко, чуть не до груди, вскидывая ноги, прижав руки к бокам так сильно, будто хотел вдавить их внутрь себя.

— Зравь жа ваш бродь, — гаркнул он таким зычным голосом, что Иван, не удержавшись, засмеялся.

Он понимал, что смеяться никак нельзя, что это обидно и для Ставрина и для ротного, но чем яснее он это понимал, тем неудержимей становился его смех.

Ласточкин посмотрел на Ивана веселыми глазами и покачал головой. Ставрин доложил, что ссыльный бунтовщик доставлен в Орскую крепость в целости и сохранности. Ласточкин кивнул головой и спросил, ни на кого не глядя:

— Чего смеешься, сучья харя?

Сказал он это негромко, тщательно выговаривая букву «с». Иван посмотрел на Ставрина. Он подумал, что этот вопрос относится к солдату. Он не мог представить себе, что ротный, может быть доворянин, обращается так к нему, к Ивану.

— Ну?! — заорал Ласточкин и, вскочив с крыльца, пошел прямо на Виткевича. — Ты что молчишь, пес? Я с тобой в цацки, что ль, играю? Как стоишь перед командиром, сопля?

У Ивана сжались кулаки: никогда, даже во время суда и этапа, с ним никто так не смел разговаривать.

— Вот что, ссыльный. Отныне строевыми приемами заниматься будешь у меня. По восемь часов в день. И так до тех пор, пока не выучишься с командиром вести себя надлежаще.

...На плацу, сжигаемом острыми лучами солнца, стоял Иван, одетый в рваную, не по росту шитую форму, а в тени, под вязами, на раскладном стульчике сидел Ласточкин и командовал:

— И-раз! Выше ногу! Еще выше! В колене не гнуть! Хорошо! И-раз! Шагом арш! С песней! Пой! Пой! «Солдатушки, — пой, — бравы ребятушки»! Бегом! И-раз! Пой, пой!

Когда Ласточкин уходил спать, его чаще других заменял унтер Савельев. Однажды Иван попросил у него разрешения напиться.

— А льду хочешь? — засмеялся Савельев и оскалил острые, пожелтевшие от табака зубы. — Ледку, может, принести барину?

Иван начал считать про себя, чтобы не заплакать. Но слезы туманили глаза. За плацем, около вязов, склонившихся над Бычьим озером, стояло несколько солдат, наблюдавших за учением. Впереди всех стоял Ставрин.

— Савельев! — негромко крикнул он и быстро поправился: — Господин Савельев, дай я ему водицы принесу. Не заметят ведь их благородие.

— Ты чего? К нему, может, хочешь? В кумпанию? Проваливай, — огрызнулся унтер и снова начал командовать, подражая Ласточкину. — И-раз! И-раз! Выше ногу! Руки в шов!

Унтер, слава богу, не требовал, чтобы Иван пел. Ласточкин, вернувшись, потребовал:

— До ночи прогоняю, а петь научу, — пообещал он Виткевичу. — Шагом арррш! Пой! Пой! Пой!

И Виткевич запел.

— Громче! Громче! — кричал ротный, пряча улыбку.

«Милая, бесценная моя маменька! Не знаю даже, смогу ли передать вам эту весточку, но все же пишу, надеясь на оказию. Моя теперешняя жизнь не должна внушать вам беспокойства. Я нахожусь здесь среди милых людей, которые понимают мое положение и чем могут помогают мне. Так что, милая моя маменька, ни о чем дурном не думайте и не верьте никаким слухам, которые, возможно, дойдут до вас.

Сейчас здесь поздняя осень, и над крепостью нашей беспрестанно летят утки и гуси. Здесь их такое множество, что даже неба иногда за ними бывает не видно.

То время, которое остается у меня свободным от всяческих занятий и военных экзерсисов, я посвящаю тому, что упражняюсь в английском и французском языках. Тут есть в крепости несколько человек киргизов, так я думаю по прошествии некоторого времени начать их язык постигать. Кто знает, может быть, и азиатские языки мне когда-нибудь пригодятся. Я видел два раза, как мимо крепости проходил караван из Бухары, далекой и неведомой страны, в Оренбург, и сердце мое заныло. Я вспомнил те истории про путешественников отважных, которые вы мне рассказывали.

Через полгода мне исполнится шестнадцать лет, а это значит, что уже два года я не мог припасть к вашим рукам. Бог милостив, может быть, вы, не в ущерб здоровию своему, соблаговолите еще раз попробовать похлопотать о смягчении участи моей.

Целую ваши руки. *Иван Виткевич*».

5

— Смотри, Иванечка, клюет, — шепнул Ставрин и сжал руку Виткевича повыше локтя, — клюет, окаянная.

Он на цыпочках подбежал к удочке, вытащил из песка гибкий ивовый прут, на который была намотана леска, и рывком подсек. В белых лучах солнца забилась плотвичка. Ставрин снял ее с крючка, скатал еще один хлебный шарик, насадил его и закинул грузик прямо на середину тихой речушки.

— Я говорил, прикорм дай — будет ушица...

Ставрин и Виткевич еще со вчерашнего вечера ушли из крепости: искать для покоса луга посочней. Тимофей нес на плечах тяжелый мешок с хлебом, салом, картошкой, а Иван — удочки. Он попробовал было подменить Ставрина, но тот рассмеялся: широко раскрыл рот, захватил воздуху, зашелся. Вытер слезы, покачал головой. Сказал:

— Да я и тебя, коль хочешь, тож в мешок посажу. Груз — он для землепашца приятный, коли свой.

Так и шли они по душистым травам: впереди широкий в плечах, кряжистый Ставрин, а позади — худенький вихрастый Иван.

Вчера, уже глубокой ночью, когда на небе зажглись звезды и, быстро отгорев, стали падать одна за другой на тихую полынную землю, Тимофей остановился, сбросил с плеч мешок и пошел искать место для ночлега. Степь звенела ночным безмолвием. Легкий ветер путался в стройных ногах трав.

— Эй, Иванечка! — крикнул Тимофей через несколько минут. — Иванечка, иди-ка сюда... Да не бойсь, тут песок.

Иван перетащил на голос Ставрина мешок и удочки. Тимофей разложил костер, напек картошки, покормил Ивана хлебом с салом и уложил спать подле себя, укрыв маленьким узорчатым ковриком, который он выменял за бесценок у караванщиков бухарских.

Наутро они двинулись дальше. Высоко в небе звенели жаворонки. Радовались солнцу васильки и большеголовые, словно дочери ставринские, ромашки. Все окрест дышало беззаботностью и спокойствием, безмятежным, как ребенок.

С наступлением мягкого, тихого вечера они снова остановились на ночлег у реки — маленького притока Тобола.

— Ох, и ушицей я тебя попотчую, — хвастался Ставрин, высекая искру, — что солнце да луна-красавица в завистях будут.

Костер метался по ветру, ломая поленца, выстреливая маленькими головешками.

Запрокинув голову, Иван пил вкусную клейкую уху. От наслаждения жмурился.

— Словно кот, — сказал Тимофей ласково и вытер ладонью свои белые усы, — коты завсегда так жмурятся. А вот, батюшка мой, знаешь, на восток-стране такие коты есть, что одним глазом моргнут и в сей же миг дождь — айда — пошел!

Иван усмехнулся.

— Что я тебе, сказку выдумываю, что ль? — рассердился Ставрин. — Мне Ахмедка, по-русски Ванька значит, говорил про то. Ахмедка — он старый. Караваны в Бухару гоняет... — Тимофей приблизил свое лицо с расширившимися зрачками глаз к Ивану и прошептал: — Он сказывает, будто за полями за этими, за Устюрт-горой, ничего больше нет. Все в яму провалено. Там обратно черти. Как туда зайдешь, так горячим песком в очи швыряются. И-и-и, гибель чистая. А коты те сидят да высматривают: какой человек ласковый, по шерсти гладит, встречь руку не ведет, такому человеку глаз один закроют, вроде бы подморгнут, и для него в тот же минут дождичек. Песок-то остынет да и осядет. Тут знай бежи. День бежи, два бежи. Пока в Бухару-страну не придешь. А там бусурманы в белых шапках ходят, крестом не крестятся. А еще там оборвыши есть, что тряпки на голову заматывают. Те, сказывал Ахмедка, люди душевные, хорошие. Голый человек — всюду душевный: у бусурман ли у проклятых, у нас ли, христиан православных... А еще сказывал Ахмедка, будто там такие люди ходят, что как на дудке-свиристелочке заиграют, так змеи перед ними на хвосты становятся.

— Ну уж, Тимофей, ты что-то не то говоришь, — судорожно сглотнув, отозвался Иван и еще ближе подвинулся к Ставрину.

— Как так не то? Ахмедка выдумки сказывает али что?

— Дикий он, оттого и сказывает вздор.

— Ай, батюшка Иванечка, почему ты эдакие слова говоришь? Не дичей нас с тобой Ахмедка. У него дочка есть да сынов пять душ. Нешто у дикого малы дети родятся? А добрый какой! Чего у него попросишь — все отдаст, не пожалеет.

— Это какой же Ахмедка? Беззубый такой?

— И ничего он не беззубый, — рассердился Ставрин, — у них, может, закон такой, чтоб без зубов... А ты — беззубый!

— Не сердись, Тимофей, — попросил Иван, — я ведь не знаю.

— Спроси. Язык-то для чего даден? Язык даден, чтоб им спрашивать вопросы, — Тимофей вздохнул. — Только вот у меня хучь язык имеется, однако спросить я у Ахмедки ничего не умею. «Тары, бары, растабары» мы с ним. То рукой, то головой, то очами беседуем.

Костер стал затухать. Тимофей ушел за хворостом. Иван смотрел в ночь и видел диковинные страны, огненные пустыни и людей в белых шапках. Когда Ставрин вернулся, Иван сказал задумчиво:

— Вот бы их язык выучить, Тимофей...

Ставрин рассмеялся:

— Да разве такое возможно? Чтоб бусурманский язык учить? Душу опоганишь...

— А сам говорил — он хороший, Ахмедка-то...

— Ну тя, барин, — в сердцах сказал Тимофей, — совсем ты меня запутал. Спи знай...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Иван возвращался с реки к себе в казарму. Он только что выкупался, хотя ротный ему купаться не разрешал.

— Еще уплывешь куда, — хмурился Ласточкин, — а ты фрукт не простой, а особенный.

Сегодня с утра ротный уехал в Оренбург. По крепости прошел слух, будто на днях должен возвратиться батальонный командир Яновский. Говорили также, что Ласточкин старается оформить свой перевод в Ново-Троицкую крепость, что отстояла от Орской верстах в тридцати пяти: ротный никак не уживался с батальонным. Это было известно в крепости всем, и все мечтали о том, чтобы Ласточкин перевода добился.

Воспользовавшись отсутствием ротного, Иван полчаса резвился в теплой воде. Вода была такая прозрачная, что было видно даже, если нырнуть головой вниз и там, на глубине, открыть глаза, как перекатывался песок на дне и, отскакивая друг от друга, медленно метались рыбы.

Иван выпрыгнул на поверхность, как пробка, быстро, со смехом. Было весело, хорошо. Он стер ладонями капли воды с тела. На груди набрякли мышцы, и Иван с удовольствием и затаенной гордостью попробовал пальцами крепость их. За два года солдатской службы окреп, закалился. Не одеваясь, он сел на песок, к самому берегу, а

ноги протянул в воду. Маленькие рыбешки тут же заметались вокруг пальцев. Иван почему-то подумал: «Мне бы так в гимназии науки созерцать, как я здесь рыб созерцаю».

Он вспомнил, как преподаватель изящной словесности в Крожской гимназии сказал однажды:

— Виткевич не способен к серьезным размышлениям, но пристрастность имеет ко всему быстрому и неустойчивому.

Преподаватель был философ и любил выражаться, как он сам говорил, категориями.

Иван, не торопясь, оделся и пошел в крепость. Огибая гарнизонную гауптвахту, он улыбнулся, вспоминая гимназические годы и особенно словесника. Он вспоминал одновременно то, что было два года назад, и то, что было всего десять минут назад. Иван радовался, заново переживая только что сейчас пережитые ощущения купанья. Ощущения были новые, пропущенные через легкую горечь воспоминаний. Но и новое ощущение с каждым шагом к казарме становилось далеким, оттого что все приятное быстролетно.

Навстречу шла женщина, высокая, сильная, красивая. Раньше Виткевич не видел ее в Орске. Он остановился. Женщина, увидев его, улыбнулась. Улыбка у нее была добрая.

— Ты откуда такой молоденький? — спросила она, поравнявшись с Иваном. — Неужели такие мальчики в солдатах служат?

— Да, мадам, — ответил Иван, краснея.

— Что? — переспросила женщина, и глаза ее, большие, голубые, с точечками вокруг зрачка, сразу же перестали улыбаться. — Что ты!.. Вы сказали?

— Сказал, что я солдат, мадам, — повторил Иван, смущаясь еще больше.

Вот она, та прекрасная, что снилась ему ночами, что грезилась в серые зимние вечера, когда пурга бушевала по степи. Властная, красивая, нежная, умная. Она все поняла. Даже глаза потухли, стали темней, строже.

— Почему вы так молоды и солдат? Вы сделали что-нибудь плохое?

— Нет.

Женщина шагнула к нему и провела своей рукой по лбу Ивана, убирая назад белые, выгоревшие на солнце кудри. Отдернула руку быстро, резко. Покраснела, как Иван, — от шеи. Повернулась и пошла прочь.

Это была жена батальонного командира Яновского. Анна только вчера приехала из столицы. Ее брат, офицер флота,

был сослан в Сибирь после прошлогоднего декабрьского бунта. Анна очень любила своего единственного брата, очень уважала мужа и очень тосковала по Петербургу. Но ей было двадцать лет, и она радовалась жизни, несмотря ни на что.

2

«В крепость давеча приехал батальонный командир подполковник Яновский, — записал в своем дневнике Виткевич. — В тот же день он пришел в казармы, поздоровался с солдатами. Меня он спросил о здоровии. Я настолько отвык от подобного обращения, что ничего толком не ответил. Ласточкин, при сем присутствовавший, шепнул подполковнику, что я ссыльный злодей и фармазон, оттого такой дикий. Тот ничего на слова сии не возразил, однако поздно вечером за мною явился его денщик и велел следовать к подполковнику. Яновский был со мною отменно любезен, спрашивал о детстве моем и юности. Я наслаждался беседою с человеком умным и изысканным. В конце нашего разговора подполковник сказал такое, что у меня даже голова закружилась от восторга. То, что он сказал, даже бумаге доверять не должно. Следует помнить немцев: «Was wissen zwei, das weiß das Schwein»*. Так вот этим вторым может оказаться бумага: я знаю, что мой дневник просматривает Ласточкин...

Когда я переспросил подполковника, так ли мне следует понимать смысл сказанного им, то в ответ он улыбнулся тонко и сказал мне по-английски: «Words, words, they are like flames in night»**.

3

В отношения между Виткевичем и Ласточкиным после года измывательств ротного над Иваном вошло нечто новое. Должно было произойти что-то, что изменило бы их отношения до конца. Не произойти этого не могло, потому что Виткевич стал другим. Многое в нем сломалось, многое изменилось в корне, появилось то новое, что присуще мужчине, не мальчику и даже не юноше. Недаром считается

---

* «Что знают двое, то знает и свинья» *(нем.)*.

** «Слова, слова, они как огоньки в ночи» *(англ.)*.

год в неволе десятью годами на свободе. В неволе каждый день требует переоценки ценностей. День — это жизнь, а жизнь сурова к тем, кто не умеет быть с нею в ладу.

Не прошли даром «строевые занятия» с Ласточкиным, не прошли даром оскорбления и радости, надежды и разочарования. В Виткевиче что-то бродило, ожидая своего воплощения в новые формы. В человеке всегда рождается новое, но в зависимости от окружающей среды быстрее или медленней.

Ротный ненавидел Ивана за упрямство: мальчишка часами простаивал под солнцем на плацу, мерз в студеные ночи в караулах, но молчал, не просил «пардону». Ласточкин, будучи по характеру своему человеком слабым, приходил в бешенство, сталкиваясь с этим молчаливым упорством, которое по прошествии двух лет выглядело настоящим вызовом. И Ласточкин изо дня в день придумывал, чем бы еще досадить Ивану, как бы вогнать его в бешенство, а вогнав, всыпать шпицрутенов и отстать.

Около плаца часто собирались любопытные, наблюдая солдатские учения. Сегодня под вязами Иван увидал Анну Яновскую. Она стояла, укрывшись от солнца зонтиком, и неотрывно смотрела на Виткевича. Ротный заметил, как женщина смотрела на ссыльного. Он наморщил лоб, обдумывая что-то. Потом улыбнулся своею особенной, веселой улыбочкой и сказал громко, так чтобы услыхала и Анна:

— Ну, дружок, сегодня для тебя новый экзерсис будет. Выйди из строя, Виткевич.

Иван вышел из строя. Вдруг, совсем по-мальчишески, ему захотелось, чтобы ротный заставил его выполнять строевые упражнения. Иван считался самым лучшим солдатом в крепости по строевой команде.

Ночью прошел дождь, и веселые рожицы луж блестели под солнцем. На плацу луж было особенно много, оттого что поле находилось в низине, недалеко от Урала.

— Так вот, дружок мой Виткевич, — продолжал ротный. — Сейчас ты у меня ползать будешь. По лужам. Два часа кряду. Ничего, ничего, не замараешься. От земли грязь не пристает.

Виткевич стоял секунду, колеблясь. Потом, побледнев, не сказав ни слова, он лег в грязь и пополз. Он не видел, как Анна зажмурила глаза и, повернувшись, побежала прочь. Сначала она быстро пошла, потом все скорей, скорей и, наконец, побежала, придерживая рукой платье, попадавшее все время под ноги.

Иван полз, не поднимая глаз, страшась увидеть лицо Анны. Только один раз он взглянул на Ласточкина, да так взглянул, что у того сразу похолодели руки. У трусов всегда холодеют руки.

Вечером, возвращаясь домой от батальонного, который его к себе вызывал, Ласточкин столкнулся с Виткевичем около дверей своего дома. Остановился. Ему захотелось убежать, потому что показалось, будто в руках у Виткевича нож. Сразу же вспомнил слова Яновского, который пообещал посадить его на гауптвахту, если он еще раз разрешит себе издеваться над солдатом, хотя бы и ссыльным. Виткевич шел прямо на Ласточкина. Ротный начал пятиться. Виткевич прыгнул, схватил его за отвороты сюртука и рванул на себя. Ротный поднял руки к горлу и попытался расцепить пальцы Ивана. Не смог.

— Что такое? — спросил он шепотом. Кричать не рискнул.

Виткевич приблизил к себе лицо Ласточкина и негромко, спокойно сказал:

— Через три дня вашей ноги здесь больше не будет. Никогда. Для таких подлецов, как вы, вся Россия открыта. Для меня в России только одно место есть, и вдвоем в этом месте нам не ужиться. Я убью вас, ежели вы в крепости останетесь. Вы сами меня таким сделали, сердца у меня нет. Поняли вы меня?

— Да, понял, — быстро ответил Ласточкин.

— Если через три дня вы не уедете — пишите завещание. Все, — сказал Иван и отпустил пальцы.

Пятясь задом, ротный пошел к дому, храня на лице застывшую гримасу ужаса.

Виткевич говорил неправду: сердце у него было. Сердце бешено колотилось в горле, в глазах, в груди. Много жарких, сильных сердец. Он шел и улыбался. Он победил первый раз в жизни.

4

Не разгадан лик сфинкса. Какие чувства и мысли спрятаны резцом ваятеля в холодном безмолвии камня?

Если сопоставить с лицом сфинкса людей, объединенных тесными рамками нации, то наверняка самой сопоставимой окажется нация русских.

И в шумной вольнице, рожденной сладкими степными ветрами, и в суровую годину декабрьского бунта, и в уни-

женной покорности будней — всегда народ России смотрел на чужестранца загадочным лицом сфинкса. Лицом всепонимания, улыбки, лицом большой, страдающей, доброй мысли.

Кто бы мог подумать, что в России, задавленной тупоносым сапогом Николая I, после слез Пушкина, после утонченной ненависти Чаадаева, после крови Рылеева и Пестеля могли теплиться дерзкие мечтания о ниспровержении тирании? Мечтания эти, спрятанные под седым пеплом костей, тлели голубыми лихорадочными огоньками, но порой вспыхивали жарким пламенем, искры которого разлетались далеко окрест, зажигая священным огнем сердца людей других племен и наций.

5

Однажды к Яновскому в Орск приехали под вечер два солдата из соседней крепости. Увидав приезжих, подполковник несказанно обрадовался, разволновался. Послал за Виткевичем своего денщика. Когда Иван прибежал к подполковнику, тот радостно улыбнулся и сказал:

— Познакомьтесь, друзья. Иван, это Бестужев и Веденяпин, ссыльные в солдаты. Они декабристы.

Веденяпин крепко пожал ему руку, а Бестужев, прижав к груди, расцеловал.

Эти два сильных, мужественных человека сыграли в дальнейшей судьбе Ивана огромную роль. Декабристы, они великолепно усвоили великую истину французской революции, истину, сформулированную тремя словами: Свобода, Равенство, Братство. Они хотели свободы, равенства и братства всем, вне зависимости от национальной принадлежности. Они внушали эту святую истину Ивану всякий раз, как встречались. Правда, виделись друзья редко, чаще переписывались, посылая весточки друг другу с Тимофеем Ставриным.

«Дорогой Друг и Брат Бестужев!

Сейчас, заново припоминая весь наш разговор, когда мы просидели у Яновского не один час, хочу, воспользовавшись надежною оказиею, переслать тебе свое согласие со многим из того, что ты говорил, с чем я раньше никогда бы не согласился. Но кой в чем я остаюсь при своем мнении.

Только великая, свободная Польша может быть для меня тем, во имя чего стоит жить, а при надобности — и жизнь отдать. И как бы ты ни говорил, что тиран в любом обличье

тираном остается, все равно я пока своему верен. Тебе трудно понять меня, потому что ты не поляк. Твоя борьба и моя борьба единственны в своей первой цели. Но следом за тем наши пути расходятся. Ты понимаешь, конечно, о чем я сказать хочу. И ежели ты можешь делать то, что делать должным считаешь по всей империи, то я могу сделать свое дело только в Польше. А для сего-то я и хочу план свой, который только тебе известен, Веденяпину да моему другу Песляку, что рядом в крепости пребывает, в исполнение привесть, в Польшу вернуться и там отдать жизнь борьбе.

Иван — Твой Брат».

...Ответ от Бестужева вскоре пришел. Иван жадно разорвал конверт.

«Дорогой Друг и Брат Виткевич!

Хочу я тебя спросить только об одном: не будь в Орской крепости Яновского, Ставрина, не будь других солдат, всех тех, о которых ты говорил мне с такою любовию, не будь всех их вкруг тебя, русских по духу и по крови и по сердцу, — остался бы ты в живых? Не пустил бы в действие тот пузырек с ядом, который показывал мне?

Зная честность твою, за тебя же и отвечу: нет, не перенес бы тех мук, на которые был обречен.

Так почему же ты можешь тогда, в мыслях даже, оставить всех *этих* людей без помощи своей и заботы? Почему ты только о *себе* и своих *соплеменниках* радеешь?

Убежденность твою теперешнюю в идее только национальной считаю юношескою, себялюбивой, недостойной тебя именно из-за себялюбивости. Что касается плана твоего — так о нем надобно много и разумно подумать. Ежели моя последняя попытка успехом не увенчается, я, быть может, окажусь тебе полезным в совете иль помощи.

Твой Брат и Друг *Бестужев*».

Но последняя попытка, о которой писал Бестужев, увенчалась успехом: по монаршей «милости» Бестужев был переведен в действующую армию, на Кавказ, под пули горцев.

Виткевич снова остался один, наедине со своею мечтою, которая с каждым днем становилась все навязчивее. Правда, после бесед с Бестужевым Иван не был так силен в своей вере быть полезным только Польше, как раньше. Разбросанные, не оформившиеся в единое целое мысли бродили

в нем. Но мечта о побеге, о борьбе, о необходимости приносить пользу была с ним даже во сне. Он просыпался по утрам с улыбкой на лице. Тимофей Ставрин, у которого после скоропалительного отъезда Ласточкина жил теперь Виткевич с разрешения батальонного командира, глядел на Ивана маленькими добрыми глазами и шептал:

— Бог, он добрый. Все знает...

Иван часто видел Ставрина над собою рано по утрам. Тимофей что-то шептал. Иван не понимал всех слов. Но чувствовал — тот молился о счастье.

6

Крепость Орская засыпала сразу. Сначала тушили свечи у отца Леонида. Потом, словно по сигналу, гас свет в окнах коменданта, ротных командиров. Орск засыпал. Только иногда свет продолжал гореть в окнах у Яновского. В синий воздух летели тихие аккорды клавесина. Ночи были темные, августовские.

Иван возвращался с рыбалки. Около дома Яновского он повстречался с командиром второй роты Фыриным. Тот шел в сопровождении мальчишки-персиянина. Днем мальчонка бегал по пыльным улицам Орска вместе с русскими ребятишками. Веселился, смеялся, широко раскрывая свои щелочки-глазенки. Часто он стоял под ивами вместе с ребятами, наблюдая, как солдаты маршировали на плацу. Солдаты говорили Ивану, будто он сын какого-то везира восточного и отбился от племени отца. А посему очутился в Орске.

Сейчас он бежал впереди Фырина и плакал. Мальчонка считался фыринским человеком, но в крепости все прекрасно знали, что Фырин не уплатил за него и ломаного гроша, потому что платить было некому.

Фырин был здорово пьян, а мальчонка боялся пьяных до смерти, несмотря на то, что ротный был человек добрый и никому плохого не делал преднамеренно.

— Что ты слезы льешь? — бормотал Фырин, спотыкаясь о застывшие после недавнего дождя комья грязи.

Мальчонка плакал навзрыд и не отвечал.

— Да не рыдай, дитя! — пропел Фырин высоким голосом.

Это рассмешило Ивана. Он подошел к Фырину и поприветствовал его. Фырин остановился и, раскачиваясь, уставился в лицо Ивана. Узнал. На приветствие ответил ласково: как и все в крепости, он знал, что ссыльного любит

Яновский. Фырин положил руку на плечо Ивану и начал жаловаться на жизнь. И счастья нет, говорил он, и денег нет.

— Может быть, вы мне, ваше благородие, мальчонку продадите? Я уплачу хорошо, вот вам и деньги появятся... — предложил Иван отчаянно дерзко.

— Тебе? А зачем? — задумчиво спросил Фырин.

Иван даже не успел объяснить ротному, что мальчугашка маленький совсем, по дому тоскует, по Азии.

Фырин не дослушал его, закрыл глаза и закричал:

— Сатисфакцию! За оскорбленье — кровь! Сатисфакцию! — последнее слово ротный пропел высоким голосом.

По-видимому, пение ротного командира заставило Яновского выйти на крыльцо: все это происходило в десяти шагах от окон его дома.

— В чем дело, господа? — негромко спросил подполковник.

— Ваше высочество! — загремел Фырин. — Ссыльный в солдаты Виткевич...

— Господин Фырин, перебил его Яновский строго. — Вы столь вольны в употреблении титулов, что я опасаюсь последствий, для вас неприятных.

— Про-шу простить, господин подполковник, ошибка зрения! А-аднака, господин подполковник, я требую са-тис-фак-ции.

— Офицер у солдата? — поднял брови Яновский. — Стыдитесь, друг мой. В чем хоть причина?

— Я хотел купить у... — начал Иван, но Фырин перебил его.

— Он хотел купить у меня перса моего. Дай поцелую, орда, — обернулся он к мальчику. — Мало вы нас в ярме держали, чингис-ханы проклятые!

Яновский рассмеялся. Иван впервые слышал такой веселый смех у подполковника.

— Я бы на вашем месте продал, — перестав смеяться, сказал Яновский. — Право же, нам, грешникам, это зачтется.

Подполковник знал слабое место Фырина: ротный любил каяться, жаловаться на жизнь, на грехи. Есть такой сорт людей, которым это доставляет наслаждение.

— А зачтется? — усомнился Фырин.

— Наверняка, — успокоил его Яновский.

— Ну, тогда продам. Прощай, душа моя, киргиз! — пропел ротный и, откозыряв подполковнику, пошел по улице, спотыкаясь все время о комья грязи.

— Благодарю вас, Александр Андреевич, — сказал Иван, — очень благодарю.

Яновский задумчиво посмотрел на Ивана. Спросил:

— Зачем он вам, право? Денег у вас и так мало...

Мальчонка глазел на Ивана и всхлипывал прерывисто.

— А я отпущу его в степи.

— Сейчас поздно. Караваны ушли. Вы знаете, когда ходят караваны на Восток?

— Нет.

— Приходите ко мне, я поясню вам. А мальчонку вам придется у себя держать. — Яновский посмотрел на Ивана ласково. — И то польза. Языку персиянскому выучитесь. А там видно будет. Может, пригодится когда... Ну идите, пока уж. Прощайте.

— Как тебя зовут? — спросил Иван мальчика.

— Садек.

— Пойдем ко мне, Садек, — сказал Иван и впервые почувствовал себя человеком, отвечающим за жизнь другого человека. Вернее, даже человечка. Маленького, испуганного, с раскосыми, удивительно добрыми и нежными глазами.

7

Однажды Садек разбудил Ивана в предрассветные сумерки, когда в небе еще тлели звезды и небо казалось то черным, плотным, то серым, прозрачным.

— Скорей, скорей! — торопил Садек, помогая Виткевичу одеваться. — Скорей вставай, караван пришел, у ворот стал, до утра стоять будет, ух, как интересно!

Глаза мальчика горели, и даже под коричневым загаром было видно, как у него на скулах выступили красные пятна.

Виткевич любил смотреть на караваны, которые проходили мимо Орска. Ни разу еще караван не останавливался кочевьем около крепости: все торговцы бухарские проходили мимо Орска, направляясь прямо к Оренбургу, в караван-сарай. Однажды около крепости стали несколько погонщиков с пятью верблюдами из-за того, что основной караван прошел, а у них проводника, знавшего кратчайший путь к Оренбургу, не было. Ночью погонщики идти не решились и поэтому остались около крепости. Но тогда Иван не знал ни одного киргизского или таджикского слова. Да и Ласточкин не сводил с него глаз.

Сейчас, после того как Садек полгода прожил с ним под одной крышей, Иван выучил немало персидских слов.

С Садеком он разговаривал только по-персидски и после двух месяцев, к величайшему изумлению и радости мальчика, стал разговаривать бойко, с хорошим выговором.

Как-то зимой Садек захворал, Иван делал ему компрессы, растирал ребра салом, а по вечерам рассказывал сказки. По-персидски они звучали так же хорошо, как и по-русски. Выздоровев, Садек присочинил к этим сказкам что-то свое и принялся рассказывать их киргизам, жившим в крепости. С тех пор о Садеке пошла молва как о великом сказителе, который хотя и молод годами, но мудр разумом.

Поэтому сегодня ночью, когда караван стал кочевьем около крепостных ворот, киргизы пришли за Садеком, чтобы познакомить мальчика-сказителя с купцами и погонщиками, прибывшими из Бухары. А Садек, желая отблагодарить Ивана за все то, что он для него сделал, потащил его с собой.

Так вот оно какое, кочевье!

Верблюды, костры, быстрый гортанный говор погонщиков, ночь, высокое небо и низкие звезды, тишина и в то же время гомон.

В кочевье, хотя погонщики только что расставили палатки, уже установился особенный, ни с чем не сравнимый запах: дыма, острого сыра и сухой полыни.

Старик, к которому Садек подвел Виткевича, взял руку Ивана двумя руками и крепко пожал ее.

— Спасибо тебе за мальчика, — сказал он, — за нашего мальчика.

— Полно вам, — ответил Иван, но улыбнулся, сразу же сообразив, что старик ничего по-русски не смыслит. Повторил по-персидски. — Не стоит благодарности.

— А это уж я знаю лучше, чем ты, стоит или не стоит...

Иван засмеялся. Старик растерянно посмотрел на Садека: «Как можно смеяться над словами собеседника? Да еще старшего по возрасту?» Садек покраснел, и, словно извиняясь, сказал Ивану:

— У нас нельзя смеяться над словами того, с кем ведешь беседу. И потом он старик — значит, он мудр...

Уже много лет спустя Иван вспоминал, что этот урок был для него очень важным, если не самым важным в жизни.

— Прости меня, — сказал Иван, — и большое тебе спасибо за твою благодарность. Но я не мог иначе поступить, ведь я человек.

— Ты пока еще не человек. Ты ребенок, ты немного старше Садека, а детям подчас свойственна жестокость.

И это хорошо, потому что будущее мальчика — это будущее воина.

— Я не хочу быть воином.

Старик недоверчиво усмехнулся.

— Можно не хотеть ночи, дождя или снега. А вот не хотеть быть воином...

— Я не хочу быть воином, — упрямо повторил Иван.

— Чего же ты хочешь? Может быть, ты хочешь стать Хаямом? Или Ибн Синой?

— Я не знаю, кто это.

Старик покачал головой.

— В этом лучше не признаваться. Так чего же ты хочешь?

— Я хочу много знать и еще больше видеть.

— Надо точно знать, чего хочешь.

Иван смутился:

— Я не знаю точно. Многое...

— Ты не на базаре. Говорить с другом надо просто и честно. «Многое» — это значит совсем мало. Сначала приди к тому, что ты хочешь узнать, а уж потом узнавай.

Иван подумал с минуту. Потом улыбнулся и попросил:

— Мне бы сначала очень хотелось выучить арабскую азбуку. Но Садек не умеет писать.

Старик спросил:

— У тебя есть с собой перо и кагаз?*

— Нет.

— Хорошо. Подожди меня. Я тебе покажу основу. Остальное изучай с Садеком. У него острый глаз и хороший ум. Мы его в этот раз не возьмем с собой — слишком труден будет путь.

Вернувшись, он протянул Ивану листок желтой бумаги и тоненькое гусиное перо, тщательно заточенное, со следами красной туши.

— Пиши. Алиф — первая буква нашей азбуки. Она одна и для таджиков, и для персов, и для афганцев. Потому что эта первая буква — арабская буква.

...Иван ушел из кочевья утром. Прощаясь, старик сказал ему:

— Мы умеем помнить то, что следует помнить. Отныне каждый наш караван, который будет идти в Оренбург, станет разбивать кочевье около Орска. Это мы будем делать

---

* Бумага *(араб.)*.

для тебя. Приходи и учись, узнавай то, что хочешь узнать. И помни: сначала надо смотреть, а потом уже узнавать. Если тебе скажут, что Бухара — город сказок, не верь этому, хотя Бухара действительно город сказок. Сначала убедись в этом, увидав, а потом реши, так это или не так... Ну, прощай! Мы должны идти в Оренбург.

Когда караван тронулся в путь, в сердце у Виткевича что-то оборвалось. Много дней после этого дня он ходил задумчивый, тихий.

...В Орск пришла весна.

8

Иван вышел из крепостных ворот. Часовые дремали, опершись о стволы ружей. Степь лежала тихая, словно женщина, утомленная лаской любимого. Играючи, пробегали тушканчики, размахивая своими веселыми, ставленными «в ружье» хвостиками с клоунскими помпончиками на кончиках. Свистели сурки — здесь необычно жирные, раскормленные, оттого что хлеба вокруг крепости убирались нерегулярно, а чаще всего и вовсе не убирались.

«И-ю-ю-юф», — просвистел сурок и замолчал, ожидая ответа подруги.

«Фю-ю-ю-и-и», — ответила та и, поперхнувшись смехом, замолчала.

«Весна», — подумал Иван ласково. Он забрался на холм, с которого виднелись подслеповатые огоньки Орска, сел на большой камень, обхватил колени руками.

«Вон за теми холмами, — думал Иван, — лежит пустыня, великая, сильная. Она всемогуща, и никто с ней никогда не справится. Она начинается сразу, наверное. Сразу подминает под себя побеги травы и мягкие корни деревьев. А что за ней? Что за этой пустыней? Что прячут пески? Радость или горе?»

Много раз в сердце Ивана входило великое желание, холодом трогало мозг: уйти туда, увидеть, что сокрыто песками. Он часто вспоминал длинные караваны, проходившие мимо Орска к Оренбургу, вспоминал хриплые крики караван-баши, лихую посадку наездников в жестких седлах, глаза купцов, сощуренные великим лукавством и мудростью. За тысячи верст шли они, ставя на карту не только благополучие одно. Жизнь ставили на карту. И вдруг Иван почувствовал острую зависть к ним, к этим людям — подвижникам страстного поиска, мужественным разведчикам неведомых песчаных троп.

Купец, торгаш, казалось бы, а сколько видит на пути своем! Как много постигает! Сколь многое переоценивает заново! Для него пустыня тоже начинается сразу, и он уходит в неведомое, простившись с привычным.

«За песком, за пустыней, что начинается сразу, — думал Иван, покусывая горький стебелек полыни, — за тем песком — жизнь, о которой я лишь слыхивал от маменьки, читавшей мне сказки перед сном. За тем песком — жизнь яркая, словно халаты купцов восточных, острая, как специи, привозимые ими».

Степь, озаренная белым светом луны, казалась неживой.

«Бежав туда, — думал Иван, — я теряю многое. Но за всякой потерей следует наполнение. За горем — радость. И дай бог наш всемогущий мужества сердцу, чтобы дерзнуть на познание радости неизведанного».

Подул ветер. Степь ожила. Высокие травы заговорили все сразу, радуясь прохладе, принесенной с севера.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

«Итак, решено. В побег. Я уйду через пески, через Азию — в Польшу. А может быть, в Россию, к тем, кто помнит декабрь. Не знаю куда, но только на борьбу. Через час меня не будет в крепости, которой я отдал три года жизни, где я познал дружбу Бестужева и любовь Садека. Сейчас я сожгу все свои дневники, и никто никогда не узнает, что я пережил за эти годы. Никто и никогда. И никто не узнает, что я сбежал. Никто, кроме Яновского, который помогал мне и сейчас помогает. Прощай, Орск...»

Иван остановился только через несколько часов бешеной скачки. Он опустил поводья и почувствовал, как сильно дрожат пальцы. Та свобода, о которой он мечтал все эти годы, пришла. Но такой ли ждал ее Виткевич? Испуганной, напряженной, с дрожью в пальцах? Он ждал свободы и видел ее в другом облике — он видел ее гордой, прекрасной. По молодости лет он не мог знать, что порой свобода приходит вместе со страхом.

Виткевич достал карту. Тяжелый апрельский ветер рванул откуда-то со спины и чуть не порвал карту. Иван делал ее с прошлого года, беседуя с купцами и караван-баши,

которые, как и обещал старик, первым учивший Ивана арабскому письму, останавливались под Орском на одну ночь.

С отступлениями и всяческими предосторожностями Виткевич расспрашивал купцов о караванном пути в Бухару и Хиву. Как-то вечером, записывая то новое, что он вынес из беседы, Иван подсчитал, что на каждый нужный ему вопрос приходилось примерно сорок вопросов бесполезных: о вкусе того или иного сорта чая, здоровье и внешнем облике родных и знакомых, погоде, охоте, одежде кочевых киргизов и дервишей из Индии, рыболовстве на Арале. Такой ритуал, обязательный в беседах с восточными купцами, сначала казался Ивану смешным и бесполезным. Только много позже он понял, какую необъятную сокровищницу составляют эти его записи и как они могут пригодиться во время побега. Разбросанные записки Иван свел в своеобразную карманную энциклопедию, переписал на маленькие листки бумаги, сшил их, обтянул кожей сурка, убитого им в степи из лука, и теперь хранил у себя на груди в специальном карманчике, вшитом в полу киргизского халата. Иван выменял халат у погонщиков, и сейчас, в киргизской шапке, в халате и мягких сапожках, надетых поверх узорчатых, толстых носков, с реденькой юношеской бородкой, пробивавшейся на щеках, он, право же, походил на человека Азии. Иван снова оглядел себя, сказал шепотом несколько персидских фраз и засмеялся, довольный.

Путям в Азию была посвящена другая книжечка, такая же маленькая по объему, исписанная четким, чуть заваленным вправо почерком Ивана. Наиболее тщательно Виткевич описал самые удобные дороги в Азию.

Из Оренбурга начинались три дороги. Первая вела из Орска к плато Устюрту, что взмахнулось между Каспийским и Аральским морями. Здесь, у подножий Устюрта, кочевали киргизы, которые за небольшие деньги проводили караваны через плато к Аму-Дарье, а оттуда уже лежал прямой путь в Бухару и Хиву. Другая дорога, которую и выбрал Иван, считалась более опасной, но более красивой, нежели первая. Из Троицка, что рядом с Орском, дорога шла на Дашт-Кипчак, к устью Сыр-Дарьи, потом резко сворачивала к западу и вела прямиком к Бухаре.

По этому пути идти можно только ночью, потому что дорог не было и в помине. Ориентироваться можно было только по звездам, здесь низким и необычайно крупным, как дикие вишни на реке Большой Кумак.

«И верно, словно вишни», — еще раз подумал Иван, отыскивая на небе последнюю по счету звезду в ручке

ковша Большой Медведицы. Если от этой звезды провести прямую линию к Сириусу, а потом, как тетиву лука, разделить стрелой пополам — получится то самое направление, которое поведет путника к Семи Камням, а оттуда уже на Даште-Кипчак. Там Виткевич рассчитывал встретить киргизов, пожить у них до того дня, когда установятся дороги, а потом махнуть в Бухару, пристроившись к какому-нибудь каравану.

Но сейчас, разрезая на глаз линию от Большой Медведицы к Сириусу, Иван сделал первую ошибку. Он не учел, что те данные, которые он получил у купцов, относятся к июню месяцу, а не к ранней весне, когда расположение звезд на небе совершенно иное.

Быть бы наверняка большой беде, может быть, последней беде в жизни Ивана, если бы холодный ветер не сменился вдруг сухим теплом пустыни. На глазах корка снега, оставшаяся после недавней мартовской наледи, начала ломаться, коробиться, из белой становиться сначала бурой, а потом серо-коричневой. К утру, когда Иван стал на отдых и потом пересел на вторую, запасную лошадь, он увидел кое-где землю, вышедшую из-под снега. Иван спешился, опустился на колени и приник к земле лицом. Устойчивый, терпкий запах прошлогодней травы, ковыля, полыни вошел в грудь. Иван сразу же вспомнил Ставрина. Он погладил землю рукой. Земля была влажная, беззащитная, но прекрасная, ибо она снова была призвана к жизни.

На второй день побега, когда Иван чуть не падал с седла от усталости и желания спать, он случайно наткнулся на кочевье.

Не знал Иван, да и не мог знать, что, сбившись с курса в самом начале, он забрался в такое место, где никто и никогда не оставался в марте или апреле. Уже в декабре люди уходили отсюда, потому что травы, уцелевшие после летних суховеев по склонам курганов, кончались и скот оставался без корма. Ушло бы и это кочевье, не случись непредвиденного.

Подъезжая к войлочным юртам, Иван услыхал голоса: мужчины пели что-то жалобное, протяжное. Иван спешился, постоял секунду, потом привязал своих коней к маленькому, забитому в землю колышку и пошел в ту юрту, из которой доносилось пение.

На кошмах лежал старик киргиз*. Борода его, задрав-

* В прошлом веке все народности, населявшие Среднюю Азию и оренбургские степи, в русской речи и в официальных документах назывались киргизами.

шись кверху, открывала морщинистую сухую шею. Старик все время пытался разорвать воротник рубахи, но юноша, сидевший подле него, каждый раз брал руки старика в свои руки, осторожно опускал их и прятал под кошмой. Старик стонал. Мужчины, сидевшие чуть поодаль, раскачивались из стороны в сторону и пели: старый вождь уходил на небо.

Негромко поздоровавшись и пожелав добра дому и всем здесь находившимся, Иван негромко спросил:

— Что с аксакалом?

Один из мужчин вскинул злые заплаканные глаза и, показав рукой на горло, ответил:

— Небо зовет вождя и поэтому не дает ему себя больше.

Иван развязал кушак, сбросил халат и подошел к старику. Снял с его груди толстый, верблюжьей шерсти, платок и приложил ухо к сердцу.

— Помогите мне, — попросил он юношу, по-видимому сына вождя. Снова нагнулся над стариком и начал осторожно раскрывать его рот, пошедший кровавыми волдырями.

— А-а! — застонал старик.

На нёбе, прямо над дыхательным горлом, вырос огромный снежно-белый нарыв.

Иван вздрогнул и почувствовал, как по спине поползли мурашки.

«Что делать? — подумал он. — Старик умрет. Что делать? Это надо резать, я знаю точно. Так делал доктор Зенченко, когда у Изотова так же было. Да, да, он резал, я помню. Он говорил об этом Яновскому».

Решение пришло сразу. Иван достал маленький кинжал, попробовал о ноготь остроту его, нагнулся к старику и начал раскрывать ему рот. Сын вождя вскочил, как кошка, и, выхватив у Ивана кинжал, замахнулся.

— Не дам! Пусть уйдет сам!

Он решил, что Иван хочет убить отца. Кое-где в Азии это было принято: чтобы облегчить боль, человека, особенно старого, убивали.

— Да нет же, — сказал Иван, — ему станет легче. Ман табибам*.

Услыхав последние слова, старик открыл глаза и махнул сыну рукой. Он хотел сказать что-то, но не смог, а захрипел еще сильнее.

— Видишь, он просит.

Юноша опустился на колени и закрыл лицо руками. Иван, сдерживая дрожь, нагнулся над стариком совсем низко.

---

* Я доктор *(перс.)*.

Когда все было кончено, Иван выбежал из юрты. Его выворачивало. Задыхаясь, он видел перед собой кровь, глаза старика, испуганные и беспомощные. Он чувствовал пожатие его руки, сухой, старческой руки, которая только что стучалась в ворота вечности.

2

Дороги установились к середине мая. Весна пришла внезапно. В конце апреля прогромыхали дожди, пришедшие вместе с грозами из-за Арал-моря. Потом внезапно ударила сушь.

Растянувшись на несколько сот метров, кочевье, шумное и радостное от сознания того, что впереди много нового, неизведанного, тронулось к северо-западу сразу со всеми своими повозками, верблюдами, лошадьми.

Дорога шла по степям, совсем таким же, как под Орском. Вдруг, завертевшись по буеракам, дорога вырвалась на небольшую, как казалось снизу, горку. Но отсюда открывалась изумительная картина. Словно в дымке пожарищ, налезая друг на друга, замерли горы.

Вождь племени, до конца оправившийся после болезни, ехал на полшага впереди Виткевича. Остановив коня, он обернулся и сказал:

— Бошкирья.

Горы были синие. Начинавшие зеленеть дубы сбегали с вершин вниз ровными, словно саженными линиями.

— А там, — вождь обернулся в седле, — там Бухара.

— Там? — спросил Иван, указывая тонкой, сплетенной из конского волоса нагайкой на равнинный юго-восток.

— Да. Тебе надо идти на левую руку, через те травы, от которых овцы растут не месяцами, а днями. И так все время вперед, к пескам, где нет ничего живого, где жар, где во рту делается сухо, как от горсти плохо сушеного табака.

Достав из кармана книжечку с маршрутами, Иван записывал то, что говорил ему вождь.

— Ты молод, — продолжал старик, — ты пришел из той страны, где люди похожи на беркутов в бешенстве. Я не люблю тех людей, ты — другой. Тебя привел ко мне голос аллаха, а голос этот может услышать только правоверный. Хочешь — останься со мной, и ты будешь тем, кто после моего ухода к отцу и отцам отца закурит мою трубку, — и вождь вынул изо рта маленькую носогрейку, которую он все время держал, зажав зубами. — Ты будешь счастлив нашим счастьем, о тебе пойдет молва по степям, потому что ты один можешь дать

облегченье, если в тело вошла болезнь вместе с сырым осенним ветром. Ты умеешь складно рассказывать про богатырей, сильных сердцем. Останься!

Иван подъехал вплотную к вождю. Из красного солнце делалось белым. Ветер стих.

— Ты упрям, — тихо сказал вождь, — а это залог счастья. Вождь не должен просить, он может только приказывать. Он должен быть сильным. Ты хочешь попасть в Бухару? Ты будешь там.

Вождь остановил скакуна и закричал звонко, высоко:

— Умурали!

И пока Умурали, сын вождя, несся на зов отца во весь опор, старик обернулся к Виткевичу и сказал:

— Я дам тебе десять лошадей и много бурдюков с водой. Ты придешь туда, куда хочешь прийти. И когда ты станешь правым пальцем на левой руке Мухаммеда, отца правоверных, скажи ему хорошо о Сарчермаке, его верном слуге и страже.

С этими словами Сарчермак-вождь отъехал в сторону, давая Ивану понять, что прошлое кончилось, а настоящее еще не началось.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Жандармский полковник Маслов ехал в Орск. По личному поручению Бенкендорфа он, как начальник седьмого округа корпуса жандармов, должен был ознакомиться с азиатскими форпостами, но отнюдь не с точки зрения их стратегической значимости.

В Оренбургской губернии после декабря 1825 года прибавилось опасного элемента. Нужно было знать, где, кто и как ведет себя. Недавно во Владимире было открыто крестьянское общество смутьянов, и поэтому было важно точно выяснить, каково положение здесь, в краю ссыльных бунтовщиков, не тянутся ли отсюда какие-либо нити.

«Люди раздумывают, что́ в жизни бо́лее важно — то или это. Да разве они могут понять смысл жизненного кругооборота? Люди — камни. Ими вода да ветер движут. Сами по себе они ничто, нуль, зеро», — думал Маслов. Среди жандармов он считался мыслителем. Друзьям он жаловался:

— Мне следовало быть литератором. Я чувствую все окрест. Но не ропщу. Несу крест свой во имя блага других.

Маслов вздрогнул, услыхав хриплый крик возницы: приехали в Орск. Сквозь рваные облака проглянула хитрая мордочка месяца. На крыльце стоял Яновский в накинутой на плечи шинели. Было по-весеннему свежо. Поздоровались.

— Завтра же, пожалуй, начнем, как думаете, Александр Андреевич?

— Как будет угодно, господин полковник.

— Ну, ну, давайте попросту, — улыбнулся Маслов и, пригладив волосы, пошел в гостиную.

После отменно хорошего ужина Маслов долго ворочался в мягкой постели и, улыбаясь, вспоминал тонкую талию Анны Михайловны, очаровательной жены подполковника.

Проснулся он рано. Хрустнул пальцами. Натужно заныло правое колено, когда потянулся. «Быть перемене в погоде», — сразу же решил Маслов и, тихонько напевая под нос, начал одеваться.

Так как жандармский полковник все время думал об Анне, инспекционный осмотр крепости закончился весьма быстро. Маслова тянуло к молодой хозяйке. За завтраком она была обворожительна, так же как и за ужином. Вырез-то в платье! С замыслом! А шейка? А пониже! И на мужа совсем не смотрит! Нет, но вырез-то каков, а?

Встретившись несколько раз взглядом с Яновским, Маслов смутился, оттого что в это время он думал о том, какова Анна Михайловна в постели.

Перед тем как выйти к обеду, Маслов подфабрил усы и облился душистой водой. Он долго рассматривал себя в зеркале и делал лица. Особенно ему удавалась легкая грусть. Правая бровь чуть вверх, уголки губ книзу, прищур холодный, надменный. Сохраняя такое выражение, Маслов вышел к столу. Место Анны Михайловны пустовало.

— А что с нашей обворожительной хозяйкой? — поинтересовался полковник, заправляя салфетку за воротничок.

— Аннушка захворала.

Маслов выбрал маринованный помидорчик, положил в тарелочку гусиного паштета и заметил:

— Какая жалость! А что с бедняжкой?

— Наверно, застудилась гуляя.

— Ах, так!..

У Маслова испортилось настроение, несмотря на чудесный суп из куриных потрохов. Довольно быстро покончив с отбивной, он ушел в отведенную ему комнату и стал готовиться к отъезду.

Уже на крыльце он вспомнил о том, что в крепости служил ссыльный поляк — не то Петковский, не то Витковский.

— Да, кстати, чуть не запамятовал. Где ваш ссыльный, как он?

— Вы о ком говорите?

— О Петковском или Витковском — я слаб на фамилии.

— Виткевич, по-видимому.

— Совершенно верно, но какая разница в конце концов?

Яновский внимательно посмотрел на Маслова. Тот был занят перчатками: голландская лайка легка на разрыв, вот-вот лопнет у большого пальца. Это сердило Маслова, он хмурился.

— Виткевич в лазарете, господин полковник.

— Что с ним? Мне хочется взглянуть на него.

— Я думаю, это нецелесообразно.

Маслов еще туже натянул перчатку, и лайка лопнула как раз в у большого пальца. Полковник рассердился окончательно.

— А я думаю — целесообразно. Проводите меня к нему.

— Как вам будет угодно.

До лазарета было метров пятьсот, не больше. Яновский и Маслов дошли туда в пять минут. Полковник взялся за ручку двери.

— И все же это нецелесообразно, господин полковник.

Маслов раздраженно заметил:

— Можно подумать, будто вы хотите скрыть от меня ссыльного. Право же, я не съем Витковского.

— Виткевича, — поправил Яновский.

— Да, да, Виткевича.

— Но есть его вдвойне опасно, — улыбнулся Яновский и посмотрел прямо в глаза полковнику. — У него холера.

Маслов побледнел сразу же. Отдернул руку от двери и спросил Яновского дрожащим голосом:

— Почему вы не сказали мне раньше?

— Там был денщик. Зачем разговоры? Начнутся излишние страхи...

— Бог мой, какой ужас! Дайте мне скорее вымыть руки!

Яновский брезгливо скривил губы:

— Я сделаю все необходимое. Пойдемте же...

2

Кони пали все до единого, бурдюки иссякли, мука развеялась по ветру, смешалась с песками, а Виткевич упрямо, зло шел вперед, прекрасно понимая, что остановиться хоть на минуту — значило бы остаться в песках навечно. И он

шел день и ночь, а в мозгу все время вертелись слова Яновского: «Лучше смерть в бою, из-за нелепости, в объятиях любимой, гибель от руки злодея из-за угла, но только не тогда, когда ее ждешь, боишься и ненавидишь...»

Сейчас Виткевич желал только одного: упасть и умереть сразу. Для этого надо было идти не останавливаясь. Чтобы обессилеть до конца.

Когда одиночество и величавое безмолвие барханов становились до жути страшными, он кричал, но песок ловил его голос и прятал в свою молчаливую толщу, которая привыкла к таким крикам. Чтобы не слышать тишины, Иван начинал горланить польские песни — он помнил, как их пели студенты университета, разгуливая по спавшей Вильне. Иван горланил песни, но не слышал своего голоса. Он понимал, что поет, он слышал песню внутри себя, но едва веселые слова про кружку пива срывались с растрескавшихся губ, они сразу же становились частью безмолвия. Здесь властвовала пустыня.

Когда кончалась ночь и солнце гасило звезды, Виткевич прибавлял шагу. Делалось прохладнее, на песок ложилась роса. Иван опускался на колени и слизывал влагу с теплых песчинок. Во рту начинало скрипеть, и Виткевич долго отплевывался, страдая от жажды еще больше.

Один раз он оглянулся и с тех пор смотрел только вперед. Маленькие следы его, глубоко вдавленные в сухой песок, были так безнадежно одиноки здесь, что, посмотри Иван на них еще раз, лишился бы рассудка от страха и отчаяния.

Виткевич сбился со счета. Он не помнил, день ли он шел, неделю, месяц? Он боялся считать так же, как и оглядываться. В дороге дерзаний взгляд должен быть обращен только вперед.

Вначале зеленая полоска, слившаяся где-то на горизонте с серо-синим сумеречным небом, показалась Ивану миражем. Сколько раз он видел холодную траву в жарких дневных грезах, с трудом переставляя ноги, увязавшие в песках.

Но чем дальше шел Виткевич, тем явственнее становилась зеленая полоса, тем четче выделялась она на фоне неба, ставшего сейчас фиолетовым, предгрозовым. Потом будто сказочная царь-птица поднялась с земли: небо стало красным. Оно калилось все ярче и ярче, пока не стало белым.

Нагретая солнцем трава пожелтела, сделалась твердой, горячей. Опустившись на землю, Иван смотрел на эти желтые стебельки как на чудо, как на жизнь.

Теперь Виткевич шел по твердой земле и шатался, оттого что привык в пустыне брести по зыбучему песку. С каждым шагом он все ближе и ближе подходил к крепостным стенам, обнесенным вокруг молчаливого города.

Плоские крыши домов, высокие башни минаретов, мертвый свет луны, отраженный в голубых изразцах крепостных ворот, — все это было сказочно и невероятно.

Иван закрыл глаза, осторожно потер их пальцами, а потом быстро открыл: города не было. В глазах стояла звенящая черная пустота, которая с каждой секундой все разрасталась, расходилась солнечными радугами. Вдруг радуги исчезли. Город стоял молчаливый, настороженный.

Виткевич подошел к воротам. Три стражника смотрели на него, лениво опершись о пики.

— Это что за город? — спросил Виткевич.

Один из стражников оглядел Ивана с ног до головы и ответил вопросом:

— Ты мусульманин?

— Да.

— Врешь, друг. Если ты мусульманин, так сначала пожелай здоровья мне и моим друзьям.

— Прости, — ответил Иван, — я устал...

— Устают только стены: они стоят веками. Ты мог лишь утомиться...

Иван говорил по-киргизски. Он неплохо выучился этому языку у Сарчермака. Стражник подыскивал слова и, прежде чем произнести всю фразу, поджимал губы и смотрел на небо. Когда он забывал нужное слово — морщился и вертел головой.

— О Кабир, — крикнул он, — пришел твой собрат, выйди, поговори с ним по-киргизски, а то у меня заболел язык от слишком резких поворотов!

Из будки, обшитой ивовыми тонкими прутьями и от этого казавшейся большой баклагой из-под вина, вышел высокий парень в белых штанах и черной шерстяной накидке. Штаны были широкие, но застиранные и подштопанные на коленях. Парень вопросительно посмотрел на Ивана. Тот повторил свой вопрос.

— Это Бохара, — ответил парень по-киргизски.

Он сказал это просто, обычным голосом. А Иван услышал музыку. Она все росла и ширилась, она гремела в нем,

потом стихала, чтобы загреметь с новой силой. Радость ребенка, сделавшего первый шаг, юноши, познавшего любовь, воина, победившего в схватке: все это является радостью свершения. Сейчас Иван испытал ее.

— А ты откуда? — спросил парень.

Иван махнул рукой на пески:

— От Сарчермака.

— Врешь, — усмехнулся тот стражник, который говорил с Иваном первым, — оттуда никто не приходит. Оттуда приносят.

— Я оттуда, — упрямо повторил Виткевич.

Стражники снова посмеялись. Потом парень внимательно оглядел Ивана и протянул ему лепешку, которая висела у него за кушаком, словно платок. У Виткевича задрожали руки. Парень сходил в будку и принес пиалу с водой. Иван положил в рот кусок лепешки, но не смог разжевать ее, потому что шатались зубы.

— Ешь, — лениво сказал стражник, — она замешана на молоке.

— Вкусная лепешка, — подтвердил парень.

Иван языком растер лепешку и запил ее водой. Потом отошел в сторону и лег под теплой крепостной стеной.

— Так это Бухара? — спросил он еще раз.

— Бохара. Ты говоришь неверно. Не Бухара, а Бохара.

Иван почувствовал счастье. Оно жило в нем и рвалось наружу. Раньше он, наверное, стал бы смеяться или плакать. Сейчас, пройдя путь мужества, Виткевич только чуть прищурил глаза, усмехнулся и уснул. Упал в теплую, блаженную ночь.

3

Виткевич шел по шумному бухарскому базару. Без денег и без лошадей. Но главная трудность заключалась еще и в том, что Иван знал таджикский и киргизский, а здесь бытовал узбекский язык.

Несмотря на усталость, на головокружение, Виткевич словно зачарованный смотрел на людей. Кого здесь только не было! Толстые, лѐнивые персы-купцы, смуглые черноусые индусы, лихие наездники-таджики, веселые узбеки — все они смеялись, кричали, торговали, покупали, шутили, пели песни. Иван жадно вслушивался в их речь, но́ понимал совсем немного из того, что слышал. Глядя на этих веселых, голодных, оборванных, чудесных людей, Виткевич вдруг

подумал: «А туда ли я иду? Может быть, мое место с ними? Может быть, здесь счастье? Ведь быть другом Сарчермака — счастье. А стать другом всех этих людей — счастье еще большее...»

Виткевич думал о своем и не замечал, как чьи-то глаза неотступно следовали за ним. Миновав базар, он свернул в узенькую улочку, прислонился к дувалу. В глазах пошли зеленые круги. Сел, вытянул ноги, застонал от боли. Когда он поднял голову, прямо над ним стоял человек: смуглый, черноглазый, нос горбинкой, желваки грецкими орехами под кожей перекатываются.

— Салям алейкум, — поприветствовал он Ивана.

— Ваалейкум ассалям, — ответил Виткевич.

— Вы откуда? — спросил человек. — Из Хивы, Ургенча?

Виткевич ничего не ответил, наморщил лоб. Решил выиграть время.

— Вы не понимаете по-узбекски? — продолжал допытываться человек.

— Нет, я говорю по-киргизски.

— Говорите. А понимаете какой?

Виткевич снова промолчал. Тогда, понизив голос, человек спросил по-французски:

— Откуда вы, мой дорогой блондин?

— Что вам надо от меня? — нахмурился Виткевич и поднялся на ноги.

— Вы сделали три ошибки в одной персидской фразе. У вас хорошее произношение, но вы слабоваты в грамматике, коллега. Лучше говорите на родном языке. — Человек оглянулся. — Не хотите? Ладно. Тогда послушайте, что скажу я. Сейчас мы уедем отсюда. Естественно, вместе. И лучше, — человек подыскивал нужное слово, — лучше никому не жалуйтесь на мой произвол. — Засмеялся. — Я отвезу вас из дикости в цивилизацию. Договорились? Ну и хорошо. Давайте руку, я помогу вам.

Капитан Александр Бернс считал, что ему чертовски повезло. Как талантливый разведчик, он не мог не предполагать, что агенты России подвизаются в ханствах Срединной Азии. Правда, чиновники из Ост-Индской компании уверяли его, что русские никак себя в Азии не проявляют, замкнувшись в маленьких форпостах вдоль по Уралу. Крепости эти не представляли сколько-нибудь значительной стратегической ценности даже с точки зрения обороны, не говоря уже о нападении. С этими постулатами Бернс со-

глашался, учтиво покачивая головой, а про себя думал о том, каких тупоголовых баранов присылают в Индию.

«Вместо того чтобы держать здесь резидентуру, достойную Востока, засылают кретинов, скомпрометировавших себя чем-то на острове. Какая нелепость!» — думал Бернс.

Воспитанный в наступательных традициях английской внешней политики, Бернс не мог, не имел права ни на минуту допускать мысли о том, что контрагент да причем такой сильный контрагент, как Россия, беспечно наблюдает за тем, что происходит на Востоке. Недвусмысленные акции Британии в Азии мог не увидеть только слепой. Цель этой политики — вовлечение всего Востока в орбиту Альбиона — казалась Бернсу естественной и необходимой.

Когда он в первый раз заговорил с высшими чиновниками компании о целесообразности поездки в срединные азиатские ханства, его подняли на смех. Но какой это был смех! Истинно британский: учтивый, исполненный самого искреннего расположения, мягкий и обходительный. Словом, это был такой смех, за которым обычно следовал отзыв обратно в Шотландию в связи с «обострением болезни сердца». Дерзких, мыслящих людей здесь, как и повсюду, не особенно-то жаловали. Здесь, как и повсюду, предпочитали иметь послушных исполнителей, оставляя право делать политику за избранными. Один из руководителей компании пустил даже каламбур по поводу предложения Бернса: «Когда лейтенанты входят в политику — жди термидора».

Конечно, предложение Бернса было записано и положено в один из сейфов компании, с тем чтобы когда-нибудь вытащить его на свет божий. Когда-нибудь. Чуть позже того, как Бернс будет отправлен к себе в Шотландию, к милым своим собратьям, волынщикам.

Однако ни люди из компании, ни уважаемые господа из губернаторства не смогли толком оценить красавца лейтенанта.

Сразу же поняв создавшуюся ситуацию, Бернс отправил в Лондон маленькое письмо за тремя сургучными печатями, столь искусно поставленными, что не было никакой возможности познакомиться с содержанием письма, даже если бы кто и рискнул это сделать, невзирая на адрес, выведенный в правом верхнем углу конверта.

Лорд отдал должное беззаботно-веселому тону письма, чуть грубоватому, «лесному» юмору шотландца, жаловавшегося на головные боли в связи со спорами с некоторыми высокими господами из генерал-губернаторства.

Через день корабль, вышедший из устья Темзы, взял курс на Индию. Капитан корабля вез небольшое письмецо Бернсу и еще меньшее — в губернаторство.

Сразу же после того, как письма эти были вручены адресатам, Бернс получил аудиенцию у одного уважаемого господина, который сначала заботливо осведомился о самочувствии лейтенанта после недавно перенесенной им болезни, а потом спросил, не желает ли сэр Бернс совершить путешествие в места с более резко выраженным континентальным климатом.

Александр Бернс выразил свое согласие на столь нужную его здоровью прогулку.

— Мы сделаем так, что никто из служащих компании не будет знать о вашем путешествии, — сказали ему в заключение, — это ведь будет первый опыт такого рода лечения.

— Первый, — согласился Бернс и спрятал улыбку.

Через несколько месяцев он встретил в Бухаре русского резидента. Это ли не подтверждение правильности его положений? Бернс отдал должное выдержке русского агента, его замкнутости и стоицизму. «Он прошел неплохую школу, хотя и молод», — заключил Бернс.

Может быть, лейтенант и не гнал бы свою состоявшую всего из пяти человек кавалькаду дальше к Герату, Кабулу, Индии, если бы он мог хоть краешком глаза посмотреть на происходившее в Санкт-Петербурге. А происходившие там события заслуживали того, чтобы их видеть.

4

Сегодня у Виельгорских хоры. Канцлер, граф Карл Васильевич Нессельроде большой любитель попеть. В черном, без регалий, сюртуке, само воплощение скромности, Карл Васильевич стал во второй ряд хора и, откашлявшись, ждал начала. Виельгорский качал головой. Потом, устав качать головой, решившись, он тронул клавиши пухлыми пальцами.

— О-о-аа-оо, — тихонько выводил Карл Васильевич хор из «Гугенотов». Глаза его полузакрыты, лицо светлое, спокойное.

Когда ария закончилась, Карл Васильевич первым захлопал в ладоши и закричал:

— Браво, браво, господа! Это настоящее «Боже, царя храни».

При этих словах канцлера молодой человек, стоявший рядом с хозяином, удивленно вскинул брови и растерянно посмотрел на Виельгорского. Тот нахмурился и покачал головой, что, по-видимому, должно было означать: «Молчи и не удивляйся, если задумал с ним поговорить».

Молодой человек — историк, филолог, нумизмат Борис Дорн понял знак Виельгорского и, полуобернувшись к канцлеру, почтительно склонил голову. Похлопал в ладоши, стараясь сделать это так, чтобы Нессельроде увидал.

Позже, когда гости разбрелись по залам, Виельгорский подвел Дорна к Карлу Васильевичу и представил молодого человека как талантливого востоковеда. Нессельроде поморщился: два дня перед тем он имел пятую за эту неделю беседу с британским послом как раз о делах азиатских, восточных.

— Граф Карл Васильевич, — выпалил Дорн, — не соблаговолите ли вы посмотреть мои соображения о наших делах азиатских, кои развиваются не весьма блестяще, — и с этими словами он протянул дрожащей рукой листки, свернутые в тонкую трубочку и перевязанные синей лентой.

На секунду глаза Нессельроде широко раскрылись. Потом он опустил веки, и лоб его прорезала морщина.

— Я прихожу сюда, к друзьям моим, петь, а не решать дела азиатские, кстати сказать, блестяще развивающиеся, — и, повернувшись к Дорну спиной, Нессельроде пошел в другую залу.

Дорн не мог знать, что Нессельроде в своих беседах с британским послом не проявлял должной твердости в защите позиций России на Востоке. Именно поэтому Дорн испортил себе карьеру на многие годы вперед.

Но ничто это не было известно Бернсу, а если бы даже и стало известно, все равно он не поверил бы в такую нелепость. Бернс был, при всей своей талантливости, начинающим политиком. Начинающий в любой области не верит в нелепость. В этом одновременно и преимущество и недостаток начинающего.

Поверил в нелепость Александр Бернс только через три дня, когда утром, очнувшись после тяжелого, тревожного сна, не увидел рядом с собою пленника, русского агента. Трое его провожатых спали таким же тяжелым сном, а около тлеющих углей костра валялись пережженные веревки, которые вчера вечером надежно связывали руки Виткевича.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Виткевич вернулся в Орск и свалился в горячей, сжигавшей его лихорадке. Доктор Зенченко и Садек просиживали около его постели долгие ночи, прислушиваясь к дыханию Ивана. Дыхание было прерывистое, жаркое. Часто он бредил, кричал. Повторял ссохшимися губами: «Анна, Аннушка». Зенченко, услыхав это имя, отошел к окну. Закат, разлившись по земле алой кровью, догорел и потух.

Приходил Яновский. Он тоже услышал, как Иван повторял имя его жены. Яновский хмурил брови и менял на лбу Ивана холодные компрессы.

Однажды утром, когда Зенченко решил, что все уже кончено, Иван открыл глаза, осмотрелся и сказал:

— Слава богу. Дома.

После он уснул. Кризис миновал.

Однажды выздоравливавшего Ивана зашла наведать Анна. Она тосковала в крепости, и Яновский предложил ей вернуться в Петербург. Анна не сумела скрыть радости. Яновский улыбнулся и погладил ее по голове, как ребенка.

— Я возьму отставку и приеду к тебе позже, — сказал он.

— Только поскорей, а то буду скучать, — пролепетала Анна.

— Хорошо, дорогая, — пообещал Яновский. — А сейчас пойди попрощайся с Иваном.

Виткевич лежал, откинувшись на высокие подушки. Он смотрел в открытое окно. Дул горячий ветер. Если выставить в окно руку и держать до тех пор, пока не начнет дрожать ослабший за время болезни мускул у плеча, в ладони окажется несколько теплых, крошечных песчинок.

Иван любил разглядывать песчинки. Словно крохотные миры, они, казалось, вмещали в себе чудесные таинства природы. Там, внутри, тоже дули ветры с жарких, крошечных степей, плескались крошечные полноводные реки, и, быть может, такой же, только совсем крохотный Садек приходил к такому же больному Ивану и сидел около его кровати, ничего не спрашивая и ничему не удивляясь.

Анна заглянула в дверь и, улыбнувшись, постучала пальцем в стену. Иван оторвал глаза от песчинок, глянул на дверь и увидел Анну. Смутился, покраснел.

Садек недоумевал: «Мужчина стал красным, испугавшись женщины. Это ли не смешно?» Но Садек не показал виду, что он удивлен. Он встал, небрежно, свысока кивнул женщине и выпрыгнул в окно.

— Я так рад, — не решаясь поднять глаз, сказал Иван. — Прошу вас...

— Чего же вы просите? — спросила, улыбаясь, Анна и села на стул рядом с кроватью. — Чего же вы просите, милый киргиз?

Сердце в груди гулко ухало; то стремительно падало вниз, то тяжело, рывками, поднималось вверх.

Иван исподлобья посмотрел на женщину и, точно ожегшись о ее взгляд, опустил голову еще ниже и начал внимательно разглядывать свои руки, похудевшие во время болезни.

— Я пришла попрощаться с вами, — продолжала говорить Анна. — Я уезжаю.

Иван не поднимал головы. Анна нагнулась к нему и прошептала:

— Такой отважный странник, и столь застенчив в обществе дамы, его навещающей.

Кровь ударила Ивану в голову. В глазах Анны зажглись огни, яркие, обжигающе близкие. Он неловко обнял женщину и прижал к своим губам ее голову.

...Когда Анна ушла, Иван отвернулся к стене и заплакал. Он никогда не думал, что все это может быть так просто и обыденно. Он ждал, что в дневном небе зажгутся звезды, он ждал, что земля запоет песнь свою, великую и радостную. Но ничего этого не случилось. Со степей дул по-прежнему жаркий ветер. Начинало темнеть.

Когда Иван встал на ноги, Анны в крепости уже не было. Он пошел к Яновскому. Подполковника дома не оказалось. Денщик сказал Ивану, что Яновский гуляет в степи. Иван нашел его сидящим под молоденькой березкой, листья которой стали желтыми от суховеев.

Яновский смотрел в небо. Там, курлыкая извечную песню, летели журавли.

Иван подошел к нему и сказал:

— Здравствуйте, Александр Андреевич.

Тот поднял голову и ответил:

— Здравствуй, Иван.

— Александр Андреевич, я должен сказать вам, что...

Яновский поднял руку ко лбу, потер переносье и, перебив его, попросил:

— Не надо, Иван. Смотри, журавли-то как, а?

— Я должен сказать вам... — настаивал Виткевич.

Яновский странно посмотрел на него. Глаза у него сейчас

не такие, как всегда. Мягкие. Грустные. И не рысьи даже совсем.

— Не надо ничего говорить мне. Ты иди, Иван. А я тут посижу один. На журавлей смотреть люблю до смерти. Им что, журавлям! Им вольно...

2

Только после отъезда Анны Виткевич заметил, как сильно изменился за эти годы Яновский. Поджарая фигура его сделалась сухой, старческой. Волосы на висках поседели, между бровями залегла глубокая, словно вырубленная морщина.

Каждое утро он по-прежнему вставал с зарей и уходил в степи. Когда трубили подъем — возвращался. Он слушал отчеты, давал команды, гневался, смеялся, но все это делал отрешенно, издалека.

Как-то раз вечером Яновский вызвал Ивана. Виткевич пришел к подполковнику и поразился: около окна сидел сгорбленный человек и неотрывно, тяжело смотрел в одну точку — в выщерблину на полу.

— Здравствуйте, Александр Андреевич.

Яновский зажмурился, несколько раз сильно провел рукой по лбу, словно желая разгладить морщины, встал, пошел навстречу. Обнял Ивана, поцеловал в щеку и усадил рядом с собой.

— Ты уж извини, друг мой бесценный, — сказал подполковник, — что я тебя столь поздно к себе вытащил.

Он покачал головой, вздохнул.

— Страшно мне одному. Запить боюсь, Иван. А это трусость. Конец, словом. Так что прости меня, старика.

Виткевич положил свою горячую руку на ледяные, длинные пальцы Яновского. Тот благодарно посмотрел на Ивана.

— Давеча пришел ко мне Фырин. Сели обедать — он на меня смотрит, словно собака голодная, губы облизывает и кадыком в горле ерзает, как пальцем в тесном сапоге. Понял я его голод, принес штоф. Выпили. Еще принес — и тот выпили. И стал он мне тогда говорить разное, — Яновский поморщился, пояснил, — ну, словом, успокаивать меня начал.

Иван почувствовал, как во рту у него пересохло и стало горько, как будто съел стебель полыни. Он сердито засопел, не в силах побороть в себе острое, гнетущее чувство жалости к подполковнику. Яновский отвернулся и сказал коротко:

— Не надо, друг мой бесценный, не надо, пожалуйста. Не ты виноват и не мучь себя зазря.

Прошел по комнате и остановился у окна.

— Понимаешь, вчера Фырин был близок мне своей жалостью и жестоким примитивизмом суждений. Но мне было хорошо с ним, я растворился в его слабости, покорности жизни. Мы расстались друзьями. Сегодня он снова придет, так я, чтобы завтра весь день перед самим собою не краснеть, тебя позвал. Ты стойкости и правде учен не то что я — наставлениями родительскими, а каторгой солдатской.

Они говорили, не зажигая лампы, до прихода Фырина.

От ротного несло таким терпким винным запахом, что Иван подумал: «Ежели неловко огниво к его лицу поднесть — вспыхнет вся комната синим пламенем спиртовым».

Виткевич не умел пить. Однажды он пристал к Тимофею Ставрину:

— Угости хлебным, попробовать страсть как хочется.

Тот начал было отговариваться, да потом, спрятав в глазах лукавство, принес десяток крутых яиц, дюжину огурцов, пару штофов и так напоил Ивана, что тот потом целый день на сеновале лежал, питаясь одним лишь огуречным рассолом.

Поэтому сейчас, когда Яновский разлил в высокие синие стаканы хлебное вино, Виткевича всего передернуло. Выпив, он закашлялся и пришел в себя только после того, как Яновский довольно долго стучал ему по спине между лопатками.

— Не туда, — пояснил Фырин, — пошло не туда. К сердцу пошло, а надобно, чтоб к животу... Я полагаю так: два великих блага отпущены человеку. Сие есть вино и баба. Счастья эти лё-огкие, за них сражаться, как за орден али медаль, не приходится.

Фырин быстро налил себе еще, так же быстро выпил и, не закусывая, продолжал:

— И то и другое — я о вине и бабах — дано нам жизнью и жизнью же, в случае надобности, отбирается без всяких промедлений. Вино — хлеб, земли производное. Баба — опять-таки откуда-то оттуда. А я господин и того и другого. Знаете, как по-хохлацки слово «баба» говорится? Жинка. А мужчина? Чоловик. Человек, значит. Вон сейчас выйду, денщика, каналью, кликну — он вина мне нальет. Да девку, коль прикажу, затащит. Я человек земной, земным пользуюсь и в химеры умственные ни в какие не верю.

Чем больше пил Фырин, тем белее становилось его лицо и краснее — шея. Пил он беспрерывно, обливая вином сюртук и панталоны. Яновский курил и не смотрел на ротного. Иван теребил край скатерти и шаркал ногами, как от зуда.

— Любовь, говорите? Ер-рунда. Нет любви. Если мужчина любит, так он делает величайшую глупость. Как умный с дураком никогда не сговорится, так и баба — по натуре своей животное — не в состоянии понять мужское чувство. Значит, зачем же нужны чувства эти самые? Не нужны, — сам себе ответил Фырин. — Любовь — сие не что иное, как неудовлетворенное скотское влечение, вот что это такое.

Ивана взорвало. Он вскочил со стула, забегал по комнате.

— Да как говорите вы такое?! Это позор, гадость!

— Позор? — удивленно и в то же время зло переспросил Фырин. — Молчи, младенец. Скажи мне проще: ты бабу имел?

— Вы не просто подлец, — медленно, с расстановкой проговорил Иван, чувствуя, как у него задергалось левое веко, — вы мерзавец и гадкое животное!

Он подскочил к Фырину, рванул его одной рукой к себе, а когда тот поднялся, два раза ударил по лицу наотмашь. Фырин закатил глаза и упал. Яновский, бледный как бумага, склонился над ним, расстегнул ворот: ротный лежал без сознания, закусив губу.

— Он без чувств, — почему-то шепотом сказал Яновский, — зачем вы так? Он же пьян до последней крайности.

Иван, все еще сопя, хрипло ответил:

— Не будь он сейчас таким... Мерзавец, гниль!.. Да что он понимает в любви, в женщине? Минуты восторга, мучительной, божественной любви переживал ли он? Когда мысли, воля, биение сердца подчинены одному лишь чувству, как небо, радостному! Любимая рядом — руки дела ищут, трудной работы ждут, мысли, при всей невообразимой горячности их, чисты, отчетливы. И творишь не просто так, не как обычно, но во имя любви к женщине. Любовь — это Данте, Микеланджело, Пушкин, Мицкевич! Любовь — это такая радость, сравниться с которой ничто не может. А нет любви — все тухнет, все исчезает словно дым.

Яновский скривил лицо и попросил:

— Иван, друг мой, негоже в доме больного говорить о смерти.

— Да, — ответил Иван и посмотрел в глаза Яновскому, — но мне все-таки должно сказать вам, что Анну я люблю больше жизни. И всю жизнь мою любить ее буду.

Вы хороший и умный, Александр Андреевич, вы все понять обязаны. Ведь и вы восторг юности и любви первой пережили... Если можете — простите меня: я в любви своей чист и перед богом и перед вами.

Продолговатое, с выпирающими скулами лицо Яновского вдруг сразу все сморщилось, глаза стали жалобными, большими, и он заплакал. Иван выбежал из дома. Высоко в небе стыла луна, холодная, как утренняя роса на лугах.

Через месяц Яновский вышел в отставку и уехал из Орска.

3

Путешествие Александра Гумбольдта по России подходило к концу. Объехав добрую половину страны, сейчас он держал путь к Орску. У Гумбольдта разболелась голова, и он, мягко потирая виски своими красивыми пальцами, старался отвлечь боль. В Тобольске ему дали новую карету. Она вся громыхала, потому что была плохо смазана. Азиатская пыль разъедала не только смазку. Она заползала в уши, щекотала ноздри, от нее краснели глаза и веки.

Сказывались годы: привыкший к путешествиям Гумбольдт начинал уставать.

— Скоро ли Орск? — спросил он адъютанта.

— Еще часа три, ваше превосходительство.

Гумбольдту стало душно, он открыл окошко и, задернув его занавеской, прислонился к стене кареты.

«Боже, какая огромная страна, — подумал он. — Страна просторов, страна загадок».

Гумбольдт улыбнулся, вспомнив, как недавно он попросил казака в одной из крепостей достать со дна траву. Тот нырнул и достал.

— Холодно внизу? — спросил Гумбольдт.

Казак попался хитрый. «Нет, — подумал, — меня не проведешь». Стал казак во фрунт и ответил:

— Так служба требует, неважно как, холодно али нет. А вообще-то мы завсегда рады стараться!

Гумбольдт улыбнулся еще раз. Прислушался. В сухом воздухе дрожала тихая, переливно-гортанная песня.

— Что это? — удивился Гумбольдт, сразу позабыв боль в висках. — Опера в степях?

Адъютант не понял шутки. Почтительно звякнул шпорами:

— Это не опера. Азият горланит.

Гумбольдт поморщился. Подумал: «Сам ты азият, дубина».

Через несколько минут к запыленному экипажу подъехал маленький киргиз и стал внимательно, с усмешкой разглядывать Гумбольдта, высунувшегося из окна. Барон обратился к нему по-персидски:

— Зебан-е-фарси медонид?*

Киргиз отрицательно покачал головой и легонько стегнул плеткой неспокойного коня. Барон спросил его по-арабски. Тогда киргиз засмеялся:

— Мало руси-руси...

— Поговорите с ним на родном языке, — попросил Гумбольдт адъютанта.

— Что вы, ваше превосходительство, — раздраженно ответил тот, — их варварский выговор...

«Боже, какой осел», — еще раз подумал Гумбольдт и откинулся на подушки.

В Орске ему отвели две крохотные комнатки в свежебеленой хатке; у батальонного командира и у коменданта в семьях свирепствовала простудная хворь.

Гумбольдт прилег на кровать. Против обыкновения он не потребовал сменить белье. Усталость взяла свое. Гумбольдт уснул.

Вечером, осматривая свое прибежище, он, к удивлению необычайному, обнаружил на самодельных полочках томик Вольтера, Пушкина, две свои книги и — самое интересное — прекрасно составленные словари киргизского, татарского, персидского, афганского и узбекского языков.

На вопрос, кто автор этих интереснейших словарей, батальонный адъютант Попов не смог ответить ничего вразумительного. Не мог же он сказать иностранцу, что автор этих безделиц ссыльный в солдаты Виткевич. О ссыльных в России говорить не любили, так же как в семье о неудачных детях.

Под вечер на сенокос прискакал тот самый Попов, который принимал Гумбольдта. Он что-то быстро прошептал командиру и ускакал обратно. Следом за ним уехал и батальонный командир Бабин, приказав через своего денщика Виткевичу остаться на поле для охраны скошенных трав.

Иван удивился: раньше никто не оставался, потому что охранять сено было не от кого.

---

* Понимаешь по-персидски?

Стемнело быстро. В небе, затянутом низкими тучами, ворчал гром. Где-то на востоке, совсем над землей полыхали зарницы. Иван сидел на копне свежескошенной травы и, зажав между ладонями стебелек, высвистывал песенку. Сбившись, он запрокинул руки за голову и повалился на траву. Выпадала роса. Луг, темный в ночи, становился серо-голубым. А небо от этого казалось еще более темным.

Около полуночи приехал Ставрин и, остановившись подле стога, позвал сонным голосом:

— Иван Викторов, а Иван Викторов!..

— Э!.. — откликнулся Иван.

— Ты гдей-то?

— Здесь.

— Здесь, здесь... Нешто я филин, чтобы в ночи наблюдение иметь?

Иван засмеялся.

— А ты найди.

— Ишь, озорник! Давай вылазь. Пойдем-ка спать ко мне.

— Это почему ж к тебе? Я к себе пойду.

— Не положено тебе сегодня к себе идти.

— Почему?

— А у тебя какой-то французский генерал остановился. Сказывают, Наполеонов брат али дядя. Худой, белесый, а глаза как все равно у волка голодного. Да вылазь, говорю!

Виткевич пошел к бричке. Лошадь тяжело вздыхала и переступала с ноги на ногу. По-прежнему ворочался гром. Чтобы не удариться, Иван выставил перед собою руки. Уперся в грудь Ставрина. Сел рядом, и Тимофей почувствовал, как дрожало мелкой дрожью плечо Ивана.

— Ты чегой-то, Иванечка? — спросил он.

— Зябко.

— А я тебя дома погрею. Наталья хлебы испекла. Да и полуштофик у меня припасенный.

— Ты меня домой сначала завези.

— О, козьи рога, душа упрямая! Да не велено ж!

— Я только в окошко загляну. Интересно...

— Ох, от греха бы, Иванечка, от греха...

Не доезжая до того дома, где теперь жил Иван, Ставрин остановил лошадей. Виткевич соскочил с телеги и пошел прямо на светящиеся окна. Заглянул внутрь и сразу же отпрянул. Зажмурился. Не от яркого света, а от того, что представилось его взору. Он заглянул в окно еще раз: сомнений быть не могло. У Яновского был маленький пор-

трет этого человека. За столом, устало опершись на руку, сидел Александр фон Гумбольдт. Человек, которого весь мир звал «придворным революционером». Человек, совместивший в себе блестящие дарования историка, естествоиспытателя, географа, лингвиста и этнографа.

Справа от него сидел батальонный командир Бабин. Он молчал. Он не знал, по-видимому, о чем следовало говорить со знаменитостью. Боевой офицер, рубака, храбрец, Бабин был человеком скромным, и поэтому многим, не знавшим истории его жизни, он казался скучным.

«Ах, сюда бы умницу Яновского, — с горечью подумал Иван. — Где-то он сейчас?»

С тех пор как подполковник уехал в Россию, Иван ничего не знал о нем.

— Тимофей, скорей уезжай, — громко прошептал Виткевич, отбежав от окна.

Ставрин вздохнул, чмокнул губами, и повозка тронулась. Виткевич вернулся к окну. Бабина в комнате уже не было. Хлопнула дверь: батальонный ушел к себе. Гумбольдт остался один. Он по-прежнему сидел у стола и неотрывно смотрел на колеблющееся пламя свечи. Иван подождал, пока Бабин отойдет подальше. Обошел дом, постучался в дверь. Вошел. Остановился на пороге. Скрипнула половица, Гумбольдт поднял готову. Испугался.

— Кто вы?

— Хозяин этого дома.

— И этих словарей? — Гумбольдт кивнул на полки.

— Да.

— Но мне же сказали, что вас нет в Орске.

— Вам не могли сказать иначе, потому что я считаюсь государственным преступником.

Глаза Гумбольдта оживились, он встал, шагнул навстречу Ивану и протянул ему обе руки.

— Ваше имя?

— Иван Виткевич.

Уже перед утром, обходя крепость, дозорные заметили свет в окнах домика, где остановился заезжий чужестранец. Солдаты заглянули в окна, любопытствуя, чем можно заниматься в столь поздний час.

Увидев в комнате чужестранца и Виткевича, солдаты пошутили:

— Как два ученых схлестнутся, так по ним дня и ночи нет.

Кто-то из солдат сказал:

— А глянь, Ванька-то наш, поляк, с ним как словно с равным разговор ведет. Молодца парень!

Около вала солдатам повстречался батальонный адъютант Попов, назначенный сегодня дежурным по крепости.

— Что, орлы? Ходите? — глубокомысленно спросил он.

— Ходим, — ответили солдаты, довольные представившейся возможностью поговорить с начальством.

— Спать, верно, хочется?

— Так-то оно так. А вон иноземец не спит.

Попов насторожился:

— Что это?

Молоденький солдатик радостно выпалил:

— С нашим разговаривает, с Виткевичевым.

Пожилой солдат пребольно наступил молодому на ногу. Парень охнул, посмотрел на старого солдата, на Попова, который стал похож на ищейку, и понял, что сделал он плохое дело.

Попов подбежал к домику Виткевича. Крадучись, подошел к окну и замер прислушиваясь.

— Я не понимаю лишь одного, — говорил Гумбольдт. — Государство подобно дереву. Так зачем же обрывать лучшие цветы со своих ветвей? Для того чтобы удобрить почву для будущих? Слишком долго придется ждать плодов.

— У меня есть только один путь, — ответил Виткевич после долгого молчания. — Бежать.

— Куда? Всюду люди. И потом человек должен иметь родину.

— Она есть у меня.

— Где?

— Здесь.

— Тогда зачем бежать?

— Для того, чтобы помочь страданиям наших людей или в крайнем случае не видеть этих страданий. Ведь наши люди отличаются светлым умом, добрым сердцем и величайшей долготерпеливостью.

— Это великолепная сумма. Это сумма величия нации.

— Да. И трагедии ее.

Попов услышал шаги и отпрянул от окна. Когда он опять приблизился, говорил Гумбольдт.

— Жить среди азиатов? Вы не сможете. Я тоже люблю Азию. Только ненадолго. После путешествий я возвращаюсь домой. Я согласен с англичанами: мой дом — моя крепость. Лишь за крепкими стенами можно мыслить. Здесь в степях я смотрю и запоминаю, но не делаю выводов. Для того чтобы делать вывод, надо уметь закрывать глаза. Вот так, —

и Гумбольдт опустил веки, прикрыв ими, словно материей, выпуклые глазные яблоки.

— Сейчас вы, — продолжал он, — в экстазе. Вам радостна стихия просторов. Это от молодости. Но для того чтобы стихия стала по-настоящему широкой и всеобъемлющей — я говорю о стихии чувств, вы понимаете меня, — для этого она должна пройти процесс, подобный закалке клинка. Из огня — в воду. Из холода — в жару. Необходимо испытание веры. Вы талантливы, вы переживаете несправедливые горечи судьбы, и вы несете в сердце веру. Сама по себе вера прекрасна, пусть даже это будет вера в черта.

— Не хотите ли вы сказать, что всякая вера в конце концов обман? Самообман. Красивый, мужественный, но самообман?

— Нет. Я никогда не скажу так. Человек, переставший верить, становится бесплодным. Но мне кажется, Виткевич, что вы сами создали образы тех людей, к которым собираетесь бежать.

Иван молчал. Его подмывало сказать, что он не создавал своим воображением людей, к которым собирался уходить, что он уже однажды жил среди них. Но сдержал себя.

— Вы верите в тех, к кому уходите? Вы верите в азиатов? — настойчиво и, как показалось Ивану, строго допытывался Гумбольдт.

— Да. Верю.

— Тогда вы счастливы. Тогда вы, конечно, вправе делать то, что задумали. Есть такой поэт Генрих Гайне. Я не отношу себя к особым поклонникам его таланта, хотя обожаю как человека. Он мне сказал как-то изумительные слова. Эти слова должны быть занесены на скрижали. Послушайте их.

Гумбольдт встал, поднялся на цыпочки, взмахнул руками и смешно, с завыванием продекламировал:

— Стучи в барабан и не бойся!

Откашлялся, спрятал глаза под бровями, отвернулся, подошел к окну и распахнул створки.

Попов врос в стену, дыхание у него перехватило, на лбу выступил пот.

Гумбольдт потянулся до хруста в суставах и вдруг весело рассмеялся:

— Какую прелестную ночь мы с вами провели, Виткевич! Я себя чувствую иным. Вы в меня просто вдохнули своей юности. Знаете, иногда надоедает быть фейерверком и эрудитом. И тогда — вроде сегодняшнего — пессимизм из-за угла.

— С подоконника, — пошутил Иван.

Гумбольдт рассмеялся. Первый отблеск утренней зари лег красным пятном на его скуластую острую щеку.

— Великолепно, — сказал Гумбольдт, — смотрите, какое это чудо — утро. Вообще вся природа — это чудо. И люди тоже чудо. Я радуюсь им всем, как утру. Я счастлив утром. А кто приемлет слова Гайне целиком и безусловно, тот счастлив в высшей мере. Я принимаю эти его слова, как природу: целиком. Их надо всегда помнить, потому что жизнь наша до крайности неэкономна.

— Я не понимаю вас.

— Извольте. Поясню. Человеческая жизнь исчисляется примерно шестьюдесятью годами. Из этих шестидесяти двадцать лет человек тратит на то, чтобы научиться различать лица, места, цвета. Я говорю нарочито упрощенно, Виткевич, поймите меня верно. Еще десять лет человек отдает исканиям самого себя, своего места в жизни. Значит, только к тридцати годам человек становится носителем той или иной осознанной идеи. Так? Значит, примерно половина жизни уходит у человека на поиски. Верно?

— Да, это верно, — согласился Иван, с напряженным вниманием слушавший Гумбольдта.

— Ну, а если это верно, то именно поэтому столь сильна трагедия отцов и детей. То, что отец считал единственно правильным, то, к чему он шел в течение половины своей жизни, его двадцатилетний сын считает истинным абсурдом. Правомочно ли это? Бесспорно, потому что мы живем в мире несправедливом, иррациональном. Когда наши потомки найдут тот абсолют, ту великолепную истину, которая будет принята и отцами и сыновьями, — вот тогда только жизнь перестанет быть неэкономной. Не думайте, что я философствую ради пустого философствования. Все то, что я говорил только что, я говорил для вас, Виткевич. Люди нашей эпохи — вы, я, наши друзья — должны помочь своим потомкам в их рациональном созидательсте, очищенном от скорлупы сомнений и колебаний. Что светит нам в темной ночи поиска? Знание. Кто несет знание? Книга. Кто создает книгу? Человек. Эрго: не побег должен быть вашей общечеловеческой, гуманистической целью, а служение идеалу будущего. Своими трудами вы должны познакомить потомков с неизвестными до сих пор народами Востока. Ваш план побега эгоистичен. Да, да, это так! Этим вы обкрадываете будущее. Ваши книги по географии и истории киргизов, узбеков, афганцев, ваши словари, собранные вами сказки и стихи — все это погибнет, ежели вы уйдете отсюда,

добившись, таким образом, свободы для одного себя, для человека, который — ничто без общества людского. Помогите будущему, Виткевич!

Иван хмурился. Переносье стянуло резкой, продольной морщинкой, которая властно резала складки на лбу. Медленно, раздумчиво, как бы самому себе, он стал говорить:

— Почти что такие же мысли высказывал мне бывший здешний батальонный командир Яновский. Он говорил, что моей главной целью в жизни должна быть востоковедческая наука. Но он признавался, что говорил так, разуверившись в возможности завоевания свободы. Он говорил так потому, что хотел мне дать утешение, занятость...

— Я ученый, Виткевич. Моя революционность — это революционность ботаника, геолога, химика и географа. Я старик. Я никогда никому не лгал и не лгу. Не в моих привычках лгать даже во спасение. Вы потрясли меня своей верой — я полюбил вас. Вы показали мне составленные вами словари восточных языков — я стал глубоко уважать вас и как своего коллегу и как стойкого человека. Следствие моей любви и моего уважения к вам — то, что я говорил о вашем месте в жизни. Я беру с вас слово: год вы ждете от меня или от моих друзей помощи в перемене судьбы. Я не верю, чтобы в России, в стране, которая впитывает в себя культуры и Азии и Европы, не оказалось людей, которые бы не заинтересовались вашим делом. Итак, год. Если помощь и перемена в жизни не придут, вы вольны в своих поступках. Согласны?

Иван ничего не ответил. Затушил свечу. Перенес ее со стола на тумбочку около кровати. Потом подошел к Гумбольдту.

Попов отпрянул от окна. Припадая на левую ногу, затекшую во время столь длительного стояния на одном месте, он побежал к батальонному командиру.

4

В жизни каждого человека бывают такие периоды, когда прежнее, пережитое отпадает, уходит, а новое, неведомое не наступило еще. Это время — чрезвычайно ответственно и являет собою новую веху на пути человека вперед. Причем грядущее порой бывает предопределено именно этим промежуточным периодом, остановкой, решающей подчас так же много, как и события, насыщенные страстью и борьбой. В дни и годы событий человек — деятель. Он как никогда

остро ощущает свое могущество, властную силу мозга своего и мышц, ему подчиненных. Не всегда, да и не каждый участник событий большого значения в состоянии дать верный, всесторонний анализ происходящему.

Всякое движение невозможно, без возвращения взглядом назад, в пройденное. Но... обернется, глядишь, человек, а позади радости, успехи, слава. Нет чтобы внимательно все разглядеть, осмыслить истоки побед, понять скрытые пружины успехов и еще более разумно пользоваться ими в достижении новых побед! Увидал: все хорошо, легко, свободно — и пошел вперед без оглядки. Прошел год, два — спотыкаться счастливчик начал. Теперь уж он в злости назад оборачивается и сердито, без прежней беззаботной веселости смотрит вперед.

А другой, наоборот, изо всех сил бьется, а позади одни горести и лишения. И предается такой человек своего горю, на все рукой машет: «Пропадите, мол, вы все пропадом, с меня моего хватит!»

А ведь и в первом и во втором случае надо бы остановиться и наново пересмотреть все прошедшее. Тогда в прошлых радостях можно было бы увидеть начало горестей, и, наоборот, в горестях — начало неведомых радостей.

Но если разобраться сам ни в чем не можешь, — ветер славы глаза туманит или слезы горестей заволакивают, — оглянись! Оглянись же! Люди кругом, живешь не в пустыне. Люди — они всегда помогут, только надо к ним с чистым сердцем идти.

...Не столько по молодости лет, сколько по складу характера Иван не умел оглядываться. Скорее даже боялся. Позади — одно горе, беспредельное горе, унижения. Трудно предполагать, как сложилась бы судьба Виткевича, не окажись рядом с ним декабриста Бестужева и простого солдата Ставрина, батальонного командира Яновского, гениального Гумбольдта и верного товарища Песляка.

Эти люди, принявшие к сердцу участь юноши, не снисходили к нему жалостью, не ограничивались поблажками по службе и успокоениями в задушевных разговорах. Люди, окружавшие Виткевича, передавали Ивану холод своего ума, пламень сердца и несгибаемость воли в достижении главного — Человеческой Свободы.

Сначала Иван не понимал, не хотел понять этого. В детстве и юности личные обиды, как правило, заслоняют все остальное, великое и *первое* в понимании каждого честного взрослого человека.

Нужна была филигранная воспитательная работа, чтобы юноша смог осознать себя в едином строю всех его окружавших.

К ночи Иван кончил собирать вещи Садека. Он еще раз затянул ремни, проверил коленом, достаточно ли плотно упакованы кастрюли, чайник и тренога — вещи в дальней дороге необходимые, — и пошел вместе с Садеком к крепостным воротам. Сегодня ночью здесь должен был пройти караван, возвращавшийся из Оренбурга в Бухару.

Садек шел позади Ивана, низко опустив голову. Он часто спотыкался, потому что не смотрел под ноги. Садек плакал.

— У тебя должна быть родина, — тихо сказал Иван, не оборачиваясь, страшась не выдержать и расплакаться так же, как и Садек.

По небу ползли белые облака. Луна висела совсем низко над степью, словно тусклый белый фонарь.

— У тебя должна быть родина, — повторил Иван. — Без родины человек погибает.

— У меня есть родина, — ответил Садек, — и друг есть.

Иван остановился. Садек налетел на него и рассмеялся сквозь слезы.

— Неужели ты можешь выбирать между другом и родиной? — спросил Иван.

— А ты?

— Я?

— Да, ты.

Где-то вдали, в тихой, заснувшей степи, зазвенел высокий голос караван-баши.

Иван вздрогнул и ответил:

— Нет. Не могу.

Голос все приближался. Садек отер слезы, прислушался к далекому голосу и прошептал:

— Спасибо тебе.

Потом они обнялись. Виткевич отстранил от себя Садека, отвернулся и, высоко подняв острые плечи, пошел в крепость, не оглядываясь более.

Голос караван-баши все приближался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Уж он-то знал, что такое быть вне закона! Он знал, что такое плен. Он знал, что такое чужбина. Он многое знал, многое понимал по-своему, интересно, мудро, пряча ум и блестящую сообразительность под личиной грубого добродушия.

Он был незаконным сыном графа Алексея Константиновича Разумовского. И фамилию он носил хитрую — Перовский. По тому подмосковному селу, в котором провел детство. Не кончив университета, пятнадцатилетним мальчиком Перовский ушел на войну с Наполеоном, во время Бородинского сражения был ранен и попал в плен к французам. Потом, по прошествии нескольких весьма бурно проведенных лет, он стал адъютантом Николая, тогда еще великого князя.

Друг Жуковского, приятель Пушкина, спаситель Владимира Даля. Именно — спаситель.

«*А. Н. Мордвинов*, управляющий III отделением Канцелярии *Е. В. Александру Христофоровичу Бенкендорфу*, шефу жандармов

7 октября 1832 года

...Затем много шуму у нас наделала книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу — «Русские сказки казака Луганского». Книжка напечатана самым простым слогом, приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдат и пр. Я принял на себя смелость показать ее Его Величеству, который приказал арестовать сочинителя, а бумаги его взять для рассмотрения. Я теперь этими бумагами занимаюсь...»

Узнав об аресте Даля, Жуковский поехал к Василию Алексеевичу Перовскому. Тот был только что назначен исполняющим должность оренбургского военного губернатора. После беседы, состоявшейся между друзьями, Перовский испросил аудиенции у государя, и через несколько часов Даль был освобожден. А еще через несколько дней он уехал вместе с Перовским в Оренбург на должность

чиновника для особых поручений при губернаторе. Только Перовский мог себе позволить такое. Арестанта — в чиновники для особых поручений! В столице сплетники многозначительно переглядывались, но мнений своих не высказывали вслух: Перовский был слишком силен.

Приехав в Оренбург, Перовский оказался в обществе людей, которых больше всего интересовал вопрос: где лучшая рыбалка, в Сакмаре или на Урале?

Но Перовский приехал в Оренбург не для того, чтобы отбывать службу. Он приехал для того, чтоб приводить в исполнение свои замыслы — широкие, отважные, интересные, целиком соответствовавшие уму и сердцу их автора.

Осуществлять замыслы без людей, понимающих, что к чему, он не мог. Нужны были люди. Умные, образованные. И — несбыточная мечта — знающие Восток. Хоть немножко, хоть самую малость. Нужны были люди. Люди. Люди. Люди. Перовский искал людей.

2

Несколько раз как в беседах с высшими сановниками России, так и с выдающимися учеными и писателями Александр Гумбольдт говорил о том, что в оренбургских степях под солдатской шинелью скрывается замечательный ученый-востоковед, знаток языков, истории и литератур азиатских. Неизвестно какими путями, но весть эта дошла до Владимира Даля, а от него до Перовского. Заинтересовавшись, Перовский вызвал к себе жандармского полковника Маслова. Тот ничего не знал о теме предстоящего разговора и поэтому струсил: говорили, что губернатор недолюбливал жандармов.

Узнав, где губернатор, — Перовский не очень-то сидел на месте, — Маслов отправился в летнюю резиденцию, расположенную на высоком берегу Урала. Перовский любил это место больше других, потому что отсюда можно было обозревать и Европу и Азию одновременно: граница между двумя континентами проходила как раз по реке.

Перовский сидел на большой, застекленной с юга, от суховеев, веранде и курил кальян. Затягиваясь, он слушал, как через воду проходил табачный дым. Наконец Перовский уловил характерное бульканье воды и попробовал сделать губами похожее. Вышло удачно.

Поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж, Маслов услыхал раскаты мощного губернаторского хохота.

Камердинер провел Маслова в большую белую комнату и скрылся за дверью, ведшей на веранду. Через мгновенье он вернулся и предложил Маслову войти.

Не оглядываясь, губернатор поманил Маслова пальцем. Когда тот приблизился, Перовский обернулся.

— Слушай, — сказал он шепотом, — слушай же.

Маслов начал слушать. Лицо его стало донельзя серьезным. Голова склонилась набок, как будто левым ухом он слышал лучше, чем правым. Маслов чувствовал себя неловко. Он не знал, как сейчас следовало поступить: смеяться, как это делал до его прихода губернатор, или просто продолжать слушать, оставаясь серьезным.

Перовский, словно забыв о Маслове, пускал клубы дыма. Маслов рискнул и тихонько, чуть заметно, хихикнул. Перовский отодвинул кальян и сделал губами непристойный звук. Маслов снова хихикнул, но теперь уже уверенней.

— Ты чему смеешься, полковник? — нахмурился губернатор. — Надо мной смеешься?

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, что вы. Я просто восторгаюсь вашим уменьем пускать дымы из этого адова приспособления.

Перовский посмотрел на Маслова сощуренными глазами и покачал головой. Маслов подумал, что сам он качает точно так же головой в том случае, если называет кого-либо из своих подчиненных «дубиной».

«Ай-яй-яй, — быстро подумал полковник. — Не угадал я. Плохо дело».

И он напустил на свое лицо непроницаемо-холодное выражение, которое так нравилось гражданскому губернатору. Именно, когда он сделал такое лицо, гражданский губернатор сказал ему: «Вы думающий человек, мосье Маслов. Мне приятно бывать вдвоем с вами».

Маслов запомнил эти слова на всю жизнь и именно тогда начал было учить своих подчиненных «делать лица». Но ничего путного не вышло: Маслову рассказали, что ротмистра Поршнева за разучиванием лиц застала супруга и за это избила жестоко мужа, заподозрив его в неверности.

— Скажи мне, полковник, — после короткого молчания спросил губернатор, — что у тебя за ссыльный лях в Орске живет?

— Витковский?

— А я почем знаю! — пожал плечами Перовский.

Маслов чарующе улыбнулся:

— Ну, конечно, он, ваше высокопревосходительство. Он, он, больше там нет никого.

— Что скажешь о нем?

В считанные секунды Маслов должен был догадаться, какого ответа губернатор ждет, и решить, какой ответ надо дать, чтобы не попасть впросак.

— Не лучше ли мне, ваше высокопревосходительство, дать оценку Витковскому не моими словами, но материалами, на него собранными? — сманеврировал Маслов, ожидая, как разговор повернется дальше.

— А у тебя язык-то есть? Язык? — И, высунув свой красный, лопатой, язык, губернатор тронул его мизинцем.

— Он ссыльный, ваше высокопревосходительство, а это, по существу, определяет все.

— Не о том спрашиваю, полковник. Ты не финти, не финти.

— Как можно, ваше высокопревосходительство...

— В том-то и дело, что нельзя. Бунтовщик, верно, а?

— Бунтовщик, ваше высокопревосходительство.

— Ваше высокопревосходительство бунтовщик?!

Маслов сконфузился.

— Что вы, помилуй бог, Василий Алексеевич!..

— Экий ты, право, — усмехнулся Перовский и поднялся с кресла.

Обошел Маслова и, остановившись перед ним, понюхал воздух. Потом взял жандарма обеими руками за голову и, приблизив к себе, обнюхал полковничьи волосы, обильно смоченные ароматною водою.

— Красив ты у меня. Для баб смертоносен. Ну ступай, душа моя, ступай. Молодец, хитрый ты, молодец. А поляка мне этого доставь.

— Слушаюсь.

Когда дверь за Масловым закрылась, Перовский улыбнулся и еще раз покачал головой.

3

Виткевича привезли из Орска поздним вечером. До конца не поняв истинного смысла в губернаторском интересе Витковским, кстати говоря, Виткевичем, как выяснилось на поверку, Маслов хотел на всякий случай посадить ссыльного на гауптвахту. Но когда, наконец, после долгих раздумий полковник пришел к этому решению, ему передали приказ губернатора. Перовский требовал доставить к нему ссыльного немедленно.

Маслов посадил Виткевича рядом с собой в коляску, и

они покатили в летнюю резиденцию. Тени от громадных деревьев, изрезанные острыми бликами луны, лежали вдоль дороги, похожие на языки черного пламени.

«Восемь лет промелькнуло, а словно день, — думал Иван, осторожно отодвигаясь от мягкого, теплого плеча полковника. — Восемь лет. А чего добился за эти годы? Устал. В двадцать два года — устал».

Где-то далеко пели. Голоса нескольких мужиков, сильные и низкие, то сливались в одно целое, то разламывались, мешая друг другу. Голоса улетали в небо и там замирали.

Ай, Урал-река,
Глубокая!

«И совсем не глубокая река, — поправил про себя Иван певцов. — Коварная река. Шаг сделаешь неосторожный — и в омут, к рыбе царевой, красной — на обед».

Белый лебедь плывет,
Расправляется.

«Расправляется... Только лететь-то куда? Некуда лететь. Все равно обратно вернется, коли осенью в полынье не замерзнет или лиса не пожрет».

— Приехали, вылезай, — сказал Маслов, первым выскочив из коляски, резко остановившейся около освещенного подъезда.

Точно так же, как и три дня назад, непонятно откуда выскочил камердинер и так же, как и в прошлый раз, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая, провел прибывших к губернатору, на веранду.

— Иди, — кивнул головой на дверь полковник, предлагая Ивану входить первым.

Иван вошел. Губернатор сидел в кресле и читал. В зыбком свете свечей он показался Виткевичу богатырем из киргизских сказок. Губернатор отложил книгу и шагнул навстречу вошедшим.

— Ну, здоров , поручик, — сказал Перовский.

— Я полковник, ваше превосходительство, — поправил его Маслов. — Полковник, а не поручик...

— А тебе-то здесь что надо, душа моя? Я не с тобой здороваюсь, а с Виткевичем.

— Но он же не поручик, он нижний чин, — попробовал исправить положение Маслов.

— Ах, боже мой, нижний чин! Ступай-ка, душа моя, домой, отдохни, а мы тут побеседуем. Иди, право...

Иван почувствовал, как в голове у него тонко-тонко зазвенело. Перовский, по-видимому, заметил, как сильно

побледнел Виткевич. Он взял Ивана под руку и усадил в кресло.

«Как скрутило беднягу, — подумал Перовский. — Аж серый весь стал».

Когда Маслов вышел, Перовский пояснил:

— Глупость сносна только при отсутствии самолюбия. Но умничанье, соединенное с глупостью, производит смесь, невыносимую для моего желудка. А ты располагайся. Ты у меня в дому, а я хлебосолец. И, как россиянин истый, языком помолоть люблю.

Губернатор опустился в кресло напротив и глянул прямо в глаза Ивану. Серые глаза Виткевича сейчас сделались черными, оттого что расширились зрачки.

— Ну-ка, друг мой, скажи мне что-нибудь по-персиански, — весело попросил Перовский.

— Вазиха-йе, авваль е-шома чемане дарад?*

— А по-киргизски?

— Сиз айтканныз, чынбы?**

— Ну, а по-афгански? Понимаешь?

— Альбата, похежим***.

— Молодец! — восхищенно произнес Перовский. — Просто слов нет, какой молодец! Только что это ты говорил тут? Может, ругал? Может, ослом меня обозвал?

Виткевич чуть усмехнулся.

— Нет, господин губернатор. Я просто спрашивал, что означают ваши первые слова, ко мне обращенные?

— Ты про поручика, что ль?

— Да.

Перовский прошелся по веранде. Остановился. Заложил руки за спину, начал раскачиваться с носков на пятки.

— С сегодняшнего дня ты офицер. Об этом я позабочусь. Я не шучу, нет. С этой минуты ты не только офицер. Ты — адъютант мой. И служить одному мне будешь. А это хорошо. Хорошо, потому что я умный. Умней других. Понял?

Виткевич молчал. Он научился молчать и слушать.

— Понял, что ль? — переспросил губернатор.

— Да. Понял.

— Я, видишь ли, кальян курить полюбил. Не от причуды, нет. Изобретен он на Востоке. А коли я это изобретение потребляю, значит оно любопытно, так?

---

* Как понимать ваши первые слова? *(перс.)*.

** То, что вы сказали, правда? *(кирг.)*.

*** Конечно, понимаю *(афг.)*.

— Все ж таки от него кашель, — вставил Иван.

— А ты, брат, перец! — ухмыльнулся Перовский. Виткевич положительно пришелся ему по вкусу. — Чистый перец. Ну, молодец, молодец, я люблю таких. Да. Так вот, о чем бишь я? Изобретен кальян на Востоке. Так вот я и хочу с ними, с восточными людьми, за одним столом посидеть, кальян покурить. Вот я и хочу, чтобы ты меня с теми, с азиатами, поближе познакомил. Понять их хочу? А? Лихо? А? Чего молчишь?

— Какие обязанности мне вменяться будут?

— А я почем знаю? Сам выбирай! Сам. Что хочешь, то и вменяй.

Перовский прошелся по веранде и, остановившись за спиной Ивана, крикнул с такой силой, что даже в ушах заломило:

— И-эй!

Вошел камердинер.

— Портняжный мастер здесь? — спросил Перовский.

— Ожидает, Василий Алексеевич.

— Хорошо. Ступай.

Камердинер вышел.

— Иди к портному, Виткевич. В порядок себя приведи, офицеру приличествующий. О деньгах не тужи. Я плачу за тебя.

Иван поднялся, чтобы уйти. Перовский обнял его за плечи, подвел к балюстраде веранды и кивнул головой на Восток, за Урал.

— Азия, — тихо сказал губернатор.

Там полыхали зарницы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Полицейский агент в Подгурже отличался довольно редким среди австрийцев пристрастием к греховному зелью. Выпив, он становился необычайно разговорчивым. Его друг, жандарм Ротвиц, человек добрейшей души, гладил агента по большой лысой голове и вздыхал:

— Все выдумываешь ты, Фриц.

Фриц Горовиц действительно выдумывал. Он выдумывал мнимые заговоры злодеев-революционеров, а выдумав, писал письма правительствам, посольствам и полицейским ведомствам восьми европейских государств.

Сначала в русском консульстве в Кракове удивлялись, получая подобные донесения. После проверки выяснилось, что все это пустой вымысел, и на письма, приходившие от подгуржского агента аккуратно двадцатого числа каждого месяца, в канцелярии консульства начиналась охота: каждому хотелось прочесть о «заговорах» первым.

...В июле 1832 года в Краков был назначен генеральным консулом действительный статский советник Заржецкий. Утром двадцатого июля он пришел в консульство раньше обычного, потому что забыл на своем рабочем столе письмо от графини Сосновской, написанное в выражениях, позволявших судить о близости их отношений. Консул считал себя человеком высоконравственным и поэтому опасался, что письмо могут прочесть подчиненные. Он волновался всю ночь. Обнаружив письмо на столе в прежнем положении, консул успокоился. Домой возвращаться не было смысла, и Заржецкий решил просмотреть пришедшую корреспонденцию. Его внимание привлек большой фиолетовый пакет за четырьмя сургучными печатями. Заржецкий сломал сургуч и вытащил хрустящий лист бумаги.

Первые строки заставили его вздрогнуть. Прочитав письмо до конца, консул оглянулся на дверь и быстро пошел к себе в кабинет.

Когда пришли на службу чиновники, они первым делом бросились искать письмо от Горовица. Впервые за последний год от агента корреспонденции не поступило. Решивши, что Горовиц, по-видимому, занемог нервическою горячкой, чиновники расселись по местам и занялись своими делами.

Через час дверь кабинета консула отворилась, и, ни на кого не глядя, Заржецкий быстро прошел через комнату. Вскоре он вернулся и коротко бросил:

— Прошу всех ко мне.

Чиновники переглянулись и гуськом двинулись следом за консулом, наступая друг другу на пятки. Потирая руки, Заржецкий несколько раз прошелся по кабинету. Он был взволнован и поминутно поправлял воротник рубахи, врезавшийся в шею.

— Милостивые государи, — начал консул, — мне поступило сообщение о злодейском революционном заговоре против коронованных особ.

Желая подчеркнуть эффект, Заржецкий поднял палец и повысил голос:

— Мне, господа...

В этот торжественный момент Ванечка Постаев, самый молодой из чиновников, увидел на столе вскрытый фиолетовый пакет и прыснул со смеху. Консул вздрогнул. Постаев натужно закашлялся, стараясь заглушить смех. Заржецкий сурово посмотрел на него и опустил палец. Эффектный жест не вышел.

— Господа, — продолжал он прежним, обычным своим голосом.

Но даже выходка мальчишки-чиновника не смогла испортить прекрасного настроения консула. Еще бы! Всего несколько дней в должности — и раскрытие злодейского заговора! Консул воодушевился снова.

— Итак, господа, мой друг и наш доброжелатель Горовиц в секретной депеше сообщил мне...

И только при этих словах консула все чиновники поняли, наконец, чему смеялся Постаев. Чиновники начали багроветь от сдерживаемого хохота.

— В чем дело, господа? — нахмурился консул.

— Он сумасшедший! — выпалил Постаев и уже в голос захохотал.

— То есть как это? — растерялся Заржецкий.

— Точно так, — подтвердил старший по канцелярии, — он сумасшедший-с...

Заржецкий грузно опустился в кресло, почувствовав пустоту в желудке. Он расстегнул пуговицу у шеи и жалобно сказал:

— А я уже нарочного послал в Варшаву...

2

Рапорт Заржецкого вызвал в Варшаве переполох. Из Варшавы немедленно отправился гонец в Петербург, к Бенкендорфу.

«Милостивый государь, Александр Христофорович!

Генеральный консул в Кракове уведомляет, что по дошедшим до него сведениям... в Вюрцберге составлено тайное общество, имеющее целью злодейский умысел, угрожающий Коронованным особам. Из числа сих лиц купцу Пабстману поручено проникнуть с сею целию в Австрийские владения, а позументщик Гутброд и часовые мастера Бешль и Майер, а равно некто Амберг назначены для свершения таковых же преступных покушений в других государствах...»

После получения этого рапорта Александр Христофорович повелел разослать во все губернии государства Российского секретные письма, в которых содержался приказ арестовывать всех Пабстманов, Гутбродов, Бешлей, Майеров, а равно Амбергов.

Первым откликнулся генерал-губернатор столицы граф Эссен. Он писал:

«Милостивый государь, Александр Христофорович!

Вследствие отношения Вашего, я предложил С.-Петербургскому гражданскому губернатору и обер-полицмейстеру, дабы употребили деятельные и строжайшие меры к арестованию и представлению иностранцев: купца Пабстмана, позументщика Гутброда и часовых мастеров Бешля и Майера, а равно некоего Амберга в случае нахождения кого-либо из них в столице или губернии, или в случае прибытия в оные.

Поспешая уведомить Вас, милостивый государь, о сем распоряжении, долгом поставляю присовокупить, что так как оные иностранцы могут скрываться под чужими именами, то не излишне было бы иметь приметы их.

С совершенным почтением и истинною преданностью имею честь быть Вашего сиятельства покорнейшим слугою

Петр Эссен».

На запрос III отделения о приметах злодеев из Варшавы ответили:

«Милостивый государь, Александр Христофорович!

Действительный статский советник Мордвинов просил меня о сообщении примет вышеозначенных лиц или других вернейших указаний.

Я сносился по сему предмету с генеральным консулом в Кракове, от коего получил первоначальные сведения об означенном обществе, но статский советник Заржецкий уведомил меня, что он получил сведения о таковом заговоре от полицейского агента, пребывающего в Подгурже. И что как это есть единственный источник, из которого он мог почерпать какие-либо пояснения, то он и находится в невозможности доставить требуемые сведения».

После этого письма Бенкендорф потерял интерес к «тайному обществу». Благо своих российских тайных обществ, действовавших, а не мифических хватало. А в III отделение еще много лет спустя время от времени поступали донесения от жандармов российских, арестовывавших всех Пабстманов, Бешлей и прочих злодеев, выдуманных больной фантазией австрийского полоумного полицейского Фрица Горовица.

3

Через год после начала злополучной истории с Майерами, Бешлями, а равно и Амбергами, уже после того, как в Петербурге, в царстве Польском, в Белоруссии и Нижнем Новгороде были взяты под стражу все лица с вышеперечисленными фамилиями, уже после того, как их, подержав в кутузке, наиделикатнейшим образом допросили, а потом, извинившись, отпустили на все четыре стороны, только после всего этого делом Бешля, Пабстмана, Майера и Амберга занялись в Оренбурге.

И — ужас и счастье одновременно — Майер нашелся. Да не какой-нибудь завалящий, а настоящий, польский; солдат, служивший в здешних краях не первый год. За Майером было установлено наблюдение, но поскольку ни-

чего интересного наблюдение не дало, дело решили убыстрить. Однажды, когда Майер вышел за крепостные ворота, он был схвачен и доставлен в Оренбургский тюремный замок по обвинению в «попытке бежать в степи».

Устав молотить кулаками в холодную стену одиночного каземата, Людвиг Майер лег на постель и сразу же уснул, истомленный переживаниями бурного дня. Проснувшись, он увидел над собой лицо жандармского офицера. Офицер неотрывно смотрел на него.

— Господин Майер относится к своему аресту, как истиный стоик.

Майер вскочил на ноги и, путая русские слова с польскими, закричал, размахивая руками:

— За что?! Проклятье! Почему я здесь?!

Кричал он утомительно долго и безалаберно.

Уфимский мещанин Андрей Стариков, сидевший в соседней камере за «обложение гражданского губернатора Дебу взяточником и вымогателем», презрительно скривил губы. «Так ли надо кричать-то? Новичок, видно. Кричать с подвываньем надо, чтоб жалость вызвать». И он завыл тонким голосом, всхлипывая.

Услыхав его вой, Майер замолк. Прислушался. Глаза округлились от ужаса, и он начал беспокойно вертеться по камере. Жандарм сосредоточенно чистил ногти.

— Что это? Что это? — быстрым шепотом спросил Майер. — Это что же?

Жандарм, казалось, не обращал на него никакого внимания. Ногти у него были розовые, формой похожие на круг. Это сердило жандарма, и он спиливал их по краям, стараясь придать форму ромба.

Майер приложился к стене ухом. Рядом кто-то выл так, что, казалось, мучали его невозможно. По спине у Майера поползли холодные, колючие мурашки. Он подбежал к жандарму и заглянул ему в глаза. Тот спрятал в карман пилку для ногтей, еще раз внимательно оглядел свои пальцы и, поднявшись со стула, начал приближаться к Майеру. Он смотрел поверх Майеровых глаз, куда-то в надбровье. Майера объял ужас. Жандарм медленно шел на него. Шаг, еще шаг, еще. Майер отступал, осторожно ощупывая пятками место позади себя. Ему казалось, что он вот-вот должен провалиться в какую-то яму. Потом Майер ударился спиной о стену и остановился. Остановился и жандарм.

— Нуте-с, милостивый государь, — тихо сказал он, — отвечайте сразу, не думая: где Пабстман?

— Я не знаю, — быстро ответил Майер и сглотнул слюну.

— Где Амберг?

— Не знаю, не знаю, — быстро прошептал Майер, поднимая руки к лицу.

— Отвечай! — рявкнул жандарм. — Отвечай!

Майер почувствовал, как в груди у него что-то оборвалось, он закачался и начал медленно оседать на пол.

Когда по прошествии нескольких месяцев жандармский чин из Оренбурга приехал в столицу и в числе прочего рассказал о задержании Майера, к его сообщению отнеслись весьма сдержанно: Майеры, Мейеры, а равно и Моеры за этот год достаточно надоели чиновникам III отделения. Кто-то даже весьма прозрачно намекнул на то, что все это дело с Вюрцбергским обществом просто-напросто вымысел, «причуда романтики».

В Оренбурге стало известно это мнение центра. Было принято решение держать Майера под стражей. На всякий случай. Если он в себе никаких злоумышлений не таит — хорошо. А ежели таит — того лучше. И для него самого, как не имеющего возможность свой умысел в исполнение привести, и для тех особ, противу которых возможный вымысел мог быть направлен. И так и эдак — все хорошо. И все по-христиански. Если не виновен — «Христос терпел и нам велел». Если виновен — то и говорить не о чем. А отпустить опасно: все-таки Майер.

4

С того времени как Виткевич стал адъютантом губернатора, жизнь его удивительным образом переменилась. Главной и единственной его работой была та, к которой он стремился последние годы: изучение Востока. И в этом он успевал делать столько, что даже работоспособнейший Владимир Даль только разводил руками.

Иван проводил большую часть времени в архивах генерал-губернаторства. Он бродил по подвалу, в котором хранился архив, среди пыльных полок, уставленных кипами бумаг, порыжелых от времени, развязывал их — на выбор — и, примостившись на перевернутом ящике, погружался в чтение манускриптов — российских, таджикских, персидских, арабских. Чего здесь только не было! Переписка

оренбургских губернаторов с бухарскими и хивинскими ханами, сообщения о крестьянских бунтах, торговые книги прошлых лет — все это было разбросано, не систематизировано. Наиболее ценные рукописи Иван откладывал в сторону и уносил к себе. Там он и работал: делал выписки, переводил, на отдельные карточки записывал новые, неизвестные ему слова, составлял краткий очерк истории торговли России с Востоком. Изучая торговлю, цены, потребности восточного рынка, он в который раз поражался безмозглой политике Нессельроде. К восточному рынку в России относились словно к досужему, а подчас просто надоедливому, пустому занятию. Интересы народов, соседствующих с Россией за Уралом, не учитывались в торговых операциях. На этом государство теряло сотни тысяч золотых рублей.

Работая с манускриптами, Иван узнавал имена неведомых миру героев — землепроходцев, покорителей пустыни. Изучая материалы архива, Виткевич заново оценивал удачи и ошибки своего путешествия в Бухару, определял, как следовало бы идти в Азию, если судьба пошлет ему счастье повторить свой поход через пески, в Бухару — город сказки.

Когда Иван попал в Бухару в первый раз, он еще не осознал себя как ученый, как востоковед. Свой возможный, следующий поход сейчас он представлял научной, тщательно продуманной экспедицией. Виткевич отдавал себе отчет в том, что Петербург никогда не отправит его с научной экспедицией в Бухару, да и бухарский хан такую миссию не примет. Бухарский хан понимал только один язык — язык торговой миссии, а все остальное он считал тонко замаскированной хитростью. Поэтому Иван готовил себя к такой экспедиции, которая бы ничем не вызвала подозрений у ханских стражников и позволила бы ему собрать языковый, литературный и исторический материал. Религиозный фанатизм мусульман не разрешил бы Виткевичу прийти в Бухару с крестом на груди. Следовательно, он мог по-настоящему плодотворно работать на Востоке, лишь считаясь человеком Востока. А для этого Восток надо было знать великолепно. И Виткевич выбирал из документов самое интересное. Он рассчитывал когда-нибудь написать книгу о племенах, кочевавших по Устюрту, о Бухаре, о ее людях, обычаях, языках...

...Виткевичу сейчас работалось как никогда раньше хорошо и потому, что он чувствовал заинтересованность в его труде со стороны окружавших его людей: Даля, Перовского, ссыльного композитора Алябьева. С приездом нового

генерал-губернатора в Оренбурге многое изменилось, а главное — изменился самый дух города. Оренбург стал воротами в Азию. Науку и просвещение определял небольшой круг людей, но, общаясь с другими, они не могли не оставить следа в сознании местных жителей.

Владимир Даль, Александр Алябьев, ссыльный поляк ботаник и естествоиспытатель Фома Зан, путешественник Кармин, геолог и ботаник Карин — все эти люди, близко окружавшие Ивана, не могли не наложить своего отпечатка на мышление и работу Виткевича. Все эти люди не могли не помогать ему в его труде. И они помогали.

У Виткевича вошло в привычку каждое утро отдавать работе над словарями три-четыре часа, перед тем как уходить в архив. В сарайчике, как раз напротив его окон, жила веселая семья кур. Глава этого семейства, единственный петух, по прозвищу «многоженец Амвросий», каждое утро, едва только серая полоска рассвета начинала заниматься над Уралом, гордо задирал голову и, сделав вид, что он совсем и не спал ночью, звонко возвещал рождение нового дня. Куры начинали беседовать все сразу. Иван считал, что они таким образом рассказывают друг другу сны. Через полчаса многоженец Амвросий возвещал утро во второй раз. Хотя куры уже все проснулись, но Амвросий не унимался: ему хотелось покрасоваться.

Иван вставал со вторым его криком и, накинув на плечи сюртук, шел на Урал. «Ах, Урал-река, глубокая!» Иван как-то поймал себя на мысли, что всего год назад он считал Урал совсем не глубоким. Это было тогда, когда Маслов вез его к Перовскому.

Виткевич разделся, закрыл глаза. Бросился в реку. Обожгло холодом, понесло вниз. Иван развернулся, лег встречь течению и, сильно загребая руками, поплыл. Время от времени он посматривал на корягу, торчавшую из воды у берега. Удивлялся: сколько ни плыл, как ни старался изо всех сил, коряга оставалась на месте, сам он оставался на месте, и только Урал несся на него стремительно, быстро.

Лежа на холодном, не прогретом еще солнцем песке, Иван думал: «А ведь действительно азиатская река. Вода ласковая, мягкая. Но попробуй, осиль ее. Не выйдет. Мощь в ней истинно великая сокрыта».

С севера лезли снежно-белые тучи. Во всем чувствовалось приближение осени: даже в дневной жаре. Парить начинало часов с десяти, когда Иван уже заканчивал работу. Он натолкнулся на одну интересную тему: сущность афганского глагола «кавыл», что означает по-русски «делать».

Иван любил изыскивать сравнения. А здесь сравнение само напрашивалось. Во время последней поездки в степи, — а Иван теперь в степи ездил, когда считал нужным, — разговорившись с киргизами, он заметил, что те сухую стойкую траву называют «кавыл». Так же это слово произносили и русские казаки, жившие по правую сторону Урала. То есть одно слово и русские, и киргизы, и афганцы произносили одинаково.

«А не есть ли в этом большой смысл? — думал Виткевич. Он тщательно обгрызал кончик пера, волновался. — Может быть, кавыл, сухая трава, скрывающая от людей землю — основу основ богатства и довольства народного — и означает у афганов истинный смысл глагола «делать»? Вернее — очищать землю, затрачивать огромный труд, убирать кавыл — не это ли послужило основой к словообразованию, к переходу названия травы в объяснение действия? Кавыл: освобождать землю для посевов, для блага человеческого?»

Иван вскочил со стула, начал быстро ходить из угла в угол. Иногда он подносил ко рту пальцы: хотелось грызть ногти от мыслей. Одергивал себя. Пять лет назад дал слово Анне. А слово держать Иван умел.

Бегая по комнате, он размышлял о том, как было бы хорошо сесть и сразу же написать то, что представлялось ему таким простым и ясным. Но он нарочно оттягивал эту минуту, копил в себе новые догадки, сравнения, выводы. Только после нескольких часов расхаживания по комнате Иван подходил к столу и, не садясь, начинал писать.

Кипа бумаги, исписанной его убористым почерком, становилась все толще и толще. Ивану доставляло несказанную радость листать бумаги и перечитывать бесчисленное множество раз им написанное.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Сиденье в одиночном каземате вконец сломило Майера. Он перестал кричать и браниться сразу же после беседы с жандармом. После той памятной беседы он плакал и стонал. А потом стал тихим и задумчивым. Было замечено, что почти все время он отдавал молитвам. В перерывах между молитвами он сидел, неподвижно глядя в одну точку. И Майера перевели в каземат к Андрею Старикову. Мещанин ласково улыбнулся новому своему соседу и сказал:

— Ну и слава богу. Вдвоем — не одному.

Арестанты быстро подружились. Майер начал веселеть, молился меньше, а большую часть времени играл со Стариковым в щелчки по носу. Часто они беседовали о чем-то, спрятавшись в угол. Как ни пытались стражники узнать, о чем говорили арестанты, сделать им этого никак не удавалось. Только однажды, как раз перед тем днем, когда Стариков истребовал чернила, перо и бумагу, было услышано, как мещанин сказал Майеру:

— И тогда быть нам на свободе. Ничего, бог нас простит, мы свое уж приняли...

2

«Шефу Жандармов, командующему Императорскою Главною квартирою Господину генерал-адъютанту и кавалеру *графу Бенкендорфу*

от исправляющего должность Начальника VII округа корпуса Жандармов Полковника *Маслова*

Содержащийся в г. Оренбурге под стражею в тюремном замке уфимский мещанин Андрей Стариков сделал по пересказу содержащегося с ним арестанта Военного Ведомства из польских урожденцев Майера извет, будто находящиеся в Оренбурге поляки имеют намерение сделать бунт. О чем немедленно донесено было г. Военному Губернатóру. По распоряжению Его Превосходительства составлена следственная комиссия и задержаны по подозрению следующие лица: Фома Зан, Адам Сузин, Иван Виткевич и несколько других. Имеющиеся у них бумаги и переписка схвачены. По получении о сем донесения с первою почтою имею честь представить Вашему Сиятельству».

3

Как и большинство людей, стоявших у власти, Перовский склонен был поначалу больше верить в плохое, нежели чем в хорошее. Тем более, если на этот раз плохое преподносилось ему не в беседе, не намеками игривыми, а бумагами, сшитыми в папку, на верхнем правом углу которой значилось: «VII округ Корпуса Жандармов».

Перовский раз шесть перечитал извет Старикова. Потом отложил от себя папку, придавил ее массивным прессом —

тремя бронзовыми амурчиками — и задумался. Лицо у него собралось морщинами, глаза спрятались под нависшими, сведенными к переносью бровями. Мысли, обгоняя одна другую, сталкивались, мешали друг другу.

Любимец Иван Виткевич хотел вместе с остальными поляками гарнизон взбунтовать! Его, Перовского, казнить, всех казнить!

«Мерзавец! — думал губернатор, видя перед глазами лицо Ивана, его ладную, сухопарую фигуру. — Змея, которую на груди вскормил я. Жало высовывает! Каково, а?! Меня — убить?!» Все остальное казалось сейчас Перовскому менее значительным.

«Ах, мерзавец! — еще пуще распалялся губернатор. — В кандалы его, на рудники, соль копать. Да чтоб босиком!»

Перовский забарабанил пальцами по ручке кресла. «Одного не уразумею: какой ему смысл был на меня руку поднимать? Не я ли ему все дал? Не я ли ему разрешал все? И я тоже дурак — он на меня с лаской глядит, а я и верю!»

У губернатора заныло сердце. Он подошел к окну, распахнул створки и начал дышать глубоко, с присвистом. Боль стихла.

«А Зан? Фома Зан? Умница ведь. Ботаники классифицирует; детей русских уму-разуму учит. Птичек собирает, бабочек разных. И меня за кумпанию с бабочками решил иголкой пришпилить. Но почему же, почему?!»

Перовский представил себе Виткевича и полковника Маслова рядом друг с другом. Враг — Виткевич. Друг — Маслов. Губернатор выругался, густо, забористо, как простой мужик. Значит, выходит, дураки друзьями приходятся, а умные — врагами!

— Эй! — крикнул Перовский.

Камердинер, кажется, стоял у дверей: так быстро он вошел в кабинет.

Перовский пристукнул бронзовыми амурами по извету и сказал:

— Из тюремного замка Виткевича ко мне. Срочно!

4

Виткевича арестовали дома, за работой. Когда ему зачитали постановление об аресте, подписанное собственноручно Перовским, Иван сделался белым как стена.

— Бумаги можно взять с собой? — только и спросил он.

— Мы побеспокоимся об этом, — заверили его жандармы.

Начался обыск. Вели обыск тщательно, вплоть до того, что вытаскивали цветы из горшков и протыкали спрессовавшуюся землю острыми иглами. Иван подумал удивленно: «Неужели специально для обысков этакие штуки придуманы?»

Спокойствие вернулось к нему как-то сразу. «Все этим должно было кончиться в нашей чудесной империи», — решил Иван, наблюдая за тем, как жандармы перетряхивали книги, рукописи, листы бумаги и, просмотрев, бросали их к себе под ноги. Иван смотрел, как рукописи летели в воздухе, переворачивались, падали на пол, под сапоги жандармов. В грудь входила злость холодная и отчаянная. Он скривил губы.

В тюремном замке Иван обосновался словно в родном доме. Спокойствие, абсолютное, полное спокойствие, пришедшее к нему в начале обыска, сейчас стало его Руководителем, его Знаменем, его Спасением. Даже когда он попросил принести сюда, в каземат, чистую бумагу и чернила и ему в этом отказали, Иван только усмехнулся и, пожав плечами, начал спокойно и неторопливо расхаживать из угла в угол, как будто находился он не в тюремном замке, а в своем маленьком домике.

Так же спокойно Иван воспринял приказание собираться.

— Куда?

Жандармский ротмистр — Иван встречался с ним у Даля — ответил почтительно:

— К господину военному губернатору, мосье Виткевич.

— К губернатору? — переспросил Виткевич и задумался. — Нет, к губернатору я не поеду. Во всяком случае, своей волей не поеду.

Когда ротмистр доложил об этом губернатору, тот заскрипел зубами:

— Струсил! Струсил! Как заяц!

— Нет, — ответил ротмистр, поражаясь своей храбрости, — нет, ваше высокопревосходительство. Мосье Виткевич человек не робкого десятка.

5

Бонифаций Кживицкий был необычайно честолюбив. Не просто честолюбив, не так, как часто бывают честолюбивы представители человеческого рода, а особенно, болезненно. Он завидовал всему окружавшему его. Виткевича, после того как тот стал адъютантом губернатора, Кживицкий

считал предателем поляков. Фому Зана, ссыльного польского студента, преподававшего в Неплюевском училище и в свободное время собиравшего гербарии, он называл умалишенным. Алоизия Песляка, сосланного в солдаты вместе с Виткевичем по делу крожских гимназистов, спасшего из огня православного священника и семью его, он считал отщепенцем от святой католической веры. Красивый — он видел всех остальных людей соперниками внешности своей, хотя в Оренбургском крае Кживицкий по праву считался самым красивым мужчиной.

Неудивительно поэтому, что дочка казацкого атамана Петренко, Лукерья, влюбилась в Бонифация с первого взгляда. Девица крутого, казачьего норова, она так и сказала отцу:

— Если не разрешите нам, папенька, обвенчаться, сбегу из дому, и все тут.

Петренко знал свой норов и поэтому к словам любимой дочери отнесся с должным вниманием. В тот же день он вызвал к себе Кживицкого. Разговор их был кратким.

— Я тебе не надежда, — сказал атаман, — у самого у тебя голова есть, сам к своему счастью и бейся. Пока ты солдат — Лушка тебе не пара. Не отдам; под висячий замок посажу, а не отдам.

Бонифаций стоял ни жив ни мертв. «Чертова девка, дура, — думал он о своей возлюбленной. — Надо ж было ей! Теперь этот мужлан загонит куда-нибудь в степь. Дура девка, истинная русская дура».

— Дослужишься до первого чина — быть свадьбе, — пообещал Петренко и, встав со стула, подошел к двери. Посмотрел, нет ли кого. Понизив голос, продолжал: — Коли голова у тебя хорошо посажена, мотай на ус то, что я тебе сейчас открою. — Петренко взглянул на безусое, чистое девичье лицо Кживицкого и поправился. — Усов у тебя, к жалости, нет, так ты на бекленбарды намотай ту новость, что я тебе скажу. Третьего дня в Оренбурге твоих собратий польских за злодеяние, ими замышленное, схватили. Понял?

Бонифаций не понял. Мало ли кого схватили — какое ему до того дело?

— Может, ты из поляков из тех кого знал, чудо подводное?

— А кого там схватили?

— Слаб я на память-то, Фомазинова какого-то, Вит, Вет...

— Виткевича, наверное, — предположил Кживицкий.

— Во, во! Его самого! — обрадовался атаман. — Ты его знал, что ль?

— Мерзавец, — коротко бросил Кживицкий. — Он не поляк, он мерзавец.

— Это хорошо, коли так. Тут тебе и рассужденье: сможешь быть начальству полезным — значит, звезда засветит тебе. А это, мил-душа, звезда не простая, а особенная. Сча-астливая, — протяжно закончил Петренко.

Кживицкий, наконец, понял, чего от него хотят, и улыбнулся.

Получив донос от Кживицкого, в котором подробно говорилось о злодее Виткевиче и о всех тех гнусностях, кои хотел он свершить не только против господина военного губернатора, но и против его величества государя-императора, Перовский взял под мышку кальян, тот самый, что курил в день его первого разговора с Виткевичем, и поехал в тюремный замок. Выходя из дверей резиденции, он сказал камердинеру фразу, над которой тот потом долго бился:

— Если мало — может быть много. Но коли уж слишком много — так сие значит совсем мало.

6

С минуту они смотрели друг на друга молча. Потом Перовский сел, достал кремень и, не глядя на Ивана, принялся выбивать искру. Раскуривши сложный агрегат, он затянулся несколько раз, прислушался к бульканью, так успокоительно действовавшему на нервы, и только после этого взглянул на Ивана.

— Ну что ж, — сказал Перовский. — Проиграли партию, портупей-прапорщик Виткевич. Давайте теперь начистоту со мной. Открывайте карты.

Человеческий взгляд... В нем скрыто так много! Только вот беда — читать в нем возможно очень немногое.

— Что глядишь, Иван Викторович? — пожал плечами Перовский, стараясь скрыть непонятное чувство, охватившее его. — Что, в душу заглянуть хочешь? Смотри, может, что и увидишь. Только вот я у тебя увидать ничего не могу. А это плохо. Плохо. Оттого что люблю я тебя.

Виткевич улыбнулся.

— Что смеешься? Не форси, героическую роль не разыгрывай. Да что ты?! — спросил вконец растерявшийся Перовский. — Что?

Виткевич продолжал улыбаться.

— Перестань, — попросил Перовский. — Перестань! — крикнул во второй раз. Кашлянул. Стал говорить тихо, без обычных своих прибауток. — Мальчишка, юнош... Ты понимаешь, что натворил? Ничего не понимаешь, оттого и улыбаешься. Думаешь, мне тебя жаль? Нет. Мне дело твое жаль. Вот он, свидетель, — губернатор ткнул пальцем в кальян, — он свидетель рассуждений наших с тобою обоюдных. Об Азии, Востоке... Кому ты, арестант, нужен? Ну, отпущу я тебя, пошлю обратно в Орск. Азия-то — тю-тю... Не могу же я тебя, как думал недавно, в Бухарию посылать...

Иван вздрогнул. Перовский сделал вид, что ничего не заметил. Продолжал задумчиво:

— Кто наукою целого рода интересуется, да еще такого рода, как восточного, тому заговорщические побрякушки ни к чему. Значит, не Восток у тебя на сердце, а одна юношеская глупость. Только для чего? В романтизмы играть? А вот Восток... России Восток, ох, как знать надобно! А кто помогать ей в этом будет, как не ты? Ты ведь России должник за то, что она тебя таким искусным восточником сделала. Не криви, не криви лик! На Маслова кивать нечего да на Новосильцева с Розеном! Я о России говорю

Перовский замолчал. Потом он поднялся — высокий, сутулый — и, забыв кальян, пошел к двери. Виткевич услышал, как губернатор вздохнул. Он шел медленно. Очень медленно, как будто дожидаясь чего-то.

«Сейчас он уйдет, и все будет кончено, — подумал Иван. — Все и навсегда».

— Василий Алексеевич, — сказал Виткевич чужим, скрипучим голосом, — выслушайте меня.

Перовский остановился и, не оборачиваясь, бросил:

— Говори. Слушаю я.

— Неужели вы, ваше превосходительство, могли хоть на один миг допустить мысль, что я действительно задумывал хоть одно из приписываемых мне злодеяний?

— А почему же нет? — оживился Перовский. — Почему нет?

— Вы ведь знаете меня...

— Да кто тебя разберет, — снова потухнув, ответил Перовский, — вон в глаза тебе смотришь, а там словно льдинки.

— То не моя вина.

Перовский обернулся.

— Почему ко мне не приехал, когда звал?

— Потому, что я видел рескрипт о моем аресте, вами подписанный: я не знал, как расценить это. То ли все, что было раньше, игра занимательная, то ли... Со мной в жизни достаточно наигрались. Даже смертный приговор играючи объявляли, для излишней острастки. Если вы знали уверенность души моей в том, что киргизы и афганцы братья наши, то как же вы могли подумать, что я бунт готовил, преследуя интересы одной лишь польской нации? Я бы стал готовить бунт, но не как поляк, а как человек, против несправедливости выступающий. Независимо от того, кто творит несправедливость: белый ли, желтый ли цветом кожи, католик ли, христианин иль мусульманин. Тиран в любом обличье тираном останется...

А вы говорите — меня романтизмы привлекают... — Иван перевел дух. — Вы говорите, что теперь меня в Бухару пускать никак невозможно. Вывод для себя усматриваю: веры в меня нет. Чтобы к этому больше не возвращаться: я уже был в Бухаре. Попал там в руки английского резидента. И убежал от него, хотя сначала в Англию пробраться хотел, а оттуда уже в Польшу, чтобы с несправедливостью бороться... Но в степях, среди людей, среди азиатов, которые нам неизвестны, которых я полюбил всем сердцем, потому что они чисты, как дети, и умны, словно старики, — там я впервые по-настоящему понял, что все люди — братья. Там я понял, что нельзя одну нацию другой противопоставлять, поднимать над другими. И в этом, убежден я, великое мое счастье.

Я вернулся, горел мечтанием всего себя России отдать в том, что постигнуть сумел. Так нет же! У нас все в заговоры игры играют, а друзья наши английские тем временем на Востоке своими делами занимаются!

Виткевич, не замечая того, кричал, стоя во весь рост.

— Человеческому роду, — продолжал он, — свойственно изменяться с годами. Слава богу, вы меня от романтизмов от всяческих избавили, разрешив заниматься тем, о чем я мечтал. Вы вольны верить или нет — жизни мне своей не жаль, она и так уже довольно сломлена. Мне жаль дела моего, того дела, которое и вам важнейшим представляется. И делаю это дело я не потому, что особую пристрастность к письменам арабским имею. Я верю свято, что придет время, когда всевышний сведет все народы в великом братстве, в равенстве, в любви и согласии. И не будет тогда разницы между поляком и русским, киргизом и афганцем. Цель жизни моей — доказать, что люди Востока, к которым

многие светские господа с барским пренебрежением относятся, что люди Востока — братья наши. Не образом мысли, так сердцем своим, человеческим сердцем.

Виткевич оборвал себя и закончил сухо, так как хотел сказать все:

— Еще раз считаю долгом повторить: вы вольны в своей вере.

7

Кживицкого привезли к губернатору пять жандармов с шашками наголо. Так возили только самых опасных преступников. Трое жандармов остались у дверей, а двое вошли вместе с Кживицким в кабинет.

Перовский был отменно любезен. Предложил садиться, осведомился о здоровье, повел веселый разговор. Все в лице губернатора дышало неподдельным весельем.

Кживицкий осмелел и спросил:

— Господин генерал, а за что меня в каземат?

Перовский рассмеялся:

— Будет вам, mon général...

— Кто?

— Перестаньте, генерал. Я прекрасно знаю, что вы считаетесь генералом у заговорщиков.

Кживицкий уставился на него, ничего не в состоянии понять.

— Будет, генерал, — продолжал сыпать словами Перовский. — Чтобы от себя отвести подозрения, бросаете нам кость, вернее — косточку: своего помощника Виткевича. Он во всем уже признался. Виткевич всего-навсего ваш помощник, генерал Кживицкий. Вся идея бунта — ваша идея. И двадцать тысяч серебром ведь вы передали Фоме Зану, а не Виткевич? И иглу тоже сделали сами, чтобы меня оною меж лопаток проткнуть...

Кживицкий затряс головой.

— Г-г-господин, г-господин...

— Будет, генерал, будет! — рявкнул Перовский. — Давайте без водевильных сцен! Давайте говорить, как генерал с генералом. Так будет вас достойнее. Если вы согласитесь вести разговор начистоту, я обещаю вам почетную смерть. В противном случае — повешение.

— Да нет же! — закричал Кживицкий и, повалившись с кресла на колени, прерывающимся голосом, глотая слезы, поведал Перовскому всю правду.

«...А посему следственная комиссия, соображая дело сие, нашла, что хотя мещанин Стариков донес со слов рядового Майера о злоумышленном заговоре некоторых из поляков; но они в том не сознались и по исследованию комиссии не открылось никаких обстоятельств, относящихся к их обвинению, почему 26 ноября определила: всех содержащихся по сему делу, кроме доносителя рядового Кживицкого, из-под караула освободить и употребить по-прежнему на службу.

Аудитор *Слапагузов*».

8

Вечером Виткевич зашел к Далю. Распахнув дверь кабинета, он остановился словно вкопанный. Рядом с Далем, около маленькой этажерки, сидел Пушкин. Позабыв все на свете, Виткевич бросился к поэту и с такой силой сжал его руку, что Александр Сергеевич даже поморщился от боли. Но в глазах у Ивана было столько счастья, что Пушкин, потерев пальцы, улыбнулся и указал Виткевичу на стул рядом с собой.

Даль быстро ходил вдоль книжних полок и ловким, заученным движением доставал попеременно толстые фолианты и тоненькие томики. Книгу он держал осторожно и ласково на большой ладони. Даль знал все свои книги чуть не наизусть. Ивана изумляло его умение мгновенно отыскивать нужное место и, в который раз уже, очаровывала манера Даля читать найденное. Пушкин тоже заслушивался его чтением. Глаза у поэта делались большими, испуганными, словно у ребенка, ожидающего конца знакомой ему страшной сказки.

Виткевич никак не мог прийти в себя после столь неожиданного знакомства. Даль читал без устали, рассказывал свое, сыпал народными, солеными шутками.

Когда принесли чай, Даль спросил:

— Хочешь вкусного вина, Саша?

Виткевич поразился этому простому и обыденному имени: «Саша». Но в устах Даля, обращенное к Пушкину, оно показалось Ивану особенным, совершенно новым, исполненным необычайной ласковости.

— Спасибо, Володя, — ответил Пушкин, — не хочу. В горле курлыхтает.

— Не курлыхтает, а кургыхтает, — поправил его Даль, — но это плохое слово, неинтересное. Оно от птиц идет и от кошек. А я отчего-то кошек любовью не жалую.

Пушкин почесал кончик носа — широкого, чуть загнутого книзу.

— Молчу, молчу, с тобой в этом — спору нет.

Сели пить чай. Пушкину понравились голубые прозрачного фарфора чашки. Ручки гнуты наподобие девичьего бедра, рисунок такой тонкий, что пить из них казалось кощунством. Пушкин глотнул чаю, обжегся, сердито нахмурился, высунул язык и долго студил его.

— Кожа теперь лезть будет, — огорченно заметил он, — страсть как неприятно.

— Надо сметаной помазать, — предложил Даль.

— Или пятак приложить, — пошутил Пушкин, — словно к синяку.

Обернулся к Виткевичу и спросил:

— А вы, говорят, лучший в России знаток Востока?

— Да что вы, Александр Сергеевич! — изумился Виткевич.

— Знаток, знаток, — кивнул головой Даль, — самый настоящий.

Пушкин подвинулся к Ивану и спросил:

— А ночью в пустыне страшно?

— Ежели один — так не очень.

Пушкин недоуменно посмотрел на Даля.

— Что-то не понимаю. Как это, один — и не страшно?

— Когда бежишь от людей, так одному лучше, Александр Сергеевич.

— А вы убегали?

— Ненадолго.

— Почему же ненадолго? Если бежать — так навсегда. Верно, Володя?

— Не знаю, не бегал, — улыбнулся Даль, — лучше его спроси.

— Верно я говорю, Виткевич?

— Избави бог навсегда убегать, Александр Сергеевич. Тоска убьет.

— А в песках очень тоскливо?

Виткевич вдруг рассмеялся. Пушкин обиженно отодвинулся. Потом вдруг лицо его из обиженного сделалось озорным, веселым.

— Я ведь не бегал, не знаю. А узнать необычайно интересно. Профессия такая — узнавать... И потом невыдуманное всегда интереснее вымысла, пусть даже самого увлекательного. Единственное исключение — сказки. Но сказку выдумывает не литератор — народ. А то, что создает народ, всегда великолепно.

— Люди Востока очень любят сказки, Александр Сергеевич. Я и ваши сказки киргизам и узбекам рассказывал. И, знаете, огромным успехом сказки пользовались.

Пушкин гордо посмотрел на Даля. Тот с доброй улыбкой — на Виткевича. Все враз рассмеялись.

— Что-то я в Азии у вас развеселился, — сказал Пушкин, — тут ветры волею дышат. Здесь Россию с обратной стороны видно. Кому как, а мне она отсель милее, чем с фасадов невских. Я тут музыку во всем слышу... Скажите, Виткевич, — спросил он, помолчав, — а восточные сказки на наши похожи? В манере сказывать их, в сюжетах?

— Я могу рассказать некоторые, Александр Сергеевич. Если пожелаете...

Пушкин сразу же приготовился слушать. Закинул ногу на ногу, оперся подбородком на кулак, прищурил глаза.

— Я расскажу маленькие сказки, хикаяты, как их называют таджики, персы и афганцы.

— Это что, вроде наших пословиц? — спросил Пушкин.

— Не совсем. Вот послушайте. Пришел раз человек к писцу. «Напиши мне письмо», — попросил. «Не могу, — ответил писец, — у меня нога болит». — «Ты что ж, ногой пишешь?» — «Да нет! Но все, кому я пишу, требуют, чтобы я сам пришел и прочел, что написано».

Пушкин рассмеялся.

— Чудесно! Просто чудесно! Еще, пожалуйста.

— Сидел однажды поэт, бедный, как и все поэты, рядом с жирным богачом. Спросил богач поэта, желая унизить: «Скажи мне, что отделяет тебя от осла?» Поэт измерил расстояние между собою и богачом и ответил: «Совсем немного. Один аршин».

Пушкин вскочил со стула, захлопал в ладоши.

Виткевич рассказывал сказки часа два, не меньше.

— Скажите, — спросил Пушкин, вдоволь насмеявшись, — а стихи? Стихи у них так же интересны?

— Да. Если не больше.

— Прочитайте, прошу вас.

— Хорошо. Я прочту стихи афганского поэта Казем-хана.

Вы меня же толкали в костер.
Дав соперникам выжать меня,
И когда я вас вел на простор,
Вы хотели быть выше меня,
А когда я по вашей вине
Сам в огонь обратился в огне, —
Мотыльками слетаясь ко мне,
Ненавидите вы же меня!

— Боже мой, какая прелесть, — сказал Пушкин.

— Еще два стихотворения Казема, — улыбнулся Иван, обрадовавшись тому, что Пушкин так заинтересовался афганскими поэтами.

О Шейста! Разве мудрость трудна?
Научись ты у солнца любить!
Цель одна и дорога одна —
Все блужданья нам впору забыть.
И не льсти, о Шейста, никому,
Слава сердцу и слава уму,
Если учат они одному:
Научись ты у солнца любить!

Мудрецу не нужна мишура,
Не прельстился фольгой золотой!
Для невежды и кукла мудра,
И зовет он ее — Красотой.
Сколько горя глупец перенес,
Принимающий куклы всерьез!
А мудрец потому-то и рос —
Не прельстился фольгой золотой.

Пушкин вытер слезы. Он долго молчал и качал головой, не открывая глаз.

— Это творения гения, Виткевич. Как же мало мы знаем! И как много есть такого, что мы должны знать! Спасибо вам, Виткевич. Теперь я буду вас всю жизнь помнить и волноваться за вас. Нет, не только за вас лично — за то чудесное дело, которому вы отдаете жизнь. Я хочу вам дать совет. Мне кажется, что ваше будущее — это будущее дипломата. Опасайтесь, Виткевич, опасайтесь! Вами будут расплачиваться, словно звонкой монетой: «Смотрите, какие мы! Как наши диломаты Восток знают!» Но вспомните Грибоедова — правители умеют делать политическую игру кровью людской. Не это главное. Главное, чтобы человек не был подобен планете. По-гречески слово «планета» означает «бродяга». Человек творчества должен всего себя посвятить только одному делу. В творчестве планетой быть нельзя: светит, а не греет. Труд возвышает людей, служба портит. Чиновником в искусстве быть — почет малый...

— Александр Сергеевич, но мне не удастся изучать язык афганцев, узбеков и киргизов, если я не буду хотя бы внешне служить. Ведь не пустят меня на Восток просто так, для науки, литературы, истории...

Пушкин вздохнул. Развел руками и с горькой усмешкой переглянулся с Далем.

— Да, пожалуй, вы правы. Меня вот тоже никуда не пускают. Никак не пускают. По головке гладят да нежности словесные расточают... Ладно, будет об этом. Я вас хочу попросить как можно больше сказок и стихов собрать. Для меня, для «Современника». А потом подумаем — издадим альманах стихов и сказок народов восточных. Великолепно это может получиться! А сейчас почитайте-ка мне еще афганцев...

Виткевич провожал Пушкина к дому губернатора. Ночь была темная, безлунная. Уже около самого дома Пушкин резко остановился, потянул Виткевича за рукав и прошептал ему в ухо:

— А если новый Пугач объявится, вы с ним пойдете?

— Пошел бы, — ответил Иван твердо.

Пушкин сморщил лоб, сухо, отрывисто бросил:

— Прощайте, Виткевич.

Потом он сжал руку Ивана повыше локтя, хотел что-то сказать, но не сказал. Ушел. Растворился в ночи, как будто и не было его рядом.

9

Особенным уважением к Перовскому Иван проникся в тот день, когда, дежуря в приемной у губернатора, выполнил чисто техническую работу: написал под диктовку Василия Алексеевича обыкновенное письмо, вернее даже ответ на депешу от нижегородского военного губернатора Буторена. Перовский вскрыл пакет, молча прочитал письмо, чертыхнулся и передал Ивану лист бумаги.

— Прочти, Иван Викторыч.

Виткевич прочел:

«Господину Оренбургскому Военному Губернатору.

Санкт-Петербургский Обер-полицмейстер, от 20 минувшего сентября № 264 уведомил меня, что по Высочайше утвержденному положению Государственного Совета, объявленному предместнику его предписанием Г. Санкт-Петербургского Военного Генерал-Губернатора от 19 августа 1828 года № 211, был учрежден в Столице секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии.

Известясь, что он, Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернии, я долгом считаю о вышеписанном известить Ваше Превосходительство, покорнейше прося, в случае прибывания его в Оренбургскую губернию, учинить надлежащее распоряжение об учреждении, во время пребывания в оной, секретного полицейского надзора, за образом жизни и поведением его.

Военный губернатор *Буторен*».

— Каково? — спросил Перовский, когда Виткевич кончил читать. — Позорище истинное! Спрячь-ка бумагу эту подальше, чтоб потомки, спаси господи, не обнаружили ненароком... Бери перо, мы им сейчас отпишем.

Иван приготовился писать. Перовский походил по комнате, а потом выкрикнул:

— Пиши! Буторену!

— Просто Буторену?

— Просто так и пиши: Буторену!

«*Буторену.*

На отношение Вашего Пр-ва от 9 сего октября № 337 об учреждении секретного полицейского надзора за поведением и образом жизни Титулярного Советника Пушкина во время пребывания его в Оренбургской Губернии, честь имею ответствовать, что сие отношение Ваше получено мною через месяц по отбытии отсюда г-на Пушкина в свою деревню Нижегородской губернии, а потому, хотя во время кратковременного пребывания его в Оренбурге и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удовлетворить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий».

Когда Иван кончил писать, Перовский бегло просмотрел лист, буркнул под нос:

— С-сукины сыны!

Подписал размашисто, зло. Иван с улыбкой посмотрел на губернатора. Перовский рассердился:

— Не смотри так! Мне самому тошно: я русский, понимаешь? А на своего Гомера этакие штуки писать приходится. Неужто у всех Гомеров одна судьба — под надзором ходить?

10

Поздняя осень в Оренбурге полна грустного очарования. Густые перелески, саженные вдоль по Уралу, растеряв последнюю золотую листву, сделались прозрачными. Воздух в них был необычайно светлым из-за того, что намокшие стволы деревьев казались черно-синими.

Закаты разливались по низкому серому небу тяжело, кроваво. Лениво шумел мелкий дождь в водосточных трубах. По ночам вода в бочках подергивалась хрупким ледком.

Как никогда остро Иван переживал все прошедшие тяжкие годы в те вечера, когда заходил к Алябьеву. В прошлом блестящий гвардейский офицер, а ныне ссыльный, он жил в Оренбурге незаметно и тихо. Все дни Алябьев проводил за разбитым, древним роялем, крашенным белой масляной краской, для того чтобы скрыть трещины и царапины. Алябьев сочинял музыку.

По вечерам у него собирались друзья: Даль, Виткевич, преподаватель ботаники в Неплюевском кадетском корпусе ссыльный поляк Фома Зан, и — редко — наведывался Перовский. Приезжал он к Алябьеву примерно раза два в полгода. Садился около рояля, молча, тяжко слушал музыку и уезжал не прощаясь. После посещений композитора Перовский делался хмурым и дня три писал длинные письма, больше похожие на исповедь, своему брату-писателю, который прятал свою родовитую фамилию под незаметным псевдонимом «Погорелец».

...Алябьев любил петь. Голос у него был низкий, широкий. Он слегка картавил, стыдился этого и подчас глотал слова, где попадалась буква «р». Когда Алябьев пел, большие глаза его под толстыми стеклами очков делались блестящими, а зрачки расширялись, придавая глазам растерянное, испуганное выражение.

Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь?
Ты лети, мой соловей,
Хоть за тридевять земель,
Хоть за синие моря,
На чужие берега,
Побывай во всех странах,
В деревнях и городах:
Не найти тебе нигде
Горемышнее меня...

Даль, слушая Алябьева, не мог скрыть слез. Виткевич, обхватив голову, раскачивался в такт песне и шевелил губами, неслышно подпевая Алябьеву. Фома Зан, считавший музыку проявлением дворянской, шляхетской избалованности, просто-напросто наблюдал за всеми, всех любя и всем втайне поклоняясь.

В день осенний на груди
Крупный жемчуг потускнел,
В зимню ночку на руке
Распаялося кольцо,
А как нынешней весной
Разлюбил меня милой...

Кончив петь, Алябьев продолжал сидеть у рояля и долго не поднимал рук с клавишей, сохраняя тонкий, затухающий звук. Звук умирал неслышно, медленно, словно летний вечер, и так же красиво.

— Прав был страдалец, — задумчиво сказал Алябьев, — прав был, когда утверждал, что знающий русскую народную песню видит в ней скорбь душевную.

— Кто этот страдалец? — спросил Иван.

Алябьев не ответил.

— Радищев, — негромко сказал Даль, нахмурившись.

— Даль все знает, — усмехнулся Алябьев, — он умный, он счастливый, ему звезда светит, его губернатор любит.

Владимир Иванович поморщился, но смолчал: он знал, как тяжело Алябьеву, безвинно осужденному, всеми отвергнутому. Он прощал Алябьеву грубости, так же как Перовский — Виткевичу.

— А мне, признаться, порой веселой песни хочется, — сказал Даль, желая изменить разговор, — осенью тяжелые песни грустно слушать.

— В России веселых песен нет, — заметил Алябьев. — Я вот тут намедни записывал новые песни — все, словно на подбор, грустны и раздумчивы. Спросил я тогда ту бабу, что мне их певала: «А веселей у тебя нету?» Она ответила: «Веселое с веселого поется. А у нас на свадьбу да на рожденье то же, что и на смерть, поют. Оттого как жена да дите — камень на шее кормильцу. Коль нет в жизни веселого — так уж веселей ничего не выдумаешь...»

Алябьев обвел взглядом друзей. Рассмеялся. Запел:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман,
Слезы горькие льет молодец,
На свой бархатный кафтан.

«Полно, брат, молодец!
Ты ведь не девица:
Пей, тоска пройдет,
Пей, пей! Тоска пройдет!»

Захлопнув крышку рояля, Алябьев поднялся с низенького, скрипучего стула. Обернулся к Виткевичу и спросил:

— Иван Викторович, вы мне обещали новые киргизские песни перевесть. Сделали?

— Да.

— Так же интересно, как и в прошлый раз?

— Да.

Фома Зан рассмеялся:

— Вот этого увлечения, Александр Александрович, я не понимаю. Виткевич бредит киргизами — сие понятно: ему другой судьбы нет, он себя Востоку посвятил. Но вы ж музыкант!

Алябьев ничего не ответил. Снял со стены гитару, прижался щекой к деке, тронул струны и запел:

О-о-о, длинный путь караван идет...
Много дней, много звезд позади,
Впереди лишь одни пески
И кругом лишь одни пески...
Сколько раз я мечтал о тебе,
О глазах твоих и руках,
Сколько дней я иду от тебя,
Чтоб прийти к тебе навсегда...

— Ну, разве не чудо, Зан? — вдруг, оборвав струну, спросил Алябьев. — Вот вам киргизы, вот вам Виткевич!

— Это очень красиво, — сказал Даль, — это изумительно!

— Сколько простора в этом, сколько грусти, ожидания! Сколь чутка душа певца, сложившего эти строки! — говорил Алябьев, сидя рядом с Иваном.

Виткевич счастливо улыбался: его понимали друзья.

Иван любил заходить к Алябьеву по утрам, когда тот, не умывшись, в халате, сидел за роялем, обрабатывая песни башкир, киргизов, таджиков. Виткевич любовался тем, как Алябьев находил в разрозненной, не сбитой в одно целое песне тонкую удивительную мелодию. Он ловил эту мелодию и заставлял ее звучать. И в песне, которую заново рождал композитор, Иван видел то, что ему довелось уже пережить, и чувствовал то, что пережить ему еще придется...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Обманчива здешняя погода. Вчера еще в теплом воздухе искрилась паутинка, словно прозрачная шаль на прекрасном лике поздней осени. А сегодня подул ветер и вместе с шалыми красно-желтыми листьями принес снег, острый и колючий. И пошла сыпать белая пороша на потрескавшуюся от летней жары землю. Потом хлестнул последний дождь, прихватило морозцем, и на образовавшуюся ледяную корочку нанесло видимо-невидимо снегу, теперь уже пушистого, ласкового. Дорог вокруг Оренбурга больше не было. Повсюду лежало безмолвие, величавое и страшное.

Урал стал тоже внезапно. Вчера еще черный, стремительный, он нес свои воды к югу, пробиваясь среди белых степей. Когда Иван пришел к берегу — привычке своей он не изменял, ходил к Уралу каждое утро, — нигде не было ни полыньи: лед лежал ровно, белый как сахар.

Зима пришла в Оренбург, лихая, студеная.

На крещенье казаки устраивали празднество: лов красной царевой рыбы. На Урале рубили лунки заблаговременно. Человек триста казаков — молодцы все на подбор — замирали в легких санях, метрах в трехстах от прорубей. Перед их строем прохаживался атаман с российским трехцветным флагом. Лошади нетерпеливо переступали с ноги на ногу, сдерживаемые седоками. Наконец атаман отходил к берегу, туда, где собирался весь Оренбург, поднимал флаг высоко над головой. Казаки крестились. Атаман опускал руку, и триста саней, запряженных самыми резвыми по всему Уралу конями, срывались с места. Поднималось огромное белое облако снега. Кто первым прискачет к лунке, изловит красную рыбу, икру вырежет — тот победителем считается. А победитель икру эту царю в подарок везет и самолично в монаршие руки вручает.

Гиканье, присвист, стремительность, свалка.

Веселье, смелость, лихость.

Россия...

Дымное, красно-алое солнце замерло в небе, наблюдая за людьми. Солнцу стало завидно, и оно простояло в зените лишних две минуты.

Победителем оказался Петренко, отец Лушки. Его подвели к губернатору. Перовский осмотрел его кряжистую,

от чрезмерной силы казавшуюся нескладной фигуру. Перовский любил сильных людей и поэтому улыбнулся.

— Как зовут-то, Сила Силович?

— Трофимом Петровым Петренкой величают, — степенно ответил казак.

Память у Перовского была поразительная. Он сразу же вспомнил показания Кживицкого о Петренко. Губернатор нахмурился.

— Это Кживицкому Бонифацию не ты ль советы давал?

— А я! — так же степенно ответил казак.

— Как же ты советы этакие даешь?

— Так он слаб на силу-то. Я ему на ум и посоветовал. Пусть, думаю, выбьется с умом-то. А коли б он с силой был, так я ж разве стал...

Перовский поразился такому рассуждению.

— Как ты говоришь? — переспросил он Петренко.

Тот пояснил:

— Я пособленье хотел ему сделать. А он не только слабый. Дурной он. Тут уж моей вины нету.

Перовский засмеялся.

— Хитрый ты, казак!

— А что ж, — согласился Петренко. — Без хитрости только кукушка живет.

Губернатор обнял Петренко и поцеловал его в колючую щеку.

Когда казак отошел, Перовский обернулся к Виткевичу и спросил его:

— Ну не прелесть разве?

Иван согласился:

— Истинная прелесть, Василий Алексеевич.

Они рассмеялись, довольные тем, что поняли друг друга. Прощаясь с Виткевичем, Перовский сказал ему одну из своих загадочных фраз:

— По весне первопуток откроешь, а по осени посчитаемся.

2

Весь день Перовский был возбужден, чего-то ожидая. Часто он подходил к большому венецианскому окну, схваченному гусиными лапами мороза, и свирепо дул на стекло, плавя лед своим жарким дыханием. Хотя печи в кабинете были натоплены, Виткевич, который остался у губернатора по его просьбе, то и дело подходил к кафелю греть руки.

— А ты мерзляк, Иван Викторыч, — заметил Перовский, — сие странно. Сероглазые холода не боятся.

— Отчего так?

— Сказывают, кто сероглаз — у того будто льды в первооснове заложены. Холод. Это, верно, от варягов...

Лед на стеклах синел: наступал ранний зимний вечер. Перовский открыл маленькую форточку, и в кабинет ворвалась белая струя холодного пара.

— А ты заметил, Иван Викторыч, — задумчиво сказал Перовский, — что мороз болотом пахнет?

Виткевич улыбнулся. Ответил:

— Болото пахнет осенью, не зимней стужей, Василий Алексеевич.

Перовский шумно вздохнул.

— Может, ты и прав. Я прошлой осенью по гусям ездил. Тут недалече озерко одно изумительное, дичи — тьма. Один приехал — грустно было. Стал у берега. Камыши в рост, мохнатые, словно котята. А как солнце в закат пошло, так камыши синими стали. Красота какая, Иван Викторыч... Сказочная красота... Стою жду косяка. И вдруг, — Перовский перешел на шепот, нахмурился, по-бычьи склонил голову, — и вдруг слышу, кто-то песню поет. Тихо эдак, издалече. Голос высокий, чистый.

Эх, в Таганроге случилася беда,
Там убили, там убили молодого казака,
Принакрыли, принакрыли чистым белым полотном,
Положили, положили под ракитовым кустом...

Слуха у губернатора не было, и поэтому, спев, он застыдился. Но, как всякий лишенный музыкального слуха человек, Перовский особенно остро воспринимал прелесть песни.

Лед на окнах из синего сделался белым: наступила ночь.

— Выглянул я из камышей, — продолжал Перовский, — гляжу, казак по степи едет. Стройный, без папахи, ружье на весу держит и поет. Да такой красавец — глаз не отвести. Много в России красивых, а такого я впервой увидал.

Перовский подошел к окну, подул на лед. Словно по волшебству, в тот же миг у парадного подъезда заскрипели полозья.

— Приехал! — крикнул обрадованно губернатор. — Приехал, дорогой мой!

Он перехватил удивленный взгляд Ивана. Рассмеялся.

— Да казак тот! Миротворцев его зовут. Полковник Миротворцев. Пойдем встречать.

Радовался Перовский шумно и грубо. Он тискал Миротворцева в объятьях, отстранял от себя, внимательно разглядывал, снова обнимал и хохотал громовым басом.

Полковник Миротворцев оказался маленьким и, как показалось Ивану, нескладным человеком. Слишком широкий в плечах, он был по-девичьи тонок в талии, но толстоног. Большая лысина блестела, словно блюдце, слишком тяжелый лоб нависал над бровями и давил глаза.

«Что же в нем красивого губернатор увидел? — удивленно подумал Иван, чувствуя сильное пожатие маленькой сухой руки Миротворцева. — Какой уж тут красавец...»

Перовский словно угадал его мысли. Ухмыльнулся под нос и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Прав был Фридрих прусский, утверждая: «Ежели хочешь иметь рабов — пой хорошие песни».

Миротворцев кашлянул, внимательно посмотрел в Ивановы глаза, потом — мельком — на Перовского и улыбнулся краешком большого жадного рта.

После этой улыбки Иван сразу же почувствовал к нему расположение: умных и тонких людей он любил.

У губернатора сидели допоздна. Камердинер принес самовар и большую банку малинового варенья. Малина мерцала рубинами, искрилась за стеклом в бликах свечей. Перовский сам разлил чай и начал пить с присвистом, по-купечески.

— Обожаю чай, — сказал он после третьей чашки, — сердце бодрит, брюхо чистит — куда больше!

Миротворцев пил сосредоточенно, хмуря брови, собирая язык в лопаточку и приговаривая: «Аля-фффу, аля-фффу», когда обжигался.

Губернатор все время подкладывал в блюдца варенье. Орудовал он большой деревянной ложкой, разрисованной петухами.

— Не люблю из маленьких блюдечек есть, — говорил Перовский, — аппетит пропадает, плечом размахнуть нельзя. А пища любит, чтоб с размахом. Нессельрод — тот вроде воробушка — «чир-чирк» — из крохотных тарелочек угощает. Сие от жадности, не иначе.

Кончив пить чай, Перовский с шумом отодвинул от себя блюдце, чашку и банку с вареньем. Сцепил пальцы. Сказал:

— Ну давай, полковник, план свой выкладывай.

— Куда проще, ваше превосходительство. В степь надобно визит нанесть. Ласки там, правда, ждать не след — скорее по макушке надают. Однако резон прямой.

Перовский кивнул на Виткевича:

— С ним не надают.

— Великолепно, коль так, — ответил Миротворцев, — а ежели по случаю и надают, тоже неплохо. На пользу пойдет. С шишкой на загривке учеба скорей движется. Ну, а цель экспедиции проста.

Он обернулся к Виткевичу и, глядя на него в упор, стал негромко говорить:

— У меня, изволите ли видеть, брат мануфактуру в Иваново-Вознесенске хочет ставить, ситцы на английский манер выпускать. Ходил я в караван-сараи здешние, беседовал с восточными купцами. Прелюбопытнейшие вещи узнал-с.

Миротворцев достал из кармана маленькую тетрадку. Она была самодельная, почти такая, как и у Ивана. Виткевичу это понравилось.

— Так вот, — весело посматривая то на Ивана, то на Перовского, быстро заговорил полковник, — мы кусок кисеи бухарцам за пятьдесят рублей серебром даем, а англичане — за восемь. За коленкор мы по двадцать семь рублей лупим, а англичане трешку просят. Поведал мне бухарец Рахимбай, что у них в столице некий англичанин побывал. Не то Борнес, не то Баренс.

— Бернс, — поправил его Виткевич.

— Это доподлинно вам известно? — невзначай, как бы между прочим поинтересовался Миротворцев. — Не ошибаетесь ли?

— Нет. Не ошибаюсь.

— Так-с. — Миротворцев посмотрел на стол.

Перовский понял его и подвинул перо. Полковник что-то отметил в своей книжечке и продолжал:

— Так вот, изволите ли видеть, после посещения господина Бернса англичане стали в Бухарию и Хиву посылать ситцы новых расцветок. Яркие, веселые, вширь — громаднейшие, чтобы восточным людям было удобней брюки шить. Братец мой только из Англии возвратился, сказывал — на мануфактурах все прежние машины поломали, новые поставили, чтоб ситчик ярче был да шире. Затраты преогромные. А с умом — из этого дерьмового ситца не один пуд золота получить можно.

— Лихо, — задумчиво отозвался Перовский.

Миротворцев захлопнул книжечку, сунул ее небрежно в карман.

— Англичане — нация уважаемая. Аристократы наши к ним с ухмылочкой относятся, а зря. Как бы ошибку французов не повторили. Те тоже над торгашами посмеивались, «ля-ля» да и только. Вот те и «ля-ля»! Допрыгались. Петр Великий перед англичанами шапку ломал — нам

тоже не грех. Я из мещан, не гордый — готов у заморских мудрецов поучиться. А там посмотрим, кто кого перешибет.

Виткевич взглянул на Перовского.

«Вот так персона», — прочел губернатор в его взгляде, и трудно было понять, какой смысл вкладывал сюда Виткевич: восторг, недоумение, растерянность или все это вместе взятое.

— Послушай, Миротворцев, — вдруг спросил Перовский, — а ты богатый?

— Мы не считаем-с.

— Зря.

— Нет, не зря, ваше превосходительство, — убежденно ответил Миротворцев, — без счету спокойней. Да потом не в деньгах суть. Я о деле думаю. Ну, а дело, коли к нему с уважением да с умом подойти, никак обидеть не может.

— Это верно.

— Так вот, ежели ваше превосходительство мой план одобряет и санкцию на путешествие я получу, в степях должно будет подумать и еще об одном преважном дельце.

— Что это ты все «преважное» да «прелюбопытное» говоришь? Проще не можешь?

— Я крайности люблю, ваше превосходительство. Правда, на словах больше, чем на деле. Словом потешиться можно, а делом — рискованно. Вот и тешусь.

Виткевич рассмеялся.

— Преинтересно, — хохотнул Перовский и замотал головой. — Тьфу ты, напасть, пристало уж!

— А дело вот какое, — гнул свое Миротворцев, — хочу посмотреть, нельзя ль у киргизни стада закупать. Тогда в Оренбурге есть резон заводик поставить. Полушубки начнем кроить. Тут мы англичан обскочим — куда там! Здесь поту надо много, а британец поту не любит.

Перовский прошелся по комнате.

— Прожектами ты силен, просто богатырь на прожекты. Каков в степях будешь? Сможешь с умыслом смотреть иль нет?

— Так господин Виткевич поможет, — весело отозвался Миротворцев и вытер пот со лба ладонью. — Да и подарков я закупил для их.

— Уж закупил?

— Не пропадут.

— Ну, а коли я тебя в степь не пущу?

Миротворцев осторожно кашлянул, погладил подбородок и ответил:

— Пустите, ваше превосходительство.

Когда полковник откланялся, Перовский сказал:

— Вот они Россию жрать будут. Немилосердно. Но умен. Умен, бестия! Выбился ведь в полковники из косоглазого домишки. Не гляди, что прост: по-английски, словно Дизраэли, говорит, все британские газеты выписывает. И силен. Брат его — ширма. Сейчас военному торговать сподручней. Хоть военный он по недоразумению. Торгаш он по наклонности, вот кто. А призвание его, поверь мне, дипломатом быть. Только Карл Васильевич Нессельрод не хочет его, потому что умных боится. А зря! Такие — дай им свободы — свое возьмут.

Губернатор задумался. Потом Виткевичу — весело:

— Сходи с ним, Иван Викторыч, зааркань киргизов! Ну, ну, не сердись, будет! Изучать их пойдешь, а Миротворцеву подсобишь. Он человек добрый, хороший, хоть и торгаш. Но ведь не дерево и не камень — идолы, а то, во что верит человек. Будь то дух, будь то плоть. Будь то «дело», о котором он здесь разглагольствовал. Дело боготворить можно. Смысл-то уж больно хорош сюда подложен, а?

3

В небе повисла дынная долька месяца. Высокие облака то принимались бежать наперегонки, то вдруг останавливались, замирали на месте.

Глядя в черную яму неба, Миротворцев сказал, усмехнувшись:

— Я б сейчас горячего молока с медом выпил.

— Отчего так? — лениво удивился Виткевич.

— Хочется, — снова усмехнувшись, ответил Миротворцев. — Мне всегда чего-либо несбыточного хочется.

Тесно прижавшись друг к другу, они лежали на шинели у костра, сложенного из сухих, трескучих шаров перекати-поля и стеблей полыни, иссушенных нещадным дневным солнцем. Пламя казалось Ивану кошкой. Оно то ластилось к земле, то, побелев, взмахивало вверх, стреляя мелкими искрами.

Миротворцев лежал ближе к костру и часто ворочался с боку на бок. Ночной холод он переносил так же плохо, как и дневную жару, но, несмотря на это, шел со всеми членами экспедиции вровень, ни разу не отстав. Отряд прошел уже больше четырехсот верст. Задерживал всех Иван: с каждым племенем, встречавшимся на пути, он заводил знакомство, подолгу беседовал со стариками, зна-

комился с юношами, расспрашивал о Сарчермаке, записывал сказки, стихи и, в свою очередь, отвечал на вопросы. Потом все шли на той*, садились в круг и принимались за барана. К ужасу Миротворцева, Иван, как и кочевники, ковырял пальцами в бараньей голове, разжижая мозг, и пил его с видимым наслаждением, запрокинув голову. Так же аппетитно он поедал бараний язык. Со временем, правда, и полковник пристрастился к киргизским обедам. Ему нравилось, когда старейшина племени протягивал Ивану баранье сердце, чтобы тот стал сильнее, голову, чтобы был умнее, и глаза, чтобы стал зорче. Однажды Миротворцев попросил Виткевича перевести старикам вопрос: как же человек может стать сильнее, умнее и зорче от потрохов бараньих? Животина-то, баран, ни особым мужеством, ни зоркостью, ни силой не отличается. А?

Иван рассердился. Вопроса переводить не стал. Ответил сам:

— У каждого свой символ. Мне их символ ближе, чем ваш.

— Так, так, — быстро согласился Миротворцев, — верно-с, совершенно верно, Иван Викторович. Только сердиться зря изволите. Вопрос не утверждение. На вопрос сердиться не следует.

Виткевича всегда поражало в этом человеке умение хватать главное, отметать личные обиды, сразу же признавать свои промахи и не обижаться, когда умный ответ давали в резкой, подчас даже непочтительной форме. Хотя Иванову непочтительность терпел не только один Миротворцев. Даже губернатор, как говаривали, прощал своему адъютанту многое такое, что никому другому никогда бы не простилось.

Костер забился, захлопал красными своими крыльями, собираясь потухнуть. Иван поднялся на локтях, но сразу же как подкошенный рухнул на шинель: отлежал левую руку.

— Давайте потру, — предложил Миротворцев.

— Спасибо большое, — ответил Иван и протянул ему руку.

Миротворцев ухватил ее цепкими пальцами у плеча и принялся так старательно тереть, что через минуту все плечо Ивана стало горячим.

— Отошло?

— Спасибо большое, Иван Никодимович, — поблагодарил Виткевич, — совсем отошло.

---

* Угощенье, пир *(кирг.)*.

Он поднялся, шагнул в темноту и, опустившись на корточки, принялся собирать полынь и колючие кружки перекати-поля.

— Иван Викторыч! — негромко окликнул его Миротворцев.

— Да.

— Как это вам не страшно в такую темнотищу ходить? Я, изволите ли видеть, никак бы не решился.

Иван засмеялся.

— Нет, не смейтесь, — возразил Миротворцев, — я вами истинно восторгаюсь. В такую темень...

— Это что, главное достоинство мое? — спросил Иван.

Миротворцев обернулся на его голос.

— Кто темноты не боится, — сказал он, — тот отчаянный. Это я по брату моему сужу. Он лихой у меня, а вот я как ночью иду, так мне все дьяволы какие-то мерещатся. Между нами-то, ведь я трус отчаянный...

Казаки спали. Верблюды, развьюченные на ночь целовали землю плюшевыми губами. Тишина была осязаема: даже потрескивание костра казалось грохотом.

Иван принес охапку полыни и бросил ее подле шинели, на которой лежал Миротворцев. Тот зевнул и укрылся с головой клетчатым английским пледом. Спросил:

— Как думаете, сколько нам еще до дома?

— Дней пять, — ответил Иван, — никак не больше.

— Слава богу, а то я затосковал.

Виткевич подбросил в костер полыни, лег рядом с Миротворцевым и уснул. Полковник еще долго ворочался. Удивлялся: «Виткевич в степи себя чувствует как дома на кровати. Чудно... Молодец он все-таки. Истинный молодец!..»

Потом он еще теснее прижался к Ивану и тоже задрёмал.

Разбудили их гортанные крики и ржанье коней. Миротворцев открыл глаза в один миг с Иваном. Вокруг потухшего костра в серых предрассветных сумерках они увидели несколько десятков всадников. Те рвали уздечки, осаживая взмыленных коней.

— Чего надо?! — вскочив, закричал Миротворцев, и скулы у него набухли грецкими орехами.

Виткевич больно толкнул его в бок, выступил вперед, склонил голову, прижал руки к груди и сказал:

— Салям, всадники, пусть будут благословенны дни вашей жизни, и пусть дневная жара не мешает вам продолжать свой трудный путь...

Миротворцев понял свою ошибку. Улыбнулся и закивал головой. Казаки стояли чуть поодаль, сбившись в одну кучу.

Их ружья лежали в стороне, у вьюков. Видно, киргизы уже успели оттащить их.

В середину круга выехал молодой киргиз. Лицо у него подергивалось тиком. Не отвечая на приветствие, он ударил Ивана нагайкой по лицу. Резкая боль пилой прошла по щеке. Из рассеченного уха закапала кровь.

Миротворцев рванулся вперед, ощерился:

— Сволочь, свинья!

Он выхватил из-за пояса пистолет, вскинул к глазу. Секунда — и свершилось бы непоправимое. Иван выбил у него из рук оружие и улыбнулся тому, кто его ударил.

— Однако, уважаемый всадник, ты плохой мусульманин, как я посмотрю, — сказал он, — ты бьешь, даже не ответив на приветствие. И ты бьешь меня в своем доме, потому что эти степи — твой дом, а не мой. Я здесь гость, а ты хозяин.

В середину выехал киргиз постарше.

— Прости его, — сказал он, — но когда уходит вода, не время приветствовать того, кто ее взял.

— Ты говоришь загадкой, — все так же спокойно продолжал Иван.

— У нас в селенье была вода. Она била из земли много лет. А пять дней назад она ушла, как будто ее и не было. Воды нет, и те посевы, которые мы научились растить совсем недавно, сейчас сохнут. Вчера от нас ушли путники из Индии. Они узнали, что в степях вы, и сказали, что вода пропала из-за вас.

— А ну, Иван Викторыч, — быстро сказал Миротворцев, — переведите им, что я верну воду. Я могу им вернуть воду.

— Шутить сейчас не время, Иван Никодимович.

— Не до шуток, сам вижу.

— Может быть, так договоримся.

— Нет, — уверенно возразил Миротворцев, — сейчас никак не договоримся. Перебьют, да и точка.

— Что он говорит?! — закричал молодой, тот, кто ударил Ивана. — Что он говорит?!

Иван медлил, не зная, стоит ли сказать, что Миротворцев обещал найти воду. Молодой всадник пустил коня на Миротворцева и замахнулся нагайкой.

— Опусти руку, мальчишка! — крикнул Иван. — Не позорь свой народ!

Стало тихо. Все замерли. Потом из толпы всадников кто-то сказал:

— Опусти руку, Селим.

— Мы вернем вам воду, — негромко, спокойно сказал Иван, — сейчас поедем к вам и вернем воду.

Всадники зашумели.

— Иван Никодимович, здесь хитрость негожа, — еще раз предупредил Иван.

— Ах, боже мой, — рассерженно ответил Миротворцев, — при чем тут хитрость? Я ж в этих краях землей обзавожусь. Без воды здешняя землица — ничто. Я родниками и ключами специально интересовался. Песок — он зыбуч, видно, ключ себе второй ход нашел неподалеку где-нибудь. Отыщем, не беспокойтесь.

Когда, окруженные киргизами, они тронулись в путь, Виткевич усмехнулся.

— А вы говорили, что трус. Какой же вы трус, Иван Никодимович? Вы человек храбрый.

— Это с перепугу, — весело ответил тот, — да и потом ночь-то кончилась. А я ночи до смерти боюсь, днем все веселей.

На востоке степь алела тысячами ярких костров. Небо синело, уходя все выше и выше к лунной дольке, которая с каждой минутой таяла, превращаясь в воздух.

4

Старейшина племени Абд-Эль Сауд — худой, высокий старик с желтыми усами и плешью на левой щеке — оглядел Виткевича и Миротворцева с головы до ног злыми разноцветными глазами. Левый глаз у него был зеленый, словно у кошки, а правый — иссиня-черный.

Хриплым, высоким голосом он выкрикнул приветствие и, не дожидаясь ответа, спросил:

— Где вода?

Иван улыбнулся. Достал трубку, высек искру, затянулся несколько раз, а уже потом ответил:

— Я буду говорить, с тобой словами сказки, ладно? Смысл ее прост, и в нем ты найдешь часть ответа на свой вопрос. Слушай же. Послал орел осу и ласточку узнать, что на земле самое вкусное. Всех оса пережалила, всем боль принесла и решила, что самое вкусное на земле — человек. Друг людей, острокрылая ласточка, выклевала за это осиный язык — сухое, острое жало. И с тех пор оса только жужжит, не в силах вымолвить ни слова. А ласточка, прилетев к орлу, сказала ему так: «Самое вкусное на земле — цветочный мед и вода в горных реках. Но если ты

хочешь мяса — жри змей, они злобны, лживы, коварны, и смерть их может огорчить разве только одних неверных».

Виткевич кашлянул и замолчал. Абд-Эль Сауд перестал щуриться, опустил глаза к ногам и чуть заметно улыбнулся. Сначала смех прятался у него где-то в горле, под кадыком, но потом вырвался наружу: старейшина захохотал. Засмеялись и окружавшие его. Только Миротворцев, не понявший ни слова, удивленно смотрел то на Сауда, то на Ивана, то на своих конвоиров.

Отерев слезы, старейшина кинул под язык катышек зеленого табака и, ловко подломив ноги, опустился на землю. Покачал головой, снова отер пальцами под глазами и спросил Ивана:

— Где твои крылья, ласточка? Да и по тебе не видно, чтобы ты одним цветочным медом питался.

— Мы же не сидели с тобой у одного костра, — возразил Иван, — ты не знаешь моей пищи, так же и я твоей.

Абд-Эль Сауд обернулся к маленькому старику, по-видимому его помощнику и доверенному.

— Пусть Ваззах заколет барана, — попросил он.

Почти не разжимая рта, Виткевич сказал Миротворцеву:

— Вроде все в порядке: сейчас будет завтрак.

— Ты что сказал ему? — строго спросил Абд-Эль Сауд.

— Я сказал своему другу то же, что ты сказал своему.

— А...

Помолчали. Старейшина выплюнул табак, закашлялся. Кашлял он надрывно и долго, по-видимому для того, чтобы выиграть время и получше понять своих собеседников.

— Судя по твоей сказке, — промолвил он наконец, — у осы теперь нет жала?

— На свете не так много ласточек, чтобы выклевать все осиные жала, — ответил Иван.

— Ладно. Я понял то, что мне надо было понять, — ответил старейшина, — пусть ос много, пусть ласточек мало. Пусть. Но где же наша вода?

— Воду мы вам вернем. Только бы нам повстречаться с теми осами...

— Поздно. Они улетели. Сейчас их не догнать. Кто они, эти осы, сказать трудно, но догадаться можно. Они не нашей веры. Они вашей веры. Рисунок на том ружье, которое они мне подарили, — интересный рисунок, и среди фигур, сделанных на серебре рукой мастера, есть фигура женщины — греховного созданья.

Абд-Эль Саид обернулся к маленькому старику. Тот сразу же понял взгляд старейшины и пошел в ближайшую

юрту. Он вернулся, держа в руке большое красивое ружье. Миротворцев принял его из рук Абд-Эль Сауда, быстро осмотрел и широко улыбнулся Виткевичу.

— Ну, что я говорил?

Он ткнул пальцем в серебряную планочку, на которой были выгравированы три слова: «Made in England».

Узкое поле, стиснутое громадными спинами желтых скал, было скорее похоже на пересохшее русло реки, нежели на такое поле, которое привыкли видеть россияне. Только земля здесь резко отличалась по цвету от всего окружающего. Черная, жирная, она казалась островком здесь, в царстве желтых скал, серых кустарников и белого неба.

Миротворцев стал на колени и принялся руками рыть яму прямо посреди поля. Рыл он недолго: вскоре пальцы уперлись в каменную плиту.

— О, черти! — сказал Миротворцев восхищенно. — Земля-то приносная, нездешняя. Они поле сами на камнях сделали.

Иван недоверчиво покачал головой. Миротворцев рассердился.

— Вы, изволите ли видеть, восточник блестящий, тут с вами спора нет, но в землице я получше вашего разбираюсь. Да вы у них спросите, так-то верней будет.

Иван спросил. Абд-Эль Сауд сощурился и сделал вид, что вопроса не расслышал. Иван повторил еще раз. Тогда старейшина улыбнулся:

— Твой друг говорит верно. Мы взяли немножечко земли из-под Оренбурга, когда ходили к вам с караваном. Совсем немного взяли, вас не обидели. А себе, видишь, поле какое насыпали... Ты только не сердись — у вас земли много. Если вам камень нужен — берите в наших горах сколько возьмете, не жаль.

Когда Иван перевел слова старейшины Миротворцеву, тот поднялся с колен и поцеловал Абд-Эль Сауда в губы.

— Люблю, когда дело хорошо делают, — сказал Миротворцев Ивану, — просто слеза прошибает, ежели настоящий труд вижу. Я до труда жаден и уважителен.

Вдруг, сразу посерьезнев, Миротворцев попросил Виткевича:

— Спросите-ка у них, Иван Викторыч, почем барана они торгуют?

Абд-Эль Сауд рассердился:

— Не утерев слез, спрашивать о цене скота — так только ваши люди могут.

— Ну ладно, — виновато улыбнулся Миротворцев, — сейчас ключ отыщем, тогда и спросите, а то и впрямь неловко вышло.

Ключ оказался хитрым, как англичанин. Миротворцев мучался целый день, исходил склоны гор, залезал под каждый камень, но воды как не бывало. На глазах поле из черного сделалось сначала желто-серым, а потом пепельным.

Мир, установившийся между экспедицией и киргизами благодаря выдержке и такту Ивана, грозил вот-вот смениться взрывом вражды: обещанной воды до сих пор не было. К тому же зной стал еще более сухим, и Абд-Эль Сауд ощущал его не только телом, привыкшим к подобной жаре, но и разумом, пониманием того, что с каждым часом все меньше и меньше оставалось возможности сохранить посевы.

Сначала Миротворцев шутил, хитро подмигивал насупившемуся Абд-Эль Сауду, потом шутить перестал, только изредка улыбался и успокаивающе кивал головой хмурым киргизам, которые не отходили от него ни на шаг.

С тех пор как начались поиски, прошло часов восемь.

— Я уже начинаю сомневаться, — сказал старейшина Виткевичу, — кто оса, а кто ласточка. Ты растолкуй это своему другу. Если до завтрашнего утра воды не будет — я знаю, что нам надо делать.

Когда Виткевич перевел эти слова Миротворцеву, тот заметался по полю и по склонам гор, словно гончая, безнадежно потерявшая след русака.

— Сукины дети, ни черта не понимаю, — выругался полковник и растерянно посмотрел на Ивана.

Виткевич видел его таким впервые.

— Скажите, — спросил Иван, — а можно ли искусственно остановить ключ?

Миротворцев досадливо поморщился.

— Опять вы свое гнете, Иван Викторыч. Знаю я англичан, знаю, на что они способны, да только ключ у киргизов забирать — не их дело, поверьте.

— Вы знаете англичан по Англии, а я знаю их по Азии. Это большая разница.

— Ерунда, — махнул рукой Миротворцев и начал хлопать себя по карманам, разыскивая кисет с табаком.

— Старейшина, скажи мне, — обратился Иван к Абд-

Эль Сауду, — а вода пропала после того, как улетели осы, или при них?

— Нет, — ответил Абд-Эль Сауд, — они ушли вечером и сказали, что вода пропадет утром, оттого что здесь поблизости вы. И утром вода пропала.

— А ну, коней! — закричал Виткевич и оскалился в холодной, не его усмешке. — Они хитры, а мы тоже не лыком шиты...

После часа бешеной скачки по крутым горным тропам Виткевич остановил коня. Скакавшие следом за ним всадники закричали злыми голосами, сдерживая красноглазых лошадей, покрытых стружками белой мыльной пены.

— Куда они пошли отсюда? — спросил Иван.

— Сверни влево. Они шли по той тропе.

Конь выкатил глаза, захрипел, повернулся, став на задние ноги и, пришпоренный Иваном, понесся вперед, упрямо согнув голову.

Маленький ручеек, уходивший в гору, — исток ключа — был перекопан, засыпан камнями, а вода сворачивала и шла по другому каналу, тоже выкопанному совсем недавно. Когда всадники спешились и раскидали камни, загораживавшие ход воде, когда они засыпали только что вырытый арык, ручеек в растерянности заметался, а потом кинулся по старому руслу и сразу же исчез под горой.

Всадники вернулись в селенье поздно ночью. Встретил их веселый говор, песни, крики женщин, которые тащили к кострам муку, чтобы печь лепешки, визг малышей, катавшихся верхом на маленьких жеребятах. Всадников встретила жизнь, которая всего час тому назад была на грани гибели. Поле из пепельного вновь становилось черным, жирным. Из ключа била вода — жизнь пустыни.

Поздно ночью, уже после праздничного обеда, Абд-Эль Сауд сказал Виткевичу:

— Ну-ка, сын, переведи своему другу, что стадо баранов стоит у нас десять рупий в серебре. Но ему я отдам десять стад по пяти рупий за каждое. Если он умеет торговать — скажи, что отныне я буду ходить с караванами и стадами только в Оренбург. А к тем, из Индии, — они тоже звали меня и тоже спрашивали о цене барана — я ходить не буду. Ни я, ни кто другой из наших степей не пойдет к ним, потому что их хитрость — кровавая хитрость.

Когда Иван перевел слова старейшины Миротворцеву, тот даже задохнулся от волнения. Он сбегал к казакам, достал из тюков два ружья, огромный отрез ситца, два зеркала и все это положил к ногам Абд-Эль Сауда. Старейшина поблагодарил Миротворцева и посмотрел на себя в зеркало. Рассмеялся.

— Еще раз спасибо тебе, друг, только эту штуку забери обратно.

— Почему? — удивился Миротворцев.

— А потому, что если люди племени увидят меня таким, каким я увидел себя в вашем блестящем озере, они перестанут уважать меня. Разве можно уважать людей с плешью на бороде?

Миротворцев решил польстить старику и попросил Ивана перевести:

— Надо, чтобы сердце не было плешивым, тогда плешь в бороде не страшна.

— Умный ты человек, — ответил Абд-Эль Сауд и с сожалением посмотрел на Миротворцева, — а таких простых вещей понять не можешь: в сердце-то плеши не видно, а на лице она словно монета.

Зеркала старик так и не взял. Прощаясь, он снова пообещал Миротворцеву, что осенью приведет в Оренбург много караванов на торговый двор.

Когда Иван остался вдвоем с Миротворцевым, полковник попросил:

— Взгляните, Иван Викторыч, я здорово поседел?

— Да вроде нет, — засмеялся Иван.

— Вы не смейтесь, друг мой, — устало произнес Миротворцев, стягивая с себя сюртук, — мне сегодня не до смеха было. Перетрусил я отчаянно. Спасибо вам — спасли.

Он лег на свой плед, вытянулся, хрустнул пальцами.

— Все. Вернусь в Оренбург — и в отставку. Один раз для дела рискнуть — хорошо. Два — глупо. Давайте-ка и вы, Иван Викторыч, в отставочку, а? Я добьюсь для вас. И — ко мне, Востоком командовать...

— Нет, Иван Никодимович, я в торговцы не гожусь.

— Годитесь. Вы зоркий.

— Нет, спасибо еще раз, только я здесь останусь, в Оренбурге.

— Ничего не понимаю, — сказал Миротворцев, зевнув, — особенный вы какой-то человек. Ну, да бог с вами, спокойной ночи.

Засыпая, он пробормотал:
— Ах, британцы, сукины дети!..

Назавтра экспедиция Миротворцева отправилась в Оренбург.

Из отчета Оренбургского генерал-губернатора за 1835 год:
«...Между тем справедливость требует сказать, что прикомандированный к отряду полковника Миротворцева, ушедшему на исследование степей, прапорщик Виткевич, вполне освоивший себе язык и обычаи киргизов и в течение десятилетнего пребывания в краю коротко спознавшийся со свойствами и потребностями этого народа, весьма много способствовал к достижению желаемого убеждениями и личным объяснением с... народом», — так писал Василий Алексеевич Перовский о том, что сделал Виткевич во время экспедиции в степи.

5

Перовский был смелый политик. Он отдавал себе отчет в том, что Бухара и Хива в современных условиях не могут существовать так, как они существовали раньше: суверенными ханствами, замкнувшимися за каменными стенами и песками пустынь, где отдых, работа, любовь и даже сон определялись не наклонностями и желаниями человека, но догматом мусульманской религии и волей ханов, наместников Мухаммеда на земле.

Время шло, бурно развивалась английская текстильная промышленность, а российская пыталась, в чем возможно, догнать ее. Индийский рынок удовлетворял англичан, но среднеазиатские ханства были словно бельмо на глазу, словно пустое место за прилавком рынка. А природа пустоты не терпит, место должно быть занято. Или британцами или русскими. Другого выхода не было.

Дерзкие акции англичан в Средней Азии не проходили мимо зорких глаз оренбургского генерал-губернатора. И если Иван Виткевич мыслил свою поездку в Азию как просветительную и научную, как посильную помощь киргизам и узбекам в их национальном становлении, то Перовский думал значительно дальше, а потому суровее. Дальновидность всегда сурова и не терпит никаких недоговоренностей.

Перовский, мысливший категориями государственными, в душе отрицал Ивановы романтические, как ему казалось, планы. Но, будучи человеком умным, добрым и тонким, он за то время, пока Виткевич работал при нем, сумел изучить своего помощника и прийти к выводу, что в отношениях с ним нельзя рубить сплеча. Перовский прочил Ивану блестящее будущее ученого: лингвиста, историка и географа. Он называл его будущим «российским Гумбольдтом».

Поэтому, вызвав Виткевича для беседы об экспедиции в Бухару, которая давно уже назрела, а теперь, после последних акций англичан, стала попросту необходимой, Перовский ни в коей мере не хотел ему дать понять, каковы истинные ее цели. О предстоящем походе в Бухару Перовский думал часто, но никого ни одной живой души в помыслы не посвящал.

Посмеиваясь, поглаживая себя по животу, затянутому корсетом, — Перовский очень следил за фигурой, — губернатор щурился, весело посматривал на Ивана и молчал.

Виткевич тоже молчал и тоже весело щурился.

Потом Перовский остановился около стола, достал из ящика лист бумаги и небрежно бросив его перед собой, закрыл ладонью.

— Танцуй, Иван Викторыч, — сказал он.

— Не учен, ваше превосходительство.

— А ты русского... Тут учебы не надобно: ногами шаркай да руками маши.

Не поднимаясь со стула, Иван два раза неуклюже дрыгнул ногами. Перовский засмеялся.

— Ну что ты, Иван Викторыч, — сказал он, качая головой. — Придется мне тебя в Россию отвезти, к себе. Там девки ногами такое выкомаривают, ой люли! Ладно. Читай! — и он поднял ладонь с листа бумаги.

Виткевич прочитал первые строки и вскочил. Лицо его сделалось радостным, сияющим.

— Рот закрой, муха влетит, — сказал губернатор.

В рескрипте было написано, что прапорщику Ивану Викторовичу Виткевичу надлежит отправиться в Бухарию.

— Василий Алексеевич! — воскликнул Иван. — Да как благодарить мне вас?!

— Как хочешь, так и благодари, — ответил Перовский.

Помолчал, а потом, сразу став серьезным, начал говорить:

— Ты, Иван Викторыч, будешь первым в Бухаре, кто знает языки, нрав и обычаи азиатов. Ты будешь первым, кто сможет России правду о Бухаре рассказать — побасенки

слушать надоело. Мне надобно о Бухаре все знать, чтоб свои выводы делать.

Широко расставив ноги, Перовский остановился около окна. Глядя на его широкую спину, на крепкий затылок и красную, изрезанную проволочками морщин шею, Виткевич негромко спросил:

— Василий Алексеевич, а в качестве кого я отправляюсь в Бухару?

Перовский поднял левую бровь, сощурился. Он ждал этого вопроса и готов был на него ответить.

— Ты едешь моим агентом.

— Агентом военного губернатора?

— Да, военного губернатора. Но такого губернатора, который интересуется не только протяженностью караванных путей, колодцами и хижинами для ночлега, не только ценою на верблюдов и коней, не только иностранцами, торгующими с азиатами, но духом народа, соседствующего с Россией. Духом! И потом я посылаю человека, в которого я верю как в ученого и к которому отношусь с чувством истинно отцовским. А как любой отец, дающий сыну многое, — медленно, чеканя каждое слово, продолжал Перовский, — я жду от тебя подтверждения действием доброго ко мне отношения.

Сказав так, Перовский лишил Ивана возможности возражать и спорить. Он давал Виткевичу возможность заниматься во время путешествия тем, чем тот считал нужным. Но одновременно требовал и того, в чем сам, как человек военный, нуждался.

— Посуди сам, Иван, — сказал он, подойдя к Виткевичу, — сколь многое я тебе разрешаю, на что carte blanche* выдаю. Пользуйся. Вернешься, напишешь книгу, Пушкин в «Современнике» напечатает, я порадуюсь.

Снова отойдя к окну, Перовский бросил кратко:

— Ступай, Виткевич, да хранит тебя бог. Ступай.

6

И по осени, переодевшись в костюм хивинца, Виткевич снова отправился в Бухару, но уже не как беглец, а как исследователь Азии, доверенное лицо генерал-губернатора Перовского.

---

* Полная свобода действий, буквально — белая карта *(фр.)*.

Но прошло полгода, истекли все сроки, а Виткевич в Оренбург не возвращался. Человек пропал, канул в воду. То ли в степях погиб, то ли в Бухаре погиб. А может, и не погиб вовсе. Но почему не возвращается? Когда Перовский начинал думать об этом, у него портилось настроение.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Виги и тори во время прений в палате общин Великобритании произносили блестящие речи. Виги и тори в палате лордов, отговорив свои речи, выходили на улицу и тут же оправлялись на окраины Лондона драться на дуэли. Даже легендарный Веллингтон, несмотря на славу и преклонный возраст, дрался с лордом Винчельси после того, как не смог найти общего языка со своим политическим противником в здании Вестминстерского дворца.

В 1816 году Стефенсон употребил свой первый локомотив для перевозки угля. В 1825 году его локомотив перевозил не только уголь, но и пассажиров с поразительной скоростью: 8 миль в час. Через десять лет Стефенсон настолько усовершенствовал свое изобретение, что паровоз развил 35 миль в час. Развитию нужны скорости, Стефенсон давал скорость.

Король Георг IV обвинил свою монаршую супругу Каролину в прелюбодействе. Каролина умерла. Лондонцы устроили ей торжественные похороны.

Британские фабриканты понизили заработную плату до минимума и поставили рабочих в условия, близкие к рабству. Девятилетние мальчики работали на шахтах, впряженные в угольные тележки. Дети стоили дешевле лошадей.

Лорд-канцлер палаты лордов Великобритании сидел во время заседаний и пылких речей о всяческих свободах, а равно и о всяческих притеснениях — Англия страна де-

мократическая, конституционная — на подушечке, набитой шерстью, чтобы лишний раз подчеркнуть значение этой отрасли промышленности для Англии.

Сокрушая все на своем пути, капитализм развивался в Великобритании, несмотря на дуэли и прелюбодейства. Все эти романтические аксессуары не мешали развитию капитализма, да и не могли помешать.

Но в определенные исторические моменты даже такому напористому и стремительному, несмотря на внешнее англиканское спокойствие, капитализму, как капитализм британский, нужны были и прелюбодейства императриц, и дуэли герцогов, и двусмысленные эссе политиков. Но особенно нужны были речи. Не только для того, чтобы смаковать за десертом тот или иной каламбур лидера вигов. Выступления политических деятелей были призваны ускорить формирование общественного мнения. Прикрываясь надежным щитом «общественного мнения», прикрываясь громкими патриотическими криками, было легче лить кровь людей, завоевывая рынки для шерсти и свинины в Ирландии, Египте, Турции, Персии. В Индии.

В Индии.

В Индии.

«Смешно считать реку границей, — начинали писать в газетах опытные журналисты. — Река разделяет разделенное ранее. Граница по реке — несправедливая граница».

О чем это? О какой реке? О какой границе? Англии? Шотландии? Нет. Речь шла об Индии. Об английских владениях в Индии.

«Граница нации — святая святых человеческого достоинства. Соблюдение границ — выражение уважения к патриотическим чувствам миллионов людей. Итак, граница Индии — за Индом».

Говорилось красиво.

Понимать следовало: «Английские фабриканты должны торговать не только с Индией, но и со Средней Азией».

Торговать, конечно, беспрепятственно, без всяких пошлин.

Восклицалось патетически: «Россия — главная угроза Англии на Востоке. А в Индии — особенно».

Понимать следовало: «Необходимо оттеснить Россию от Средней Азии возможно дальше».

Смешно же было, в самом деле, считать феодальную, отсталую Россию конкурентом Англии в делах индийских Россия никак не могла управиться с турецкими и кавказскими делами (не без «помощи» англичан, конечно).

Наступление — основа победы.

Обвинив первым — имеешь право первым и ударить.

Так обвиняй!

И Англия обвиняла.

Правда, первой жертвой этого обвинения, облеченного пока что в формы вежливых дипломатических бесед, решительных шпионских акций и банковских замораживаний, оказалась не Россия — с таким возможным противником все-таки следовало действовать осторожно. Как-никак стомиллионный медведь; Наполеон и тот ожегся. Первой жертвой на пути английского наступления оказался Афганистан, страна сильных и смелых людей. В зоне Среднего Востока очень много значит, какую позицию занимает Афганистан. Больше всего англичанам мешала независимость афганцев. Больше всего англичан не устраивала самостоятельная, гибкая, энергичная, умная политика эмира Дост Мухаммед-хана, человека необычайно дальновидного и решительного.

Впервые после основателя афганского государства Ахмед Шаха Дюррани Дост Мухаммед обеспечил свободу торговли купцам, изничтожил разбойников на караванных путях, дал льготы ремесленникам и создал регулярную армию. Таким образом, он давал «дурной» с точки зрения англичан пример раздробленным индийским государствам.

Англичане повели наступление на Дост Мухаммеда обычным своим методом задабривания и запугивания одновременно. Эволюция такой политики была примерно следующая: легкая угроза — предложения субсидии — попытка организации бунта внутри государства — новые предложения субсидии — война.

Дост Мухаммед видел, что круг сужается. Он пытался договориться с англичанами о том, чтобы его страну оставили в покое, обещав за это абсолютный нейтралитет. Такое положение не устраивало британцев. Узел затягивался все туже и туже.

Оценив обстановку, Дост Мухаммед отправил в Россию своего посла Хуссейн-Али с письмом к русскому министру иностранных дел.

Хуссейн-Али отправился в Бухару в конце 1835 года с тем, чтобы в начале лета прибыть в столицу России.

2

Именно поэтому и задержался Виткевич в Бухаре. Вернее — но и поэтому. Так как задержался он в Бухаре не по своей воле, а по нелепой случайности как раз за несколько часов до приезда сюда афганского посла.

Виткевич провалился по своей вине. Не сними он в чайхане меховой шапки, ни за что не признал бы его беглый конокрад и насильник Ванька Сапожнов, сбежавший из Орска прошлой осенью, а сейчас прижившийся в Бухаре. Он зарабатывал большие деньги тем, что фискалил среди русских пленников, томившихся в Бухаре многие годы.

Когда Иван снял шапку, на него никто не смотрел, кроме Ваньки. Виткевич сразу же одернул себя и надел шапку. Если бы смотрел кто другой, а не Ванька, все бы обошлось спокойно.

«Забылся», — думал Иван, стоя по колено в воде. Тут, в бухарской тюрьме, камеры не то что в России: на полу по колено вода, сесть некуда. Да это еще слава богу! Здесь водятся такие казематы, где насекомых тьмы несметные специально разведены. Вот там истинная мука. С ума люди сходят через день.

«Ах ты, сволочь! — подумал Иван с гадливостью. — Белобрысый, сукин сын! Мерзавец! Своих продавать...»

Ивана успокаивало только то, что он успел плюнуть в лицо Сапожнову и ударить носком в мужское место. Иван хотел его еще раз туда же, да так, чтоб тот потом мог в скопцы наняться в эмиров гарем, но не успел: на руках и на шее повисли сразу четыре человека. Иван напрягся, ринулся вперед, сбросил двоих, отцепил того, который повис на шее, и кинулся к подоконнику. Он хотел выпрыгнуть в окно, там через дувал* сразу же на базаре окажешься. На базаре не страшно: там десятки тысяч людей, и найти одного среди всех невозможно.

Стражники, приведенные Сапожновым, стояли у дверей в растерянности: никогда еще такого не было, чтобы эмировым слугам сопротивление оказывали.

Ивану осталось до окна метр, не больше. Но в этот последний миг Сапожнов, отлетевший от удара, поднялся на карачки и схватил Ивана за сапог, когда тот прыгал на подоконник. Иван упал. Это решило все. На него

---

* Глиняный забор.

набросились и связали по рукам и ногам. Потом оттащили в тюрьму.

Когда Ивана бросили в камеру, он даже рассмеялся. За двадцать шесть лет жизни — три раза в тюрьме. Не слишком ли много? Только раньше был в своих тюрьмах. А тут тюрьма чужая.

«Что же делать, что же делать?» — думал Иван. Фраза эта, часто повторенная в уме, стерлась, потеряла свое значение, и от нее теперь осталось только одно жужжание: «же, же, де, же, же ть!»

Это «жже, же, ть» постепенно строилось в другое слово: «бежать».

Конечно, бежать. Но как? Отсюда не очень-то сбежишь.

Иван беспрерывно ходил. Ноги устали, хотелось сесть. А садиться в воду нельзя. И он снова ходил из угла в угол, сведя брови к переносью. То и дело подносил пальцы к губам: хотелось грызть ногти. Нельзя. Аннушка. Обещал не грызть. Не будет грызть.

Еще в Орской крепости, воспитывая Садека, Иван дал себе слово быть во всем предельно искренним с восточными людьми, которые по натуре своей доверчивы, как дети. С тех пор он никогда не обманывал ни одного азиата даже в самых трудных ситуациях.

Но сейчас он решил отступиться от правила. Подошел к двери, постучал кулаком. Никто не ответил. Постучал сильнее. Снова никто не ответил. Тогда Иван закричал:

— Дело к эмиру!

Приник к скважине, прислушиваясь. Шаги нескольких людей. Подошли к двери. Начали переговариваться о чем-то тихо, сдавленными голосами. Потом спросили:

— Ты кто?

— Англичанин. Везу к эмиру дело от моего короля.

За дверью снова зашептались.

— Давай дело.

Иван улыбнулся.

— Только эмиру отдам. Вам не отдам. Только в благословенные руки его величества, отца правоверных, тени над головой моей... — и он в течение минуты, не меньше, давал такие роскошные титулы эмиру, что стражники не могли не поверить человеку, знавшему столь хорошо все в обращении с именем их владыки.

С самого начала этой своей затеи Виткевич плохо верил в удачу. Виданное ли дело: для успеха задуманного им надо было, чтобы его повели по городу, во дворец. Он подсчитал, что схватили его часов в пять. Часов пять он

пробыл в тюрьме. Значит, сейчас десять вечера. Уже темно. Самое время для побега.

Когда дверь открылась и ему протянули руку, чтобы он поднялся из воды в сухой коридор, Иван начал чуточку верить в удачу. А когда четыре стражника повели, скрестив перед его грудью пики, Иван понял, что имеет один шанс из ста на побег. Это уже очень много. Перед выходом из ворот тюрьмы он сбросил тяжелые мокрые сапоги.

— Зачем? — спросил его старший из стражи.

— Идти больно, — ответил Виткевич, — у меня ноги ломаные.

Стражник подумал секунду, а потом кивнул головой.

Пошли.

Идут по тихим улицам. По темным улицам. Грудь скребет сталь пики. Впереди поворот в переулочек, маленький и темный. До него остается шагов двадцать.

Десять.

Пять.

Иван схватил пики, поднял их над головой и швырнул назад с силой. Стражники, не ожидавшие этого, налетели на тех двух, что шли позади. Не оглядываясь, Иван стремительно бросился вперед, свернул в переулок и понесся. За спиной он услыхал сначала крики, а потом приближавшийся топот.

Снова поворот. Сюда? Нет. Дальше.

Вот еще один переулок. Может быть, сюда? А вдруг тупик? Нет, сюда!

Иван стремительно повернулся всем корпусом, скрылся в переулке и тут же налетел на человека. Оба упали. Человек закричал страшным голосом и схватил Ивана за горло.

3

Приехав в Бухару, Хуссейн-Али занемог. Он остановился в караван-сарае не как посол, а как простой путешественник, чтобы не вызывать любопытства. Устроился в маленькой комнатке, в той, где всегда останавливались купцы средней руки. Его спутник лег спать в общей комнате, чтобы не мешать отдыху посла.

Хуссейна-Али знобило. Он натянул на голову одеяло и, прикрыв рот рукой, дышал себе на грудь, стараясь хоть как-нибудь согреться. Знобило сильней и сильней.

Постучались в дверь. Посол слабо откликнулся:

— Войди и будь моим гостем.

Дверь отворилась, вошел молодой перс, поклонился, поприветствовал посла, быстро огляделся по сторонам и, убедившись, что Хуссейн-Али в комнате один, вышел.

Этот молодой перс был тем самым человеком, который столкнулся полчаса тому назад с Виткевичем в переулке. Испугавшись, он схватил Ивана за горло, решил, что это грабитель. Но, приблизив к себе лицо, он разжал руки и воскликнул по-русски:

— Иванечка!

То был Садек. Тот самый маленький Садек, который жил у Ивана в Орске и которого он потом отпустил на родину. Садека не нужно было учить сообразительности: он толкнул Ивана в ворота, сам бросился на середину улицы и начал биться в судорогах. Таким его застали стражники, прибежавшие сюда через минуту.

— Туда! — заскричал Садек, показывая рукой в ворота, противоположные тем, где спрятался Иван. — Он побежал туда!

Стражники ринулись в ворота. Садек сел, прислушался и по-кошачьи тихо шмыгнул к Ивану. Они обнялись и расцеловались.

А через полчаса, достав для Ивана новую одежду, Садек привел его в караван-сарай, к Хуссейну-Али. Он не знал, кто этот человек, но понимал, что путь он держит в Россию. С ним-то Садек и намеревался пристроить Ивана.

Высокое небо было освещено белым острием луны. Иван шел следом за Садеком по двору караван-сарая. Лошади хрупали сено. Сонно вздыхали верблюды, тоскуя о воле. Где-то кричали куропатки: днем они выступали в боях, а ночью переживали радость побед или горечь поражений. Мирная птица, а поди ж ты, и ее люди к боям приучили...

Садек ввел Ивана в комнату Хуссейна-Али, поклонился послу и вышел. Выходя, он сказал негромко:

— Это ваш друг. И пусть те, кто будет спрашивать, верят, что это действительно так. Вы просили проводника в Россию. Это он.

Садек был толмачом в караван-сарае, и посол еще утром вскользь попросил его о человеке, который знает дорогу к москалям.

4

Сначала они прощупывали друг друга быстрыми, на первый взгляд ничего не значащими вопросами. Посол сразу же увидел, что его новый сосед не мусульманин. Но, с

другой стороны, он настолько хорошо говорил по-персидски и так любопытно на пушту*, что посол начал колебаться в своей уверенности.

Потом они разговорились.

Под утро они были почти откровенны друг с другом.

— Вы много говорили мне о той опасности, которая угрожает вашей стране со стороны Англии. Но какая разница, Англия или Россия?

— О родине так нельзя говорить. Так даже думать о ней нельзя. Я стар, я болен, я чувствую приближение своего часа. Но видишь — я еду. Лежа еду. Почему? Потому, что мне так велит родина. А разница между Россией и Англией в том, что русские не требуют от нас тех позорных условий, которых требуют англичане. Русские не лезут в наш дом, а англичане подобны рыночным ворам. И это больно афганцу. Больно и обидно за родину свою.

Высохший высокий старик привстал на локтях и посмотрел на Виткевича лихорадочными глазами. Потом он опустился на постель и начал хрипло шептать тихие, исполненные нежности слова любви к своей стране.

Виткевич вздрогнул. Вдруг что-то огромное и радостное, словно вихрь, вошло к нему в сердце. Он вспомнил товарищей своих по «Черным братьям», Тимофея Ставрина, Песляка, Веденяпина, Яновского, студеные зимы и тихие летние вечера, Анну. Он вспомнил родину. Он вспомнил всех тех, кто делил с ним вместе тяготы, а в тяготах — радости.

— Мы едем в Оренбург ранним утром, — медленно проговорил Виткевич и, не попрощавшись с послом, пошел к двери, на улицу, смотреть рождение утра.

— Пы мыха ди ха**, — вслед ему сказал посол, положил под язык щепотку табака и надрывно закашлялся. Закрыв глаза, он подумал: «Хитер русский». Теперь посол был твердо уверен, что его спутник — русский. «Отчего же он тогда побледнел, если не оттого, что увидел свою родину, когда я заговорил о моей?»

Даже дипломат не может говорить о родине спокойно.

---

* Государственный язык Афганистана.

** Будь счастлив *(афг.)*.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Неожиданное возвращение Виткевича вместе с афганским послом, доверенным лицом эмира Дост Мухаммеда, произвело в Оренбурге впечатление, грому подобное.

Сначала Перовский оцепенел от радости. Потом объявил Ивану свой восторг, как всегда, бурно. Губернатор увез Виткевича и Хуссейна-Али к себе домой, и там, запершись в кабинете, они проговорили часа четыре кряду. Когда беседа закончилась, Перовский сказал Ивану:

— Два дня на отдых, а потом в Санкт-Петербург. К канцлеру Карлу Васильевичу Нессельроду. — Губернатор улыбнулся и добавил: — Эк мы им, столичным, нос утерли, а?

2

День, который Перовский дал Ивану на отдых, он решил использовать на то, чтобы повидаться с Песляком.

Характер Алоизия Песляка походил на характер старого деда, который, отрешившись уже от своего собственного, личного, радуется лишь успехам внуков своих. Песляк два раза дрался на дуэли, был лихим наездником, спас от пожара трех людей, рискуя собственной жизнью, и в отличие от Ивана мог выпить столько греховного зелья, что другим и не снилось. Никак нельзя было подумать, что в этом храбром человеке, несколько суровом с виду, столько мягкости душевной и доброжелательства к окружавшим. Виткевич очень ценил дружбу Песляка. Дружба эта была проверена и учением в гимназии, и сидением в одной тюрьме, и одним приговором, и ссылкой в одну и ту же губернию, и ссорой, запомнившейся приятелям на всю жизнь. Случилось это за несколько дней до второго похода Ивана в Бухару. Он зашел к Песляку на минуту за одним из своих словарей, а засиделся до петухов, а разошлись друзья разъяренными, аж красноглазыми стали от горячей шляхетской крови, гордыней исполненной.

— Человек должен быть доброжелателен, — говорил тогда Песляк, — а тот, кто занимается философией, языками или историей, — особенно. Отчего, спрашиваешь? Да оттого, что если к человеку с добром идти, так и он добреет. А в доброте легче увидеть, что, зачем и почему. Но не в гневе или предвзятости. Ты, Иван, смешной человек: все пони-

маешь, ко всему сердцем да умом тянешься, а вид на себя такой напускаешь, что все разбегаются, тебя завидев. Кто тебя знает, те прощают или не обращают внимания. А незнакомые, которым ты неизвестен? Как с ними? Как они на тебя смотрят?

— Что же, по-твоему, должен я с лицом добродушного болвана ходить и слюни пускать? — огрызнулся Иван.

Он ответил так грубо именно потому, что слова Песляка задели его за живое. Виткевич понимал, что нельзя, ну, никак нельзя свою пережитую боль как-либо, даже и внешним поведением, навязывать окружающим людям. Но, как ни старался он себя сломать, ничего у Ивана не выходило, а если выходило, то чрезвычайно слабо.

Песляк поморщился, но ничего не ответил резкого. Наоборот, продолжал еще более ласково и дружески:

— Иван, нельзя так: что ни слово, то с шилом. Тебе, вижу я, и самому все это претит.

Но Виткевич был весь напряжен, натянут, словно нить: тронь — порвется. Впереди был поход в Бухару. Иван не сдержался, нагрубил Песляку. Расстались не попрощавшись.

И вот сейчас, обнимаясь, рассматривая друг друга и снова обнимаясь, они прятали в глазах слезы и не могли вымолвить ни слова.

Человеку уезжавшему всегда кажется по возвращении, что за то время, пока он отсутствовал, произошло столько же нового и интересного *здесь*, сколько он пережил *там*. Поэтому Иван засыпал Песляка самыми неожиданными и разнообразными вопросами. Потом, выслушав столь же беспорядочные ответы друга, Иван рассмеялся и сказал:

— А за то — прости. Глуп я был тогда, как жандарм.

Песляк махнул рукой: мол, пустяки, не стоит об этом.

— Алоизий, друг мой хороший, что я видел — описать словами никак невозможно! Это сказки детства и сны юности! Это такая красота, Песляк! Луна на изразцах, на голубой глазури, которой минареты выложены, так по ночам играет! В этом века, Македонский, Тимурленг. Там дышишь пылью столетий, — Иван рассмеялся, — а пыль, надо сказать, въедливая, злая, глаза жжет. А люди? Ежели в Бухаре, в центре города, глаза прикрыть до постоять так минуту, прислушиваясь, кажется, будто море шумит. Правда, я море с детских лет помню, но не ошибаюсь, когда говорю так. Море, истинное море! То грозное, то тихое, ласковое... И — нищета. Бог мой, какая там нищета! Болезни, голод. У людей животы к позвоночнику прирастают, кожа прозрачная делается — через нее солнце просвечивает

желтизною. Но ум, ум какой! Смекалка! И рядом — дикость. И знаешь, что интересно? Я впервые в Бухаре славянином себя почувствовал. Вместе, в одном: я поляк, Тимофей русский, Зенченко хохол — все мы славяне. Одно племя!

— Ну да, — кивнул головой Песляк, — и русские своих единоплеменников секут, три шкуры, по-солдатски говоря, спускают, и хохлы и поляки в этом не отстают...

Иван забегал, принялся махать руками.

— Маслов не Россия! Розен не Россия! Тимофей Ставрин — Россия. Темная, добрая, светлая, сердитая! Но в ней сила, великая сила! И знаешь, я был силой этой силен, смекалкой хитрющей славянской спасен, из смерти вырван. Я вижу, удивляешься ты. Правильно! Все будут удивляться. Все, кто там не был да нашего с тобою не пережил. Помнишь, говорил ты: «Доброжелательным быть надобно». Да, да, да! Умница, Песляк, прелесть! Один за одного? Ерунда! Один за всех — надорвешься, килу наживешь. Все за всех? Может получиться. Перовский надо мной смеется: «Пестеля, — говорит, — в Оренбурге прячу». А ты понимаешь меня, Песляк?

— Не понимаю, — ответил тот, — но все же верю. Я тебе всегда верить привык, Иван.

За окном пели:

Ах, Урал-д-река, широкая,
Широкая, глубокая...

Виткевич не умел петь. Но сейчас, подойдя к двери, распахнул ее широко и стал подпевать, отчаянно перевирая мотив.

В раскрытых окнах — ночь. Темная, но уже несущая в себе мягкие, чуть заметные тона рассвета. Ибо всегда следом за ночью приходят свет и солнце.

— Правильно сказано у пророка Исайи, — задумчиво сказал Иван: — «Еще ночь, но идет утро...»

«Сейчас, когда уж нет Ласточкина, я могу бумаге доверить то, чего не доверю даже себе самому, а друзьям побоюсь высказать, дабы не показаться неустойчивым, мятущимся, бросающимся из крайности в крайность.

Раньше говорил: «Польша! Только великая Польша! Ура Польше — единственной любви моей!» Потом, средь русских пожив, одним воздухом с ними подышав, одних горестей хлебнув, говорить начал: «Лишь через свободу в России — свобода Польше. Их дело и наше — одно, общее!»

Кживицкий — бог с ним, он как червь, дань теплу после дождя. А ведь и Песляк, думаю я, не сразу и не наверняка поймет перемену в моих воззрениях.

Я чувствую: как брат старший нужен я азиатам, сынам вершин и просторов. Разбуди меня ночью, скажи: «Иван — в Бухару, Иван — в Кабул!» — сразу все брошу, туда пойду, потому что лекарь стремится к тому больному, которого — верит он — излечить сможет. Для которого — верит он — всегда в его подсумке лекарство нужное имеется.

...Сердце мое иногда бывает похоже на дом, в котором живут три возлюбленные: Польша, Россия и Азия. Как примирить мне их? Как слить в одно целое, как всем им сразу поклоняться?

Видно, прав был Гумбольдт, когда говорил, что великий смысл слова «движение» не понят еще людьми и не сразу понят будет. По-видимому, только движение может объяснить мои искания.

Сегодня нет моему сердцу ничего милей полыни. А завтра — розы всего милее. Верно ли это? И да и нет, но правомочным и то и другое считаю. Фрондер, который поклоняется одному лишь, даже ежели это одно косоглазо, — нелеп, как нелепо и поколение его. Когда от многообразия приходишь к единственно верной убежденности — вот тогда верно.

И если я сегодня люблю полынь, то это отнюдь не значит, что я розу отвергаю вообще, как будто ее и не было на свете. Чем большим окружающим интересоваться буду, любить и остывать в любви своей, тем правильнее окажется тот абсолют, к которому стремится разум любого человека. Важно, чтобы вера была. А с нею — «стучи в барабан и не бойся!».

Виткевич перечитал написанное, подумал немного да и запалил край желтой бумаги пламенем свечи. Через минуту он выбросил пепел в окно, решив: «Алоизий Песляк утверждает, что курам зола и пепел надобны. Вот и хорошо — философствования мои курам на пользу послужат...»

Ивану стало весело и свободно.

Уснул он счастливым и во сне видел жареных окуней.

3

Экипаж остановился около парадного подъезда министерства иностранных дел. Виткевич выпрыгнул первым, протянул послу руку, помогая выйти.

Из проезжавшей мимо веселенькой кареты, на редкость изящной, похожей на игрушечную, высунулась белокурая, прекрасная, еще более красивая, чем раньше, Анна.

— Иван! — закричала она звонко и чисто.

Виткевич бросился к ней, забыв обо всем на свете.

...Ночью, обнимая голову Виткевича своими мягкими руками, она говорила негромко и устало:

— Останься здесь, Иван. Я смогу сделать так, что ты останешься. Помнишь, любимый, ты говорил мне, что твоя мечта быть подле меня, всегда и везде. Ты слышишь, Иван?

Виткевич смотрел в потолок и молчал. За окном деревья шелестели молодой своею листвою. Ночи были быстролетны, стремительны, как любовь.

— Мне очень гадко все это, поверь. Я и могу теперь все, потому что гадко. Ты спрашиваешь, где Яновский... Но я не умею, когда трудно. Не хочу, когда трудно, Иван! Ведь я женщина. Ты слышишь?

Виткевич молчал.

— Ты останешься? — снова спросила Анна.

Ее страшит молчание. Она любит, когда говорят, говорят, говорят без умолку. Тогда лучше. Тогда ни о чем ином думать не надо, кроме как об ответах — таких же пустых и ни к чему не обязывающих, как и вопросы. А он молчит. Молчит, не говорит ни слова.

4

— Ваши друзья о вас лестно отзываются. Это склонило меня к тому, чтобы предложить вам работать под моим началом, в азиатском департаменте, — не глядя на Виткевича, сказал Нессельроде и брезгливым движением руки поправил на столе бумаги.

Виткевич чуть заметно улыбнулся.

— Покорно благодарю, ваше сиятельство. Но работать в учреждении столь высоком, не зная Востока настоящего, не слишком ли большая честь для меня?

Нессельроде быстро взглянул на Виткевича и почесал задумчиво кончик носа. Подошел к маленькому, орехового дерева секретеру и достал оттуда что-то блестящее. Вернулся к столу и протянул Виткевичу орден.

— Поздравляю вас, — сказал канцлер. Помолчав немного, закончил: — Ступайте, я подумаю о вашей дальнейшей судьбе...

Через неделю, облеченный полномочиями дипломатического агента, Иван Виткевич был отправлен через Тифлис и Тегеран в Кабул, ко двору афганского эмира Дост Мухаммеда.

Притулившись в углу темной кареты, Виткевич неотрывно, тяжело думал о будущем. Оно представлялось ему темным, как осенняя дождливая ночь, и таким же грозным.

Вспоминалась почему-то депеша от Перовского, полученная за день до отъезда. Генерал-губернатор писал Ивану, словно сыну, и не уставал в каждой строке предостерегать. Он предостерегал и от болезни, и от плохих людей, и от сырого воздуха.

«Я смотрю сердито, да — с толком. У меня глаз верный, ты меня слушай», — вспоминал Иван слова губернатора...

Иван отдернул занавеску. В карету вошел предутренний холод. В серой далекой дымке громоздились холмы, переходившие постепенно в горы.

«Боже мой, — Иван зажмурился, задохнулся от счастья, — Азия там! Там простор, там — радость!»

Отправляясь в Кабул, Виткевич помнил слова Пушкина о том, что цари умеют делать политическую игру ценою людской крови; помнил он и слова поэта о том, что заниматься творчеством, отбывая службу, дело, непосильное человеческому уму и сердцу.

Иван великолепно помнил слова поэта, но все же назначение в Кабул счел великим благом для себя, для своего труда. Виткевич был убежден, что в Афганистане он сможет быть полезным и русским и афганцам, что его труд — изучение народов Востока, их литератур, обычаев, их языков, их истории — пойдет на пользу потомкам, сблизит внуков афганцев и русских.

Отправляясь в Кабул, Виткевич шел на отчаянный риск. Он ехал в Кабул посланником Нессельроде, Бенкендорфа, Николая. Но, ступив на землю Афганистана, Виткевич перестал быть посланником Нессельроде. Он стал посланником России Пушкина, Глинки, Бестужева, Даля, Ставрина, Жуковского.

Иной России Иван не принимал и представлять соседнему, дружественному народу не желал да и не мог.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

К середине 1837 года Афганистан оказался зажатым с двух сторон цепкими щупальцами британской экспансии.

На востоке от афганской столицы, в Пешаваре и Лахоре, англичане действовали против Кабула плохо замаскированными провокациями. Англичане всячески поощряли индийские племена сикхов к продвижению в Кабул и Кандагар, то есть в исконные афганские земли, и в то же время всячески препятствовали в их продвижении к морю.

На западе от Кабула, в Герате, окопался английский резидент, который и направлял все действия гератского эмира. Столь благодушная помощь гератскому эмиру, убийце отца теперешнего кабульского эмира Дост Мухаммеда, была отнюдь не случайной и тем более не филантропической помощью Британии.

Испокон веков афганский город Герат, расположенный в цветущем оазисе, неподалеку от водного аму-дарьинского пути, был связующим центром между торговыми домами Востока и Запада. Помимо того, Герат был великолепным стратегическим плацдармом для нападения на Среднюю Азию. Правда, в кулуарах британского парламента резко протестовали против столь негибкого термина, каковым является «нападение».

— Не лучше ли трактовать нашу помощь гератскому эмиру как обеспечение безопасности Великобритании? — не скрывая веселой улыбки, спрашивали друг друга парламентарии, когда им приходилось сталкиваться с резким осуждением английских авантюр в Азии.

Итак, речь, оказывается, шла не о захвате Герата, не о том, чтобы подчинить этот город англичанам, а о безопасности Великобритании, отстоявшей от афганского города Герата по крайней мере на шесть тысяч верст.

Цель оправдывает средства. Англичане — политические

деятели и финансовые короли, любители колониальной поживы и промышленники — всеми силами старались обелить вмешательство британской военщины в афганские дела. Герат должен стать такой крепостью, ключи от которой хранились бы в Лондоне. Если бы англичанам удалось до конца подчинить Герат своему влиянию, тогда можно было бы думать о полном захвате всех афганских земель. Захват Афганистана был бы в значительной мере облегчен, если бы в тылу государства существовала крепкая опорная база английских войск. Следовательно, укрепившись в Герате, обеспечив, таким образом, далеко выдвинутый вперед левый фланг, англичане могли вторгаться в Кабул и Кандагар, а оттуда уже, двигаясь двумя колоннами, соединившись с третьей колонной в Герате, форсировать Аму-Дарью и вступить в Хивинское и Бухарское ханства.

Если бы произошло именно так, то сэр Александр Бернс наверняка получил бы генеральские погоны и выдвинулся в первый ряд британских военачальников-стратегов.

Но Ост-Индская компания прекрасно понимала, что в случае неудачи в Герате, как и в случае последовательно твердой, независимой политики Афганистана, позиции Британии в Азии на ближайшие годы окажутся сильнейшим образом подорванными.

Вот именно для того, чтобы нейтрализовать все возможные просчеты, в Кабул была отправлена «торговая миссия» во главе с полковником Бернсом.

Умный, циничный, напористый, Бернс выдвинул афганскому эмиру Дост Мухаммеду три условия сохранения «вечного мира» между Британией и Кабулом.

Первое. Афганцы должны навсегда отказаться от захваченных сикхами исконных афганских земель.

Второе. Афганистан должен признать «независимость» Кандагара и Пешавара.

Третье. Дост Мухаммед не должен принимать ни одного посла из любой другой страны, кроме Британии, не имея на то разрешения английских чиновников.

За исполнение этих позорных и неприемлемых для независимости государства условий Бернс сулил Дост Мухаммеду мир с Британией и покровительство королевы.

Выдвигая эти условия, Бернс не знал, что генерал-губернатор Индии лорд Ауклэнд уже отдал секретный приказ — сосредоточивать войска на границах с Афганистаном. Не знал он и того, что сикхи, подстрекаемые британцами, беспрерывно нападали на афганцев. Ничего этого Бернс не знал.

Все это знал афганский эмир Дост Мухаммед.

2

Около небольшого афганского города Себзевара Виткевич приказал остановиться. Маленькая чайхана, скрытая от палящих лучей солнца сонной листвой ивы, казалась совсем безлюдной.

Спешившись, Виткевич неторопливо привязал поводья к стволу тутовника, постоял минуту, о чем-то думая, и пошел к маленькой покосившейся двери.

Где-то во внутреннем дворе жалобно скулил щенок и тоненький мальчишеский голосок причитал:

Несчастье, ниспосланное шайтаном, принесло боль моему умному и хорошему щеночку...

Виткевич улыбнулся ласково и подумал о том, что в Оренбурге у него тоже остался пес. Бобка. Дурной и добрый до невозможности.

Виткевич постучал в дверь. Негромко сказал:

— Салям алейкум.

— Да, да. Войди, Шарли.

Услыхав первые слова, произнесенные по-персидски, Виткевич распахнул дверь, но тут же пожалел о сделанном, потому что следующие два слова были произнесены по-английски.

Посреди комнаты на вытертом красно-синем ковре сидел невысокий человек в английской военной форме.

Какое-то мгновенье Виткевич и англичанин смотрели друг на друга молча. Потом, опершись на руку, англичанин попробовал подняться. Распухшая в колене нога помешала ему. Он виновато посмотрел на Виткевича и тихо предложил:

— Простите, я не могу встать. Входите, пожалуйста.

Не ответив, Виткевич повернулся и, плотно прикрыв за собой дверь, быстро пошел к отряду.

Вскочив в седло, он коротко бросил:

— За мной!

Подъехавшему есаулу Виткевич пояснил, усмехнувшись.

— Не люблю я что-то с британцами в Азии встречаться.

3

Роллинсон прислушался. Попытался подняться на локте. Чертыхнулся. Шальная пуля под Гератом застряла в икре, а в здешней проклятой глухомани нет ни одного порядочного лекаря. Друзья настояли, чтобы Роллинсон в сопровождении

шотландца Шарли немедленно отправился в Кабул к доктору Гуту, — туда можно было скорее добраться, чем в Тегеран.

— Шарли, эй, Шарли! — крикнул Роллинсон.

Никто не ответил. Только, испуганно всхлипнув, еще громче завизжал щенок за стеной.

— Шарли!

«Неужели лошадей надо поить два часа?» — рассерженно подумал Роллинсон.

— Шарли!

«Рыжий осел, болван».

— Шарли! — хрипло заорал Роллинсон, откинувшись всем корпусом назад, чтобы не слишком затекала правая рука.

Пока Роллинсон чертыхался, опасаясь, что незнакомец скроется, Шарли оказал Роллинсону невольную услугу. Получилось это вот как.

Если спускаться от чайханы к ущелью, дорога внизу раздваивалась. Обе тропинки вели еще ниже, туда, где сердито бормотал ручей.

Шарли обладал одной, особенно Роллинсона нервировавшей чертой характера: он был необыкновенно медлителен.

И на этот раз он простоял добрых три минуты у развилки, решая, по какой все же дороге ему следовало спускаться к ручью. Тщательно все осмотрев, Шарли почему-то отдал предпочтение правой, хотя именно эта тропинка была значительно круче. Внизу он стреножил коней и пустил их к воде. А сам улегся под мягким, шелковистым можжевельником отдохнуть минут десять.

Шарли не помнил, сколько времени он проспал. Наверное, долго, потому что в висках шумело от жары и по лбу лился пот. Проснулся он от чьих-то голосов. Открыв глаза, Шарли увидел метрах в двадцати от себя на берегу ручья двух людей в белых шароварах и полотняных рубахах, перетянутых необыкновенно широкими кожаными ремнями. По виду они явно не походили на здешний люд. Высокие, русоголовые, статные. Когда они нагибались, подбирая сухие сучья, — по-видимому, они хотели разложить костер, — Шарли видел, как под их полотняными рубашками перекатывались здоровенные мускулы. Шарли осмотрел их внимательно и вспомнил, что точно так же одетых людей он видел около русского посольства в Тегеране.

«Русские», — решил Шарли. Он хотел окликнуть этих ребят, но пока раздумывал, стоит ли, двое повернули за

здоровенную скалу, нависшую над белым от злости потоком, и скрылись из глаз. И именно то, что Шарли не окликнул русских, а просто-напросто вернулся наверх, в чайхану, и уже после нагоняя, полученного от рассерженного хозяина, рассказал ему о своей встрече, — именно все это и обеспечило в дальнейшем Роллинсону крест за заслуги, как человеку, первому обнаружившему в Афганистане русские «казачьи части».

4

Ночью Бернс долго не мог уснуть. Москиты мучали его до самого утра. Несмотря на то, что он соскоблил эмаль с зеркал и вставил их в окна (потому что стекол в Кабуле не было), все равно москиты проникали в комнату через крохотные, известные только им одним щели. Но не только москиты не давали спать Бернсу.

Как опытный шахматный игрок, он еще и еще раз припоминал и перепроверял все ходы, сделанные им за последние несколько дней. И чем строже он анализировал партию, тем крепче уверялся в правильности своей атаки и в выгодности своих позиций.

Чтобы разогнать москитов, Бернс раскурил сигару и, с наслаждением затягиваясь, стал пускать в темноту комнаты бело-синий плотный дым.

Затянувшись особенно глубоко, он фыркнул, вспомнив, как лет десять тому назад лорд говорил ему: «Если начнете игру, обязательно закурите». Он умница, лорд, все понимает.

Рано утром его разбудил Роллинсон. Полное лицо его цвело улыбкой, несмотря на боль в ноге.

Бернс посмотрел на него вопросительно.

— Я видел русских, — с полным безразличием на лице сказал Роллинсон.

Бернс сразу же потянулся за сигарой, но, поняв, что этим он выдаст свое волнение, отдернул руку. Зевнул. С хрустом потянулся. Снова зевнул и на секунду прикрыл глаза.

— Да? — спросил рассеянно. — Что ж, любопытно.

И только после такой интермедии он взял сигару и начал легко разминать ее пальцами. Отгрыз кончик, сплюнул горечь, закурил. Роллинсон, глядя на Бернса, выжидательно щурился.

Лицо Бернса, обычно такое мягкое и ласковое, менялось

на глазах. Сначала под матовой кожей жестче обозначились скулы и заиграли желваки около ушей. Потом потухли глаза и спрятались под тяжелыми веками. На лбу собрались сильные, рубленые морщины. В комнате вдруг стало необычайно тихо. Только наверху, под потолком, гудели москиты. Веселый писк их, слитый воедино, превращался в зловещий гул.

«Итак, — думал Бернс, — на шахматной доске появилась еще одна фигура. По силе она равна ферзю. А по всем законам шахматной игры король, усиленный ферзем, почти непобедим. В данном случае русский ферзь идет к афганскому королю. Это может кончиться победой. Их победой, афганцев. И поражением его, Бернса, англичан...»

Под потолком по-прежнему гудели москиты. Потрескивала сигара — по-видимому, листья табака были слишком пересушены.

«Кто из русских может идти сюда? — продолжал думать Бернс. — У них нет людей, знающих Восток. Я в этом теперь совершенно уверен. Ни в Петербурге, ни тем более в Москве таких людей нет, это ясно. Там есть одни лишь посредственные политики, обыграть которых в азиатской партии не трудно совершенно. Значит, перед тем как этого ферзя — по тяжеловесности и пешку — по значимости допустят ко двору эмира, необходимо провести с ним самим партию, посмотреть, что это такое. Может быть, это такой слон, допустить которого ко двору эмира только выгодно, кто знает... Хорошо. Ну, а если вдруг это тот самый разведчик, который сбежал от меня в Бухаре? Хотя он все-таки, вероятно, не был разведчиком. Это узнавал лорд через свои самые надежные каналы. По-видимому, тогда я ошибся. Тот не был русским разведчиком. Значит, опасения не должны быть слишком серьезными. Но поскольку опасения есть, к ним надо отнестись так, как принято относиться. Хорошо. Все».

Бернс отбросил легкое одеяло, встал. Широко улыбнулся Роллинсону и пошел одеваться. Он быстро вернулся, подтянутый, бодрый, улыбающийся, обаятельный.

— Едем, — сказал он Роллинсону и ласково похлопал его по спине.

Александр Бернс любил борьбу. И он умел бороться.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Если перейти Кабул-реку, вспененную и нетерпеливую в это время года, за базаром, на котором прочно обосновались индусы-менялы, армяне и евреи, сразу же начинался большой, длинный забор, обнесенный вокруг дома, построенного специально для заезжих европейцев купцом Ар-Рашидом.

Здесь жил доктор Гут, человек, которого за пышные бакенбарды и детский пушок на голове остроязыкие кабульцы прозвали «теленочком».

Ровно в два часа Гут вернулся из эмирского дворца. Еще в маленькой колясочке, специально для него сделанной, — Гут верхом не мог ездить из-за тучности, — он нетерпеливо посматривал на старинные, формой похожие на луковицу часы. Сегодня в три часа он ждал у себя русского поручика Виткевича.

Этот молодой человек с бронзовым сильным лицом многим понравился при дворе. Гут считал своим непреложным долгом сближаться с каждым, кто входил в орбиту эмира. По слухам, Виткевич то ли уже был неофициально принят Дост Мухаммедом, то ли должен быть принят на этих днях. Если он будет принят так, что об этом узнают все, это и будет считаться официальным признанием. Гут был умным и наблюдательным человеком. Уже после нескольких месяцев пребывания в Кабуле он понял, что Дост Мухаммед человек большого ума и прищуренного глаза. Гут в прищуренный глаз очень верил.

Дома он сменил рубашку и переобулся. Доктор носил мягкие, козьих шкур сапожки. Осмотрел стол. Все было так, как задумано. Специально для того, чтобы поразить Виткевича, человека северного, с Азией незнакомого, Гут приказал доставить самые лучшие сорта черного винограда, яблоки, засахаренные дыни, грецкие орехи, тертые с ягодами тутовника, и яркие гранаты. Во дворе уже пахло жареным мясом — на углях, нанизанные на тоненькие металлические палочки, лежали кебабы и вырезки для плова.

Виткевич прибыл к трем, с опозданием на две минуты, как и положено по этикету. Гут встретил его у ворот, взял за локоть и, тесно прижав жилистую руку поручика к своей мягкой груди, повел в дом.

— Мой дорогой посол, — проворковал Гут, — я прошу

разрешения называть вас первым русским казаком Вы разрешите?

Виткевич пожал плечами и, усмехнувшись, кивнул головой.

— Пусть это дерзость, — продолжал Гут, — ведь вы дипломат, а я лекарь всего лишь... Но здесь и лекари могут быть полезны дипломатам.

— В такой же мере, как и дипломаты лекарям, — отшутился Виткевич и попробовал освободить свою руку.

Но Гут еще крепче прижал его локоть к груди и подвел к столу.

— Сначала вы должны познакомиться с афганской кухней, — сказал он, — мой долг быть вашим гидом.

Доктор усадил Виткевича на тахту и захлопотал вокруг него, пододвигая со всех сторон блюда с яствами.

Гут принадлежал к той категории людей, которые любят угощать. Самое большое наслаждение Гут испытывал, заново переживая те вкусовые ощущения, которые им были давно забыты из-за чрезмерного увлечения гастрономией в прошлом.

Дозы принятия пищи у Гута были расписаны по минутам. Сначала яблоко и груша. То и другое с разных, совершенно диаметральных сторон действует на желудок. Это хорошо, ибо всегда две противоположные силы порождают прямую. Всякая прямая — благо в нашем мире сфер и зигзагов. Потом гроздь черного винограда. Две-три сливы, не больше. Полстакана гранатового сока. Несколько минут отдыха. А потом... Потом начинается настоящее блаженство: плов с топленым бараньим салом, изюмом и кусками гушта — мягкого, пахучего мяса.

— Ну как? — весело поглядывая на пиалу с пловом, принесенную Виткевичу мальчиком-слугою, спросил Гут, — каков аромат, а? Что ваш Петербург! — И доктор весело рассмеялся.

Гут разрешал себе шутить, угощая гостя обедом. Обед этого стоил. Но Виткевич не успел по достоинству оценить кухню доктора. Хлопнула входная дверь. Гут поднял голову. Брови его поползли наверх от радостного изумления: на пороге стояли Бернс и Роллинсон.

— Господа! Откуда?! — кинулся навстречу к гостям Гут, поспешно вытирая рот салфеткой. — Это сюрприз!

Спохватившись, он затоптался на месте и, обращаясь попеременно то к Виткевичу, то к Бернсу, быстро сказал:

— Разрешите представить вам. Господин Виткевич. Гос-

пода Бернс и Роллинсон. Прошу вас, это такая радость. В моем доме...

Нужна была воля и выдержка Бернса, чтобы с таким открытым и веселым лицом пойти навстречу побледневшему Виткевичу.

— Здравствуйте, господин посол. Я счастлив встретить здесь еще одного европейца, — сказал Бернс, приближаясь к Виткевичу.

— Вы оговорились, — поправил его Виткевич, побледнев еще больше. — Я не посол. Просто поручик.

Они обменялись крепким рукопожатием. Со стороны казалось, что здороваются старые друзья. Роллинсон засмеялся:

— А вы меня заставили пережить много томительных минут в Себзеваре, мосье Виткевич.

Иван посмотрел на Бернса и, улыбнувшись краешком рта, ответил:

— В пути не следует быть разговорчивым. Я думаю, господин Бернс поддержит меня.

Борис сразу стал серьезным.

— Совершенно верно. Роллинсон, поверьте, господин Виткевич прав. Он говорит золотые слова. Проситесь к нему в оруженосцы. Вам будет легко видеться, потому что свидания будут, по-видимому, происходить во дворце эмира. Это романтично. Кстати, вы уже представились его величеству? Если нет — соблаговолите принять мои услуги, как вашего друга и человека, близкого его величеству уже много лет.

Виткевич подвинул Бернсу блюдо с яблоками.

— Мне очень нравятся вот эти, желтые. Нет, нет, справа. Наш дорогой доктор знает, чем угощать.

Гут был польщен и поэтому поклонился. Увидев забинтованную ногу Роллинсона, спросил:

— Что с вами?

— Пустяки.

— Для доктора пустяков не существует.

— Поранил на охоте, доктор, пустяки, сущие пустяки.

— Ну, знаете, с этим шутить нельзя, — нахмурился Виткевич, — вдруг какое-нибудь загрязнение... Или перемена погоды, дожди. Это может повлиять весьма плачевным образом. Кстати, как сейчас в Герате, сыро?

— Нет, сухо, — ответил рассеянно Роллинсон.

Доктор и Роллинсон были заняты осмотром ноги, и поэтому никто не видел, как встретились взгляды Виткевича и Бернса. Они смотрели друг на друга пристально и тяжело.

Вдруг Виткевичу захотелось показать Бернсу язык: «Что, проговорился твой дружок? Тоже мне, дипломаты...»

Бернс не выдержал взгляда Ивана и отошел к Роллинсону.

— Мы не будем мешать вашей беседе, доктор, — сказал он. — Право же, нам очень неудобно, что мы ворвались к вам столь внезапно. Простите нас.

Доктор и Виткевич начали было протестовать в один голос, но англичане все же ушли.

Улыбка сошла с лица Бернса только на улице. Он сокрушенно покачал головой:

— Ай-яй-яй!.. «Какая сейчас в Герате погода?» А? Как он вас ловко, друг мой!

2

По пути в эмирский дворец Бернс напряженно обдумывал создавшуюся ситуацию. Да, в Кабул пришла, конечно, не пешка. В Кабул пришел ферзь.

«А ведь, значит, и лорд ошибается, — думал Бернс. — Вот он, этот мальчик. Нет в России востоковедов? Есть! Есть, черт возьми».

Запыленный, не одетый по этикету, он быстро вошел в приемные покои Дост Мухаммеда. Адъютант эмира Искандер-хан радостно сжал его руку: он любил англичан, а особенно сильно Бернса.

Через несколько минут адъютант вернулся и знаком предложил Бернсу следовать за собой. Миновав темную комнату с острым, давно здесь установившимся запахом жженого миндаля, адъютант отворил половинку низкой двери и пропустил Бернса перед собой.

Эмир сидел, закрыв глаза и устало опустив руки вдоль тела. Большой, во всю комнату ковер, тяжелые драпри на окнах гасили все звуки. В кабинете было тихо.

— Салям алейкум, повелитель правоверных, великий мудростью и разумный силой, — сказал Бернс и повторил свое приветствие, теперь уже громче: первый раз его голос показался шепотом.

Дост Мухаммед открыл глаза, кивнул Бернсу и указал на невысокое мягкое креслице, стоявшее по правую от него руку. Бернс сел и, не дожидаясь вопросов Дост Мухаммеда, заговорил первым:

— Ваше величество, чрезвычайные обстоятельства принудили меня просить вашей аудиенции.

— Я это понял по твоей одежде, — заметил эмир.

Бернс оглядел себя, подосадовал на торопливость.

— Ничего, пустяки, Бернс. Так что же это за чрезвычайные обстоятельства?

— Активизация русских агентов в вашей великой стране.

Эмир придвинулся вплотную к Бернсу и спросил быстро:

— В чем она выражается? Факты!

Бернс привык к тому, что эмир никогда не ставил вопроса в лоб. Тактичный и умный, понимая все происходящее вокруг, Дост Мухаммед до сих пор только давал Бернсу почувствовать, что он понимает многое и о многом осведомлен. И о том, что английские резиденты ведут подрывную работу в Кандагаре и Кундузе, и о том, что происходит за Индом.

Сейчас его рассердил тон и манера, в которой говорил англичанин. Эмир потребовал фактов. Это еще больше насторожило Бернса. Ему потребовалось всего несколько мгновений для того, чтобы придумать и обобщить факты, построить их в сильную, подкрепленную неопровержимыми доводами концепцию и представить эмиру.

Но и Дост Мухаммеду эти мгновения оказались совершенно достаточными для того, чтобы понять смысл паузы. И он чуть заметно улыбнулся. Бернс увидел улыбку эмира и понял, что начинает проигрывать. Нужно было менять тактику. В таких случаях лучшая тактика — напористость и откровенность.

— Я говорю о Виткевиче, ваше величество.

— Ах, так! Это что, и есть активизация?

— Хотя бы. Ибо ни мне, ни вам пока не известны истинные цели этой миссии.

— Вам они, конечно, не известны. Но почему вы думаете, что они не известны мне?

— Разве ваше величество уже изволили принимать Виткевича?

— Это известно тоже одному мне. Да и потом, какое это имеет отношение к активизации агентов русских?

Дост Мухаммед легонько хлопнул в ладоши. Маленькая, незаметная дверь позади него отворилась. Низко согнувшись, кланяясь на каждом шагу, оттуда вышел слуга-лилипут.

— Принеси нам кофе.

— Слушаю и повинуюсь, — ответил слуга и бесшумно исчез. Дверь за ним затворилась.

— Следует ли мне понимать, что присутствие русской миссии желательно вашему величеству?

Голос Дост Мухаммеда стал жестким:

— Мне желательно присутствие в Кабуле миссий всех стран. Слишком долго жили мы в изоляции.

— В таком случае, ваше величество, вам, по-видимому, нежелательно присутствие в Кабуле представителя Великобритании!

— Россия и Великобритания дружественные государства, насколько мне известно. Почему бы вам не работать здесь об руку с русским офицером?

— Ваше величество изволит шутить?

— Я не склонен к шуткам в разговоре с вами.

— В таком случае мне придется, ваше величество...

Дверь позади эмира растворилась, и на пороге появился слуга с подносом в руках. Из маленького серебряного кофейника шел пар. Комната наполнилась ароматом. Слуга неслышно поставил поднос, поклонился и вышел.

— Хотите кофе?

— Благодарю вас, ваше величество. Сначала я хочу окончить начатый разговор. Итак, если Виткевич будет принят вами, мне придется, к великому сожалению, покинуть Кабул.

Эмир налил Бернсу в чашечку величиной со скорлупу грецкого ореха густой черной влаги и пододвинул сахарницу. Только после этого он поднял глаза на англичанина.

— Я обязательно приму Виткевича. Мне не пристало менять своих решений, Бернс. Так же, как я никогда не изменю своего решения принимать всех без исключения иностранных послов самостоятельно, не испрашивая на то унизительного разрешения у губернатора Индии... Пейте кофе, Бернс, и постарайтесь быть благоразумным. Пока что мы вдвоем, а вдвоем быть благоразумным легче, чем на глазах у тысяч.

Бернс заколебался. После молчания он повторил все же:

— Если вы примете русского, я покину Кабул.

— Как вам будет угодно, Бернс. Вы вольны в решениях. Только попомните мой совет: Наполеоном быть хорошо. Но быть плохим Наполеоном — неблагоразумно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Поздно вечером Виткевич вышел на улицу. Властная, хищная тишина лежала над городом. Высоко в горах дрожали огни костров: шла перекочевка племен.

Виткевич услышал голос. Тихий, он приближался вместе с песней. Иван прислушался, стараясь разобрать слова.

О мой город гор,
Ты высок, как полет орла,
Мой Кабул.
Родной мой край,
Родной мой Кабул,
Ты в сердце моем всегда.

Иван пошел навстречу голосу. Ночь была прозрачна как лед. Холодная луна ярко освещала правую сторону улицы, совсем забыв о том, что существует еще и левая сторона. Посредине улицы шел человек. Высокий, он казался еще выше из-за тени, которая металась по заборам, цепляясь за ветви деревьев. Иван шагнул навстречу человеку. Тот остановился, разглядывая Виткевича.

— Салям алейкум.

— Салям алейкум.

— Как здоровье?

— Как твое здоровье?

— Как настроение?

— Как твое настроение? — отвечал афганец, все более и более удивляясь тому, как хорошо этот иноверец знает его язык, язык пуштунов*.

— Как поживают твои друзья?

— Спасибо, как поживают твои друзья?

— Очень хорошо.

— Очень хорошо?

— Очень, очень хорошо...

Афганец помедлил и протянул Виткевичу руку. Тот сжал ее и приложил к сердцу. Тогда и афганец потянул его руку к сердцу.

— Ты кто? — спросил он Ивана.

— Человек.

— А кто ты по крови?

— Поляк.

— Не слыхал я таких кровей.

Иван засмеялся.

— Русский я по крови.

— Нет.

— Клянусь отцом, русский.

— А почему ты знаешь мой язык? Твой отец, видно, был афганец?

---

* Пуштун — афганец.

— Нет. Он не был афганец. Я сам выучил твой язык.

Афганец пощелкал языком в знак восхищения. Поинтересовался:

— Ты, верно, давно живешь в моей стране?

— Два месяца.

— Тогда хорошо. Очень хорошо... А что ты делаешь на улице ночью?

— Слушаю город.

— Слушать надо отца и друзей, — наставительно сказал афганец. — У тебя есть отец?

— Нет. Он ушел к отцам.

— Хвала его памяти! А друзья у тебя есть?

— На родине есть.

— А разве я не твой друг? — спросил афганец.

— Если ты согласишься пойти ко мне в дом и стать моим гостем — будешь другом.

— Я не слыхал приглашения, русский.

— Будь моим гостем, афганец.

— Спасибо, большое спасибо! Пошли. Я буду твоим гостем...

Назавтра Ахмед Фазль рассказывал своим друзьям, что в Кабул приехал смешной человек.

— Он просил меня петь ему наши песни. А сам, вместо того чтобы слушать их, закрыв глаза, писал на листках бумаги. Потом он показал мне написанное им и сказал, что это слова моих стихов.

— Человек, любящий песню, рожден для счастья, Ахмед, — задумчиво сказал оружейный мастер Гуль Моманд. — Поверь мне, у этого русского большое сердце.

2

«Мой дорогой друг Песляк!

Памятуя просьбу твою в случае чего-либо очень уж интересного и необычного немедля отписать тебе, сажусь за стол, беру бумагу и пишу.

Есть у меня здесь один друг по имени Ахмед, по фамилии Фазль. Он высок, как и многие здешние мужчины-афганцы, красив и умен. Умен Ахмед и как взрослый муж и как маленькое дитя одновременно. Сдружился я с ним на песнях. (Не смейся. Я по-прежнему уверен, что песня — лучший

пашпорт для души человеческой. Плохие люди петь не могут.) Он часто ко мне приходит по вечерам и рассказывает много интересного. Заметь, тут каждый историю страны своей знает чуть не наизусть. И это несмотря на то, что людей образованных здесь почти нет.

Рассказал мне Ахмед Фазль такую историю: есть неподалеку от Кабула местечко, называющееся Чель Сутун (Сорок столбов). Зовут это место так оттого, что много веков назад туда ворвались чужеземцы. Сорок красивейших девушек, не желая сделаться добычею похотливых воинов, вознесли аллаху молитвы. Аллах услышал их: в один миг все сорок девушек превратились в сорок камней. Эту историю Ахмед Фазль рассказал мне как самую настоящую быль. Когда я попробовал усомниться в достоверности этого случая, он обиделся. Но обида его была недолгой. Я рассказал Ахмеду нашу сказку про «Руслана и Людмилу»; Ахмед прищелкивал языком от восторга и закатывал глаза — у него это считается наивысшей формой одобрения. У меня тогда мелькнула мысль, как было бы хорошо сказки пушкинские на восточные языки перевести и распространить! Ну, да разве это возможно!..

Когда я кончил говорить сказку, Ахмед защелкал языком: «Ну вот видишь, это ведь все правда? Почему же ты моей правде о девушках не поверил?» Я тогда менее уверенно возразил, что и это тоже неправда. Ахмед рассмеялся и спросил: «Зачем же ты другу неправду рассказываешь? Я тебе всегда одну только правду говорю».

Давеча пришел Ахмед со своим двоюродным братом Гуль Момандом. Я предоставляю тебе оказию самому решить степень ума этого человека по той теории, которую он мне преподал. Слушай:

«Обилие волос на голове служит доказательством пустословия или печали. Люди, носящие длинные волосы, характер имеют исступленный, ибо исступление порождает и печаль и пустословие.

Небольшой лоб служит доказательством того, что человек груб и глуп. Большой лоб — свидетельствует о человеческих наклонностях к гневу или лености. Ежели на лбу много морщин — человек гневен, но умен. Ежели морщин совсем нет — такой человек зол. Длинные брови до ушей означают самовлюбленность и хвастливость . (Вспомни Маслова!)

Большие глаза — свидетельство лености. Голубые глаза — холод сердца, так как этот цвет происходит от холодных материалов вроде льда или неба. Маленькие черные

глаза несут в себе злость. Красные — смелость. Широко раскрытые глаза и выпученные присущи людям сварливым, ибо у собак такие же глаза и такой же норов. Желтые и скородвижущиеся глаза указывают на то, что человек пуглив. Пятнышки в глазах — нечистое сердце. Ежели вокруг зрачка черный ободок, значит человек плохо думает о других. Коли в глазах соединен желтый и черный цвет, то такой человек способен на убиение себе подобных. Красные пятнышки в глазах — величайшее лукавство. Глаза должны быть чистыми и блестящими, ибо это глаза смелых воинов. У петухов такие же глаза, а петух птица мужественная и честная.

Тонкий нос означает, что обладатель оного склонен к пустой драчливости и злости, так как у собак нос такой же в точности. При наличии носа широкого и мясистого в человеке искать должно наивность и ласковость, ибо такой же нрав у теленка, а как известно, телята широконосы. Длинный и толстый нос означает отсутствие великодушия, поелику точно такой нрав и у свиньи. Ежели нос от бровей дугою идет, то сие означает в человеке норов ворона. Злой, но умный.

Толстые губы показывают в человеке храбрость и глупость. Ежели толста верхняя губа и набегает при сем на нижнюю, то такой человек храбр и великодушен, ибо такие же губы и у льва. Тонкие губы означают злость и скрытую за злостью трусость.

Мясистое лицо показывает в человеке отсутствие мудрости — то же и у быка. Объясняется это и лекарями: мозговые вены вследствие обилия тела в лице препятствуют обмену крови, и, таким образом, человек лишается смысла. Худое лицо свидетельствует о том, что человек склонен к размышлениям. Размышления, как известно, приводят к сумасшествию, а сумасшествие истощает тело вообще, а лицо в особенности. Но все же худой человек всегда лучше толстого».

Теперь, дорогой Друг, ты вооружен теориею, практически небезынтересною. Знакомясь с новым человеком, изучай его лицо по этой записке. Шутки шутками, а должен тебе признаться, что я совершенно влюблен в эту страну и в людей ее. В их душах совмещается доблесть воинов, отзывчивость братьев и суровость горных жителей. У меня уже сейчас накопилось материалов достаточно для того, чтобы издать несколько небезынтересных книг. А в общем-то один бог знает, сколь интересны они будут. И, самое главное, будут ли вообще изданы. Один европеец, встретившийся

мне здесь, доктор Гут его имя, зло иронизировал над российскими нравами, приводя в пример историю с книгой Радищева. Откуда только они знают все это?

Милый мой Песляк! Жажду обнять тебя и поговорить о многом. И — поверь мне, это уже выстрадано — нет ничего лучше дома на белом свете. Пусть даже дом с тараканами. Тараканов можно вывести, а нигде, ни в каком другом доме нельзя себя чувствовать счастливее, сильнее и увереннее, кроме как в своем отчем доме... Сделай из этого выводы.

Остаюсь твоим Другом и Братом

Иван Виткевич».

3

Невысокий, крепкий в плечах, похожий на отца скорее общим обликом, чем лицом или голосом, наследник Акбар-хан любил беседовать с эмиром. Образованность Акбара была случайной и складывалась из занятий с муллами, чтения корана и разговоров с иностранцами. Он был очень понятлив. Ум его проявлялся не в широких, разносторонних познаниях, но в умении цепко схватить все новое, что встречалось ему где бы то ни было.

Дост Мухаммед любовался сыном, когда тот, быстро расхаживая по кабинету, рубил воздух ладонью и отрывисто бросал сердитые фразы:

— Я знаю, что кизыл-баши, да и вообще большинство людей персидской партии при дворе неискренни. Почему ты терпишь неискренность их, отец? Ты, сильный и храбрый. Почему?

Дост Мухаммед засмеялся:

— Горячность не делает чести мужчине, сын мой. Если я начну смещать кизыл-башей, занимающих высокие посты, об этом узнает народ. Какая же будет вера мне и моим помощникам? Излишняя жестокость никогда не приносит пользы. Зачем мне сейчас смещать кизыл-башей, когда я знаю каждый их шаг? Они ничего не могут сделать помимо меня. Они не согласны со мной? Пусть. Я не могу велеть им соглашаться во всем.

— Но ведь они не любят тебя, — горячился Акбар-хан. — Они говорят, что ты излишне крут и суров!

— Вот и хорошо. Слышать это из их уст для меня блаженство. Помнишь, как писал Казем-хан? «Я сгораю в огне, но вы вьетесь вокруг меня мотыльками, не в силах оторваться от меня».

Дост Мухаммед подошел к сыну и обнял его за плечи. Никогда афганцы не выражают своих чувств открыто, кроме одного чувства — гнева. Отец всегда старается скрыть любовь к сыну грубоватой, мужской шуткой. Но сейчас они были одни: отец и сын, эмир и его наследник.

— Послушай, сын мой, — сказал Дост Мухаммед задумчиво, — мы живем с тобою в трудные дни. Я не знаю, что будет через месяц или два. Поэтому выслушай то, что я скажу тебе. Ты будешь хорошим эмиром, если главною твоей заповедью будет заповедь справедливости. Если ты справедлив до конца — убей. Но если ты справедлив — оправдай даже тогда, когда оправдание будет неугодно тебе. Если ты справедлив — одари; но если ты справедлив — брось в темницу. Чем должна измеряться твоя справедливость? Не отношением к женам или к детям. Не отношением твоим ко мне, отцу твоему и повелителю. Справедливость — это целостность государства нашего, сила его и самостоятельность. Это справедливость! Если у тебя будет везир, который говорит тебе открыто и честно о том, что неприятно тебе, терпи его и люби. Люби, если даже не можешь любить. Такой везир не продаст себя неверным. Если начальник, ведающий финансами и налогами у тебя будет скряга, береги его, он друг твой и раб, потому что не помышляет о благости личной и о том, как относишься к нему ты, сильный в мире правоверных. Если одна из жен будет ласкаться к тебе сверх меры, изгони ее. Она неверна и продажна. Женщина не знает любви. Если к тебе придет неверный из другой страны и станет говорить, что ты самый сильный и мудрый государь, не верь ему, он лгун и в душе прячет черную мысль. Больше всего цени у людей честность в глазах и резкость на словах. Помни стихи Казема:

Если хочешь дать людям покой,
Сам спокойно не спи никогда!

Вошел адъютант. Поклонился, скользнув быстрым взглядом по лицу наследника.

— Что тебе? — недовольно спросил Акбар-хан.

— Ваше высочество, к его величеству прибыл господин Бернс с делом чрезвычайной важности.

— Пусть войдет через несколько минут, — сказал эмир.

Когда адъютант вышел, Дост Мухаммед подошел к столу.

— Я говорил тебе все это потому, что скоро отправлю письмо, — он указал пальцем на большой лист бумаги, — прочти его.

Акбар-хан взял бумагу и начал читать.

«Это мое последнее письмо к вам, лорд Ауклэнд!

Разделяя афганцев, вы пытаетесь уничтожить могущество нашего народа. Вы бросаете семена будущих раздоров. Ваше дело как большого и сильного государства препятствовать злу где бы то ни было; вы же, наоборот, препятствуете добру там, где это только возможно.

Ради того, чтобы спасти Афганистан и нашу честь, мы готовы отдать жизни свои. Не по злому умыслу против Англии пишу я это, а потому, что правда любит, когда с ней правдиво разговаривают.

Аллах тому свидетель — я не буду раскаиваться в своих поступках. Аллах тому свидетель — вы в своих поступках раскаетесь: вы и дети ваши, которые не прощают отцам ошибок, ведущих к позору.

Я в последний раз взываю к вашим сердцам — дайте нам быть независимыми, и порукой тому моя голова и сердце, — мы будем нейтральны, мы будем дружить и с вами и с теми странами, которые захотят с нами дружить.

Дост Мухаммед, эмир».

Дост Мухаммед внимательно следил за выражением лица сына, когда тот читал. Отложив письмо, Акбар-хан опустился перед отцом на колени и поцеловал его руку.

4

Опустив глаза, Джелали смотрел, как вода из кружки падала на землю. Жара была так сильна, что даже капли воды поднимали пыль. Джелали сполоснул лицо из родника, встал с колен и пошел дальше. До кабульской дороги оставалось верст пять.

Чайхану около развилки выстроили совсем недавно. Наверху пили чай, а внизу жарили кебаб и гушт. У входа было повешено старое, с синими пятнами зеркало. Джелали посмотрел на свое отражение и строго заметил мальчику-слуге, что зеркало лжет. За последний год Джелали поседел, и ему неприятно было видеть это.

Владелец чайханы вышел навстречу гостю. Узнав Джелали, он приложил руки к груди.

— Салям алейкум, непобедимый.

Джелали было приятно, когда его узнавали, и поэтому он улыбнулся чайханщику особенно приветливо.

— Салям алейкум.

— Как здоровье?

— Спасибо, как твое здоровье?

— Спасибо, как здоровье твоих сыновей?

— Спасибо. Интерес такого человека, как ты, приносит удачу.

— Идешь в Кабул?

— Да.

— И снова победишь всех в пахлевани*?

— Думать так, не испробовав силы рук противника, — похвальба. Да и потом твое зеркало... — Джелали кивнул головой в угол. — Я увидел много белых волос в моей голове, а это признак ума, но не силы...

Чайханщик по достоинству оценил столь мужественное остроумие. Хлопнул легонько ладонью о стол. Подбежавшему мальчику-слуге сказал:

— Принести нам чаю. С сахаром в кусочках, не слишком мелко колотых.

Большая головка сахару — угощение для самых знаменитых путников. Джелали знал это. Поэтому благодарность его была стол искренна, что чайханщик даже закрыл глаза от восторга.

...Каждый раз, когда Джелали подходил к мазари-шерифским воротам, у него начинали потеть ладони от волнения. Он приходил в Кабул вот уже пятнадцать лет подряд, но каждый раз его ослепляли огни иллюминаций, зажженные в честь праздника, и оглушали голоса многих тысяч людей, пришедших со всех концов страны.

Джелали допоздна гулял по городу, заходил в лавки, присматривая подарки сыновьям и внукам. А когда с Гиндукуша спустились белые облака и хлопковыми горами навалились на город, Джелали спустился к реке, расстелил на теплых, прогретых дневным солнцем камнях свою бурку, лег, укрылся полой и уснул.

Рано утром он уже был на огромной площади Чамане, как раз в том месте, где всегда собирались самые известные в стране борцы. Соперником Джелали оказался Ибрагим Али — молодой парень из Газни. Он был на полголовы ниже Джелали, но шире в плечах. Когда они вышли на середину поля, зрители дружно зааплодировали. Джелали поклонился и, подтянув кушак, обернулся к противнику. Тот смущенно улыбался и не знал, куда деть руки. Джелали заметил, что у парня толстые губы.

«Это признак доброты души, — подумал Джелали, — таким, как он, нельзя бороться».

---

* Борьба *(перс.)*.

Парень почесал затылок и, широко расставив ноги, стал в исходную позицию. Джелали тоже согнулся и, уперев руки в колена, начал раскачиваться, переступая с ноги на ногу. У Ибрагима стойка была низкой, и Джелали решил, что парня можно будет обхватить сверху.

Первым вытянул руку Ибрагим. Джелали сделал вид, что ничего не заметил. Но когда Ибрагим выбросил руку вперед еще раз, Джелали намертво схватил ее своими длинными, тонкими пальцами. Парень рванулся назад и стронул Джелали с места. Увидав это, парень рванулся еще сильнее, потом стремительно вперед, и Джелали почувствовал руки парня на своей пояснице. Джелали растерялся. На какую-то долю секунды мускулы ослабли. Ибрагим поднял его и с силой бросил на землю. Джелали успел расставить ноги, и удар пришелся на правую. Надсадно заныло колено. На лбу выступил пот. Джелали не успел толком осмыслить происшедшего, потому что парень снова поднял его над собой и снова грохнул о землю. С головы упала тюбетейка, и Джелали почувствовал, как солнце начало плавить волосы на затылке. «Почему я не выпил воды? — подумал он. — Такая холодная...»

Джелали постарался высвободить левую руку, чтобы локтем отжать подбородок парня, но не смог. Тогда он напряг тело и начал извиваться в руках Ибрагима. Тот еще крепче сжал его и, медленно дрожа набухшими мышцами рук, начал сгибать. Джелали увидел небо: высокое и спокойное. Потом он опустил глаза и увидел красное, мокрое лицо парня. Их глаза встретились. Мгновенье Ибрагим Али смотрел в лицо Джелали. Он увидел в его бороде и бровях седые волосы. Он увидел морщинки у глаз и стянутую кожу у мочек ушей.

Победитель никогда не должен смотреть в глаза побежденному. Ибрагим Али увидел в Джелали отца. И он разжал руки.

Судьи объявили победу Джелали. Ибрагим медленно уходил с поля. Джелали пожал руки судьям, поднял тюбетейку и побежал вслед за ним. Догнав парня, он обнял его за шею и прошептал:

— Я не приду сюда больше, победитель...

И когда народ на площади увидел, как Джелали трижды по-мужски поцеловал Ибрагима Али, все еще раз убедились, как силен и великодушен человек, которого так любят в Кабуле: Джелали-победитель.

...В афганском языке нет слова «старик». Когда человеку много лет, его называют «спингырай», что в переводе означает «белобородый».

Когда Джелали и Ибрагим Али выбрались из толпы, к ним подошел невысокий, крепкого сложения юноша и, приветливо поздоровавшись, попросил:

— Я хочу, чтобы вы оба стали моими гостями.

— Кто ты? — спросил Джелали.

— Меня зовут Акбар*, я учусь быть сильным...

— По виду ты пока еще больше походишь на Кабира**, — пошутил Джелали.

— В твоих устах и это звучит похвалой, — ответил Акбар.

— Пойдем к нему? — спросил Ибрагим Али своего старшего друга.

— Пойдем, — согласился Джелали, — почему не пойти?

С этих пор Ибрагим Али и Джелали стали мюридами, телохранителями эмира Дост Мухаммеда и большими друзьями Акбар-хана, наследника престола.

5

Перед тем как эмир собрался идти гулять — после дня трудов он обязательно уходил в горы, — к нему в кабинет неслышно проскользнул адъютант, склонился низко и, приблизившись, положил на край маленького, сандалового дерева стола листки бумаги, скрепленные красным воском.

— Что это? — недовольно спросил эмир. — Неужели не мог принести завтра?

— Подари хотя бы один взгляд этой бумаге, повелитель, — ответил адъютант, — здесь о русском...

Дост Мухаммед относился к своему адъютанту Искандер-хану со смешанным чувством любопытства, благожелательства и недоверия. Может быть, именно поэтому он говорил с Искандером откровенно, а подчас и просто доверительно. Но доверительность эмира простиралась ровно настолько, чтобы иметь возможность наблюдать: что особенно интересовало адъютанта, а что — не особенно. В последнее время эмир заметил, что самый большой, подчас неприкрытый интерес Искандер-хан проявлял к русскому.

---

* Великий, сильнейший, сравнительная степень от слова «кабир»; имя (*араб.*).

** Сильный; имя *(араб.)*.

Свое любопытство к Искандеру эмир объяснял себе тем, что адъютант был ловок, силен, хитер и в отличие от подавляющего большинства придворных не столь раболепен и льстив. Дост Мухаммед любил играть в шахматы, но удовольствие от игры получал только тогда, когда противниками его были Акбар-хан либо Искандер. И тот и другой отчаянно сопротивлялись эмиру, не делали намеренно глупых ходов, радовались всякой выигранной фигуре, искренне сокрушались проигрышу. Эта на первый взгляд ничего не значащая черта адъютантского характера заставляла эмира быть особенно к нему внимательным: в широком и узком смысле этого слова. Где-то в глубине души Дост Мухаммед верил, что когда-нибудь адъютант сам придет к нему и расскажет все, что его тяготило. А в том, что Искандера, особенно в последнее время, тяготило что-то, эмир был уверен. Все то время, пока Искандер был рядом, эмир старался понять его, а поняв, сделать вывод, всесторонне подтвержденный фактами.

— Ты подобен гончей, — сказал Дост Мухаммед адъютанту, — гоняешь меня до тех пор, пока не добьешься своего.

— Свое — это ваше, повелитель.

— Мое? — переспросил эмир и быстро глянул в адъютантовы огромные глаза.

...В докладе говорилось о том, чем был занят русский посланник в течение трех последних дней.

— Кто велел следить за ним? — удивился эмир. — Кто, кроме меня, мог отдать такой приказ? Он гость, а плох тот хозяин, который смотрит, сколько кусков мяса положил в рот приезжий.

— Тут не о мясе речь, ваше величество. Он гость — так сиди в своем доме, пей шербет и радуйся жизни! А русский с утра до ночи ходит по базарам, улицам и площадям, говорит о разном...

— О чем говорит?

— О всяком, — повторил Искандер.

— Вспомни, о чем? Можешь вспомнить?

— Он говорил, что в мире есть два льва. Это Россия и ваша страна. И что Россия — это лев, а Афганистан — львенок малый, и что лев львенка всегда защищать должен...

Дост Мухаммед прошелся по кабинету, потом стал перед адъютантом и толкнул его пальцем в грудь.

— Сядь.

Искандер-хан сел.

— Кто сказал тебе об этих словах русского?
— Аль Джабар.
— Где он слыхал их?
— В лавке... Кажется, в лавке.
— В какой лавке?
Искандер замешкался.
— Ну! — прикрикнул эмир.
— Кажется, в лавке Гуль Моманда, оружейника.
— Та-ак... — задумчиво потянул эмир и снова неторопливо заходил по кабинету. Ходил долго, минуты три. Потом остановился перед адъютантом и спросил шепотом:
— Ты зачем врешь мне, Искандер?
Адъютант стал желтеть. Когда он волновался, лицо его не бледнело, а делалось серо-желтым.
— Я не вру, повелитель.
— Ты врешь мне, — повторил эмир, — только не понимаю зачем.
Подошел вплотную к Искандеру и, взяв его за кушак, приблизил к своей груди:
— Зачем, ответь мне?
— Я не вру, повелитель.
— И ответь мне еще, Искандер: почему ты не дал аудиенции русскому, когда тот пришел к тебе в приемную в первый раз? И почему ты не пропустил его ко мне позавчера? Ответь мне...
Адъютант смотрел в лицо эмиру и молчал.

Гуль Моманд поднял голову и тотчас же опустил. Отложив в сторону маленький молоток, поднялся; перед ним стоял эмир Дост Мухаммед, переодетый в костюм воина. Чуть позади, заслоняя своей могучей квадратной спиной почти всю дверь, врос в пол телохранитель эмира, мюрид Ибрагим Али.
Гуль Моманд пошел навстречу гостю, поздоровался с ним. Веселый ум оружейника подсказал ему верное решение: коль скоро эмир пришел к нему не в пышных одеждах, не с многочисленной свитой, а всего-навсего простым воином, то и обращаться с ним следует учтиво и почтительно лишь постольку, поскольку он гость. Обменявшись с эмиром рукопожатием, Гуль Моманд предложил ему садиться. Когда Дост Мухаммед опустился на раскладной стульчик, стоявший около полировальных каменных кругов, присел и Гуль Моманд.
— Устраивайся и ты, — предложил он Ибрагиму Али.

Мюрид отрицательно покачал головой и усмехнулся уголками губ.

— Здесь могут быть те, кто жаждет увидеть нас с тобой, — сказал эмир. — А сейчас я должен видеть тебя, потому что мне надо поговорить с тобой, Гуль. И пусть наша беседа, после окончания ее, сотрется в пыль, которая улетает в небо во время твоей работы за полировальными камнями.

— Твоя наблюдательность, воин, радует глаз мастера.

Дост Мухаммед рассмеялся, открыв ровные, не тронутые табачной копотью зубы. Пошутил:

— Ты хитер, как Рудаки. Быть тебе везиром.

— А я уже везир.

— Отчего так?

— Оттого, что в моей мастерской бывают гости из разных стран.

— Ты глядишь в будущее, словно в воду большого отстойного хауза.

— Будущее имеет разную меру.

— Наша мера — мера минут, и плох тот кот, который слишком долго ловит мышь.

— Я вижу здесь воина, его друга и оружейного мастера, — быстро ответил Гуль Моманд, — но я не вижу здесь ни кота, ни мыши, да простится мне несообразительность ремесленника.

Эмир рассмеялся от души. Потом поманил к себе Гуль Моманда пальцем и спросил:

— Русский — плохой?

— Хороший везир с плохим чужестранцем долго игру не играет.

Когда Дост Мухаммед чему-либо сильно удивлялся, у него обиженно опускались уголки губ, а брови вскидывались высоко вверх, собирая кожу на лбу толстыми складками.

— Ты слышишь, Ибрагим Али? Этот человек воистину везир и в отличие от большинства людей подобной должности мудр.

— Единственное, что не нуждается в красивом определении и не поддается измерению, так это мудрость, — заметил Гуль Моманд.

— А мудрость русского измерима?

Гуль Моманд не торопился с ответом. Он долго думал, прежде чем стал говорить.

— Воин, верь мне, он добр сердцем и широк умом. Велика ли мудрость его — не ведаю. Думаю, что не очень. Мудрым человек делается к старости. Но человек, ясно

видящий цвет утра и сумерек, верно ощущающий снег и жару, должен называться умным. Ум — первая ступень в великой лестнице мудрости.

— Говори, — попросил эмир, — говори дальше, друг.

— Наш народ не верит речам, — пошутил Гуль Моманд. — Ведь речь — порожденье языка, а язык — оружие женщины. Русский мало говорит, потому что больше он любит слушать. Он любит слушать наши песни. Песня — зеркало души, окно в сердце. Так?

— Да, это так, — ответил Дост Мухаммед.

— А этот русский понимает и любит наши песни. Больше я ничего не знаю о нем, но и этого хватит, чтобы отвести ему место в душе.

— О львах, помнишь, он говорил о льве и львенке? — спросил эмир рассеянно. — Ты согласен с ним?

— Он честный человек, этот самый русский, он не стесняется переспросить, когда не понимает названия места или зверя. Но о львах у нас разговора пока что не было.

В это время Ибрагим Али, все так же неподвижно стоявший в дверях, сердито обернулся. Замахнулся на кого-то, кто подошел к входу в мастерскую.

Гуль Моманд обиженно поджал губы.

— Если ты слуга воина, так пусть аллах поможет тебе в твоей службе. Но ты у меня в гостях, а я буду плохим мусульманином, если разрешу тебе обидеть того, кто пришел к моему дому. Ну-ка, повернись! Кто там позади тебя?!

Ибрагим Али не сдвинулся с места. Тогда эмир сказал:

— Обернись и посмотри.

Мюрид обернулся.

На пороге стоял Иван Виткевич.

6

«Дорогой Песляк!

Целую ночь напролет сижу подле растворенного окна и слушаю, упиваюсь тишиной. Здесь, в Кабуле, она особенная. Город спит настороженно, словно солдат на привале.

А утро! Бог мой, какое здесь утро! Сначала по ущелию, в коем лежит Кабул, начинают летать голуби. На фоне серых скал они кажутся то черными, то темно-синими.

Солнце приходит внезапно. И сразу же картина меняется. Горы делаются серыми, а голуби белыми, словно снег. Настороженность во всем пропадает — на смену ей приходит беспечность и ласковость.

Просыпается Кабул сразу. В час первой молитвы на минареты поднимаются муллы и, воздев к небу руки свои, они обращают к аллаху, великому и всемогущему, звонкие, высокие голоса. Слова их молитв сливаются в одно целое, и звук этот, усиленный горами, делается совсем не похожим на людские голоса. И сразу же после молитвы Кабул начинает шуметь, словно шмель с первым лучом солнца, или ученики в классе после ухода наставника.

На рынок тянутся тележки с горами дынь, гранатов, кавунов, яблок, груш. Бегут наперегонки босоногие мальчонки, запуская в небо, к голубям бумажных змиев. Спешат к реке стиральщики, ловко умещая на головах своих огромные тюки с бельем и материями всяческими.

Когда открываются городские ворота, в Кабул входят караваны — длинные, как песнь кочевника. Ах, сколько радости, Песляк, для жителей, а особливо мальчишек в приходе каравана из далеких стран!

А в семь утра базар уже шумит так, будто никто из торговцев, а тем более покупателей, вовсе не ложился спать. Все кричат, бранятся, грозно размахивают руками, а в лица всмотрись — у всех улыбка сокрыта веселая... Жизнь без возгласов, без жестов тут немыслима. Торговля идет бойко, весело. Но трудно им из-за купцов-менял, приехавших из других стран, да и потому еще, что товаров своих, афганских, кроме сладостей, сабель да патлюнов — штанов ширины невообразимейшей — нет вообще.

...События, в центре которых оказался здесь я, необычны и интересны, как и все в общем-то в стране этой. Не должно заниматься восхвалением персоны собственной, однако ж не могу не сказать тебе о том, что большой порок юности, упрямством называемый, в зрелые годы приводит к достоинству, которое зовется стойкостью. Юношеское мое упрямство в изучении восточных языков дало мне сейчас великую радость: чувствовать язык афганцев и персов точно так же, как и свой родной.

В первые дни после прибытия при всем самом радушном гостеприимстве, которым здешний народ отличается, я почувствовал кое-где настороженное, если даже не враждебное ко мне, отношение. В этом, бесспорно, заслуга досточтимого Бернса. Услыхал я, будто в беседе Бернс вскользь говорил о том, чего в действительности не было да и не могло быть. Пока слово не сказано — оно узник человека. Сказанное же слово делает человека своим узником. Как только сэр Бернс сказал о том, что Россия — медведь, на задние лапы поднявшийся, готовый под себя

все окрест лежащее подмять, и как только слова эти стали мне известными, я посчитал себя вправе опровергнуть сию ложь в беседе с эмиром Дост Мухаммедом. Ложь, надо сказать, лихую, по-английски тонко и к месту закрученную. Но попасть к эмиру оказалось делом отнюдь не легким. Неоднократные предложения Бернса пойти к эмиру вместе с ним я по причинам, тебе понятным, отвергал. Сам же я всякий раз наталкивался на вежливый отказ эмирова адъютанта: то Дост Мухаммед читает бумаги, то гуляет в саду, то занят беседой с друзьями.

Но давеча — хитрая вещь жизнь наша — я при обстоятельствах весьма неожиданных с эмиром встретился. И где бы ты думал? В мастерской оружейного мастера Гуль Моманда, того самого, о котором я отписывал в предыдущем письме к тебе. Придя к нему в гости, я столкнулся с человеком, лицо которого показалось мне чем-то знакомым.

— Это воин, мой приятель, — пояснил Гуль Моманд, — он и твоим другом станет.

— Здравствуй, — сказал воин и пожал мне руку крепко. — Ты откуда? Из каких мест? Судя по костюму, ты с юга?

— Да, ответил за меня Гуль, — он кандагарец.

(Замечу, кстати, что кандагарцы — самые «чистые» афганцы по крови.)

— Разве ты не слышишь этого по выговору? — продолжал Гуль Моманд.

— Да, пожалуй, — согласился его гость, — он говорит, как настоящий кандагарец. А имя твое, — спросил он меня, — столь же благозвучно, сколь и выговор?

— Столь же, — ответил за меня Гуль Моманд.

Мне очень понравилась эта беззаботная игра, и я с радостью стал ее поддерживать. Отчего-то лицо гостя мне показалось похожим на лицо одного купца с базара.

Я спросил его:

— Ты не торгуешь ли, воин?

— Торгую, — ответил тот, — немногим из того, чем мог бы.

— Отчего так?

— Оттого, что неведомо мне, кто товары мои купит.

Я тогда ответил:

— В России, — ты, верно, слышал о такой стране, — там многие бы товары афганские купили.

— Откуда тебе это известно?

— Говорят люди: верь незнакомцу, ему корысти нет обманывать.

Гость посмотрел на Гуль Моманда и спросил:

— Твой кандагарец, случаем, не мулла? Он так хорошо постиг красоту выражения мысли.

— Нет, какой он мулла, — ответил Гуль, — ты же видишь, у него борода стрижена клином, а не палкой.

Воин осмотрел мое лицо с веселой и шутливой внимательностью и согласился с правильностью слов Гуль Моманда.

— Послушай, кандагарец, а как ты думаешь, ангризи хотят торговать с нами? Что я смогу продать им?

— Я недостаточно хорошо знаю купцов из Англии, — ответил я, — но думаю, они не откажутся торговать с тобой. Торгуют же они с Индией.

— С Индией?! — воскликнул мой собеседник. — Такой торговли мне не надо. Козел тоже участвует в торговле шкурой, содранной с него. Разве ангризи торгуют с Индией? Такая торговля и у нас ночью на караванных дорогах случается.

— Ты очень сердит на англичан, — заметил я, — а слова, произнесенные в гневе, не всегда верны.

Воин взял с верстака маленький кинжал, вернее — заготовку кинжала, и, вертя его в руках, задумчиво посматривая на Гуль Моманда, сказал:

— Он не просто умен, Гуль. Он мудр.

— Да, я ошибался, — ответил ему оружейник.

Я почувствовал, как лицо мое стало краснеть от смущения. (Страшный бич мой!) Увидав это, воин мягко улыбнулся и опустил глаза. Я был благодарен ему за это: вообще афганцы люди большого такта и — ежели хочешь — светского воспитания. Мы, правда, привыкли понимать под словом «светский» только одно и одним наделять значением. Это неверно. Думаю, что светским следует считать джентльменское воспитание.

— Послушай, кандагарец, — продолжал купец, — а как говорят в городе о том, что здешний эмир, Дост, неверных англичан принимает, разговоры с ними ведет?

— На то он и эмир, чтобы знать, кого и зачем принимать, — ответил я, — да только не твоего ума это дело, да и не моего. Извини меня за резкость слов.

— Как же так? — с живостью возразил мне гость. — От того, с кем эмир наш дружит, мне выгода идет. От меня — к ремесленникам, к простому люду. Чем шире торговля идет, тем больше блага людям, добро производящим.

Я сразу же подумал: «Как сильна в нас российская

привычка мысли свои вслух не высказывать! Я и здесь даже, за тысячу верст, продолжаю ей верным быть, а простой афганец обсуждает действия своего правителя свободно и без боязни».

— Согласен ли ты с правильностью слов моих? — стал допытываться гость. — Верно ли я говорю?

— Да, верно, — ответил я.

Тогда гость вздохнул облегченно и сказал:

— И ты говоришь верно, кандагарец из России.

Я сначала рассердился и сурово посмотрел на Гуль Моманда.

— Ты не смотри на оружейника, — засмеялся гость, — он ни в чем не повинен. Здравствуй друг, — протянул он мне руку, — меня зовут Дост Мухаммед, я эмир.

Вот так, дорогой Песляк, началось мое знакомство, а теперь можно сказать — и дружба с этим чудесным человеком.

Об остальном — когда вернусь.

Твой Друг и Брат *Иван Виткевич*».

7

После разговора с русским Дост Мухаммед убедился, что Искандер-хан неискренен и не просто так, не из-за пустой неприязни к Виткевичу, а в силу каких-то других, скрытых, неизвестных ему, эмиру, причин. Он понимал, правда, что та игра, которую вел адъютант, выдумана не им самим и рука автора, написавшего правила игры этой, куда искусней языка исполнителя.

Окажись Виткевич хоть чем-то, хоть самую малость похожим на Бернса, эмир никогда бы не заподозрил своего адъютанта в таком страшном грехе, каким на Востоке считается двойная игра.

Искренняя доброжелательность русского к англичанам, высказанная в беседе с простым воином и купцом — не эмиром! — позволила Дост Мухаммеду сделать первые выводы, которые в дальнейшем привели к важным последствиям.

Эмир хорошо знал Бернса, ценил его ум, обширные знания, но сейчас он не мог простить англичанину те семена недоверия, которые тот пытался посеять в его душе. Недоверие, страшная кара властвующим — до той поры не было знакомо Дост Мухаммеду. Узнав его, он понял, что в лице

окружавших его имеются не только скрытые недоброжелатели, завистники, но и просто враги. Худшее, что могло случиться, — случилось бы, поддайся эмир воздействию этого властного, отталкивающего, восхитительного и гадкого чувства недоверия к человеку. Но Дост Мухаммед был силен духом и добр сердцем. Два эти качества делают государственного деятеля стойким к переменам судьбы, мужественным в горестях, осмотрительным в радостях и счастливым от созерцания плодов труда своего, не удобренного невинной человеческой кровью.

Однажды Виткевич допоздна засиделся у казаков, сопровождавших его в Кабуле. Есаул Гнуцкий, улыбчиво заглядывая в лицо Ивана своими синими круглыми глазами, спрашивал:

— А вот скажите мне, ваше благородие, отчего у людей кожа цветом рознится?

— Так бог велел, — ответил кто-то из казаков, — у него, значит, свое соображение было, кому какой цвет носить.

— А вот мне тут один афганец говорил, будто в Индстране совсем черные ликом есть. Я ему верю, как бы удивляясь самому себе, продолжал Гнуцкий, — афганец врать не умеет. Он все по чести говорит, без лукавства.

— Зачем же ему врать, афганцу-то? Врать отродясь никто не должен.

— Смешной ты человек, есаул, право слово. Это мы врать не должны, христиане, а они-то чужаки, нехристи.

— То, что нехристи, это правда, — согласился есаул. — Я вот когда отправлялся сюда, так великий страх испытывал. Ото всех, понятно, таился, чтоб в смех не подняли: мол, Гнуцкий вояка хорош! Чужих земель испужался! А как сюда приехал да пообжился, так понял, что афганцы, нехристи эти, предушевного сердца люди. На базар пойдешь, так упаришься весь, подарки принимая. А поди-ка не прими. Обидится до самой последней крайности. Чудные, ей-богу. У самого зад голый — так нет же, все тебя норовит угостить, ублажить. А корысти у него в этом — ни-ни. Да и какая у афганца корысть? К земле-то он не привязан... Сегодня здесь, а завтра сел на коня и айда в степь.

— Не в степь, — улыбнулся Иван, — а в горы.

— Тьфу ты, — рассердился Гнуцкий, — все как языку привычней бухаю.

Седой рыжеусый казак со шрамом на подбородке раздумчиво сказал:

— Простой человек — он завсегда душевный. Хоть христианин, хоть самая последняя нехристь. Афганец чужому богу молится, крест увидит — отплюнется, а сердцем иному православному в образ поставлен быть может.

Нахмурившись, Иван припоминал, где он слыхал такие же, почти совсем такие же слова.

— Я это к тому, — говорил рыжеусый, — что человек на всем белом свете нутром одинаков. А на морду — так и у нас в России уж такие, не приведи господи, хари попадаются — окрестишься, а все одно страх берет.

— Это ты что, черномордых кивок делаешь? — поинтересовался Гнуцкий.

— Да не, — поморщился рыжеусый, — я те про то и толкую, что не в морде да не в цвете дело. Ежели я конопатый, к примеру, так что, я не человек? Аль белолицый, словно сметаной вымазанный. Ты не смейся, на север-стороне такие люди есть, рожей как луна зимняя. Ей-ей! А люди хорошие, чистые. Вроде тутошних, афганских.

«Вспомнил, — обрадовался Иван. — Ведь Ставрин мне то же самое говорил!»

И Виткевич слушал неторопливый разговор казаков и радовался тому, как широко и добро сердце простого русского человека.

8

Часто во время бесед с Виткевичем Дост Мухаммед приглашал сына своего Акбар-хана. Стройный, сильный юноша садился подле отца и внимательно слушал все, о чем говорили эмир с русским гостем. Акбар-хан все чаще и чаще замечал, что отец с русским делался совершенно иным, не похожим на того эмира, который разговаривал с Бернсом. Однажды, незадолго до прихода Виткевича, Акбар-хан спросил:

— Скажи, отец, ты очень гневаешься на ангризи?

— Как бы я ни был сердит на человека и недоволен им, — ответил Дост Мухаммед, — всегда в сердце своем я оставляю место для примирения с ним.

Акбар-хан улыбнулся:

— О, сколь ты мудр...

— Ровно столько же, сколь и ты... — Дост Мухаммед

помолчал, хитро прищурился и закончил: — будешь в мои годы.

Виткевич подчас чувствовал себя неловко до крайности: он не привык, он считал незаслуженным тот почет, которым стал окружен с тех пор, как эмир в присутствии приближенных своих назвал Ивана своим «большим другом».

Каждый раз, присутствуя при беседах эмира и русского, Акбар-хан видел, что Дост Мухаммед, наученный горьким опытом с англичанами и посланниками властителя сикхов, ставил вопросы таким образом, что ответы на них исключали возможность двоетолкования. На вопросы эмира нельзя было дать иного ответа, кроме как решительного «да» или столь же решительного «нет».

— В чем сила государства нашего? — спрашивал Дост Мухаммед и требовательно, строго смотрел в глаза Ивану.

Тот отвечал так же кратко и строго:

— В целостности Афганистана, в единстве всех земель его — от Кабула до Герата.

Эмир поднимал левую, более широкую, рассеченную шрамом бровь и выразительно посматривал на сына. Акбар-хан сразу же вспомнил, что на такой же вопрос Бернс ответил: «В уме великого Доста, отца и друга всех правоверных, в его дружбе с Англией и в могучей силе наследника — славного воина, мудреца и силача Акбара».

Вообще в отличие от Виткевича Бернс в начале своей востоковедческой карьеры сделал один неверный вывод, который мешал ему потом всю жизнь. Бернс был твердо убежден в том, что лучший язык в разговорах с азиатами — язык пышноречивой персидской мудрости, исполненный намеков и иносказаний. В том же, что он несравненно выше всех этих афганцев, персов и индусов, Бернс никогда и не сомневался, вернее — такой вопрос никогда не приходил ему в голову. Поэтому в его речах проскальзывала снисходительность, а порой фамильярность. Дост Мухаммед однажды сказал ему:

— Не веди себя фамильярно ни с тем, кто выше тебя, ни с тем, кто ниже. Тот, кто выше, не ровен час, разгневается. Кто ниже — совершить может нечто для тебя опасное, возомнив себя тебе равным.

Бернс почувствовал себя неловко и, чтобы скрыть это, ответил шуткой:

— Спросили у царевича: «Кому из своих друзей царь приказал заботиться о тебе?» А царевич возразил: «Царь поручил мне самому заботиться о них».

Ответ был дерзким. Но Дост Мухаммед оценил по достоинству остроту и ответил с улыбкой:

— Все это так, но у меня седых волос больше, чем у тебя. Поэтому мой совет тебе следовало бы принять, а не превращаться в розовый куст, шипами усеянный.

В отличие от Бернса Виткевич говорил с Дост Мухаммедом откровенно, прямо, меньше всего заботясь о расцвечивании речи своей мудреными эпитетами и метафорами. Он справедливо полагал, что в беседах с умным человеком не следует казаться умнее или хитрее, чем есть на самом деле. Всегда и повсюду самим собою следует быть. Искренность, как полагал Виткевич, всегда должна быть искренностью, вне зависимости от обстоятельств, места или людей, тебя окружающих. Поэтому в беседах с афганскими друзьями он говорил то, что считал нужным говорить, не считаясь с тем, приятно это собеседникам или, наоборот, больно.

Вот именно за это качество Дост Мухаммед полюбил Виткевича и относился к нему не просто с благожелательством, но и по-настоящему дружески.

9

По долгу своей дипломатической службы Иван был обязан еженедельно посылать в Санкт-Петербург отчет обо всем происходившем в Афганистане. Это была, пожалуй, самая трудная для него задача.

Петербург требовал обобщенных стратегических данных. Виткевич же отсылал скупые сообщения, окрашенные его отношением к афганцам. Это сильно вредило Виткевичу. Чиновники азиатского департамента пожимали плечами: «Чего можно ждать от неверного ляха, попавшего к диким афганцам?» Поэтому друзья из Петербурга советовали Ивану:

«Да объясните же им, Виткевич, что нам дружба с афганцами нужна, а не холодное и равнодушное запоминание виденного и слышанного. Должно узнать душу народа, нравы его, обычаи — словом, то, что вы пытаетесь делать, — для того, чтобы истинную дружбу завязать».

Но Виткевич считал, что объяснять очевидное — оскорбительно не столько для него, сколько для того народа, который стал ему по-братски близок.

«Мерзавцы, — думал Иван, — равнодушные сердцем твари! Им ли делами восточными заниматься, где все — горение и страстность, где все — братская дружба или открытая вражда...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

С адъютантом эмира Бернс встретился под вечер на пустынной в этот час мазари-шерифской дороге. Поздоровавшись, Бернс спросил:

— Что нового?

Не отвечая, Искандер-хан отъехал в сторону, к ручью, поросшему частым кустарником. Он не спешил с ответом. Осмотревшись по сторонам, Искандер-хан хотел было просмотреть и кусты, но Бернс остановил его шуткой:

— Такой мужественный воин и такая женская осторожность...

— Осторожность всегда нужна, — ответил адъютант, — а особенно тогда, когда дела плохи.

— Что так?

— Эмир проводит с русским много часов работы и досуга. Они говорят на пушту, и мне невозможно понять их, хотя я и пытаюсь подслушивать. Ведь я перс.

— Пора бы выучить язык афганцев, — поморщился Бернс.

— Меня устраивает мой язык, — огрызнулся Искандер-хан. — Но я не об этом хотел говорить с моим другом. Я хотел бы передать тебе мнение некоторых моих друзей. Вслушайся и пойми смысл того, что скажет сейчас мой язык... Наша страна похожа на женщину — так прекрасны ее земли и реки. Но у этой женщины есть муж. С ним она сильна, очень сильна. Имя мужа тебе известно: я служу ему. Так вот, если замужняя женщина подобна твердыне...

Бернс улыбнулся. Адъютант понял эту улыбку по-своему.

— Я говорю о женщинах Востока...

— Полно, друг мой, — засмеялся Бернс, — я ведь не о том. Моя улыбка — дань мудрости, скрытой в твоих словах.

Искандер-хан был польщен.

— Но если, — продолжал он, — женщина останется без мужа, то, я уверен, прекрасная вдовушка добровольно отдастся тому, кто захочет ее взять. А она очень лакома.

— Ну, а если этой вдовушкой хочет завладеть один, а другой ему мешает в этом? — поднял бровь Бернс.

— Другого убирают. Это пустяки.

— Меня сейчас интересует именно этот пустяк. Он может быть приведен в исполнение?

— Хоть завтра.

— Завтра?

— Хоть завтра, — повторил адъютант, широко глядя на Бернса желтыми навыкате глазами.

— Хорошо. А есть ли смельчак, который согласится убить моего соперника и взять у него все те бумаги, которые хранятся в двух сундуках?

— Такой смельчак есть, — опустив голову, сказал Искандер-хан.

— Тот, кто любит хорошеньких вдов, не забудет услуги смельчака, — пообещал Бернс.

— Смельчак не сомневается в этом.

Бернс и адъютант обменялись рукопожатием.

— Я надеюсь, — сказал Бернс, — что ты познакомишь меня с теми, кто думает так же, как и ты?

— Об этом смельчак переговорит сегодня же.

...Когда всадники выехали из своего укрытия и неторопливо поехали к городу, из кустарника выполз оборванный нищий. Посмотрев вслед все уменьшавшимся Бернсу и адъютанту, он злобно сплюнул и побежал по направлению к мазари-шерифским воротам. А оттуда до эмировой крепости Бала-Гиссар рукой подать.

2

Ночью Бернсу снилась Мэри, молоденькая жена полковника Грэя, их соседа по имению в Шотландии. Всегда строгая и холодная, сегодняшней ночью она пришла совсем нагая под его окна и прошептала:

— Александр, я вдова, Александр.

Бернс прокрался к занавеси и смотрел на нее в щелку, опьяняясь зовущей красотой женщины. Потом он открыл окно и хрипло сказал:

— Иди скорей, я жду.

Мэри вздрогнула и, прикрыв рукой грудь, пошла к нему.

Задохнувшись, Бернс проснулся. На улице шумел ливень.

3

Той же ночью Виткевича разбудил стук в дверь. Он открыл глаза: за окном занимался серый рассвет. По подоконнику ходили голуби и сонно ворковали.

— Кто там? — спросил Иван, поднимаясь с постели.

— Открой, именем эмира!

Иван набросил халат и отворил дверь. На пороге стояли два воина. Один из них протянул Ивану записку. Иван засветил свечу и прочел:

«Русский друг! Делай все так, как тебе скажут Джелали и Давлят. Эмир Дост».

— Что я должен делать? — спросил Виткевич.

— Следовать за нами, — ответил старший мюрид эмира Джелали.

Когда Виткевич оделся и пошел следом за Давлятом к коням, Джелали подбежал к кровати и положил одеяло так, как будто человек спал, укрывшись с головой. После этого он распахнул окна и побежал следом за всеми.

4

— Куда же мы все-таки едем? — не выдержал Виткевич.

Они уже проскакали никак не меньше пятнадцати верст. Природа становилась все глуше, и даже начинавшийся рассвет не делал ее веселей: мрачные скалы налезали со всех сторон, словно стараясь раздавить путников.

Джелали повернул к Виткевичу разгоряченное лицо и засмеялся.

— Мы едем на охоту. Ловить архара.

Светало все более и более. В небе еще тлели звезды, а горы уже приняли дневные очертания и стали из черных серо-коричневыми. С Гиндукуша поползли огромные снеговые тучи. С каждой минутой вокруг рождались все новые и новые звуки. То, мягко шурша атласными крыльями, пролетала стайка голубых горных голубей, то жужжал шмель, торопившийся дожить последние дни своей недолгой жизни, то где-то наверху осыпались камни: звери возвращались с водопоя.

Виткевич пожалел, что не знал музыки; на глазах рождалась изумительная, тонко звенящая мелодия утра.

Облака из белых становились ярко-красными, потом снова белыми, все вокруг оживало, и, ослепляя брызгами своих лучей, из-за гор выползло багряное, улыбающееся солнце. Пришло утро.

— Ну вот и все, — сказал Джелали, — приехали.

По склонам гор, непонятно как прицепившись к высту-

пам серых скал, стояли домики, сделанные из коричневой глины, с узкими бойницами окон. На плоских крышах лежали сушеные фрукты, и от этого в селении стоял чуть горький запах. По улице, которая начиналась высоко в горах и спускалась вниз по ущелью, весело звеня, несся голубой поток.

— Ты будешь жить у Фатех-джана два дня, — сказал Джелали, обернувшись к Виткевичу. — Это мой друг. Он делает рабабы для ашугов, которые слагают песни гордости и любви.

Фатех-джан поднялся навстречу пришедшим, обнялся с Джелали и Давлятом, внимательно посмотрел на Виткевича и жестом пригласил всех в дом.

— Он понимает наш язык, — кивнул Джелали на Ивана, — и любит слушать наши песни.

Фатех-джан улыбнулся:

— Друг моего друга, понимающий мой язык, вдвойне дорог сердцу.

— Мы уезжаем, Фатех-джан. Нам надо торопиться в Кабул, — сказал Джелали.

— Гостю будет хорошо у нас, — ответил Фатех-джан, — он уйдет в горы вместе с Ваxедом и Абдулали ловить архара. Когда он вернется, пройдет день или два...

— Вот как раз через два дня он может вернуться в Кабул.

Попрощавшись, Джелали и Давлят вскочили в седла и через минуту скрылись из глаз, лихо свернув на всем скаку за выступ скалы, чем-то напоминавшей суровое лицо великана.

Через три часа, отдохнув после дороги под раскидистой тенью тутовника, Виткевич ушел в горы. Вместе с ним пошли Вахед и Абдулали. Фатех-джан долго стоял у ворот своего дома и смотрел вслед уходившим, которые с каждой минутой становились все меньше и меньше: воздух в горах настолько прозрачен, что люди растворяются в нем быстро необычайно.

Ловцы поднимались высоко в горы, ловко перепрыгивая через ручьи, которых здесь было великое множество. Синие, зеленые, бурые — они, казалось, были кем-то заботливо подобраны по цвету, чтобы все вокруг стало еще прекрасней и суровей.

В одном месте шедший впереди Вахед остановился: прямо перед ним, поднявшись на хвост, замерла гюрза. Маленькие глаза ее точками уставились в колени охотника. Вахед стремительно поднял ногу, так же стремительно опустил

ее, и голова змеи оказалась у него под каблуком. Он нагнулся, завязал хвост гюрзы узлом, поднял ее над головой и, раскрутив, с размаху ударил о камень. Потом, как будто ничего и не произошло, бросил змею в поток.

Крутые подъемы чередовались с сыпучими спусками. Растянувшись в цепочку, поддерживая друг друга, охотники забирались все дальше и дальше.

Уже под вечер они оказались в маленькой, затерянной среди гор лощине. Со всех сторон громоздились огромные скалы. Внизу, скрытый в кустарниках, журчал ручей.

— Мы пойдем ставить сети, — сказал Вахед, — жди нас здесь.

— Может быть, я пойду с вами? — спросил Иван.

— Не надо. Тебе следует сохранить силы для завтрашней охоты.

Афганцы ушли. Иван остался один на небольшой площадке, образовавшейся после недавнего землетрясения. Внизу — небольшой обрыв, позади — камни. Место это, как объяснил Вахед, хорошо укрыто не только от ветра, но и от хищников — барсов, волков, а может быть, и тигров.

«Что бы все это могло значить?» — подумал Иван.

За время своего пребывания в Афганистане он привык верить пуштунам, но все происшедшее с ним было непонятно и загадочно.

«Может быть, мне следовало бы сначала к эмиру в крепость съездить? Или нет?»

Ослепительно раскаленный после дневной работы, чуть колеблющийся диск солнца начал медленно опускаться. В его прозрачном свете стали особенно рельефными острые вершины гор. Вокруг застыла мертвая тишина, изредка прорезавшаяся посвистом неведомой птицы. Птица кричала то жалобно, то резко, хищно.

Лучи солнца нехотя уползали за вершины. Происходила погоня: светлое уходило, наступало серовато-синее, сумеречное. Пролетели две горные курочки, и наступила полная, мрачная тишина. Такая тишина, которая может быть только в горах, за многие десятки верст от человеческого жилья.

Изредка налетал ветерок и, заигрывая с деревьями, срывал желтые листья, уносил их вверх, в небо для того, чтобы, поиграв там с ними немного, швырнуть на остывающие камни.

Иван вздохнул. Пришло тоскливое чувство одиночества и затерянности. Кругом молчаливые горы. Высоко над головой — равнодушное в своей могучей красоте небо.

«Предчувствие? — подумал Виткевич. — Неужели предчувствие? Странствователь по землям далеким — и вдруг вера в предчувствия?»

Он огляделся. То, что Иван увидел, было так страшно, что он даже зажмурился: снизу по тропинке шел тигр, осторожно ступая по камням мягкими подушечками больших своих лап.

5

Фатех-джан обнял деревце и прижался к стволу ухом. «Из этого зардалю* получится хороший рабаб», — решил он и постучал пальцем по стволу: Фатех-джану нравилось слышать себя в дереве. Он верил, что после смерти перевоплотится в тутовник.

— Хы, — сказал он Давлетманду, который принес дерево через час после ухода Виткевича в горы, — хы, я возьму его за семь рупий.

— Хы, — согласился Давлетманд, — возьми.

Когда он ушел, Фатех-джан положил деревце на верстак и очистил от коры и сучьев. Потом он пошел к воротам — здесь всегда было много солнца — и начал рыть яму. Земля была теплая, сухая. Фатех-джан принес деревце, осторожно опустил его в яму и засыпал землей. Это место он полил водой из бурдюка: солнце, земля и вода рождают песню. Здесь деревце будет лежать дней десять. Ствол станет мягче, но сердцевина, сокровенная суть всего живого, окрепнет.

Фатех-джан отнес бурдюк на женскую половину и вернулся в мастерскую. Взял в руки только вчера вырезанный рабаб и, прижав его одним концом к верстаку, а другим к груди, начал осторожно полировать грани деки куском сухого гранатового дерева.

Люди говорили, будто Морад Вали из Кандагара полирует зардалю и тутовник куском железа. «Это железо называется напильник, — пояснял Морад Вали, — я купил его в Кабуле по сходной цене у Мирвейса, лавка которого рядом с мастерской Гуль Моманда».

«Разве можно дерево, которое рождает песню, полировать железом? — удивлялся Фатех-джан. — Ведь песня уйдет из такого дерева...»

Мурлыча песню, он размеренно, до тепла, натирал рабаб

---

* Персиковое дерево *(афг.)*.

куском граната. Поработав час, вынес его на улицу и положил под лучи солнца.

Вечером прибежал маленький Исхак, сын Наири.

— Фатех-джан, о Фатех-джан! — закричал он с улицы. — Возле нашего дома сидит странник. Он слагает песни. Отец велел сказать тебе об этом.

Фатех-джан провел ладонями по деке рабаба. Дерево было теплое, как тело человека. «Дней через пятнадцать я закончу этот рабаб», — подумал он, собирая с верстака витые длинные стружки.

— Салам, табият цынга йе, джор, пы хайр, хы дый?* — приветствовал Фатех-джан певца, присаживаясь рядом с ним.

Певец поднял большие, навыкате глаза и ответил на приветствие. Голос у него был хриплый. Когда он улыбался, глаза оставались неподвижными, словно вода в синей чашке.

Певец снял с плеча свой рабаб, маленький, в три струны. Откашлялся. Вокруг сидели люди и ждали. Певец склонил голову, ущипнул струны и чуть встряхнул рабабом. Звук сразу же стал звонким, сильным. Фатех-джан насторожился: такого звучания ему раньше никогда слышать не приходилось. Певец начал петь про орлов, что живут в небе, стране гордых. Хриплый голос певца сделался мягким, красивым. Пальцы бегали по струнам быстро, чуть касаясь их. Только глаза оставались неподвижными.

Фатех-джан пригласил певца к себе. Вечером, после намаза, они сидели около огня и толковали о всяком.

— Слова твоих стихов приятны музыке, — сказал Фатех-джан, передавая гостю в руки палочку с нанизанными на нее кусочками жареного мяса.

— А твои слова приятны мне, — улыбнулся певец, — потому что я не слышу в них лести.

В дверь постучались.

— Входи, — негромко крикнул Фатех-джан, — входи и будь гостем моего дома!

На пороге стоял Ахмед, сын лесоруба.

Фатех-джан указал ему место рядом с собой и пододвинул лепешку, уже разломанную на куски, и мясо. Ахмед завернул в кусок лепешки мясо, подержал его над огнем и спросил:

---

* Афганская форма приветствия при встрече.

— Сегодня я ухожу в горы, туда, где сейчас Абдулали и наш гость. Нужны ли тебе еще деревья для рабабов?

— Да, — ответил Фатех-джан.

Когда Ахмед ушел, певец удивленно поднял брови:

— Разве ты не сам ищешь такие деревья?

— Зачем? Лазать по горам?

— Лазать по горам...

— Почему ты спрашиваешь об этом? Разве я могу увидеть именно то дерево, которое мне нужно?

Певец не торопился с ответом, что-то обдумывая. Потом попросил:

— Дай мне, пожалуйста, чаю.

Фатех-джан протянул ему чашку и про себя отметил, что певец не так уж вежлив: в гостях не принято просить. Это звучит упреком хозяину.

— Нет, — улыбнулся певец, — я прошу у тебя не чашку, а пачку с чаем.

— Разве я плохо заварил? — не удержавшись, спросил Фатех-джан. — Если тебе неприятен вкус, я заварю новый.

— Нет, нет, что ты, — возразил певец, — чай очень хорош, хвала твоему дому. Но посмотри: вот ты дал мне пачку чая. Я беру ее, высыпаю на ладонь часть содержимого, откладываю остальную пачку в сторону и выбираю чаинки для особой заварки, — певец закрыл глаза и начал осторожно ощупывать каждую чаинку. — Видишь, вот эта толста, слишком толста. Она придает чаю резкий запах. Мы ее отложим в сторону, так? А вот эта, смотри, — певец взял маленькую тонкую чаинку и поднес ее к носу, — это очень хорошая чаинка. На, понюхай и сравни с большой, той, что я отложил.

Фатех-джан сравнил две чаинки, понюхал их и решил, что певец прав. Он ждал, что будет дальше.

Певец молча отбирал самые хорошие чаинки. Потом он попросил у Фатех-джана чайник и бросил их туда.

— Залей не слишком горячей водой и дай постоять минут десять. Пройдет время — сравни этот чай с любым другим, и ты скажешь, что мой лучше. Потому что я сумел верно начать. Я начал с выбора, с поиска. С поиска чаинок.

Фатех-джан усмехнулся.

— Ты мудр, а мудрость принимают как дар аллаха.

— Это ли мудрость? — возразил певец. — Мудрость проще, оттого что путь к ней труднее.

Помолчали. Потом певец спросил:

— Ты, верно, не знаешь моего имени?

— Нет, не знаю.

— Меня зовут Садыкулла. Я сын мастера рабабов, и отец мой был сыном мастера.

— Я знаю работы Садыкуллы, — сказал Фатех-джан и внимательно посмотрел на гостя, — но ты певец, а не мастер. Мастер никогда не поет, он только делает песню.

— Когда мастеру есть что петь, он и споет, — заметил Садыкулла и бросил под язык щепоть зеленого табаку. — Знаешь ли ты, как я потерял глаза?

6

Тигр, по-видимому, не видел Ивана. Но, судя по тому, как подрагивали его ноздри, он чувствовал поблизости человека. Шаг его делался все короче и осторожнее.

Иван вытащил из-за кушака пистолет и отвел курок. Мысли заметались, наползая одна на другую, сталкиваясь, дробясь на множество других, быстрых и неожиданных.

«Неужели конец? Что сделает пистолет против зверя? Кричать? Никто не услышит. Молчать, затаиться?»

Осторожно, рассчитывая каждое движение, Иван повернулся на живот. Достал кривой нож. Положил его рядом с собой. Тигр был теперь шагах в двадцати. Скрытый от него камнями, Иван мог еще раз внимательно разглядеть полосатого, поджарого зверя.

«А что, ежели в глаз ему угодить?»

Рука у Ивана верная, тяжелая. Рукоять пистолета зажата в холодных пальцах.

Тигр в пятнадцати шагах.

Где-то неподалеку покатились камни. Тигр замер.

С каждой минутой темнеет все больше и больше.

Снова где-то посыпались камни. Тигр весь напружинился, прижался к земле, пополз.

Иван оттянул курок.

Сердце колотилось в груди тяжело, быстро.

Палец начал осторожно давить на курок.

Большой глаз тигра, вернее даже — зрачок, как раз над мушкой.

«Бабах!»

«А-а-а-а-х! Х-х-хахааа!» — громыхнуло эхо.

Тигр вытянулся, потом подпрыгнул, стал на задние лапы, пошел на Ивана.

«Бабах! А-а-аххх-ааа!» — громыхнул второй выстрел.

«Кто же это?! Спасен?!»

Тигр завертелся на месте, упал, дернулся, замер.

— Э-э-й! — негромко крикнул кто-то из кустов — Ты жив, друг?

Иван сдержал дрожь в коленях. Хрипло ответил:

— Жив.

Из кустов дикого жасмина вылезли Вахед и Абдулали.

Когда они подошли к Ивану, тот сидел около туши убитого тигра, крепко сцепив руки.

— Мы боялись спугнуть его, когда заметили, — объяснил Вахед, — он сердится, когда его пугаешь, и может кинуться на человека раньше времени, рассердившись...

— Да, очень сердится, — подтвердил Абдулали. — Чай будем пить?

— Будем, обязательно будем. А то я замерз, — сказал Вахед и начал высекать искру.

7

Фатех-джан растерялся. Он никак не думал, что Садыкулла слеп. Он думал, что у него просто такой взгляд — тяжелый, остановившийся.

— Я расскажу тебе. Пятьдесят лет тому назад, — начал певец, — у меня было много рабабов, ситаров и доумр, оставшихся еще от отца и деда. Их с охотой покупали у меня певцы из Кандагара и Герата, Пешавара и Кабула. Мои рабабы нравились людям, но они не нравились мне. Я хотел сделать такой рабаб, чтобы звук в нем был чист, как слеза новорожденного. Я начал делать рабабы из теневой стороны дерева. Звук получался густой, но грустный, словно первый ноябрьский дождь. Я попробовал делать из солнечной стороны — звук получался высокий, звонкий, как голос девушки в горах. Но как совместить в одном голоса двух? Я стал класть в деку солнечного зардалю кусок тута, срубленного в тени. Звук получался широкий, и шум дождя мешал песне девушки.

Однажды странник, пусть аллах благословит его имя, поведал мне, будто в стране, где горы держат небо, среди снегов растут деревья, которые славятся в тех краях силой, выносливостью и красотой.

Я пошел в тот край. Я шел много дней. Я поднимался в горы. Но чем выше я поднимался, тем становилось холоднее и дышать было трудно и чаще сбивал с ног сухой ветер. Кругом были только скалы, а деревьев не было. Глазам моим стало больно смотреть вверх, потому что небо уже было не голубое, а красное. Потом начался красный

снег и красные облака. Отчаянье — подруга слабых: я решил повернуть назад. Но перед тем, как уйти, я взглянул вверх. Облака расступились, и я увидел высоко вверху в маленьком клочке красного неба сильное ветвистое дерево. Я полз к этому дереву много часов, а может быть, дней. Я не знаю, сколько времени я полз вверх. Но не потому, что силен был дух мой. Просто глаза видели дерево, а уши слышали музыку, которую оно призвано рождать.

Я полз, цепляясь руками за лед. Ноги стыли, глаза слипались от боли. А надо мной кружили беркуты — гордые птицы.

Я принес это дерево вниз и начал делать из него рабаб. Я торопился и работал ночами: мои глаза с каждым днем видели все хуже. Но когда я натянул струны и тронул их пальцами, уши мои услыхали шум весеннего ветра, клекот беркутов, песнь девушки. Я услышал музыку. Но я ничего не увидел. Я увидел только красное небо. И я вижу его вот уже пятьдесят лет подряд...

Наутро певец ушел. Он осторожно переставлял ноги, ощупывая дорогу острыми носками сандалий. Потом он снял с плеча рабаб и тронул струны.

Фатех-джан долго смотрел ему вслед. Он слышал в песне слепого великую радость жизни

8

Вахед разбудил Виткевича, когда в небе еще горели звезды. Быстро собравшись, охотники двинулись к месту охоты. Абдулали шел впереди по едва различимой в темноте тропинке в камнях. Природа сделала здесь лестницу, и поэтому идти было не так трудно, как вчера

— Во-он там спрячемся в кустах, — показал рукой Абдулали на узкое, поросшее кустарником ущелье, — там сети стоят...

Около можжевелового куста Абдулали велел Ивану остаться и спрятаться у ручья. Сам он вместе с Вахедом пошел выше. На самом гребне ущелья Вахед закидал Абдулали сухим хворостом и побежал вниз, туда, где в кустах еще со вчерашнего вечера была укреплена сеть. Он спрятался так быстро и так искусно, что Иван, минуту перед тем видевший его, поразился, не обнаружив охотника на том месте, где тот стоял только что.

Прошло несколько минут, и вдруг где-то совсем рядом громыхнул выстрел Это Ахмед, сын лесоруба за ночь

сделал по горам крюк и сейчас гнал в ущелье, в сети архаров, горных козлов.

Еще один выстрел.

Снова выстрел.

И вот, будто на старинной гравюре, прямо на гребне, в нескольких метрах от того места, где затаился Вахед, выросла стройная фигура огромного козла.

Еще выстрел.

Козел сделал большой прыжок вниз. Остановился. И тогда из своего укрытия выбежал Абдулали. Он закричал что-то, замахал руками. Архар бросился вниз. Около можжевелового куста снова остановился. Иван выстрелил в воздух, закричал громовым голосом. Козел снова рванулся вниз, к кустам, в которых стояла сеть. Умное животное архар. Гордое и умное. Впереди — неведомое. Позади — преследователи. Архар бросился вперед, в кусты. Он нагнул голову, стараясь рогами разорвать молчаливую зелень веток. Сеть, чуть укрепленная по обеим сторонам ущелья, от могучего этого броска покачнулась, упала вниз, накрыв архара. Козел забился, заметался. Тогда Вахед прыгнул прямо на архара, схватил его за рога, взвалил на себя и закричал радостно:

— Э-эй! Наш!

Архар рвался, бил его копытом, стараясь высвободиться. Но — напрасно. Охотник прижал его голову к камням, и через минуту подбежавшие Абдулали и Виткевич связали ноги козла веревками. Архар посмотрел на охотников красными, влажными глазами и вздохнул. Тяжело, по-человечески...

— Зверь тоже имеет сердце, — пояснил Ивану Абдулали, — он знает, что мы продадим его купцам, а те — ангризи. Чужие страны и для архара страшны...

Ахмед, сын лесоруба, добрался до охотников через полчаса. Он отозвал в сторону Абдулали и что-то негромко сказал ему.

— Гость может ехать в Кабул, — объяснил Ивану Абдулали.

— А кого же мне благодарить за время, столь приятно проведенное? — спросил Иван.

Абдулали посмотрел на Вахеда, Вахед — на Ахмеда. Тот приложил руки к груди и отошел в сторону. Тогда Вахед осторожно снял со своих рыжеватых усов приклеенные черные, и Виткевич сразу узнал Фатх-мирзу — названого брата наследника Акбара. Фатх был человек сказочной храбрости, ледяного спокойствия и великой силы. Дост Му-

хаммед доверял ему как себе. Самые трудные поручения выполнял Фатх, всегда оставаясь в тени, не требуя ни наград, ни славы.

— Пусть гость ничему не удивляется, когда вернется в Кабул, — сказал с усмешкой Фатх-мирза и пошел вниз, не оглядываясь.

Но Иван все же удивился: его одеяло, лежавшее на кровати, было прострелено в трех местах.

Тем же утром адъютант эмира был найден в своей постели задушенным.

9

— Ну, как охота? — спросил Дост Мухаммед Ивана, когда тот пришел к нему, как обычно, в десять утра.

— Очень интересная охота, — ответил Виткевич.

И ни эмир, ни Виткевич больше не говорили об этом в продолжение всей беседы. Начали они с того, что Иван рассказал Дост Мухаммеду о налоговой системе в России Эмир слушал его, время от времени делая пометки в своей тетради.

— Слушай, русский друг, — неожиданно спросил он, — а как ты думаешь: нападут на нас англичане или все кончится маневрами на границах?

Виткевич посмотрел на Дост Мухаммеда и сжал губы.

— Мне трудно ответить на этот вопрос, ваше величество. Я не имею права отвечать на этот вопрос, потому что Великобритания дружественная России держава.

— Молодец!..

Оба замолчали. Потом Дост Мухаммед спросил:

— Россия поможет нам?

— Ваше величество, я считаю своим непреложным правилом честно отвечать и владыкам и рабам. Я хотел бы думать, что Россия будет помогать вам, но сказать определенно не могу, потому что происходящее в Санкт-Петербурге мне неизвестно. С полною точностью я могу сказать вам лишь только, что народ России всегда понимает, где правый, а где виноватый. Я твердую уверенность питаю в том, что все люди на земле братьями друг другу приходятся. Если бы мои друзья в России узнали афганцев так, как я, а афганцы узнали бы русских.

— Так, как я их узнал, — вставил эмир.

Виткевич встал и поклонился. Эмир снова посадил его рядом с собой и попросил:

— Продолжай, друг.

— Я не знаю, что будет сейчас. Но я верю в то, что будет завтра. Завтра Афганистан с Россией братьями будут и друзьями не только потому, что соседи всегда друзьями быть должны, а потому, что народы наши сходны характерами своими и сердцем. А сейчас... Что же, сейчас я был бы счастлив, если бы мое правительство разрешило мне драться под вашими знаменами за ваше дело, потому что оно очень близко мне. Это дело свободы, а россияне считают его святым.

— Спасибо тебе, — задумчиво сказал эмир. — Мы, афганцы, умеем ценить друзей. Спасибо тебе, друг, — повторил эмир еще раз и положил свою жилистую руку на руку Ивана.

10

К Виткевичу Бернс пришел поздним дождливым вечером. Улицы Кабула, погруженные в темноту, казались мертвыми: ни единого звука не доносилось из домов, только собаки тонко повизгивали, недоумевая, почему в небе нет луны.

Увидав Бернса на пороге своей комнаты, Виткевич безмерно удивился.

— Здравствуйте, господин Виткевич. Простите за столь позднее и бесцеремонное вторжение. Но так лучше: и для меня и для вас. Вы разрешите мне войти? — И, не дожидаясь ответа, Бернс вошел.

Он сбросил накидку, положил ее на спинку стула. Сел, забросил ногу на ногу и, быстро осмотревшись, заметил:

— А все-таки вы обманщик, дорогой посол.

— В разговоре со мною прошу вас соблюдать вежливость, полковник.

Бернс удивился.

— Это вы про обманщика? Пустяки, право же. Но если это столь для вас неприятно — примите мои искренние извинения. Чудесно! Теперь я повторю снова и с еще большим к вам уважением: вы обманщик.

Иван поднялся. Бернс, как бы не замечая этого, продолжал:

— Вы провели меня в Бухаре в первый раз. А здесь не только провели, но, как говорят знатоки бриджа, переиграли. Не горячитесь, пожалуйста. Давайте уговоримся не следить за терминами. Будем говорить откровенно — на обоюдных началах, ладно? Вы понимаете, господин посол, что вы наделали? Нет? Хорошо, я объясню вам, тем более что все это просто до чрезвычайности. Я, Александр Бернс, а в моем лице Великобритания, должен уйти из Кабула лишь только потому, что сюда пришли вы и сумели понравиться правителю Досту больше, чем я.

— Кто вам мешает нравиться? Подкрасьте губы, насурьмите брови, и из вас мужчина хоть куда, — грубо, в тон Бернсу, ответил Иван, — но весь этот разговор мне непонятен и...

— Что «и»? — быстро спросил Бернс. — «И» буду говорить я. Именно я, потому что мне известно о вас все, даже то, что вам самому неизвестно. Посол, — Бернс растянул губы в досадливой усмешке, — под надзором полиции. Смешно, не правда ли?

Где-то, в двух местах сразу, затрещали сверчки. Они были как музыканты в хорошем оркестре: когда уставал один, другой подхватывал его песню с новой силой. Бернс, услыхав их, замолчал. Потом, вздохнув, просто, без иронии спросил:

— Вы знаете, что ждет вас в России? Конечно, не знаете. Я знаю. Мне почему-то близка ваша судьба, Виткевич. Меня, словно противоположный полюс магнита, тянет к вам. Но довольно редко в основе человеческого притяжения скрыта столь резкая полярность, как у нас с вами. Я знаю себе цену, господин Виткевич, у меня очень большая цена, но вы мне особенно импонируете именно теми качествами вашего характера, которые у меня — к счастью ли, к горести ли, не ведаю — отсутствуют. Да не смейтесь вы, черт возьми! Я шотландец, я умею трезво оценивать свои поступки и мысли. Когда я вижу, что поступок мой нелеп, но неотвратим, — я человек страсти, — мне остается только шутить над самим собою, а занятие это весьма тягостное...

Увидев, что Виткевич слушает его с усмешкой, Бернс прервал себя:

— Я отвлекся: я не на смертном одре, и поэтому искренность моих слов может вызвать у вас одно лишь недоверие и излишнюю настороженность. Итак: я хочу предложить вам иное решение нашей партии. Я хочу предложить вам должность секретаря русской миссии в Тегеране. Хотите?

— Мы не в лавке, Бернс, а политика — это не груши, которыми торгуют на базаре.

— Ну, это уж просто недостойно вас, Виткевич, — удивился Бернс; — такой чистый человек, а со мною хотите играть в лицейскую наивность. Политика действительно не груша. Слишком хорошее сравнение. Политика — это кожура от перезрелого арбуза, и не нам с вами закрывать глаза, гуляя по краю пропасти.

— Если вы, Бернс, довольствуетесь огрызками арбузов, то это говорит просто-напросто о ваших извращенных вкусах. Я огрызков не ем.

— Ого! Как понять вас следует? Мне хочется понять вас так, что пост секретаря низок?

Виткевич поднялся и ответил гневно:

— Бернс, перестаньте. Я теряю уважение к вам.

И тут случилось то, чего Бернс потом себе никогда не мог простить. Быстро, шепотом, глотая слова, он предложил Ивану:

— Ну хорошо, хорошо, не будем ссориться. Я глава торговой миссии, у меня большие средства. Станьте магараджей — дворцы, гаремы, блаженство созерцательности...

Виткевич ударил кулаком по столу. Глаза его сузились гневом, ноздри раздулись, стали тонкими и белыми.

— Вон отсюда, — негромко сказал он.

Бернс спохватился, но было уже поздно. Он понял, что здесь партия проиграна и ничем уже не спасти ее. Сразу стал таким, как прежде: надменным, шутливым, спокойным. Только лихорадочный румянец на скулах выдавал то волнение, которое он только что пережил.

— Только тише, — негромко попросил Бернс. — Вам же выгоднее, чтобы все было тихо, потому что здесь я. Что подумает ваш есаул, казаки? Ведь у вас в России очень любят размышлять над подобными казусами.

— Вон отсюда! — повторил Виткевич и облизнул пересохшие губы. — Убирайтесь прочь!

— Хорошо, мой посол, — уже совсем спокойно ответил Бернс, — я уйду. Но я обещаю вам, — а я обещаний на ветер не привык бросать, — вы мне дорого заплатите за вашу победу. Это не победа вашего правительства, и именно этого я вам никогда не прощу. Вы пожалеете о том, что сделали. Прощайте. Мы с вами больше никогда не увидимся.

И, учтиво поклонившись Ивану, Бернс вышел.

Он оказался прав: они больше никогда не увиделись. Ровно через четыре года восставшие афганцы убили Бернса в Кабуле. Но до своей смерти он подготовил не одну смерть для других — знакомых и незнакомых ему людей.

11

В один из дней, когда Дост Мухаммед с утра совещался с военачальниками и посланцами из Кандагара, Виткевич заперся в своем кабинете. Он просидел за столом, не поднимаясь, часов десять кряду. Писал. Курил кальян и писал, писал не переставая.

А когда в Кабул пришли сумерки, приглушив все дневные звуки, Виткевич разогнулся, выпил крепкого холодного зеленого чая, походил по комнате и уже только потом запечатал несколько листов в большой, им самим склеенный конверт и передал его казачьему есаулу, отправлявшемуся с дипломатической почтой в Санкт-Петербург.

И хотя на конверте было старательно печатными буквами выведено: «Петербург, редакция журнала «Современник», для А. С. Пушкина», письмо это попало в III отделение, на стол Бенкендорфа.

Александр Христофорович осторожно вскрыл конверт и, надев очки, погрузился в чтение.

«Милостивый государь, Александр Сергеевич.

Памятуя вашу мысль о необходимости издания «Альманаха Восточных Литератур», я рискнул отправить на ваше усмотрение крохотную толику того, что успел накопить, находясь в Кабуле — городе, овеянном ореолом романтики столь необыкновенной, что представлять ее, не почувствовав самому, немыслимо.

Думаю, что некоторые переводы из стихов афганских классиков должны будут вызвать интерес у литераторов российских, да и вообще у читающей публики.

Первым поэтом, с которым должно ознакомить наших любителей словесности, по праву следует выставить Хушхаль-хана Хаттака, человека не только одаренного великолепным даром слагать стих, но и столь же редким даром храбрейшего военачальника. Сражаясь за свободу афганцев, он был схвачен в плен, израненный, долгое время прожил в изгнании, вдали от родной земли. Но стихи его — мудрые, сильные — никогда, ни в единой строке не несут печали, столь свойственной людям, томимым в плену. Вот некоторые из его стихов.

Одно непостижимо никогда.
Спокойствия достигнуть без труда.
Безделье не лекарство, но отрава!
Пусть труд тяжел — в нем нет того вреда,
Пусть даже к смерти приближает — право,
Безделье все же худшая беда.

Пусть рок тебя и ввергнет в пасть ко льву,
Не думай: «Гибну!» Знай: «Переживу!»
Пытайся изловчиться в пасти львиной!
Стремись к освобожденью, к торжеству,
И лев еще придет к тебе с повинной!
В кошмаре — смерть. Спасенье — наяву

Посмешище! Ты сам тому виной:
Подобен старушонке той шальной,
Что мушку на лицо свое налепит,
В морщинах пудру разотрет слюной.
Беззубые ужимки, сладкий лепет..
.Ты в царедворцы лез? Очнись, дурной!

Кривому глазу не идет сурьма,
Пусть криводушный, с сердцем безобразным,
Достигнет счастья — спятит он с ума.
Не в полном смысле, но бесчинствам разным
Откроет путь душа его сама!

Гнев государя, ложь муллы-злодея,
Жены распутство, жадность богатея —
Четыре мною названы порока:
Так я решил, об истине радея.

Следующим поэтом следует назвать Рахман баба-джана, или, как говорят афганцы, Рахмана. Он также полководец, воин. Дост Мухаммед, эмир Афганистана, человек, знающий поэзию Востока прекрасно, сказал мне, что Рахман в одной руке держал меч, в другой — перо, но умудрялся при этом крепко сидеть в седле.

Вовек не оскудеет
С вином любви кувшин,
Что вылеплен из праха
Фархада и Ширин!

Лучше яму не рой на пути,
Загадав, что другой попадет,
Самому не пришлось бы идти.
Ты провалишься — он обойдет

За любовь я пожертвую всем, что имею:
Будь то золото, будь серебро — не жалею.
Будь то жемчуг и все, что добыть я сумею.
От всего отказался я, кроме любви:
Я — Рахман, не согласен пожертвовать ею!

Абдул Кадыр — поэт из того же племени, что и афганский Ломоносов — Хушхаль-хан. Он из племени хаттаков. Он, как уверяют кабульцы, — а они ценители поэзии истинные, строгие, — в творчестве своем взял много у Фердоуси и Хаяма. О них, об этих двух гениях далекой старины, я напишу вам, Александр Сергеевич, в следующем письме, ежели это вам интересным покажется.

Вот некоторые переводы из Абдул Кадыра и Абдул Гамида:

О виночерпий! Дай вина,
Коль все на свете бренно!
Люблю быть пьяным и люблю быть трезвым
совершенно,
А полупьяный человек противен, как измена!

Дурной все знает о дурном,
О добром знает добрый!
Дурной страдает от добра, от зла страдает добрый,
Злой негодуя, судит то, что оправдает добрый.

Не лицемерь, не до потех!
Коль сведуща в законах,
Ты знаешь, это худший грех
В религии влюбленных!

Обезумевшая птица в стокольцовой западне...
Брось метаться, полно биться!
Кудри милой снятся мне...

И, наконец, Казем-хан, мой любимый поэт. Вы, верно, помните те строки, что я читал вам в Оренбурге. Здесь я записал еще кое-что, неведомое мне ранее.

На безвестную жизнь мелочей
Как внимательно солнце глядит!
Мелкоту не лишает лучей,
И никто им не будет забыт.
Человек, если вправду велик,
Малых сил презирать не привык,
Он в сердца их глубоко проник, —
Как внимательно солнце глядит!

Дали месяцу серп для чего
И пустили на синюю гладь?
Чтоб с людей не от мира сего
И с мечтателей жатву собрать...

Если хочешь дать людям покой,
Сам спокойно не спи никогда:
Будь, как люлька! Ценою такой
Дашь спокойные людям года.

Вот все это я и хотел бы предоставить на Ваше, милостивый государь, Александр Сергеевич, благоусмотрение. Я буду с нетерпением ожидать ответа Вашего. Ежели то, что я перевел, непригодно или неинтересно, отпишите отчего и почему.

Сейчас я занят тем, что обрабатываю песни народа. Я собрал их около тысячи. Они звучны, страстны и необыкновенно выразительны: так и просятся на музыку.

Коли суждено мне будет вернуться в Россию, передам все стихи и песни Алябьеву — он Восток обожает и понимает по-настоящему.

Жду вашего ответа.

Ваш *Иван Виткевич*».

Кабул.

Бенкендорф снял очки и осторожно положил их в маленький потайной ящик стола — Александр Христофорович скрывал от всех свою близорукость. Высокие часы нежно пропели время. Бенкендорф улыбнулся доброй, ласковой улыбкой и, вздохнув, покачал головой. Задумчиво побарабанил пальцами по гладко отполированному столу, а потом, снова надев очки, прочел вслух:

Ты в царедворцы лез? Очнись, дурной!

Прошептал:

— Ах, Александр Сергеевич... Были б вы живы, и то б такого письма не передал: что душу зря травить да государя понапрасну гневить...

Вдруг лицо Бенкендорфа собралось резкими морщинами, добрая ямочка на щеке пропала, глаза спрятались под бровями — низкими, нахмуренными.

«Ты в дипломаты лез, — подумал он о Виткевиче, — очнись, дурной!»

И на чистом листе бумаги (Бенкендорф был болезненно аккуратен и с вечера записывал то, что следовало сделать утром) нарисовал профиль юноши, а под ним аккуратно вывел: «Виткевич».

Вечером, встретившись на балу с Нессельроде, Бенкендорф сказал ему с обычной своей доброй улыбкой:

— Карл Васильевич, а ваш протеже из Кабула эдакие бунтарские стишки шлет, за которые мы бы здесь...

Он не докончил: к Нессельроде подошел Виельгорский. Бенкендорф повернулся к танцующим. Залюбовался грацией княжны Конской. Подумал: «Молодость — это чудесно. А ежели я начинаю завидовать юности, значит я старею».

Когда Нессельроде остался один, злая, нервная судорога рванула щеку. Подумал о Бенкендорфе: «Меценат...» Вздохнул. Не до стихов ему сейчас было. Сегодня британский посол, после неоднократных намеков, официально заявил о том, что Виткевич, русский представитель в Кабуле, своими действиями в Афганистане разрушает традиционную дружбу Великобритании и России. Какими поступками — посол не уточнял. Да Нессельроде и не интересовался. Трусливый, в основу своей внешней политики он ставил два принципа: «Уступка и осторожность».

12

Прошло четыре месяца.

Виткевич кончил читать депешу, скомкал ее и хотел выбросить в окно. Но потом он разгладил бумагу и начал снова вчитываться в сухие, резкие строчки. Сомнений быть не могло: в Петербурге что-то случилось. Иначе этот отзыв расценить нельзя было, как смену прежнего курса.

Спрятав депешу, Иван пошел в город. Кабул жил своей шумной, веселой жизнью, звонко кричали мальчишки — продавцы студеной воды, ударяя в такт своим крикам по раздутым козьим шкурам, в которых хранилась драгоценная влага. Размешивая длинными, свежеоструганными палочками горячую фасоль, мальчишки постарше предлагали прохожим отдохнуть в тени дерева и перекусить — фасоль с теплой лепешкой, это ли не подкрепляет силы!

Совсем маленькие карапузы деловито разносили по лавкам кальяны. Мальчуганы не предлагали свою ношу никому — огромные кальяны и так видны издалека.

Только на набережной, там, где начиналось самое сердце базара, Виткевич начал постепенно приходить в себя, заново оценивая все происшедшее. Он давно подозревал, что Бернс разовьет бурную деятельность для того, чтобы отозвать его из Кабула. Но как же ему удалось добиться своего? Как?! И сколько Иван ни старался найти версию, которая хотя бы в какой-то мере оправдывала его отзыв, ничего путного не получалось.

Вдруг Виткевич подумал: «А что, если новый Майер?»

Мысль эта оказалась такой страшной, что он даже остановился.

— Саиб хочет яблок? Груш? — услышал он голос рядом.

Торговец фруктами вопросительно смотрел на Ивана и перебирал свой товар быстрыми пальцами, показывая самые налитые яблоки.

— Нет, спасибо.

«Нет. Этого, конечно, не может быть. Просто смена курса. Тогда я должен как можно быстрее быть в Петербурге. Я обо всем расскажу Перовскому, и тот повлияет на государя. Ведь они друзья. Я буду писать в газету, призывая о помощи Афганистану. Я буду говорить всем и каждому: в Афганистане британцы хотят лить кровь. На помощь афганцам! Я не устану говорить людям о той борьбе, которую ведет Афганистан. Не устану. В Россию! Да, мне надо немедленно отправляться в Россию. В крайнем случае я испрошу себе разрешение и вернусь к Дост Мухаммеду вместе с теми, кто захочет драться за свободу».

Иван пошел прощаться с Гуль Момандом, с тем самым оружейным мастером, который оказался двоюродным братом Ахмед Фазля, первого кабульского друга Виткевича.

Оружейная мастерская человека, имя которого в переводе на русский язык означало «цветок племени момандов», помещалась в центре базара. Базар в Кабуле совсем не похож на европейские рынки. Это не два, не три и даже не двадцать рядов с овощами, мясом и фруктами. Весь центр города — двадцать или тридцать улиц, улочек, переулков и тупичков — был сердцем кабульского базара. Если идти от Кабул-реки по направлению к необозримо широкой площади Чаман, то четвертая улица направо резко сворачивала и заканчивалась маленьким тупиком. Здесь рядом со скорняжной и скобяной мастерской помещалась мастерская Гуль Моманда.

Низко согнувшись, Гуль Моманд вертел ногой большой каменный круг. Быстро и резко он подносил к вращающе-

муся кругу рукоятку маленького, похожего на игрушечный, пистолета. Постепенно с каждым новым штришком рождалась замысловатая афганская вязь.

Увидев Виткевича, Гуль Моманд отложил пистолет, вытер руки о широкие патлюны и, поднявшись с табурета, шагнул навстречу Ивану.

— Здравствуй, мой возлюбленный брат и гость.

Заботливо расспросив друг друга о здоровье, настроении и самочувствии друзей, знакомых, они присели у входа. Гуль Моманд раскурил кальян. Когда вода в нем хрипло забулькала и от едкого дыма рубленых кореньев и листьев индийского табака у Гуль Моманда выступили слезы на глазах, он протянул Ивану трубку, предварительно обтерев ладонью мундштук.

Затянувшись один раз, Виткевич возвратил кальян Гуль Моманду. Так полагалось поступать в обращении с самыми большими друзьями. Гуль Моманд отстранил кальян.

— Нет, спасибо. Кури сначала ты, брат.

— Спасибо, брат.

— Нет большей радости, чем радость, доставленная тебе.

Помолчали. Покурили. Потом Виткевич сказал тихо:

— А я ведь прощаться пришел с тобой, Гуль-джан.

— Нет!

— Уезжаю, брат!

— Нет! Разве тебе плохо у нас?

— Мне хорошо у вас. Очень хорошо...

— Останься, Вань-джан, — сказал Гуль Моманд. — Я тебе жену найду. Пир устрою. У меня и жить будешь.

Иван обнял Гуль Моманда за плечи и прижал к себе. Они так просидели несколько мгновений, а потом оба враз, как будто застыдившись своей чувствительности, встали. Гуль Моманд взял маленький пистолет и протянул его Ивану.

— Вот возьми. На счастье. И знай, что в нем живет частица души твоего брата, твоего афганского брата Гуль Моманда.

Виткевич взял пистолет из рук афганца и поцеловал рукоять. Затем он снял с ремня свою саблю и протянул ее Гуль Моманду.

— Вот возьми. В этой сабле живет частица души твоего русского брата Ивана.

И два высоких сильных мужчины обнялись. Сердце к сердцу.

После вечернего намаза у Гуль Моманда собрались друзья. Позже всех пришел Ахмед Фазль, потому что он недавно вернулся из Пагмана.

— Вань-джан уехал домой, — сказал ему Гуль Моманд.

— Нет! — воскликнул Ахмед Фазль. — Разве ему было плохо у нас?

— Когда он прощался, глаза у него были грустны, как у орла, раненного стрелой.

— Я должен спеть ему много песен! Он останется, если я буду петь ему песни. Я пойду к нему!

Ахмед Фазль опоздал всего на несколько минут. Виткевич уже уехал в Россию.

ЭПИЛОГ

Еще никогда Иван Виткевич не был так уверен в своих силах и никогда раньше он так не понимал главной цели своей жизни, как сейчас, возвращаясь в Россию.

«Будет драка у меня с азиатским департаментом, будет, — весело думал Иван. — Да посмотрим, кто кого одолеет. И с Карлом Васильевичем побьемся — ничего, что канцлер...»

Он был так смел в своих мыслях и планах оттого, что чувствовал поддержку, любовь и дружбу афганцев, киргизов, таджиков. А человек, чувствующий дружбу целого народа, делается подобным народу: таким же сильным и страстным в достижении своей главной цели.

Виткевич специально завернул в Уфу, чтобы повидаться с Перовским. Губернатор растрогался до слез. Целый вечер он продержал Виткевича у себя, слушая его рассказ о поездке, а когда Иван поднялся, чтобы ехать в столицу, Василий Алексеевич сказал:

— Истинный ты Гумбольдт, Иван. Горжусь тобой. В обиду не дам, за тобой следом выеду. Нессельрода обойдем — прямо к государю обратимся.

Иван сидел в углу кареты и смотрел на пробегавшие мимо перелески, на луга, тронутые желтизной, на подслеповатые оконца деревень, на речушки, такие тихие и ласковые по сравнению с дикими горными потоками Афганистана, и чувствовал радость, большую, гордую радость...

После приема у Нессельроде, который топал ногами и визгливо кричал, обвиняя Ивана в «заигрывании с дикими азиатами и желании поссорить Россию с Англией», Виткевич

весь напрягся, подобрался для последнего, решительного удара, который он рассчитывал нанести по безмозглой политике канцлера с помощью Перовского. Иван считал, что только с помощью Василия Алексеевича можно было доказать свою правоту, отстоять свою точку зрения, столь нужную и России и азиатским государствам.

...В номера Демутовской гостиницы Виткевич вернулся поздно вечером. Его познабливало. Растопив камин, он сел за маленький стол с кривыми ножками и достал из чемодана большую связку бумаг. Это была крохотная толика того, чему он посвятил себя. Это были сказки и песни афганцев, записанные им. Завтра поутру Иван думал отнести рукопись в «Современник» — там ее ждали с нетерпением.

Он погладил своей худой тонкой рукой шершавые страницы, пошедшие по краям сыростью. Потом осторожно открыл первый лист и углубился в чтение. И чем дольше читал он, тем яснее видел край, месяц назад оставленный им, людей, которые стали его друзьями и братьями, их врагов, которые стали и его врагами. Он слышал звонкую тишину утра и таинственные звуки ночи, он заново ощущал силу горных ветров и тоскливый зной пустынь. Он жил тем, что читал, потому что он любил тех, кто веками создавал поэзию и сказку.

На Санкт-Петербург легла ночь, тишину уснувшего города лишь изредка рвали трещотки сторожей, а Иван все читал мудрые, исполненные вечным смыслом жизни строки афганских песен.

Я сто раз умирал, я привык
Умирать, оставаясь живым.
Я, как пламя свечи, каждый миг
В этой вечной борьбе невредим...

«Милостивый государь, Александр Христофорович.

Вчера ночью возвратившийся из Афганистана поручик Виткевич был найден в номере Демутовской гостиницы мертвым. Все его бумаги были обнаружены в камине сожженными. Однако, несмотря на то, что на столе лежала записка, подписанная вышеупомянутым Виткевичем, которая уведомляла о его самоубиении, долгом считаю довести до сведения вашего, что пистолет, лежавший у него в руке, был не разряжен, а в стволе находилась невыстреленная пуля. Чиновники азиатского департамента, знавшие Виткевича ранее, уверили меня в том, что у него было такое количество бумаг, сжечь которые в камине

не представлялось никакой возможности. Показанное чиновниками подтверждается также и тем, что перед отъездом Виткевича в королевство Афганистан нами был проведен негласный просмотр бумаг его. Выяснилось тогда, что у него на хранении находилось 12 (двенадцать) рукописных словарей восточных языков. Каждый словарь от 600 (шестисот) до 900 страниц рукописного текста. Были у него обнаружены тогда же более 100 рукописных карт всяческих областей восточных. Были там также и несущественные, по мнению моему, тетради со сказками, стихами и пр. Я так же, как и чиновники азиатского департамента, имею склонность считать, что такое количество бумаг сжечь никак невозможно.

И, что также весьма существенным считаю, окно первого этажа было раскрыто в момент обнаружения трупа.

Все свои соображения честь имею представить на рассмотрение Вашего сиятельства.

Подполковник корпуса жандармов
Шишкин».

Бенкендорф долго читал донесение. Задумался. Взял перо и начертал наверху: «Считать самоубиенным». Потом подумал еще да и бросил донесение в камин. Позвонил в колокольчик. Вошел секретарь.

— Вызовите ко мне Шишкина, любезный, — попросил ласково.

Когда явился Шишкин, Бенкендорф сказал ему:

— Он был самоубийцей. Хотя его и убили. Убийц не ищите. Нам это сейчас невыгодно. Убил-то кто?

Шишкин хотел ответить. Бенкендорф перебил его:

— Вот так-то, полковник. Ступайте. Итак, самоубийца?

— Самоубийца, ваше сиятельство.

Я сто раз умирал, я привык
Умирать, оставаясь живым.
Я, как пламя свечи, каждый миг
В этой вечной борьбе невредим.

Умирает не пламя — свеча,
Тает плоть, но душа горяча.
И в борьбе пребываю, уча
Быть до смерти собою самим...

Москва—Орск—Кабул
1958 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Межконтинентальный узел 5
Дипломатический агент 309

Ю. Семенов

С30 Собрание сочинений: т. 10. Роман, повесть — М.; СП «ДЭМ», МП «ЭКСМО», 1995. — 494 стр. ISBN 5-85207-059-7

В десятый том собрания сочинений Ю Семенова вошли роман «Межконтинентальный узел» и повесть «Дипломатический агент».

С 4702010200— 008 / **СП "ДЭМ", МП "ЭКСМО"** **1995 Без объявл.** **ББК 84.3Р7**

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ ДЕСЯТЫЙ.

Редактор *И. В. Мишин*
Технический редактор *К. Г. Скоков*
Корректор *Т. К. Ивлева*

н/к

ЛР № 090028 от 01.11.91 г. Сдано в набор 7.02.95. Подписано в печать 07.02.95. Формат 84X108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Тираж 35 000 экз. Заказ № 185

117049, Москва, Крымский вал., 9, СП «ДЭМ»

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-